90 коп. Индекс 73293

«ОКТЯБРЬ» до конца года и в 1991 году предполагает опубликовать:

Философия, экономика, политика.

Судьба социалистических теорий в России; идеи Маркса, Энгельса, Ленина без глянца; Февраль—Октябрь: борьба идей между двумя революциями; от мифотворчества к истории; «необольшевизм»; какое общество мы строим? — темы публицистических работ А. АВТОРХАНОВА, Л. БАТКИНА, Ф. БУРЛАЦКОГО, Ю. БУРТИНА, Г. ВОДОЛАЗОВА, М. ВОСЛЕНСКОГО, М. ГЕФТЕРА, А. НЕКРИЧА.

Рынок — что это такое? Рынок труда, интеллекта, инициативы? Что нас ждет — «бешеные» цены, карточки, безработица или здоровая экономика и изобилие? Почему не «работает» Закон о земле? Кто настоящий хозяин «черного рынка»? От чего зависит деловая активность? — над этими вопросами размышляют И. БИРМАН (США), А. ЗИНОВЬЕВ (ФРГ), Б. ПИНСКЕР, Л. ПИЯШЕВА, А. СТРЕЛЯНЫЙ, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО.

Демократия и становление гражданского общества. Многопартийность. КПСС среди других партий. Права человека: социальная, правовая защищенность человека — и суверенность личности от государства. Среди авторов этого раздела правозащитники Л. БОГОРАЗ, П. ГРИГОРЕНКО, С. КОВАЛЕВ, Л. ТИМОФЕЕВ.

Продолжим публикацию произведений А. Д. САХАРОВА.

Современный литературный процесс в контексте мировой литературы освещают Л. АННИНСКИЙ, А. БОЧАРОВ, И. ВИНОГРАДОВ, И. ДЕДКОВ, И. ЗОЛОТУССКИЙ, Н. ИВАНОВА, Т. ИВАНОВА, А. ЛАТЫНИНА, В. НОВИКОВ, С. РАССАДИН, Л. САРАСКИНА.

Под рубрикой «Диалог» — взгляд на современную литературу наших зарубежных соотечественников — писателей, литературоведов, критиков: А. СИНЯВСКОГО и М. РОЗАНОВОЙ, С. ДОВЛАТОВА и В. СОЛОВЬЕВА, Н. ГОРБАНЕВСКОЙ и В. ВОЙНОВИЧА, П. ВАЙЛЯ и А. ГЕНИСА.

Статьи, воспоминания, дневники, письма Г. АДАМОВИЧА, М. БУЛГАКОВА, Н. ГУМИЛЕВА, Б. ЗАЙЦЕВА, Е. ЗАМЯТИНА, В. КОРОЛЕНКО, О. МАНДЕЛЬШТАМА, В. ХОДАСЕВИЧА.

Специально для «Октября» подготовлен сериал «Русская эмиграция в мемуарах и документах» — Иван БУНИН, Зинаида ГИППИУС, Георгий ИВАНОВ, Алексей ТОЛСТОЙ, Марина ЦВЕТАЕВА и др.

Новые материалы о А. ТВАРДОВСКОМ, М. ПРИШВИНЕ, А. СОЛЖЕНИЦЫНЕ, В. ШАЛАМОВЕ, Вс. ИВАНОВЕ, Вл. ВЫСОЦКОМ.

Каждые три месяца реклама будет уточняться и дополняться. Следите за рекламой!

ISSN 0132-0637. Октябрь. 1990. № 9. 1—208.

ОКТЯБРЬ 9 1990

ISSN 0132-0637

ОКТЯБРЬ

9

1990

ОКТЯБРЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

9

1990

СЕНТЯБРЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!

Подписка на «Октябрь» производится всеми отделениями связи страны. Индекс «Октября» — 73293. Подписная цена на год — 22 руб. 80 коп., на полгода — 11 руб. 40 коп., на 3 месяца — 5 руб. 70 коп.

Сдано в набор 13.08.90. Подписано к печати 30.08.90. Формат 70 × 108 1/16. Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24. Тираж 335 000 экз. Заказ № 2727. Цена 90 коп.

Адрес редакции: 125872 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11. Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдела прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Владимир ТЕНДРЯКОВ

Революция! Революция! Революция!

Ряд волшебных изменений
Милого лица

А. ФЕТ

«Это драма — драма идей», — сказал Эйнштейн о физике. Когда-то я поразился горделивой емкости его слов, теперь они вызывают у меня чувство горького снисхождения, которое можно сравнить лишь с искушенным чувством взрослого, глядящего на слезы обиженного ребенка: «Такие ли обиды, дорогой мой, бывают в жизни». Такие ли драмы переживают идеи, рожденные стремлением познать и изменить человеческие отношения.

В 1956-м мне пошел тридцать третий год — пресловутый возраст Христа. В тот год начали открыто суесловить по адресу бога, рабы на минуту почувствовали себя свободными, трусы возомнили себя храбрецами, свято верующие вынуждены были притворяться безбожниками, а меня охватило запоздалое, зато пронзительное до нетерпимости желание оглянуться назад: где, в каком месте случился идеологический поворот? Когда идеи свободы стали идеями насилия? Как это Сталин оказался вместо Ленина?

Отца давно уже не было в живых. Его ровесники — те, кто день за днем прошел по истории, — знали не больше моего. Они охотно рассказывали эпизоды, легенды, анекдоты прошлых лет, но не могли объяснить — где, когда, почему? Да и был ли этот несчастный поворот? Должен быть!

И я решил обратиться к самому... Ленину: укажи, Владимир Ильич.

Без преувеличения, я стал ленинцем со дня своего рождения. Право же, среди многих миллионов ленинцев немногие имеют возможность произнести такие слова.

Я родился в глухой вологодской деревне, которая и сейчас-то глуха — сто четыре километра от железной дороги. Меня назвали Владимиром в честь Ленина, его именем. Уже тогда, еще при жизни Ленина, преданные ему рядовые революции называли своих детей Владимирами, Владленами, Ленинианами — в честь Бога-Спасителя, зовущего из царства мрака и насилия в царство Свободы и Справедливости.

Мой отец, подпасок и чернорабочий, красногвардеец и комиссар полка, член большевистской партии с 1918 года, в своей преданности пошел еще дальше. Ленин называл религию «духовной сивухой» — и мой отец наотрез отказался крестить своего сына.

И это в лесной звериной глуши, где христианство было сплавлено с языческими суевериями, где почтение к церковным обрядам уживалось с дремучим животным страхом перед лешими, домовыми. Ни деды, ни прадеды слыхом не слыхали, чтоб кто-то отказался крестить подкидыша, даже незаконнорожденного, презренного «выблядка». Без этого у человека не могло быть имени, не представлялось, как можно без купели. Иногда младенец умирал раньше, чем поп опускал его в купель, и тогда его хоронили не на кладбище, а зарывали тайком, стыдливо, страдая о погубленной душе.

И вот родной отец в трезвом сознании, в твердой памяти лишает кровного сына святого крещения!..

Бесхитростные семейные предания, услышанные мной в глубоком детстве, повествуют о том, как со всей округи шли старики и старухи к моей люльке. Некоторые приходили за пятьдесят верст по трескучему морозу, по заметенным дорогам, чтоб взглянуть одним глазком «на антихриста во младенчестве». За пятьдесят верст! А зима в тот год, говорят, была свирепая.

Моя мать показывала странникам мой младенческий зад («глядите — хвоста нет»), мои ноги («нет копытец») — ребенок, как у всех. Но сердобольные старухи причитали надо мной:

— Ох, все одно не жилец! Ох, долго не протянет!

Если электрическую лампочку, изобретенную Эдисоном, внесенную в деревенскую избу, называли тогда «лампочкой Ильича», считали, что она не только светит, но и пропагандирует ленинские идеи, ленинские завоевания, то, наверное, и мой младенческий зад без признаков хвоста, без каких-либо бесовских отличий с полным основанием можно внести в ленинский пропагандистский актив. А меня, обладателя столь знаменательного зада, позволительно называть ленинцем, самым юным, какого только можно представить.

Ленин в те дни лежал в последнем параличе, ровно через сорок семь дней после моего появления на свет его не стало.

Когда я научился произносить его имя, распознавать его на портретах, ощущать как величайшего из великих спасителей мира? Нет, это так же невозможно вспомнить, как и свое первое «мама».

С семи лет я стал октябренком, вместе с картонной пятиконечной звездой, обшитой кумачом, носил на груди значок с портретом трехлетнего Ленина — милого мальчика с пышными расчесанными кудрями.

С девяти — я пионер. И на требовательное: «За дело Ленина — Сталина — будьте готовы!» — отвечал, вскидывая над головой руку: «Всегда готов!»

С пятнадцати — комсомолец. Комсомольский билет — мое самое первое удостоверение в жизни.

Этот комсомольский билет я спрятал в пилотку, когда пробовал переплыть через Дон, спасаясь от наступающих немцев. Я тогда все утопил — гимнастерку, штаны, сапоги, нижнее белье, — все потом пришлось надеть чужое. Но я твердо знал — билет потеряю только с головой. Спас свою голову, спас и билет с профилем Ленина на обложке.

Через какой-нибудь год с небольшим я сменял этот билет на книжку кандидата партии, а затем получил и членский партийный билет. И по сей день я член той партии, которую Ленин организовал в свое время.

Не было для меня авторитета выше на свете. Кто еще, как не он, мог объяснить мне все?

Грудой дел,
суматохой явлений
день отошел,
постепенно стемнев.
Двое в комнате:
я
и Ленин —
фотографией
на белой стене...

Днем я писал повести о секретарях райкомов, конфликтующих с председателями колхозов, а вечерами...

Вечерами я начал разговаривать с Лениным, с тридцатью красными томами его сочинений — единственное наследство, оставшееся мне от отца.

Разговаривать — не читать, не штудировать, как это было прежде, когда приходилось сдавать экзамены по марксизму-ленинизму, — на равных, не боясь уже сомневаться и возражать.

И Ленин оказался неожиданным собеседником. Вместо того чтобы бичевать отступников, сокрушать Сталина, он начал опровергать... самого себя.

Ленин против Ленина. Великого, непогрешимого! Никогда еще я не соприкасался с такой крамолой — Ленин против Ленина! И долго я не мог отделаться от ощущения — вершу недопустимое, я — еретик, я — преступник! Хотя, казалось бы, при чем тут я? Это Ленин, заключенный в ледерин красного цвета, выпущенный по стране в миллионах экземпляров, говорит крамольное.

Двое в комнате:
я
и Ленин...

Тогда-то я и начал мало-помалу понимать: это драма — драма идей, всечеловеческая, всепланетная. Бывала ли в истории драма грандиознее? Навряд ли.

В то время случай свел меня с неким Иванниковым...

Одна из городских библиотек пригласила меня выступить. Как всегда, после встречи был «лестничный» разговор, — уже одетые в пальто и шапки наиболее неуемные из читателей продолжали выяснять со мной отношения. Как всегда, нашелся желающий проводить:

— До метро, если вы не против.

В поношенном пальто из тяжеловесного ратина, в шляпе, в клетчатом кашне — по виду служащий, еще не дослужившийся до обеспеченного оклада, отдельной квартиры и той независимости, которая появляется вместе с правом ставить рядом со своей фамилией на деловых бумагах слово «заведующий».

Сначала и лицо его показалось мне заурядным — не определившееся до полной зрелости, чуть тронутое нездоровой полнотой — лицо оседлого горожанина, чья молодость прошла мимо спортивных площадок, морских пляжей, горных троп и лесных костров. Но, приглядываясь, я постепенно начал улавливать в нем надсадную настороженность, резкие перемены от искренности к подозрительности. И речь его была отрывиста, полна многозначительных недомолвок. Он как бы выстреливал откровением, а потом пугался, что я его не пойму, — отчужденно замолкал.

— Я завтра встречаю отца, — выпалил он без предисловий, едва мы оказались на улице.

Мне надлежало догадаться, что это, в общем-то заурядное, сообщение произнесено неспроста. И я счел обязанным вежливо осведомиться:

— Давно не виделись?

— Девятнадцать лет и три месяца! — резкий ответ.

— Ого!

— Из лагерей! Реабилитирован!

— Значит, у вас большая радость.

Он передернулся:

— Не знаю...

— Почему?

— Не плюнет ли мне в лицо отец при встрече?..

Так началась исповедь Максимилиана Иванникова, рваная, сумбурная, где откровенность самосвежевания сменялась почти враждебными сомнениями: «Зачем я вам это?.. С какой стати вам знать мое?..»

Эта исповедь продолжалась больше месяца, так как в тот вечер, побродив по московским улицам добрых часа два, я на прощание дал Иванникову свой телефон, попросил заходить ко мне. И он приходил и рассказывал, рассказывал...

Встреча его с отцом прошла сердечно. Отец некоторое время жил у него, но очень скоро получил комнату, освободил сына от опеки.

Нет, Иванников и я не стали друзьями, нас связывала только его исповедь. В его судьбе я видел свою судьбу, но в чудовищно кривом зеркале — искалеченную, обезображенную. Он же нуждался в слушателе. Словом, «она меня за муки полюбила, а я ее за состраданье к ним...»

Рано или поздно исповедь должна была иссякнуть, а мы расстаться. Иванников исчез из моей жизни...

Но по вечерам я продолжал другие встречи — «двое в комнате: я и Ленин...» Беседовал с Лениным и вспоминал Иванникова. В эпохальную драму социальных идей невольно влезала личная драма случайного человека в поношенном ратиновом пальто, моего ровесника, моего соотечественника.

Сейчас я сам исповедуюсь, собираюсь раскрыть самые сокровенные мысли, вызванные многолетней беседой с «Лениным» в третьем издании тридцати красных томов. И в этих выношенных мыслях путается Иванников со своей историей. Говоря о Ленине, не могу не говорить о нем.

Вынужден поэтому гнать «в пристяжке» две повести сразу.

I

О живых деспотах, как о покойниках, говорят или хорошо, или молчат. Деспоты обычно редко сталкиваются с открытым негодованием. Проклинаемый издалека Герценом, Николай I жил, окруженный восторженным подобострастием.

А его сын, Александр II, царь-реформатор, который плохо ли, хорошо ли провел, наконец, отмену крепостного права и допустил в России суд присяжных заседателей, погиб от рук бомбистов.

В 1866 году студент Дмитрий Каракозов делает одну попытку. В 1880 году кроткого вида и трезвого поведения столяр Степан Халтурин совершает следующую — взрыв в Зимнем дворце. Убито и искалечено пятьдесят крестьянских парней — солдат Финляндского полка, находившихся в караульном помещении. Александр II и его семья целы и невредимы. Побиты лишь куверты на столе, накрытом для торжественного приема принца Гессенского.

А год спустя, 1 марта, в Петербурге среди бела дня взрываются одна за другой две бомбы. Первая разносит царскую карету, вторая смертельно ранит царя. Вместе с царем замертво падает и его убийца, мальчишка Гриневицкий...

Россия начала добывать свободу...

Александр Ульянов в Петербургском университете на последнем курсе — пишет самостоятельную работу о каких-то зоологически не до конца исследованных червях, признанную выдающейся, и вступает в террористический кружок. Как шесть лет назад, программа проста: убить Александра III. Юные террористы назначают покушение снова на 1 марта...

В этот день их всех арестовывают.

8 мая Александр Ульянов и пять его товарищей повешены.

Слово сожаления о нем роняет сам Менделеев — о нем и о Кибальчиче как о талантах, вырванных из науки революционным движением, которое для великого химика кажется делом безнадежным и бессмысленным.

«Мы пойдем другим путем!» — такова поздняя легенда о ранней мудрости нового Спасителя. Слишком уж наивно тенденциозны эти слова, чтоб быть правдой.

В эти дни Владимир кончает гимназию, и вопрос — кем быть? — встает перед ним со всей требовательностью. «Кем быть?» — тот родник, откуда начинает течь деятельная жизнь личности. Только у испорченных с детства натур он бывает мутным — с примесью себялюбивой корысти.

Одна семья воспитала Александра и Владимира. Если что и удалось доказать Александру неудачным подвигом, то это свою нравственную чистоту. Можно ли сомневаться, что Александр из могилы помог младшему брату выбрать свой путь. «Пепел Клааса стучит в мое сердце!»

1

Иванников был младше меня на несколько месяцев. Он родился уже после смерти Ленина.

Осенью 1919 года продотряд, сформированный на котельном заводе Бари, выехал на Рязанщину за хлебом. Вместе с реквизированным хлебом он привез в Москву семнадцатилетнюю девчонку Глафиру Патлову.

Она сиротствовала. Родни — целая деревня: дядьки, тетки, сватьи, кумовья по отцу и матери, но всем лишняя. Отец Глафиры пропал на войне, мать и раньше прихварывала, а без отца пришлось на себе тащить дом. Косила на болоте — простыла, слегла и не встала. В наследство Глашке достались изба, корова, овчинный полушубок да икона святого отрока Варфоломея в углу. Глашкин крестный забрал себе корову, за это обязался кормить девчонку «до взрослости». Он же перенес к себе икону отрока Варфоломея. Старая же изба стояла пустой, тащили с нее, что могли, — рамы с уцелевшими стеклами, двери с петель, даже изношенные половицы выбрали. До взрослости у крестного Глашка не дожила — скотину обиходь, навоз выгреби, за детишками догляди, летом в поле помогай, только что не пашут на тебе — обрыдло! Ушла к соседям, там семья поменьше. Соседи в дом приняли — лишняя пара рук как-никак, — но не могли простить, что корова Глашкина осталась у прежних хозяев: «За будь здоров тебя держим, помни!» Потерпела да взъелась: «Пропади вы пропадом, благодетели!» Перебралась к свояченице матери, а там и вовсе не рады, есть суют: «На! Подавись!» Сирота неприкаянная, даже с сумой по миру не пойдешь — кругом голод, нынче не подают.

Прибыл хлебный отряд. Мужики попрятали зерно: «Поищите, комиссарики!» И тут-то подала голос Глашка: «Пошли. Уж я-то знаю, где у кого лежит». К первому привела — к крестному: «А ну, мироед, подымай половицы, в подклетье у тебя ковырнем».

После этого оставаться в деревне нельзя — убьют.

О Москве по деревням ходила суровая молва: «Москва слезам не верит». Но Глашка Патлова слезы лить и не собиралась. В старом родительском полушубке, от которого все еще несло прокисшим пойлом чужой скотины, в солдатских башмаках (выданы из особых фондов по заготовке хлебных излишков), в вылинявшем до лирической ясноты кумачовом платочке, глаза холодновато-пустынные в размахе жадных ресниц, Глашка в огромном, обошненном, суетно многолюдном городе сразу почувствовала себя своей. То, что в родной деревне считалось пороком — нищета, голь перекатная! — здесь ставилось в заслугу — из беднейших слоев. В родной деревне совали: «На, подавись!» — здесь требуй, бери за горло: «Даешь, и точка!»

Ее сначала пристроили к женотделу котельного завода. Бабы собрались крикливые, тертые, им ли слушать девчонку, сироту из деревни. А эта сирота вдруг заговорила о том, о чем все только и думали, — о хлебе.

— Мужики выбивать хлеб ездят. Баба-то нюхом найдет, чем детишек накормить. Пусть нам наганы дадут и ружья, даже одного мужика взять можем для страху — хлебный бабий отряд организуем.

Бабий отряд не получился — кого ни хвати, семью бросить не может, — но крику о нем было много. И Глашку заметили, стали выдвигать в комиссии, послали на учебу...

Через два года она уже заведовала женорганизациями одного из районов Москвы, носила гимнастерку с широким ремнем, юбку в обтяжечку, курила козьи ножки, чтоб не казаться слишком молодой. Ей часто приходилось бывать в наркомате Труда, и там она встретилась с Николаем Иванниковым, бывшим военным комиссаром, прошедшим через колчаковский и польский фронты.

Умер Ленин. На Красной площади под Кремлевской стеной за несколько дней был поставлен деревянный мавзолей.

Николай Иванников в партию вступил еще в семнадцатом, сразу после революции. Глафира Иванникова, в девичестве Патлова, подала заявление.

На собрании ее спросили:

— Историю классовой борьбы знаешь?

Вспомнила свою деревню, ответила:

— С пеленок ею нанюхалась.

— А ну скажи: кто такой был Максимилиан Робеспьер?

Глафира о таком не слыхивала, но ее все равно приняли.

Николай прямо с собрания отвел ее в родильный дом Грауэрмана. Родился мальчик, и Глафира назвала его Максимилианом — в честь Робеспьера.

II

Безвестная могила Александра Ульянова и пятерых его товарищей, неудачных цареубийц, зарастала травой. Их путь ненадежен, нужен иной — новый.

А этот «новый путь» не так уж и нов, он провозглашен за тридцать три года до казни Александра Ульянова.

«Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма...

История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов...»

За год до рождения Владимира Ульянова столбовой дворянин бунтовщик Бакунин в Женеве переводит на русский язык «Коммунистический

манифест». Но в Россию едва ли проникает несколько экземпляров этой книги.

Примерно в это же время Герман Лопатин, близко знавший Маркса и Энгельса, избранный даже в Генеральный совет I Интернационала, начинает перевод «Капитала», но не успевает окончить. Лопатина арестуют по подозрению в организации побега Чернышевского из ссылки. Начатый перевод кончает за него публицист-народник Даниельсон.

I том «Капитала» выходит в свет, но это замечает лишь узкий круг людей, как правило, тех, кто уже знаком с работами Маркса по иностранным изданиям.

И лишь десять лет спустя Плеханов — опять в той же Женеве — выпускает второй перевод «Манифеста».

«Призрак» двинулся по России. В далекой Казани вокруг бывшего гимназиста Федосеева — тесный кружок молодежи, открывающих себе Маркса. Среди них появляется и Володя Ульянов, уже исключенный из университета за участие в студенческой сходке, уже посидевший в ссылке в казанской деревне Кокушкино.

«История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов».

Классовая борьба — скрытая пружина, которая движет историю человечества вперед. Здесь, в Казани, Владимир начинает верить в это — раз и навсегда, безоглядно, на всю жизнь. Аксиома, не требующая доказательства. Впрочем, в это же верил, как в «Отче наш», — просто верил, не утруждал себя доказательствами — и сам патриарх Карл Маркс.

Он пишет: «Мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собою. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов».

«Буржуазные историки...» Наиболее известный из них, Гизо, был одновременно и видным деятелем при дворе вернувшихся на престол Бурбонов — никак не революционер. Он заявлял: «Борьба классов — не теория и не гипотеза, это — самый простой факт... Не только нет никакой заслуги за теми, которые его видят, но почти смешно отрицать его».

И для Маркса тоже — «не теория и не гипотеза, это — самый простой факт», который столь же мало нуждается в каких-либо доказательствах, как и то, что две параллельные прямые при своем продолжении не пересекаются. Аксиомы недоказуемы.

Но вглядимся в историю: такое ли уж большое место занимает в ней классовая борьба?

Греки воевали с персами, Рим — с Карфагеном, Англия — с Францией, то есть одно государство, одно общество, состоящее из свободных и рабов, патрициев и плебеев, помещиков и крепостных, боролось с другим таким же — за право властвовать, за право пользоваться независимостью, за новые рынки сбыта.

И внутри этих государств постоянно наблюдается борьба — кровавая или бескровная, явная или скрытая — не между свободными и рабами, помещиками и крепостными, а между невнятными с точки зрения классовости группами и партиями. Знатные и незнатные, угнетающие и угнетенные католики Франции резали знатных и незнатных гугенотов. Опричники царя Ивана Грозного душили как высокородных бояр, так и худородную челядь... Можно ли Галилея, отстаивавшего идею движения Земли, называть выразителем интересов каких-либо классов? А папу Урбана VIII, врага Галилея, только с чудовищной натяжкой можно окрестить защитником феодальной верхушки. А как называть, скажем, такие памятные для русской истории моменты — Куликовская битва и Ледовое побоище на Чудском озере, когда высокие князья-феодалы — Дмитрий Донской, Александр Невский — шли плечо в плечо с подневольными смердами, охваченные единым желанием — остановить, опрокинуть общего врага? Перед лицом опасности — своеобразная классовая солидарность. Есть ли на земле народ, который бы не переживал подобных моментов?

Борьба классов — почему бы ей и не быть? Но утверждать: история есть не что иное, как только эта борьба, — не слишком ли упрощать историю?

Тот, кто пытался рассуждать подобным образом, сразу же вызывал подозрение. Всякое сомнение в исцеляющей силе классовой борьбы выглядело как враждебный акт против свободолюбия. Не смей сомневаться! Не смей доказывать противное! Принимай, не рассуждая, на веру!

В мире рождалась новая вера, которая отличалась от старых, как и положено, лишь своими догматами.

2

Тезка Робеспьера, Максимилиан Иванников, был отдан матерью под присмотр дворничихи Фатимы, щекастой, грудастой бабы с сиплым голосом. Она пела над кроваткой татарские песни, нескончаемые, как галоп коня по степи.

Фатима приходила только днем, по вечерам Максимилианом занимались родители. Чаще отец, чем мать. Отец менял пеленки, мыл сына в большом тазу, укачивал на ночь. Бывший военный комиссар колыбельных песен не знал, пел революционные:

Эй, живей, живей, живей,
На фонари буржуев вздернем!
Эй, живей, живей, живей,—
Хватило б только фонарей!..

Над детской кроваткой — песня о расправе, песня, весело славящая жестокость.

Но сам Николай Степанович Иванников, право же, жестоким не был.

Он вырос на станции Ирпень, в большой семье паровозного кочегара, переведенного потом в машинисты маневровой «кукушки». Машинисты поездов дальнего следования имели свои дома, кой у кого даже крытые железом, «кукушечники» же ютились в бараках.

В тринадцать лет Кольку отдали учеником на склады «Скобяные товары. Хамлюгин и К°» — огромные, темные, гулкие, пахнущие железной свалкой. Зимой в них было едва ли не холодней, чем на улице.

Он знал грамоту, научился вести приходно-расходные книги, отправлял партии гвоздей, через несколько лет стал младшим приказчиком, купил себе суконную тройку, цеплял к жилету цепочку, мечтал завести часы...

Летом шестнадцатого его взяли в солдаты. Он попал не в окопы, а в минные классы при крепости Свеаборг. Вместе с ним учился вольноопределяющийся первого разряда, бывший студент Крашенинников. От него-то впервые Николай услышал, что мир извечно расколот враждой: «Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной...»

Почти не изучена, не признана важной война, протянувшаяся через 1917 год — с февраля по октябрь. Война в общем-то не кровавая, но люто ожесточенная. Война не армий, а мнений. Не орудийных залпов, а речей. Разномастные пророки-провидцы, какими всегда была богата Россия, постные последователи графа Толстого, мужиковствующие опрощенцы и эстетствующие западники, анархисты, взывающие: «Рыцари ночи, станьте рыцарями дня!», многочисленные партии, раздробленные на группы и группочки, неистово враждующие между собой, — все вырвались наружу, заголосили, схлестнулись. Площади, улицы, заводские цеха, казармы, монастыри и пансионы благородных девиц стали местом словесных баталий. В них побеждали не самые справедливые и не самые умные, а самые доходчивые, возвещавшие наиболее простые мысли, которые без напряжения могло понять неискушенное большинство.

«Экспроприируй экспроприаторов!» — в русском переводе: «Грабь награбленное!» — более категоричного и ясного требования представить невозможно. Каждый обездоленный должен ухватиться за него. А на Руси обездоленных подавляющее большинство. Испокон веков на святой Руси дешево стоила человеческая жизнь и ничего не стоило человеческое достоинство. Всего пятьдесят шесть лет тому назад можно было продать человека, запороть его до смерти, не боясь ответственности перед законом. И те, кто восставал против этого, тоже не отличались человеколюбием. Вот что писалось в прокламации «Молодая Россия», распространявшейся в Москве через год после отмены крепостного права:

«С полною верой в себя, в свои силы, в сочувствие народа, в славное будущее России, которой вышло на долю первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик: **к топору!** И тогда бей импера-

торскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам. Помни, что кто тогда будет не с нами, тот будет против; кто против — наш враг, а врагов следует истреблять всеми способами. Да здравствует социальная и демократическая республика русская!»

И вот — «грабь награбленное!» При таком воззвании нет никакой нужды размышлять, надо действовать, причем решительно и недвусмысленно: «Грабь!» И только через это «кто был ничем, тот станет всем!» Не столь уж и важно, как будет выглядеть заветное «всем», оно любому и каждому представлялось весьма и весьма смутно. К чему гадать, мудрствовать лукаво — грабь, действуй! Обездоленная Русь подымалась на дыбы.

Николай Иванников никогда не приписывал себе больших подвигов в революции, но один случай из своей военной жизни он вспоминал часто и с гордостью.

Он рассказывал...

— Загнали мы колчаковцев в болото, уйти им нельзя — кругом трясина. И много их там сидело, не знали, что наши части дальше пошли, догонять тех, кто вырвался. Нас осталось и всего-то десятка два штыков да три «максима». И ребята наши еле держатся — трое суток не спали, голодные, мокрые. Ждем: ну как полезет саранча, три наших пулемета не удержат. Все на меня смотрят: мол, ты здесь старший, решай. И я решился — сиял с себя пояс с наганом, отправился.

Денек серенький, дождичек сыплет, прыгаю с кочки на кочку, слышу:

— Стой! Кто идет?

— Парламентер! — говорю. — Для переговоров.

А сам с кочки на кочку, ближе да ближе... Подпустили, полезли на меня со всех сторон — рожи черные, бороды в тине, черти из преисподней краше.

— Ты кто, сучий сын?

— Комиссар четыреста пятнадцатого революционного полка.

— Комис-сар! Ах, сволочь! Эй, братцы, сам комиссар к нам пожаловал! Пришьем падло!

— А жить, — говорю, — хотите?

— Бог не выдаст, свинья не съест. Про нас видно будет, а ты откомиссарил. Молись на кочку, нехристь!

— Валяйте, я без оружия. Только обмозгуйте: намного ли меня переживете?

Потолкались, пошушукались и снова ко мне:

— Чего ты от нас хочешь?

— Во, — говорю, — похоже на разговор. Слушайте наши условия: выходить по двадцать человек, сдавать оружие. И помните — под наведенными пулеметами выходить придется, так что уж лучше без шуточек.

— А там нас всех к стенке?

— Офицеров возьмем в плен, а солдатам — выбор: кто хочет — оставайся у нас, не захочет — катись на все четыре стороны, без оружия, конечно.

Пооглядывались, пошептались, приказывают:

— Отойди в сторонку. Мы тут обсудим.

Отошел, сел на пенечек, закурил у всех на виду, делаю вид, что мне черт не брат, ничего не боюсь. А солдатня сбилась, митинг устроила: кричат, винтовками трясут, никак не договорятся.

И вдруг — бац! Воздухом в ухо ударило. Пуля-то, поди, на вершок от уха прошла. И тут все, кто митинговал, шарахнулись — кусты затрещали. Смотрю — уж ломают кого-то, морду бьют, матерятся:

— Хочешь, чтоб искрошили нас?! Так твою перетак! Сам сдыхай — мы не желаем!

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Выстрел-то и решил все. Тут же дружно стали разбиваться на двадцатки...

До утра мы принимали из болота гостей — партию за партией.

А вечером, уже в селе, приводят мне на суд четверых: три офицера

да еще бородатый с лычкой на погоне. Он-то в меня и стрелял. Встал перед столом, руки по швам, борода вперед — мужик служилый.

— Откуда ты? — спрашиваю.

— Из Олонецкой губернии, деревня Броды.

— Семью имеешь?

— Баба да трое детей.

— А земли сколько?

— Так что совсем мало — три десятины всего, да и та худая. Деготь в лесах гоним, тем и живем.

— Бедняк же. Что ж ты не своим делом занялся? Их благородиям положено в меня стрелять, не тебе, борода.

— Так что разрешите доложить: нехристи вы, Христа продали, креста не носите.

— Темнота, темнота! Что мне с тобой делать?

— Так что ваша взяла — анафемская. Ставь к стенке, а я уж помолясь...

— Трое детей у тебя, дерево дремучее.

— Что уж, бог не оставит. Одна надежда.

— Эй, отведите его в обоз, пусть за конями следит. И не вздумай шалить, дядя. Второй раз не спустим.

Такого легко простить — из своих, заблудился по слепоте. Но суда ждали три офицера, один пожилой, полный, с эдакой осаночкой, два других совсем мальчишки — шеи кадычками, мундиры мятые, в грязи, а лица бледные, чистенькие, глазастые.

Пожилой шагнул на меня, уставился в переносицу — барский взгляд, — говорит:

— Я вижу — вы добрый человек, поэтому осмелюсь обратиться к вам с просьбой.

— Говори.

— Я ваш враг, вот уже двадцать пять лет ношу офицерские погоны, по мордам таких, как вы, учил, расстреливал, не отказываюсь — «ваше благородие» в полном смысле ваших представлений. И откровенно признаюсь — меняться не хочу, товарищем вам не стану. Но вот эти молодые люди... Поверьте, они еще не успели ни в чем согрешить против вас. Осмелюсь просить: рассчитайтесь со мной, разрешите им жить.

А глазастые офицерики мне ответить не дали, вскинулись:

— Господин штабс-капитан! Да как вы смеете!.. Да мы не нуждаемся! Тут только что простой русский мужик — пример мужества!..

Похоже, его благородие говорил правду — больших грехов за мальчишками нет. Но простить их, как простил бородача из деревни Броды?.. Призадумаешься да почешешься. Получалось бы, комиссар прощает всех подряд, даже дворянских волчат. И это в самый-то что ни на есть обостренный разгар классовой борьбы!

Да волчата и не хотели моей милости — сами рвались на смерть.

Говорят, когда их вывели на расстрел, они обнялись и... запели. Нет, не «Боже, царя храни», а «Как ныне сбирается вещий Олег»... Черт их разберет!

Один из мальчишек, сказывают, пел — заслушаешься. Штабс-капитан подтягивал ему и плакал, словно баба.

Отец Максимилиана, вспоминая, всегда ронял слово жалости к мальчишкам-офицерам, но никогда не раскаивался, что пришлось их расстрелять.

Эй, живей, живей, живей,
На фонарь буржуев вздернем!..

Над колыбелью сына — верую в искупляющую силу фонаря-виселицы.

III

Маркс и Энгельс были противниками «верую» — «Наше учение не догма, а руководство к действию».

1899 год. Николаю Степановичу Иванникову не исполнилось еще и трех лет.

Владимир Ульянов — уже заметная фигура среди русских революцио-

неров. Он резок и решителен, придерживается в марксизме самых крайних позиций. Ходит по рукам его работа «Что такое «друзья народа»...» — три тетради против народников. Они в разное время отпечатаны на гектографе — всего каких-нибудь двести с небольшим экземпляров. Мало. Но ее читают в Вильно и Пензе, во Владимире и Чернигове, в Киеве и Томске, даже в Вене, не говоря уже о Петербурге и Москве.

«От брошюры, исполненной желчных характеристик... веяло подлинной революционной страстностью и плебейской грубостью, напоминавшей о временах демократической полемики 60-х годов. Несмотря на некоторую тяжеловесность изложения, плохую архитектонику статей и отдельные скороспелые мысли, брошюра обнаруживала и литературное дарование, и зрелую политическую мысль человека, сотканного из материала, из которого создаются партийные вожди».

Эти слова сказаны Юлием Мартовым, уже ставшим врагом Ленина, умиравшим от чахотки в изгнании.

Несколько лет назад в Петербурге была создана организация социал-демократов из 17 человек, «которая, — по словам все того же Мартова, одного из семнадцати, — знаменовала собой первый шаг по превращению идейного течения в партию». Скоро их станут называть «стариками». Ульянову тут 25 лет, среди этих «стариков» он еще не вождь, но уже первый среди равных.

В самом начале года в Германии выходит книга Эдуарда Бернштейна «Предпосылки социализма и задачи социал-демократии». Бернштейн и прежде пытался «пересмотреть» марксизм, в новой книге он пробует логически обосновать свой пересмотр. Бернштейном возмущены Роза Люксембург и Гельфанд-Парвус, Плеханов и Каутский. Возмущен в Шушенском и Ульянов, он же Владимир Ильин, автор солидного «Развития капитализма в России», только что вышедшего из печати.

Нет, он не считает, что марксизм нельзя поправлять и критиковать. «Мы вовсе не смотрим на теорию Маркса, — пишет он, — как на нечто законченное и неприкосновенное...» Но боится, что подпевающие буржуазии теоретики постараются «убить марксизм посредством мягкости», «удушить посредством объятий».

Ульянов гневно нападает на известного пропагандиста марксизма Струве, который тоже высказывается против «ортодоксальных перепевов» Маркса.

Он отвечает ему из Сибири: «...Нет, уж лучше останемся-ка «под знаком ортодоксии»! Не будем верить тому, что ортодоксия позволяет брать что бы то ни было на веру, что ортодоксия исключает критическое претворение и дальнейшее развитие, что она позволяет заслонять исторические вопросы абстрактными схемами. Если и есть ортодоксальные ученики, повинные в этих действительно тяжких грехах, то вина падает всецело на таких учеников, а отнюдь не на ортодоксию, которая отличается диаметрально противоположными качествами».

Итак, партии еще не существует. Но раньше самой партии в пылу полемики уже рождаются крылатые словечки типа «ревизионизм» и «ортодоксия». А «ревизионизму» теперь суждено сопровождать учение Маркса, клеймя и бичуя вероотступников — до сего дня.

Ревизионизм нынче — тяжкое государственное преступление. За него судят и садят в тюрьмы. За него без суда и следствия запирают в больницы для умалишенных. Кошмар ревизионизма перешагнул границы нашей страны, поливает кровью землю Китая...

3

Одно из ранних воспоминаний детства Максимилиана Иванникова.

Пасмурный день за окном, взрослых нет, они на работе, квартира предоставлена детям. У Максимки обычный гость — Ленка, дочь Ивана Ивановича Крашенинникова, того самого вольноопределяющегося из свеаборгских минных классов, который учил бывшего приказчика скобяных складов, рядового Николая Иванникова азбуке классовой борьбы. Максимкиного отца и Крашенинникова не раз разносила жизнь в разные стороны, но они помнили друг друга, искали и находили, продолжая оставаться один учителем, другой учеником. Крашенинников руководил крупным главком, отец Максимки был его заместителем. Они даже жили рядом, дверь в дверь, напротив — два шага через узкий коридор.

Ленка моложе Максимки на восемь месяцев, светлая, голубоглазая, тщательно причесанная, с торжественным бантом в волосах, в коротком платьице, легкая, как бабочка. Она хорошо помнила, что Максимка старший, подчинялась во всем.

У дяди Вани на стене висела сабля, именная, полученная в гражданскую войну за храбрость, — ножны украшены тусклым серебром, как и рукоятка, вкрадчиво изогнутая, просящая руки. Самая красивая вещь на свете! Максимке казалось, что за нее не жалко отдать и жизнь.

Изредка дядя Ваня снимал ее со стены и разрешал вынимать из ножен. Максимка держал в руках узкую, излучающую холодный свет полосу стали, и душа его заполнялась жаркой отвагой. Он чувствовал — становится другим человеком, не маленьким мальчишкой, который с трудом открывает тяжелую входную дверь, а высоким, сильным, красивым. Он лучше всех, он смелее всех, он с этой сталью в руке презирал не только Ленку, но даже отца и дядю Ваню. Оттягивающая руку узкая полоса, по ней стекает свет, хотелось торжествующе кричать. И Максимка не выдерживал, кричал, пытался взмахнуть саблей... Тогда ее у него отбирали, вешали на стену. «Боец растет — держись, чемберлены!»

И Максимка вооружался деревянной саблей, а Ленка палкой от мухобойки. Он рубил поставленные друг на друга игрушки: кубики, кукол с отбитыми носами, оловянных солдатиков...

— Буржуйских пап! Буржуйских мам! Буржуйских сынков! Буржуйских солдат! — кричал Максимка.

И Ленка, потрясая бантом, с девчоночьей неумелостью, орудуя палкой, поддерживала:

— Буржуйских девочек! Буржуйских извозчиков! Буржуйских почтальонов! Буржуйских рабочих!..

— Буржуйских рабочих нельзя! — кричит Максимка.

— Почему? — распахивала голубые глаза Ленка.

— Они не буржуйские!

— А какие?

Этого Максимка объяснить не мог. Он знал лишь, что слово «рабочий» всегда произносилось с глубоким почтением папой, мамой и дядей Ваней Крашенинниковым.

Примерно в это же время — или чуть позднее — на всю страну прошумела история Павлика Морозова, донесшего на своего отца. Его именем стали называть школы и дворцы пионеров, ему ставили в скверах памятники, со страниц «Пионерской правды», с кумачовых плакатов внушалось детям: «Будьте, как Павлик Морозов!»

Спустя семь или восемь лет во Всесоюзном пионерском лагере Артеке состоится слет мальчиков и девочек, предавших своих отцов и матерей в руки правосудия, отрекшихся от них.

IV

Я воспитан в почтении к диктатуре пролетариата, с детства принимал ее, не задумываясь. Сейчас вот задумался, и всплывают сотни вопросов, простых и требовательных до недоуменной оторопи. Как это раньше они у меня не возникли? И даже не слышал, чтоб их задавали другие. Диктатура — пугающее слово для тех, кто мечтает о свободе.

Диктатура — ничем не ограниченная власть пролетариата, рабочего класса. Возможно ли, чтоб весь класс, миллионы людей просто так, скопом могли властвовать? Миллионы у власти?.. Каким образом?

Через выборных?.. Из тысяч и миллионов общим голосованием выбрать считанные единицы, облечь их диктаторской властью? Но их диктаторство ничего не будет стоить, если не станет опираться на какую-то силу. На какую?.. Армию? Полицию? Или на что-то иное?..

Ну, а что как эти выбранные диктаторы, заручившись силой армии и полиции, вместо того чтобы проводить интересы многомиллионного

класса, станут проводить свои интересы — узкоклановые, а возможно, и просто шкурнические? Или же такая опасность начисто исключена?

Но, допустим, в диктаторы попадают предельно честные люди, но люди же! Людям свойственно ошибаться. Ошибки диктаторов, наделенных неограниченной властью, никому не подконтрольных, легко могут стать обязательными для всех правилами, неукоснительными законами. Общество, узаконивающее ошибки, проводящее их в жизнь, — не страшно ли?..

Наивные вопросы, бесхитростные. Но у меня от них сплошной туман в голове и гнетущий страх.

Двое в комнате:
я
и Ленин...

Жадно ищу каждое новое высказывание Ленина о диктатуре пролетариата — год за годом, с самых ранних упоминаний...

«Для уничтожения сословий требуется «диктатура» низшего, угнетенного сословия, — точно так же, как для уничтожения классов вообще и класса пролетариев в том числе требуется диктатура пролетариата».

Это сказано еще в 1903 году, перед II съездом партии. Здесь даже в первом случае слово «диктатура» стеснительно взято в кавычки. Но о том, как она, диктатура, выглядит, — не сказано, одно лишь настойчивое — «требуется»!

1905 год. «Штык поставлен в порядок дня», позади «Кровавое воскресенье», Ленин в Женеве выпускает работу «Две тактики социал-демократии». В ней он пишет:

«Великие вопросы в жизни народов решаются только силой».

«...Защита от контрреволюции и фактическое устранение всего противоречащего самодержавию народа. Это и есть не что иное, как революционно-демократическая диктатура».

И опять слова, слова — «защита от контрреволюции», «самодержавие народа», — а что за ними кроется, как сие будет выглядеть на практике — увы, ничего. Лишь «новоискровцу» Мартынову брошено вскользь замечание, что понятие диктатуры класса отличается от диктатуры личности.

Через полтора года, разбирая статью Каутского (еще не «ренегата»), полностью солидаризируясь с ним, Ленин заявляет, что Маркс имел в виду «конечно, диктатуру (т. е. не ограниченную ничем власть) массы над кучкой, а не обратно». Запомним это.

Говоря о диктатуре, Ленин никогда ее не подслащает: «Диктатура есть государственная власть, опирающаяся непосредственно на **насилие**. Насилие в эпоху XX века, — как и вообще в эпоху цивилизации, — это не кулак и не дубина, а **войско**». «Нет ни грана марксизма... если бы мы сказали: мы против применения насилия!»

1917 год. В России переворот. В «Письмах из далека» Ленин пишет: «Пролетариат же, если он хочет отстоять завоевания данной революции и пойти дальше, завоевать мир, хлеб и свободу, должен **«разбить»**, выражаясь словами Маркса, эту «готовую» государственную машину и заменить ее новой, **сливая** полицию, армию и бюрократию с **поголовно вооруженным народом»**.

Ага! Диктатура пролетариата — это «поголовно вооруженный народ», слившийся с полицией, армией, бюрократией. Но как этот альянс будет выглядеть в натуре? Как организован, подчинен ли кому? Или же об организации и подчинении не может быть и речи? Стихийная, разобщенная, неуправляемая вольница, где каждый действует по принципу — что хочу, то и ворочу?..

Месяц спустя Ленин размышляет: «Такая власть является диктатурой, т. е. опирается непосредственно на насилие. Насилие — орудие силы. Каким же образом Советы станут применять эту власть? Вернутся ли они к старому управлению через полицию, будут ли вести управление посредством старых органов власти? По-моему, они этого сделать не могут...» Ответа по-прежнему нет.

А еще через несколько месяцев, прячась от Временного правительства, Ленин в своей знаменитой работе «Государство и революция» настойчиво и многократно повторяет, что диктатура пролетариата — «власть, опирающаяся непосредственно на вооруженную силу масс».

«**Народ** подавить эксплуататоров может и при очень простой «машине», почти что без «машины», без особого аппарата, простой **организацией вооруженных масс»**.

До власти остаются считанные дни, а что такое диктатура пролетариата, право же, неясно. Общий ответ: «простой организацией вооруженных масс» — никак не удовлетворяет. В качестве организующей силы предлагаются Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Предположим, выборные Советы станут контролировать действия масс, учтите — вооруженных масс! Но контроль станет пустой формальностью, если он не подкреплен требованиями — поступай так, а не иначе, контроль — неизбежно какая-то форма подчинения. А подчинение в любом виде требует наличия силы. Для контроля над — шутка сказать! — вооруженными массами Советы должны, по-видимому, опираться тоже на силу оружия и притом не иначе как тоже на массовую. Тогда законно спросить: кто же диктатор — массы или те, кто над массами? И не приведет ли такое противопоставление двух вооруженных сил к антагонистическим столкновениям? А при наличии такой опасности не лучше ли Советам воспрепятствовать вооружению масс? Но тут уж между диктатурой Советов и диктатурой пролетариата никак нельзя ставить знак равенства!

Ясности нет, а время подошло, теоретизировать поздно. Может, Ленин, став у власти, практически найдет нужные формы?..

Но вот примерно через полгода после захвата власти он делает неожиданнейшие заявления:

«Что диктатура отдельных лиц (!!!) очень часто была в истории революционных движений выразителем, носителем, проводником диктатуры революционных классов, об этом говорит непререкаемый опыт истории».

«...Поэтому решительно никакого принципиального противоречия между советским (т. е. социалистическим) демократизмом и применением диктаторской власти отдельных лиц нет».

«Но как может быть обеспечено строжайшее единство воли? Подчинением воли тысяч воле одного».

Двое в комнате:
я
и Ленин...

Я не могу прийти в себя от панического изумления.

Ленин только что говорил о вооруженных массах, не столь давно повторял вслед за Марксом, что диктатура для него — это неограниченная власть «массы над кучкой, а не обратно». И нате вам, какие там массы — нет, даже не кучка, а диктаторская власть отдельных лиц! Оказывается, «выразитель, носитель, проводник» диктатуры революционных классов — некий диктатор, «подчиняющий волю тысяч воле одного»! Так вот как выглядит форма диктатуры пролетариата — как она знакома! — все тот же неизменный самодержец-правитель! Непонятно только, зачем было сбрасывать царя-батюшку, коронованного диктатора? Зачем было столь долго и упорно бороться против царизма, кричать об узурпации, сидеть в тюрьмах, подымать восстания, поливать кровью улицы городов и поля без того многострадальной России? Все это для того лишь, чтоб вместо Николая II посадить кого-то другого.

Диктатура одного лица!.. Даже Сталин во время своей монаршьей власти не осмелился произнести такие слова — воистину издевательские, сводящие к полной бессмыслице значение революции!

Что это — предательство прежних свободолюбивых принципов, предательство марксизма? Чудовищный трюк беззастенчивого политикана, готовящего под маркой диктатуры пролетариата почву для самоличного диктаторства?

Ой нет, не так-то все просто.

Вглядимся еще раз в идеи, проповедуемые Лениным.

Борьба классов — путь к освобождению. Раз ты согласился с этим положением, тогда согласись и с необходимостью насильственной диктатуры. Как можно бороться, не применяя насилия? Как можно удержать победу над врагами, не применяя к ним диктаторских мер? Рассчитывать, что побежденных — а значит, и озлобленных — врагов можно сделать

друзьями путем уговоров, взывая к их рассудку и совести, может только идиллически настроенный дурак.

Ты согласился на диктатуру победившего класса, на массовую диктатуру. А как еще можно представить ее себе, если не в виде вооруженных масс, некогда угнетенных, ныне победоносных? Диктаторство проводится только силой, а сила — это «не кулак, не дубина», это — оружие!

Вооруженные диктаторские массы — как опять же понимать сие? Не так ли, что каждый, носящий оружие, — сам по себе диктатор, никому не подчинен, а всех подчиняет? Столь нелепый кошмар даже во сне не приснится. Неорганизованная вооруженная масса — отрицание какого бы то ни было порядка, какой бы то ни было власти, это гибельный для общества анархический хаос.

Диктаторство через вооруженные массы — нелепость. Любая власть откажется от такой химерической затеи с первых же шагов своей деятельности, неизбежно станет ратовать за жесткое подчинение самих стихийных масс.

А реализовать массовое подчинение легче всего, проще всего одним способом — «подчинением воли тысяч воле одного».

Что и требовалось доказать.

Нет, тут не предательство марксизма! Маркс на месте Ленина или бы отказался от своего учения, или неизбежно пришел к тому же, как и любой и каждый из рыцарей свободолюбия. Уж коль признал классовую борьбу, признай рано или поздно необходимость диктаторства личности, вернись обратно к идее монаршьей власти. Деться некуда.

Противники Ленина не раз называли его диктатором, не раз уличали его в жестокости. Мол, что стоит одно его замечание в письме к Курскому: «Расширить применение расстрела» или его высказывания в пользу террора: «Террор — это средство убеждения...»

Да, Ленин не был подвижником человеколюбия и не мог им быть. Да, он задолго до Октябрьской революции признавал необходимость террора. Еще в 1905 году на III съезде РСДРП Ленин, ссылаясь на Маркса, заявил: «Он (Маркс. — **В. Т.**) говорил: «Террор 1793 г. есть не что иное, как плебейский способ разделаться с абсолютизмом и контрреволюцией». Мы тоже предпочитаем разделываться с русским самодержавием «плебейским» способом и предоставляем «Искре» способы жирондистские». В том же году Ленин повторяет это и в своей работе «Две тактики социал-демократии»: «Удастся решительная победа революции, — тогда мы разделаемся с царизмом по-якобински, или, если хотите, по-плебейски».

Однако в первые дни после Октябрьского переворота он высказывает определенную надежду: «Нас упрекают, что мы применяем террор, но террор, какой применяли французские революционеры, которые гильотинировали безоружных людей, не применяли и, надеюсь, не будем применять... так как за нами сила».

Террор, за который стоит Ленин, все-таки отличается от якобинского — ограниченней, сдержанней.

«Было бы смешно и нелепо отказываться от террора и подавления по отношению к помещикам и капиталистам, продающим Россию иностранным «союзным» империалистам... Но так же, — если не более, — нелепо и смешно было бы настаивать на одной только тактике подавления и террора по отношению к мелкобуржуазной демократии, когда ход вещей заставляет ее поворачивать к нам».

Действительно, как обойтись без террора в революцию, когда голодная, разрушенная страна охвачена братоубийственной гражданской войной? И можно ли в такой обстановке ждать от человека проявлений отвлеченного и возвышенного гуманизма, если этот человек убежденно верует, что «ни один еще вопрос классовой борьбы не решался в истории иначе, как насилием». И сложившаяся обстановка, и само учение, принятое им, толкает на жестокость, избежать ее нельзя, зато легко можно утратить меру, стать слепо жестоким, безоглядно беспощадным, превратить кровавый террор в единственный способ проведения своих идей в жизнь. Таким в свое время стал Максимилиан Робеспьер, чья жуткая фигура, ей-ей, еще снисходительно оценена историками.

Ленин выгодно отличается от этого революционера. Он в самый раз-

гар борьбы, когда одно упоминание о капитализме вызывало всеобщую бешеную ненависть, предлагает призвать на помощь... капитализм — пусть государственный, но капитализм! И, что удивительней, проводит это предложение в жизнь. Он, Ленин, презиравший интеллигенцию, не доверявший ей, считавший ее «прислужницей буржуазии», тем не менее настойчиво стремится «использовать» ее, готов подкупить высокими окладами. И, наконец, делает решительный шаг в сторону частного собственника — нэп! Все это отнюдь не обостряло классовую борьбу, а стушевывало ее, мешало распространению массового террора, глушило кровавый разгул.

Можно отыскать факты, уличающие Ленина в жестокости, но нельзя и забывать, что он проявил себя совсем в ином плане.

Его называли диктатором, а кто из политических деятелей такого масштаба избежал подобного упрека? Но вспомним, что он, стоя во главе правительства, добивался проведения своих взглядов только через ожесточенную полемику с теми, кто делил с ним власть, порой даже оставался в одиночестве. И голов рубить не пытался, и в тюрьму за несогласие не бросал. Были случаи, он не стеснялся публично признавать свои ошибки: «Эта мысль (придать законодательные функции госплану. — **В. Т.**) выдвигалась тов. Троцким, кажется, давно. Я выступал противником ее... Но по внимательном рассмотрении дела я нахожу, что, в сущности, тут есть здоровая мысль...» Он не украшал себя высокими званиями и наградами, лично не стремился выделиться. Право же, это не характерно для единовластного диктатора.

Он произнес диктаторские слова, звал к узурпаторству, но сам узурпатором не был. Он жертва железной логики. Жертва слепого, фанатичного верования. Жертва социального недомыслия.

Это драма — драма идей.

4

Однажды мать, вернувшись с работы, принесла домой рулон глянцевитой бумаги. Развернула — оказался портрет Сталина.

— Какой дом без вождя! — сказала мать.

Без вождя?.. Без вождя не жили. С незапамятных для Максимки времен на стене, над комодом висел портрет Ленина — взгляд с прищуром, галстук в горошек. Этот прищур, этот галстук славились в стихах, воспевались в песнях. Ленин давно был членом их семьи, почетным и неназойливым.

Портрет Сталина оказался очень большим — занял всю свободную часть стены — и цветным. Статный, в зеленом полувоенном кителе, вождь стоял за столом, опираясь в разложенные бумаги согнутыми пальцами, под черными усами таилась доброжелательная улыбочка. Маленький, одноцветный, изрядно выгоревший Ленин сразу потерялся.

Максимка первый заметил: в какой угол комнаты ни отойди, Сталин с портрета все равно смотрит на тебя. С улыбочкой. Пристально. Без прищура.

Матери это понравилось.

— Как живой!

А Максимку немного пугало и озадачивало: как же так — живой, когда он на бумаге?

К Сталину следовало привыкнуть.

V

Диктатура пролетариата — насилие одного класса над другими...

И сразу же встал вопрос: как тут быть с крестьянством?

> Назови мне такую обитель,
> Я такого угла не видал,
> Где бы сеятель твой и хранитель,
> Где бы русский мужик не стонал?

Его, извечно стонавшего от непосильного угнетения, снова под насильственную диктаторскую власть?..

Крестьянин — сомнительный помощник в революции. «Пролетарию нечего терять, кроме своих цепей», а крестьянину, хоть и мизерна его

собственность, но она ему так же дорога, как помещику обширные поместья, фабриканту фабрика,— терять ее не хочется.

Кроме того, крестьянство «не представляет из себя особого класса». Одни из сельчан, разбогатев, стали кулаками — эксплуататорами, другие, обеднев, оказались батраками — пролетариями, кому «нечего терять», а есть еще середняки — имеют собственность, но хлеб добывают своим горбом и, разумеется, мечтают разбогатеть.

Диктатура? Над кем из них? В какой мере?

Российские революционеры по-разному отвечали на эти вопросы. Одни считали: освободить крестьянство, дать ему землю — главная и единственная задача грядущей революции. Эсеры — духовные последователи Александра Ульянова.

Другие — вроде Троцкого с товарищами — вообще отказывались доверять крестьянству, предлагали после революции зажать их без содрогания диктаторской рукой.

А Ленин?..

Он мечтал о союзе. Всегда резкий, угловатый, вызывающе бескомпромиссный в выражениях, он тут даже впадал в благодушно-медоточивый тон, присущий утопистам всех времен и народов.

«Когда рабочий класс победит всю буржуазию,— писал Ленин,— тогда он отымет землю у крупных хозяев, тогда он устроит на крупных экономиях **товарищеское хозяйство**, чтобы землю обрабатывали рабочие вместе, сообща, выбирая свободно доверенных людей в распорядители, имея всякие машины для облегчения труда, работая посменно не больше восьми (а то и шести) часов в день каждый. Тогда и мелкий крестьянин, который захочет еще по-старому в одиночку хозяйничать, будет хозяйничать не на рынок, не на продажу первому встречному, а на товарищества рабочих: мелкий крестьянин будет доставлять товариществу рабочих хлеб, мясо, овощи, а рабочие будут без денег давать ему машины, скот, удобрения, одежду и все, что ему нужно. Тогда не будет борьбы между крупным и мелким хозяином из-за денег, тогда не будет работы по найму, на чужих людей, а все работники будут работать на себя, все улучшения в работе и машины пойдут на пользу самим рабочим, для облегчения труда, для улучшения жизни».

Не правда ли, заманчивая идиллия?

Ну, а чего же ждали сами крестьяне от революции?

В начале сентября 1917 года «Известия Совета Крестьянских Депутатов», газета эсеров, напечатали «Примерный наказ, составленный на основании 242-х наказов» крестьян. Он требовал:

«Право собственности на землю отменяется навсегда...

Наемный труд не допускается...

Землепользование должно быть уравнительным, т. е. земля распределяется между трудящимися...

Формы пользования землею должны быть совершенно свободны, подворная, хуторская, общинная, артельная, как решено будет в отдельных селениях и поселках».

Поразительна оперативность Ленина. Он в это время прячется от Временного правительства, но тем не менее сразу же не только замечает «Наказ», но и откликается статьей «Крестьяне и рабочие», где оценивает этот материал как «единственный в своем роде», считает, что он «должен быть в руках каждого члена партии».

Через несколько недель — Октябрьская революция, и «Наказ» ложится в основу «Декрета о земле». И Ленин дает объяснения делегатам съезда Советов: «Здесь раздаются голоса, что сам декрет и наказ составлен социалистами-революционерами. Пусть так. Не все ли равно, кем составлен, но, как демократическое правительство, мы не можем обойти постановление народных низов, хотя бы мы с ним были не согласны... Мы должны следовать за жизнью, мы должны предоставить полную свободу творчества народным массам».

Но очень скоро в стране начинается голод. Ленин вынужден призывать: «Нужен массовый, «крестовый» поход передовых рабочих ко всякому пункту производства хлеба...» То есть «крестовый поход» на крестьянина. Приходится забыть высокие слова о «полной свободе творчества». Не отдашь хлеб — отберем силой!

Вот тогда-то и начинает выясняться, что крестьянин чрезвычайно устойчив против силы. Как ивовый прут — гнется, но не ломается. Он в своем хозяйстве всегда может найти укромное местечко, куда спрятать хлеб, что никакие «крестоносцы» его не найдут. Крестьянских хозяйств по стране миллионы, над каждым не поставишь контролера от государства. Мало того, на излишне сильный нажим крестьянин может ответить бойкотом: берете у меня хлеб, а взамен ничего не даете, так я не стану лишка стараться, посею только для себя, а сверх того — шалишь.

Вспомним назидательный рассказ Льва Толстого «Много ли человеку земли надо». Воистину безмерна жадность крестьянина к земле, ее он готов оплатить ценой жизни. Ради земли он пошел за революцией. И вот этот крестьянин, только что исступленно мечтавший о земле, стал от нее отказываться: «Зачем она мне? Что ни посей — отберут. Чего зря-то хрип ломать!» Посевные площади стали стремительно сокращаться, поступление хлеба в город грозило прекратиться совсем. Костлявая рука голода душила молодое государство.

С мужиком, оказывается, можно делать дела только полюбовно: дай ситец, керосин, сапоги — получи хлеб. А в стране разруха — ситец не ткется, керосин не добывается. Новое государство попадало в зависимое положение, его диктаторская власть оказывалась беспомощной. А выход?..

Он был. В обобществлении разрозненных крестьянских хозяйств в крупные, над которыми можно было бы осуществить контроль. В крупном контролируемом хозяйстве уже не спрячешь хлеб, и землю обрабатывать там нетрудно заставить. Государство получило бы власть над крестьянином.

Рассчитывать, что сами крестьяне добровольно станут объединяться,— утопия. Не зря же они из всех форм свободного землепользования, предоставленных «Декретом», выбрали не артельную, не общинную, а почти поголовно — «подворную» форму единоличного землепользования. Тысячелетиями мужик стремился к независимости через собственность.

Земля в длину и ширину —
Кругом своя.
Посеешь бубочку одну,
И та — твоя.
И никого не спрашивай.
Себя лишь уважай.
Косить пошел — понашивай,
Поехал — поезжай.

Применить диктаторское насилие? Но какая нужна сила, чтоб заставить миллионы крестьян жить и работать не так, как они хотят! Государство, переживающее разруху и войну, такой силы еще не имело. Да это было бы не что иное, как насилие в масштабе всей нации. Правительство, решившееся на такой узурпаторский акт, могло с полным основанием называться антинародным. Кроме того, и классики марксизма тут прямо и недвусмысленно высказывались против применения силы. «Энгельс подчеркивал,— напоминал Ленин,— что социалисты в мыслях не имеют экспроприировать мелких крестьян, что лишь **силой примера** будут выяснять им преимущества машинного, социалистического земледелия».

Нет, коллективизация деревни через приказ и оружие не в духе Ленина. В марте 1919 года с трибуны VIII съезда партии он предостерегает:

«...Коммуны мы поощряем, но они должны быть поставлены так, **чтобы завоевать доверие крестьянина**. А до тех пор мы — учащиеся у крестьян, а не учителя их... **Нет ничего глупее, как самая мысль о насилии в области хозяйственных отношений среднего крестьянина.**

Задача здесь сводится не к экспроприации среднего крестьянина, а к тому, чтобы учесть особенности жизни крестьянина, к тому, чтобы учиться у крестьян способности перехода к лучшему строю и не сметь командовать! Вот правило, которое мы себе поставили! (Аплодисменты всего съезда)».

И Ленин от коммун повернул в обратную сторону — к признанию частной собственности и свободной торговли, к нэпу!

Не все соглашались с ним. Троцкий, например, кидал грозные лозунги — «индустриализация за счет деревни», «завинчивание гаек», то есть применение силы. Троцкий был бесхитростно откровенен — пагубное качество для политика,— его выбросили из страны и предали анафеме.

А вот после смерти Ленина в числе чуть ли не самых активных сторонников «мягкого» обращения с крестьянством стал... Кто? Представьте

себе — Сталин! На XIV съезде в своем политотчете он, можно сказать, в какой-то степени взял даже под защиту кулака.

«Если задать вопрос коммунистам, — говорил он, — к чему больше готова партия — к тому, чтобы раздеть кулака, или к тому, чтобы этого не делать, но идти к союзу с середняком, я думаю, что из 100 коммунистов 99 скажут, что партия больше всего подготовлена к лозунгу: бей кулака. Дай только, — и мигом разденут кулака. А вот что касается того, чтобы не раскулачивать, а вести более сложную политику изоляции кулака через союз с середняком, то это дело не так легко переваривается. Вот почему я думаю, что в своей борьбе против обоих уклонов партия все же должна сосредоточить огонь на борьбе со вторым уклоном (т. е. «бей кулака». — В. Т.)».

И эти слова тоже встречены аплодисментами съезда. Произнесены они в конце 1925 года, до начала сплошной коллективизации оставалось немногим больше трех лет.

Через два года, на XV съезде, Сталин все еще благонравно корит: «Неправы те товарищи, которые думают, что можно и нужно покончить с кулаком в порядке административных мер, через ГПУ: сказал, приложил печать, и точка. Это средство — легкое, но далеко не действенное. Кулака надо взять мерами экономического порядка, на основании революционной законности».

Спустя год с небольшим после того, как прозвучало это заявление, началась поголовная коллективизация — своеобразная облава на многомиллионное крестьянство. И начал ее не кто иной, как Сталин со своим аппаратом, ни с кем не посоветовавшись, ни у кого не испросив благословения.

XVI съезд партии только послушно признал свершившийся факт, с раболепной услужливостью запоздало одобрил его.

Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно! —
Но им без волненья
Внимать невозможно.

История корчит гримасы.

5

Был вечер, обычный, летний. Старая, ржавая крыша напротив под лучами садящегося солнца, казалось, раскалилась до вишневой спелости. В затененной влажной глубине между домами суетливо жила знакомая улица — приходили и уходили трамваи, крякали гудки редких автомобилей, стучали по булыжнику колеса ломовых телег.

Отец пришел с работы раньше матери. Они всегда приходили в разное время — то мать раньше, то отец, и редко когда входили в дверь вместе. Отец умывался на кухне, слышались плеск воды и довольное фырчанье.

В дверь кто-то робко поскребся — может быть, Ленка. Максимка бросился открывать.

За дверью, вплотную — куча странного народу. Впереди высокий, тощий старик с сухой, пыльной бородой.

— Сынок, — спросил он слабым голосом, словно был в чем-то очень виноват, — тятька-то твой дома ли?

Максимка понял: спрашивают отца, отошел в сторону, пропуская старика.

Старик обернулся к тем, кто стоял у него за спиной, кивнул головой, первый переступил порог.

Их было пятеро: сам старик, длинный, перекрученный, с жилистой коричневой шеей и кривым хрящеватым носом над спутанной бородой, старуха с плоским морщинистым лицом, женщина, похожая на старуху, в низко повязанном платке, прятавшем глаза, девчонка в рваной кофте, свисавшей ниже колен, и наконец мальчишка чуть, верно, моложе Максимки — мокрый нос, белые-белые выгоревшие космы и открытый недоуменно рот. Что-то цыгански пестрое, дорожное, прокаленное солнцем, пропыленное насквозь, круто пахнущее пòтом заполнило не слишком просторную комнату. Старик и старуха были обуты в лапти, детишки босые. Старик озирался кругом, мял скрюченными пальцами шапку, мальчишка как вошел, так сразу сел прямо на пол, уставился на Максимку с открытым ртом, словно перед ним был не обычный человек шести лет, а слон из зоопарка.

— Тятька-то твой дома ли? — несмело переспросил старик.

Отец вышел на голоса, в нательной рубахе с распахнутым воротом, с красным лицом, красной, натертой полотенцем шеей, чистый, свежий, неприлично сильный перед этим цыгански пыльным народом.

Он ничего не успел сказать, только взметнул вверх брови, — первым старик, за ним женщины, за женщинами девчонка в длинной кофте повалились на колени с сухим шорохом. Только мальчонка как сидел, так и остался сидеть с открытым ртом, завороженно уставившись на Максимку.

Старик с размаху поклонился нечесаной головой до полу, разогнулся, сутулясь, глядя снизу на отца, мигая красными веками, заговорил тонким, рвущимся, торопливым голосом:

— Не оставь нас, отец родной! Не оставь, кормилец!

И у него дрожала вытянутая вперед сухая борода, прыгал под бородой кадык.

— Вы... кто? — выдавил из себя отец. — Встаньте! Встаньте!..

— Не оставь, Христом-богом просим! Изводят, со свету сживают... Ты глянь, глянь на нас!.. Коли б мы со старухой одне были, так бог с нами, со старыми да некорыстными. Пожили — хватит. А то ведь, глянь, детей малых наказывают...

— Вы встаньте сначала.

— Не встанем, отец, с места не двинемся, покуда ты нашу беду не разведешь. А беда-а! Бедовей-то не стрясется... Справедливец ты наш, полюдски нельзя, по совести, так хоть вспомни — какая-никакая, но родня мы тебе...

— Да кто вы, право? — У отца не сходила багровость с лица и шеи.

— Мы же, любой, из Патлов. Мы же родня прямая жинке-то твоей, Глафире Андреевне. Я вот дядей ей прихожусь, она мне племянница будет.

— Дядя?!

— Знает она меня хорошо, на руках носить приходилось. Ее-то покойный отец, царство ему небесное, Андрей Емельянович, — брат мой кровный. Он Андрей, а я Василий Емельянович.

— Встань, Василий Емельянович, расскажи толком... Да встань ты с колен! Что я тебе, губернатор царский или генерал, чтоб передо мной лоб разбивать!

— Да вы нонче господа почище царских-то будете, даром что с виду просты. Вон и Глашка высоконько прыгнула — рукой не достанешь. А давно ли из рукава кусок выглядывала.

— Подымайся!

Но упрямый старик продолжал стоять на коленях, задирал пыльную бороду, плоский в груди, иссушенно тощий, казалось, еще раз поклонится до полу — хрустнет и сломается пополам.

— Мы уж в ножках валялись у Глафиры-то Андреевны. Мы к ней в присутствие ходили. Отыскали, бог помог, слезьми горючими молили. Да, не в обиду будь сказано, крутенька Глафира-то, камушек у нее заместо сердца — слушать не захотела, прогнала. А про тебя, слышь, говорят — добрый, и власти у тебя больше Глашкиной.

В уголках красных век старика копились слезы. А мальчишка у порога, по-прежнему открыв рот, не сводил с Максимки взгляда. Максимке хотелось спрятаться, и щипало в носу, как после песни «Позабыт, позаброшен».

С задранной дрожащей бороды сыпались суетливые, перепутанные слова:

— Санька-то, это старший-то мой, не стерпел — он тоже порох хороший, — ударил вгорячах Фролку Микишина. Фролка-то нынче в начальство вышел. Саньку сразу под наганом увели, а у нас начисто все переписали да в высылку... Детей бы пожалели, грудной-то помер в дороге... В высылку, на Кукуй, в холодные места! А за что?! Ну, пусть Санька — садова голова виноват. Спроси с него как следует, а нас почто?.. А детей?.. Всех в кулаки чохом!

Максимка всей кожей вдруг озябшего тела переживал за старика. Как хорошо, что он пришел к отцу. Отец выручит. И зря они ходили к матери.

Но голос отца был такой, что не только Максимка оторопело обернулся к нему, а даже мальчишка с открытым ртом перевел глаза.

— А как вы попали сюда?

Задранная борода старика медленно поползла вниз.

— Как вы оказались в Москве?

Старик молчал, смотрел в пол.

— Ну?!

— С поезда сошли за кипятком...

— Сбежали с поезда?

Старик затравленно пошевелился.

— Детишек спасти хотелось. Далеко ли отъехали, а один уж помер в дороге. Что с этими станется? Они-то в чем виноваты? И курица своих цыплят бережет, ай непонятно? У тебя вон сын растет...

— Работников держал?

— Работников!.. Эва! Да с сыном мы, с Санькой, вдвоем ломали. На одной кобыленке восемь десятин распахивали. Жилы из себя тянули. За это нас и в кулаки сунули, что баклуши не били. Кому на землю плевать, те в силе да в почете. Фролка Микишин вон — чепуховый человек, только горло драть умеет — в жизни, поди, с первыми петухами не вставал...

Борода старика уперлась в грудь, он смотрел не в лицо отцу, а в ноги. И отец тоже отводил от него взгляд.

— Не могу я решение изменить, — сказал он глухо.

— Сердца у вас нет.

— Сердце есть, нет пути иного. Приходится перешагивать кой через кого...

— Через кого?! Через него шагаете! — Старик дернул бородой в сторону завороженного мальчишки, сидящего под порогом. — И не жалко вам?

— Жалко, — хрипло ответил отец.

И тут вдруг вскинулась женщина в низко надвинутом на глаза платке, сутуло стоявшая на коленях за спиной старика:

— Так пожалей! Просим же! Про-сим!

— Могу к себе взять... обоих.

— Не от-дам-м!! — Стекла в окне отозвались зудящим стоном. — Еще и детей! Последнее!! Не от-дам!! Умру с ними!

Старуха темной рукой тянула сзади старика за полу:

— Пойдем, Христа ради. Пойдем уж...

— Отца загубили! Из родного дому повыгнали! Теперя — детей отдай!

— Вам же лучше, пока не устроитесь... — Отец блуждал глазами в стороне.

— Убейте лучше! Убей-те!! Меня! Детей! Всех!! Вот мы — нате, ешьте!!

Мальчишка, видать, привык к таким крикам, не обращал на мать внимания, снова разглядывал Максимку ясными остановившимися глазами.

Старик с трудом поднялся с колен, сгорбленный, с упавшими к коленям тяжелыми, плоскими руками, с повисшей пыльной бородой:

— Нет сердца у вас, нет! Не грешите уж... Эх!

Он натянул на жидкие волосы шапку, сердито выговаривая, помог подняться с колен женщине.

— Окстись, непутевая, окстись! Разве их криком возьмешь? Ну-кось... Нет у вас сердца, нет...

Девчонка в кофте сердито дернула за руку мальчишку, тот наконец оторвал от Максимки глаза, закрыл рот, сопя, стал подыматься с полу.

Захлопнулась дверь, в комнате стало пугающе пусто.

Дверь — медная, захватанная до блеска ручка, медные, но тусклые шляпки гвоздей, там, где гвозди давно выпали, клеенка пузырится, внизу у самого пола она и совсем порвалась — торчат клочья серой ваты. Что может быть привычней двери, в которую ты входишь и выходишь десятки раз за день!

У отца на виске у самых волос дышала жилка, словно силилась уползти, спрятаться. Он почувствовал взгляд сына, повернулся, шагнул, поднял его с пола, на уровень тоскующих глаз. И Максимкино лицо само стало кривиться, по щекам потекли слезы.

Отец прижал сына к себе, пронес по комнате — подальше от закрытой двери, — опустился на стул, стал гладить волосы. Он гладил, а Максимка ждал, что отец скажет обычное: «Ну-ну, мужчины не плачут».

Но тот сказал другое:

— Придет время, сынок, когда мы будем так сильны, что начнем жалеть даже своих врагов. Даже их.

— Почему сейчас нельзя?

— Рано...

— Я хочу сейчас...

— Сейчас весь мир наши враги. Во всем мире готовят пушки и танки. Пушки, чтоб убить меня, маму. И тебя тоже.

— Но этот дедушка...

Старик никак не походил на врага. Таких, с бородой, рисовали на картинках — крестьянин с косой и рабочий с молотом пожимают друг другу руки. Даже на деньгах нарисованы рабочий и бородатый крестьянин.

Отец сухо ответил:

— Он кулак. Кулаки хотят спрятать хлеб, чтоб все мы умерли с голоду.

— А мальчик, папа? Неужели и он кулак?

— А мальчик — нет.

— Так почему ты не оставил его у нас? Тебе хотелось... Я бы ему все игрушки...

Отец долго молчал, глядя поверх головы Максимки. В серых глазах под бровями — застойная тоска.

— Хотелось, — произнес он наконец. — И мальчика, и девочку... Но не смог...

Тяжелые и сильные руки отца бережно обнимали сына. Комната затягивалась сумерками, с улицы доносился скрежет трамвая.

Тихий, тихий вопрос усталым голосом:

— Что они будут делать в городе? У них наверняка нет ни копейки...

И Максимка представил себе, как бродят они под фонарями — босые и пыльные, впереди тощий, высокий, перекрученный старик. Идут и не знают куда. А люди спешат мимо них, все незнакомые люди. И они не догадываются, что это враги — кулаки, которые убивают не пушками, а голодом.

А все-таки как их жаль! И отцу тоже...

А матери было нисколько не жаль.

— Мало я у этих родственничков христараднichала? Обстирывала, сопли детишкам подтирала, из болот на хребте траву таскала, чтоб они молоко топленое трескали. А слышала одно: «Побирушка, голытьба непутевая! Помни, чей хлеб ешь!» Нет, Колька, сдавать что-то стал в тебе классовый боец. Через стенку бы тебя продавать — за красную девку сошел.

Отец виновато отмалчивался.

VI

Владимир Ильич! Пора. Поговорим о нравственности.

2 октября 1920 года на III Всероссийском съезде комсомола Вы сами подняли этот вопрос:

«Когда нам говорят о нравственности, мы говорим: для коммуниста нравственность вся в этой сплоченной солидарной дисциплине и сознательной массовой борьбе против эксплуататоров. Мы в вечную нравственность не верим и обман всяких сказок о нравственности разоблачаем».

Но в этом же выступлении Вы произнесли иные слова: «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество».

И Вы навряд ли стали бы отрицать, что какие-то законы нравственности, открытые человечеством в практике жизни, входят составной частью в те духовные богатства, обогащаться которыми Вы призываете. Тем более что еще раньше, мечтая о будущем бесклассовом обществе,

Вы отмечали, что «люди постепенно **привыкнут** к соблюдению элементарных, веками известных, тысячелетиями повторяющихся во всех прописях правил общежития...» Не будем судить, насколько реально упование на такую «постепенную привычку», отметим лишь, что Вы тут не отрицали преемственности в новом обществе старых, вековых правил общежития, ложащихся в основу нравственных понятий. Тогда почему столь категоричное утверждение: «Мы в вечную нравственность не верим»? Конечно, нет ничего вечного в мире сем, какие-то понятия нравственности устаревают, подлежат пересмотру, изменениям, но отметать чохом «вечную нравственность» — не верим! Перебор, который ставит Вас в противоречие не только ко всей человеческой культуре, но даже в противоречие к самому себе.

Вы недовольны старой нравственностью, а потому сочли возможным сделать следующее заявление: «Нравственно то, что полезно для революции».

Вдумаемся же в это.

Нравственность — совокупность правил поведения людей друг к другу и к обществу, то есть в каком-то смысле это правила человеческих отношений. Вы всю жизнь напористо стремились изменить бытующие человеческие отношения — существуют классовое различие и классовый антагонизм, необходимо добиться, чтоб этого не было; существует эксплуатация, следует уничтожить ее, бездельник не должен жить за счет труженика... Новые отношения — значит и новые правила поведения, новая, более высокая нравственность, ради нее стоит бороться, подымать революцию. Ради нее...

И вдруг оказывается — «нравственно то, что полезно для революции». Не революция для нравственности, а совсем наоборот — нравственность тут служит и применяется к революции. Революция уже не средство достижения чего-то нового, она — сама по себе цель. Выходит, ценны сами по себе разруха, голод, кровопролития, горы трупов и прочее, что неизбежно сопровождает революционные взрывы. Что может быть страшнее такого чудовищного абсурда?

Даже Ваши враги не осмеливались называть Вас безнравственным человеком, но именно Вы стали проповедником нравственности, поощряющей насилие ради насилия, соглашающейся на кровопролитие ради кровопролития.

И следует ли удивляться, что через двенадцать лет после Октябрьского переворота, когда государство проводит небывалое в мировой истории насилие по меньшей мере над десятками миллионов крестьян, страна молчит, никто не возмущается, больше того, вовсю славится этот сверхмасштабный насильнический акт. Миллионы семейств выгоняются из собственных домов, ссылаются в необжитые места Сибири и Крайнего Севера, мрут от голода и болезней. Мрут сосланные старики, женщины, сосланные дети! Подавляющее большинство уже уверовало: «Нравственно то, что полезно революции», значит, все правильно.

В то время, когда Вы произнесли эти слова, революция уже переросла в государство. Уже тогда было можно перефразировать: «Нравственно то, что полезно государству». Практически смысл нисколько не менялся. Все, что ни делалось во имя революции, делалось для укрепления нового государства, во славу его. И, конечно же, наиболее деятельным тут был Ленин, основоположник и глава возрожденного революцией государства.

Но именно Вы, Ленин, считались одним из самых яростных противников государства как общественного учреждения. Даже отец анархизма Петр Кропоткин бледнеет перед Вами; столь убийственно он на государство не обрушивался.

«Всякое государство, — писали Вы буквально перед самой революцией, — есть «особая сила для подавления» угнетенного класса. Поэтому **всякое** (Вы подчеркиваете это слово, не я. — **В. Т.**) государство **не**свободно и **не**народно».

«Пока есть государство, нет свободы. Когда будет свобода, не будет государства».

Есть ли нужда приводить другие Ваши высказывания? Их много, и все они в том же духе — непримиримы!

6

Максимилиан Иванников стал ходить в школу.

В его классе под портретом Бубнова, нового наркома просвещения, висела карта мира, два полушария — бледно-голубые океаны и пестрые, составленные из разноцветных стран-лоскутков континенты. Вверху одного полушария — наша страна, не лоскуток, а полотнище, словно развернутое красное знамя над планетой. Максимка путешествовал...

Африка — там угнетенные негры.

Америка — больше всего капиталистов. И негры угнетенные тоже есть. Их когда-то привезли в цепях из Африки.

Индия окрашена в зеленый цвет, как и маленькая Англия. Англичане богатеют, индусы умирают от голода.

Китай... Там даже ездят на людях, как на лошадях. Но там сейчас война, и есть уже своя Красная Армия.

Во всем пестром мире нет места, где бы простые люди жили хорошо. Только в нашей стране все не так, как всюду. Наша страна окрашена в красный цвет — цвет революции!

К нам прибыли испанские дети. Максимке сшили синюю шапочку с красной кисточкой — испанка, в таких теперь ходят все мальчишки и девчонки. И все знают два испанских слова: «Но пасаран!» — «Они не пройдут!» Но пасаран! И — «лучше умереть стоя, чем жить на коленях!»

Разбился самолет «Максим Горький», самый большой самолет в мире.

Умер сам великий писатель Горький.

А перед этим умер его сын Максим, которого Горький очень любил.

А помните злодейское убийство Кирова?..

И появились первые плакаты на заборах: «Будь бдителен — враг повсюду!». И новые портреты Сталина — с девочкой Мамлакат на руках: «Спасибо любимому Сталину за наше счастливое детство!».

Максимка — как все мальчишки — мечтает стать летчиком.

Нам разум дал стальные руки — крылья.
И вместо сердца пламенный мотор.

Портрет Бубнова сняли со стены.

VII

Ленин ненавидит государство: «**Всякое** государство **не**свободно и **не**народно». Всякое! В том числе и пролетарское.

Но на первых порах без государства не обойтись.

«Пролетариату необходима государственная власть, централизованная организация силы, организация насилия и для подавления сопротивления эксплуататоров и для **руководства** громадной массой населения, крестьянством, мелкой буржуазией, полупролетариями в деле «налаживания» социалистического хозяйства».

То есть мышьяк — яд, но в руках врача он спасительное лекарство. Государство само по себе — орган угнетения, но только через него можно добиться желанной свободы.

И Ленин рисует картину освобождения: «**Все** граждане превращаются здесь в служащих по найму у государства, каковым являются вооруженные рабочие. **Все** граждане становятся служащими и рабочими **одного** всенародного, государственного «синдиката». Все дело в том, чтобы они работали поровну, правильно соблюдая меру работы, и получали поровну».

«Все общество, — повторяет он, — будет одной конторой и одной фабрикой с равенством труда и равенством платы».

Простой рабочий и директор завода оказываются в одинаковом положении. Как тот, так и другой наняты государством. Как тому, так и другому идет одинаковая заработная плата. Привилегии отменены и чины тоже. Не может быть и речи об угн енении кого-то, об эксплуатации. Даже карьеристские стремления уйдут безвозвратно в прошлое. Какая нужда стремиться к высоким должностям? Всюду равенство труда и платы.

«Такое начало, — утверждает Ленин, — на базе крупного производства, само собою ведет к постепенному «отмиранию» всякого чиновничества,

к постепенному созданию такого порядка — порядка без кавычек, порядка, не похожего на наемное рабство, — такого порядка, когда все более упрощающиеся функции надсмотра и отчетности будут выполняться всеми по очереди, будут затем становиться привычкой и, наконец, отпадут, как **особые** функции особого слоя людей».

И... «будет исчезать всякая надобность в насилии над людьми вообще, в **подчинении** одного человека другому, одной части населения другой его части, ибо люди **привыкнут** к соблюдению элементарных условий общественности **без насилия** и **без подчинения**».

И, разумеется, государство как орган подавления и угнетения станет просто ненужным, оно **отомрет** само собой за **ненадобностью**.

Такова картина нового общества, нарисованная Лениным в знаменитой работе «Государство и революция».

В 1920 году в речи на III съезде комсомола Ленин заявил, что «поколение, которому сейчас 15 лет, оно и увидит коммунистическое общество, и само будет строить это общество».

Пятнадцатилетним той поры вот-вот перевалит за семьдесят!

Так оглянемся же кругом!..

7

Дядя Ваня Крашенинников часто заходил по вечерам «на чаек». Из одной двери в другую, два шага через коридор. В нательной рубахе, перехваченной подтяжками, сквозь распахнутый ворот видна поросшая рыжим волосом грудь, с разведенными плечами, с выпирающим тугим животиком, просторный лоб сливается со сверкающей лысиной, короткие руки глубоко запущены в карманы брюк.

— Как жизнь, смена? — Вопрос к Максимке.

Последнее время дядя Ваня защищал какого-то Постникова, который выступал против рекордов.

Мать Максимки нападала на дядю Ваню:

— Кого под крылышко берешь, Иван? Из столбовых дворян твой Постников. Не дивно, что ему у нас все не нравится.

— Забываешь, что и Ленин из дворян.

— Сравнил.

— Постникова революция в Минусинске застала, не по своей воле там оказался. Он известный профессор-экономист, чье слово дороже — его или твое? Давно ли ты, Глафира, по складам «папа-мама» читать научилась?

Мать затягивалась папиросой, сводила над переносицей тугие брови.

— Государство у нас пролетарское. Я, Иван, пролетарка без подмесу, от сохи да от лаптей. Потому и слово мое цени больше.

— Только потому, что в лаптях ходила, твое невежество ценней знаний? Ну, так мы индустрию не подымем.

У матери в голосе глуховатые перекатцы, глаза под сведенными бровями колючи.

— Весь народ, Иван, как я — не профессора. Ты хочешь народ активности лишить — заткнитесь, мол, перед умными интеллигентиками. Не выпляшется! Открой газету, Иван. Кто с первой полосы глядит, чье слово печатают? Паши Ангелиной! Такая, как я, сельская девка учит уму-разуму твоего умного профессора. А мне запрещено? Ну-у нет, от своих прав не откажусь: буду учить, и пусть передо мной руки по швам держит, слушается. Моя-то народная активность для нашей державы дороже книжных знаний. Так-то!

Мать победоносно всадила окурок в блюдечко, а Иван Крашенинников задумчиво стоял, сияя под лампой лысиной, глядел в пол.

— Активность дороже знаний?..

— Народная, Иван, народная активность!

— Народная... Да-а... Ты случаем не читала — есть у Чехова рассказец, «Унтер Пришибеев» называется?

— Не читала! — отрезала мать.

— А вот Максимка, должно быть, читал.

— Читал, — с готовностью отозвался Максимка. — Вредный такой, всех разгонял.

— Активность народа... А кто среди народа всех активней? Да унтеры Пришибеевы, кто в каждую щель лезет со своим указом, правоту кулаком доказывает. Если верить Чехову, за такую активность судить надо, а мы... Кто в деревне после революции встал во главе сельсовета? Самый умный мужик? Нет, самый крикливый, самый активный — отставной унтер Пришибеев, не иначе. Вот и дожили: профессора Постниковы, интеллигенты, воспитанные на Марксе и Герцене, бросавшие кафедры ради революции... Руки по швам, Постниковы, перед активистами Пришибеевыми, не читавшими даже Чехова!

Отец, как всегда, молчал в спорах! Но было ясно — он на стороне дяди Вани Крашенинникова. Дядя Ваня — учитель отца.

VIII

«Все граждане превращаются здесь в служащих по найму у государства».

По найму?..

Но эта весьма нехитрая операция — основа основ капиталистических отношений. Я имею капитал, вложенный в производство, ты не имеешь ничего, кроме пары рабочих рук. Я тебя нанимаю, и я диктую тебе свои условия, назначаю тебе зарплату, какую считаю нужной. А уж раз я плачу тебе, то обязан и проследить за тобой — хорошо ли работаешь. Наивно полагаться на твою совесть. Я вынужден не доверять тебе, вынужден ставить над тобой надсмотрщиков и контролеров. И, конечно, только прекраснодушный идеалист может рассчитывать, что в ответ на мое недоверие ты ответишь доверием. И я, чтоб твое недоверие не переросло в открытую вражду, из своих доходов плачу на содержание чиновников, которые составляют выгодные для меня законы, плачу на полицию и армию, которые в случае нужды заставят тебя, недовольного, подчиняться мне.

Так выглядело «по найму» при капитализме.

А «по найму» у государства?..

И здесь, раз уж нанимают рабочего, не он сам назначает себе зарплату, а кто-то другой, облеченный этим правом. Значит, останутся недоверие и проверка. И так же, как при капитализме, взаимное недоверие столь же легко, как и прежде, сможет перерасти в антагонизм.

«Государство, бывшее органом угнетения и ограбления народа, — признается Ленин, — оставило нам в наследство величайшую ненависть и недоверие масс ко всему государственному».

А почему должна исчезнуть эта «величайшая ненависть и недоверие масс» к новому государству, пользующемуся старой формой найма? Раз будут нанимать, то будет и антагонизм, будет ненависть, придется издавать сдерживающие законы, прибегать к поддержке организаций полицейского типа. И уж, конечно, речи о «вооруженных массах» рабочих быть не может. Неразумно нанимателю доверять оружие тем, кого он нанимает.

Если ты решил строить машину по старому принципу пара, толкающего поршень, то мало надежды, что она взлетит за облака, скорей всего у тебя получится разновидность дедовского паровоза, способного ползать по рельсам.

Бессмысленно рассчитывать, что старый способ «по найму» приведет к новому обществу, к новым общественным отношениям. Нет, общество будет построено сходно со старым — с диктующим условия нанимателем, с бесправным нанятым и прочими вспомогательными фигурами, вплоть до тех, кто оберегает нанимателя силой оружия. И уж, конечно, это столь схожее с прежним общество будет и жить похоже, болеть теми же болезнями, нести в себе старую вражду и старую ненависть.

Но стоп! Мы совсем забыли ленинское равенство труда и платы. Оно же в корне меняет все наши рассуждения. Если это равенство провести в жизнь, то новое государство в отличие от капиталиста, нанимая рабочего, меньше всего будет вступать с ним в торгашеские отношения: отдай свои рабочие руки — заплачу. Новое государство всех нанимает, всем поровну платит. Нет повода для недоверия, для обоюдной вражды и ненависти. Существенная поправка — и все меняется...

Однако к нам стучится история Максимилиана Иванникова, происходящая двадцать лет спустя, как Ленин отложил в сторону неоконченную рукопись «Государство и революция», заявив: «Приятнее и полезнее «опыт революции» проделывать, чем о нем писать».

8

Максимка открыл глаза. Било через крышу соседнего дома солнце в окно, привычно погромыхивал трамвай внизу, влетали в открытую форточку заносчивые гудки автомобилей.

Но что-то тихо в комнате. Неужели проспал,— отец и мать ушли, а он, Максимка, опоздал в школу?

Отец и мать сидели за столом, друг против друга, готовые встать и идти на работу. Друг против друга, молчащие, неподвижные. А стол пуст — не стоит чайник, не расставлены чашки. Тихо в комнате.

Не спуская глаз с родителей, Максимка полез из-под одеяла. И мать с отцом разом обернулись, а Максимка вздрогнул.

У матери известково-белый лоб, под самыми глазами на скулах два красных пятна, и сами глаза, широко открытые, не видят сына, скользят куда-то мимо.

Прежде он никогда не замечал седину на висках у отца. А она есть, и лицо желтое, усохшее. Взгляд такой же, как у матери,— пустынный, скользящий.

Что-то случилось... Он, Максимка, вроде ничего такого — окон не разбивал, не дрался, учителям не грубил. Да и кому придет в голову жаловаться на Максимку ночью! Вчера-то вечером было все в порядке.

— Надо идти,— устало сказал отец и не поднялся со стула.

Мать помолчала, перекатила желваками, процедила сквозь зубы:

— У сердца шакала держали.

— Надо идти. Пора,— засуетился отец. И это было на него не похоже.

— Папа,— что?..— подал голос Максимка.

Отец оторвал наконец себя от стула, глядя поверх Максимкиной головы, сказал:

— Подымайся, сынок. Скоро в школу идти.

Решительно встала и мать, бросила резко:

— Чайник сам разогреешь. В шкафчике — колбаса, масло!

И они поспешно ушли, как сбежали.

Било солнце в окно. Улица внизу была накрыта сырой, пахучей утренней тенью.

Дом, где жили Иванниковы, когда-то был гостиницей, в ней пьянствовали старорежимные купцы. Двери выходили в длинный коридор. Никто из ребят его не любил — темный, пустой, гулкий, да и играть в нем не разрешалось, со всех сторон сразу высовывались головы: «А ну, марш во двор! Раскричались!» Здесь жили служащие, и все ответственные, только в самом конце коридора — музыкант из симфонического оркестра, Борис Моисеевич Шольцман. Он постоянно таскал с собой огромную, как чемодан, виолончель.

Обычно в то время, когда Максимка выходил, открывалась дверь напротив, из квартиры дяди Вани появлялась Ленка. Она стала тощей и длинной, на полголовы переросла Максимку, хотя и училась на класс ниже. Косички кренделькамн, отутюженный воротничок, вздернутый нос — выглядит старше и задается этим.

— Здравствуй, Робеспьерчик,— говорила она с чуточной улыбочкой.

— Здравствуй,— ворчал он. Его сердила эта улыбочка чуть-чуть, этот «Робеспьерчик» вместо имени. Но попробуй рассердиться вслух — округлит глаза, невинно спросит: «А что я такого сказала?» И правда — что? Робеспьер — не ругань, не придерешься.

— Тебе, наверно, опять снились самолетики?

— А тебе — мальчики!

— Конечно, Робеспьерчик, такие, как ты. С ума по ним схожу.

Так, препираясь, они шли до школы и там на пороге расставались на весь день.

Сегодня Максимилиан уходил рано, и соседняя дверь не открылась навстречу. Она даже показалась какой-то особенно глухой, словно за ней не просто спали — хотя давно пора всем вставать,— а никого нет, квартира пуста, уехали надолго на курорт.

Под дверью что-то валялось, он поднял — старая тряпичная кукла с облупившейся рожицей из папье-маше. Он вспомнил ее. С этой куклой Ленка приходила к нему в детстве. Не раз эта кукла испытывала удары его деревянной сабли, она и тогда была уже старой, ее не жалели. Наверное, Ленка давным-давно не играет в куклы, да еще такие замызганные. Почему вдруг она выбросила ее сюда?

Максимка кинул куклу на старое место и направился к лестнице.

Внизу в парадном стояла дворничиха Фатима, скрестив на пухлой груди руки, встречала издалека взглядом. Сегодня все вели себя как-то странно — у Фатимы раскисшие глаза, лицо огорченное, ожидающее. Словно он, Максимка, сделал во дворе что-то такое серьезное, что она уже не сердится на него, а жалеет: вот, мол, идет совсем пропащий человек.

— Здравствуй, тетя Фатима.

Он хотел проскочить мимо — на всякий случай, вдруг да и в самом деле что открылось! — но Фатима схватила его за рукав, приблизила расстроенное лицо.

— Ее не видел?

— Кого?

— Ох, Дуся бедный, Ленка бедный!

— Почему — бедные?

— Ай, ты что? — Фатима отстранилась в ужасе.— Ай, он не знает!

— Чего?

— Он не знает! — И пригнулась к Максимкиному уху, жарко задышала: — Забрал его. Машина приехал большой. Как хлеб возит... Забрал!

— Не понимаю — кого забрал?

— Иван Иваныч.

— Дядю Ваню? Куда?!

— Кричи громче, кричи... Тюрьма знаешь?

— Дядю Ваню? В тюрьму? Зачем?

— Ай, какой глупый, ка-кой глупый! Зачем тюрьма?.. Врага народа зачем?.. Дуся бедный, Ленка бедный...

Он стоял, и плыло в сторону широкое лицо Фатимы.

Старая тряпичная кукла под наглухо закрытой дверью... «У сердца шакала держали...»

Враг народа!

Он почувствовал, что Фатима выталкивает его на улицу:

— Иди, иди!.. Ай, байбак, опоздай в школа.

Сегодня — странная улица. Она залита ясным, уже по-летнему припекающим солнцем.

Та же трамвайная остановка, булочная, мастерская «Ремонт часов», магазин «Галантерея» — шнурки, пуговицы, сорочки,— знакомая, грудастая, похожая на тетю Фатиму, мороженщица на углу со своей тележкой. Военный и девушка едят мороженое и... смеются. Им в ответ смеется мороженщица.

Сегодня смеются! Странная улица.

А за стеклом «Ремонта часов», в прохладной полутьме, окруженный разными циферблатами — часовщик, нос, как клюв попугая, врос в верхнюю губу, копается себе. И вчера он так же копался.

Широким шагом идут парни в одинаковых белых свитерах, в одинаковых белых тапочках, с одинаковыми маленькими чемоданчиками, одинаковым напористым шагом — спортсмены из какой-то команды, спешат на тренировку, перебрасываются громкими словами. И тоже смеются...

Странная улица — на ней много счастливых и совсем нет несчастных. Не видно, не плачут.

Нет, кажется, все-таки есть — старуха, должно, из деревни, вид растерянный и расстроенный, бросается то к одному прохожему, то к другому, все останавливаются, терпеливо слушают ее, неуверенно качают головами, идут дальше, забыв о несчастной старухе.

Со своей бедой старуха бросилась и к Максимке:

— Сынок! Родимый! Скажи, ради Христа, где Третий Верхне-Михай-

ловский проезд? Там дочка живет. К ней приехала, три года не виделись...

Максимка, как и другие, покачал головой.

Странная улица... Никому не известно, что произошло здесь, рядом, в большом доме!

Школа была непривычно пуста и настораживающе таинственна. Слышно, как где-то на другом этаже стучит щеткой уборщица. Одинокий, заблудившийся в ненаселенной школе звук.

Но властно и вызывающе грохнула входная дверь, раздались высокие девчоночьи голоса, еще громыхание двери, еще... И школа проснулась, загудела — топот ног по длинным коридорам, хлопанье классных дверей, смех... В школе стало, как и на улице, — много счастливых и совсем нет несчастных.

Максимка болтался в этой счастливой коридорной шумихе, с кем-то здоровался, от кого-то отмахивался и все оглядывался, искал...

Почти у каждого мальчишки, помимо товарищей, с кем возишься на переменках, меняешься марками, ходишь в кино, есть в школе герой-избранник, кого нечасто видишь, еще реже с ним говоришь, больше наблюдаешь со стороны, хочешь походить на него. Иногда это учитель, чаще старшеклассник. Для Максимки таким был Лешка Корякин из десятого «А».

Во-первых, Лешка — сын героя. Его отец, паровозный машинист, не захотел отдать деникинцам груженный снарядами поезд, врезался в забитую станцию — взлетели в воздух вагоны, вместе с ними и Лешкин отец. Лешка совсем отца не знал, так как родился тогда, когда отец его уже вел свой последний поезд к станции, занятой деникинцами.

Во-вторых, Лешка никого не обижал из малышей, был самым справедливым из всех ребят. Лешкиной справедливости боялись даже учителя.

И, в-третьих, Лешка — оратор, выступал на каждом собрании, его всегда почтительно слушали.

Кто-то должен объяснить все. Сейчас! Немедленно! Иначе — умереть! Кто-то умней, старше, честней... Максимка искал в коридорной шумной суете Лешку.

Лешка был долговяз, худ, весь составлен из угловатых костей, узкое лицо, сплющенные бледные тонкие губы, большие, выпуклые, прозрачно-желтые глаза. От него, словно от наточенной бритвы, исходила опасная острота.

— Леш-ка-а... — Максимка задохнулся от волнения.

И Лешка понял, что его остановили неспроста, его взгляд стал вязким, как свежий мед.

— Что?

— Ленку Крашенинникову из пятого «Б» знаешь?

— Ну?

— Я с ней рядом живу...

— Ну, так что?

— Ее отца... ночью сегодня.

Лешка удивился, но не слишком, только вязкая желтизна глаз потемнела.

— Так!

— Он же герой гражданской!..

— Тухачевского тоже героем считали.

— Леш-ка-а! Мне страшно!

— Одним врагом меньше стало. Ты радоваться должен.

Но Максимка не мог заставить себя радоваться, произнес тоскливо:

— Кому верить теперь?

— Народу! — твердо ответил Лешка. — Тебе мало?

Максимка не посмел спросить у Лешки: кто такой народ? Уж это-то, наверное, сам знать должен, не маленький. Народ — это все, это те, кто ходит по улице. Еще вчера, как все, ходил по улице и дядя Ваня Крашенинников, тоже, поди, считался «народом».

Легче от разговора с Лешкой не стало.

Первым уроком была ботаника. Учитель рассказывал о строении цветка — цветоножка, чашечка, лепестки, тычинки, пестики... Максимка почувствовал вдруг, что слушает с удовольствием.

Представлялся луг, синее небо с тугими горбатыми облачками, высокая, таящая у корней влагу трава, облитые солнцем яркие цветы, гудят пчелы над ними. Солнце и цветы, в каждом цветке тычинки и пестики. Пчелы пьют нектар, пачкаются в пыльце, несут ее на другие цветы, лепестки облетают, созревают семена, падают на влажную землю, из земли тайком выползает слабенький росток, тянется вверх, крепнет, выбрасывает новый цветок с лепестками, тычинками, пестиками... И все начинается сначала. Ясная, чистая жизнь.

Он даже забыл на время о дяде Ване.

IX

Итак, «все дело в том, чтоб они (граждане. — **В. Т.**) работали поровну, правильно соблюдая меру работы, и получали поровну».

Зададим невинный вопрос: а как быть с теми, кто любит свою работу? Не для всех же труд — проклятие, неприятная обязанность, разве мало таких, для кого работа — захватывающая творческая деятельность? Увлеченный творчеством человек скорей всего не станет ревниво оглядываться на других, чтоб соблюсти меру. А как же принцип равенства?

Можно согласиться: перерабатывайте, коль уж вам так хочется, однако получать за свой самоотверженный труд вы станете поровну со всеми. Но можно ли считать передовым и прогрессивным то общество, которое ничем не стимулирует деятельность талантов, низводит их до уровня посредственностей? Скорей всего такое общество станет медленно развиваться, скудно жить, его участь — неизбежная отсталость.

Работать поровну, получать поровну — Ленин выдвигает в интересах рабочих, желая посадить «техников, надсмотрщиков» и прочих управляющих чиновников на «заработную плату рабочего». Но каждому ли рабочему столь уж выгодно это равенство труда и платы? Не будет ли лучший, опытнейший, хорошо обученный, квалифицированный рабочий считать себя обиженным, «получая поровну» с только что явившимся на завод желторотым учеником? Значит, чтоб соблюсти меру, есть один выход: опытный и толковый работник должен опуститься до уровня неумелого. Но тогда производительность труда в обществе неизбежно станет падать, а народ нищать.

Если квалифицированный рабочий будет трудиться в силу своих возможностей, а ученик в силу своих, а получать оба станут поровну, то произойдет весьма неприятное явление: неумеха и лодырь станет забирать для себя то, что сделано квалифицированными руками, то есть присваивать себе часть чужого труда.

Нет, квалифицированного — наиболее полезного для общества — рабочего такое равенство труда и платы вряд ли устроит. Но в таком случае имеет ли право такой рабочий требовать равенства платы по отношению, скажем, к своему техническому руководителю, возможно, уникальному специалисту в своем деле? Я, мол, с учеником равняться не хочу, а уж с инженером меня поравнять извольте. Тут уже рабочий выступает в порочной роли присваивателя труда.

Вся революционная деятельность Ленина была направлена только к одному — уничтожить присвоение чужого труда, уничтожить эксплуатацию! Бездельник не может жить за счет труженика! Ради этого, собственно, и было провозглашено: «Работать поровну, получать поровну!» И вот парадокс — именно это породило зловещую обстановку, когда бездарь и бездельник становятся эксплуататорами деятельных талантов, узаконило общественный паразитизм. Согласитесь — такой вид эксплуатации более гнусный и опасный, чем старый.

«Все дело в том, чтобы работали поровну, правильно соблюдая меру работы, и получали поровну». Право же, эти слова родственны по духу ветхозаветным: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты и в прах возвратишься». Как в первой фразе, так и во второй отражен взгляд подневольного раба, для кого работа была игом, тяжкой и унизительной обязанностью, наказанием Божьим, а вовсе не взгляд гражданина свободного общества, для кого труд — творческая потребность.

И, конечно же, провести в жизнь столь ультраархаические взгляды в двадцатом столетии просто невозможно. Они сразу бы привели к полнейшему развалу. Ленин формально не отказался от них, не заявил во все-

услышание: извините, но моя теория оказалась тут весьма неразумной. Он просто забыл ее и одним из первых выступил против уравниловки.

Сначала стали высоко платить спецам — тем самым «техникам и надсмотрщикам», организаторам производства, против которых столь усиленно выступал Ленин.

«Подобного рода, — вспоминает он в 1921 году, — исключительно высокое, по-буржуазному высокое, вознаграждение специалистов не входило первоначально в план Советской власти и не соответствовало даже целому ряду декретов 1917 года. Но в начале 1918 г. были прямые указания нашей партии на то, что в этом отношении мы должны сделать шаг назад и признать известный «компромисс» (я употребляю это слово, которое тогда употреблялось). Решением ВЦИК от 29 апреля 1918 г. было признано необходимым эту перемену в общей системе оплаты произвести».

Новая система оплаты начала постепенно охватывать все слои. Пока был жив Ленин, сохранялся «партмаксимум» как некий глухой отзвук неосуществленной мечты о равенстве труда и платы. Скоро он сменился солидными, год от года растущими окладами. А позднее вошли в моду еще и сверх того подачки «в пакетах», тайно подсовываемые видным партийным и государственным чиновникам.

Не последователи Ленина, а сам Ленин нарушил свой утопический принцип равенства, тем самым уже окончательно превратил государство в нанимателя по старому, капиталистическому образцу. Государство нанимало, определяло зарплату, следило, как она оправдывается, проявляло недоверие к труженику, вызывало у труженика ответное недоверие к себе, которое перерастало в антагонизм, в ненависть, вынуждало государство содержать верных, хорошо оплачиваемых чиновников, создавать мощные организации полицейско-жандармского типа, регулярную армию.

Произошла победоносная революция, и народ получил вместо многих раздробленных хозяев-частников одного монолитного хозяина. Повоевали, победовали, полили кровушки и вернулись к старому. Казалось бы, какая разница — что ни поп, то батька. Ан нет, разница! Внутри нового общества назревают грозные перемены.

9

В коридоре под дверями дяди Вани Максимка снова увидел куклу. Она валялась там, где он ее бросил. За день прошло по коридору много народу, и никто даже не сдвинул ее с места.

В школе Ленки не было. Что с ней? Может, умерла с горя? Он поднял куклу и позвонил.

За дверью тихо. Но он вдруг всей кожей почувствовал — кто-то там стоит. Стоит и не шевелится, не подает голоса. Тут! Прямо за дверью!

Стало жутковато, приложил губы к замочной скважине, произнес:

— Ленка. Ленка. Это я — Максимка.

И там явственно зашевелились, но снова притихли.

— Ленка. Это же я. Открой.

Секунды мертвой тишины, и внезапно, заставив вздрогнуть Максимку, щелкнул — как выстрелил — замок. Дверь, глухая, безжизненная, тихо подалась... Пугающе темные, совсем незнакомые глаза. А дверь медленно приоткрывалась все шире. Максимка проскользнул внутрь, навстречу пугающему погребным мраком взгляду.

Она нервно одергивала мятое платье. У нее на зеленом съежившемся личике распухший вишневый нос, волосы не заплетены в косички-крендельки, падают на грязные щеки, на вздернутые плечи, а глаза, сухие, провально-горячие, не прежние, совсем не Ленкины.

— Ленка, — сказал Максимка сердито, — думал, ты уже не жива.

А она смотрела странными глазами и все одергивала, одергивала платье.

Максимка, зажав в руках куклу, чтоб только не встречаться с Ленкиными глазами, стал оглядываться. Знакомая комната... Из нее словно собирались выезжать. Пустая этажерка выдвинута на середину, книги свалены в угол, накрыты старым ковриком. Этот коврик висел раньше на стене, а на нем — сабля. Максимка вертел головой, отыскивал саблю, но со всех сторон его встречали потревоженные вещи. У них был человечески-расстроенный вид, какой и подобает при переездах, при расставаниях. Часы-будильник лежали на полу, а на маленьком столике, где прежде они находились, покоилась подушка, на ней щетка для ботинок. А кукла оказалась даже за дверью. Старая, забытая кукла, он все еще держал ее в руке, хотел отдать Ленке, но постеснялся — очень-то нужна сейчас — и потихоньку уронил на пол.

Ленка разлепила губы:

— Тут все было разбросано. Я немного прибрала.

Хорошо же прибрала — ваксяная щетка на подушке. А Ленкина мама?! Совсем вылетело из головы, что и она должна быть здесь.

— Где тетя Дуся?

Ленка снова зашевелила непослушными губами:

— Утром ушла... Хлопотать... за папу.

— Хлопотать?!

Для Максимки это было целое открытие. Оказывается, не все кончено, оказывается, еще можно хлопотать, можно доказывать, что дядя Ваня не виновен. А он-то думал: раз арестован — сомневаться просто нельзя.

Дядя Ваня — лучший друг отца! Ведь если дядя Ваня виноват, тогда и отца подозревай. А это уж совсем, совсем — даже представить невозможно.

Максимка снова завертел головой, отыскивая именную саблю, но так и не отыскал. Ясно — случилась ошибка, нужно только похлопотать. Ему стало почти весело, даже сиротливые, не на своих местах вещи уже не расстраивали, как прежде.

Ленка всхлипнула без слез:

— До сих пор ее нет.

Он деловито задал вопрос, какой задала бы тетя Дуся:

— Ленка, ты ела?

— Не хочу.

— Нет, Ленка, тебе силы нужны. Еще умрешь.

Искать в перевернутой квартире еду он не хотел — пришлось бы тревожить и так кем-то потревоженные вещи. Он сказал:

— Ты дверь не запирай. Я сейчас...

— Не уходи, я боюсь.

— На минутку только. Не закрывай. Тебе силы нужны.

Бросился в коридор, суетясь, открыл свою квартиру. Ни мать, ни отец еще не вернулись с работы. В кухонном шкафу похватал, что подвернулось под руку, — хлеб, сахар, колбасу...

В кухне у Ленки он отыскал чайник, включил плитку, приказал:

— Садись!

Она врала, что не хотела есть, она была очень голодна. Ела хлеб, грызла сахар, он глядел на ее перепутанные волосы, на распухший нос, и у него все переворачивалось внутри от жалости. И, наверное, Ленка почувствовала его жалость, ей стало жаль саму себя, она заплакала. Грызла сахар, а слезы текли по щекам.

— Ты чего?

— Папа...

— Ты не плачь. — Он вдруг стал суров. За хлеб, за сахар, за доброту он — почувствовал — имеет право быть суровым и строгим, как старший. — Ну, чего зря нюни распускать? Хлопотать же ушли. Он сразу и вернется, если не виновен.

— Не виновен, — жалким эхом повторила она.

— Ну, это еще проверить надо. Вот проверят — и вернется как ни в чем не бывало.

— А вдруг... не вернется?

— Тогда — виновен! Тогда — не жалей! Ты подумай только: тебя обманывал, родную дочь! Тебя! Меня! Твою маму! Всех!

Он говорил и сам удивлялся высокой справедливости своих слов. Ему вдруг стало все ясно и просто: не враг — вернется, а раз враг — жалеть нечего. Иначе и быть не может. Просто и ясно, и на душе спокойно.

И Ленка не возражала, она слушала, плакала и давилась хлебом, принесенным Максимкой.

Их застала тетя Дуся. Она как-то неслышно открыла дверь, неслышно выросла на пороге кухни.

Максимка никогда не видел тетю Дусю без яркого румянца во всю щеку, не видел ее и без фартука, если только на Первое мая и на Седьмое ноября перед демонстрацией. И всегда тетя Дуся вкусно пахла свежевыстиранным полотенцем и туалетным мылом.

Сейчас тетя Дуся была одета как на демонстрацию — пальто с ворсом, шляпка с большой брошкой, из которой торчит острое перышко, а лицо чужое — оно отекло вниз, глаза распахнутые, сухие, точь-в-точь какие были недавно у Ленки.

Тетя Дуся оглядела стол, куски хлеба, рассыпанный сахар, колбасу, кружку перед Ленкой, положила на голову Максимки ладонь, сказала:

— Золотое у тебя сердечко... А сейчас — иди домой. Иди, милый...

И он ушел, так и не успев до конца убедить Ленку.

Мать встретила его словами:

— Ты был у них?!

Ровные брови вскинуты высоко на лоб, глаза холодные, знобящие, а голос непривычный, как из пустой бочки.

— Ленка... Я ей есть приносил.

— Чтоб больше ты не переступал их порог!

— Почему?

— Ты слышал, что я тебе сказала?! Не сметь! Ни одной ногой! Кто они тебе — родня, приятели? Не сметь!

Отец плечами загромождал окно, стоял спиной. Он не пошевелился, не остановил мать: «Глаша!» А Максимка рассчитывал — отец придет пораньше, можно будет без матери поговорить с ним обо всем. Отец молчит, отец даже не обернулся.

Ему легче всех доказать: «Если дядя Ваня виновен, то считайте тогда виновным и меня!» А это невозможно даже представить. Почему отец молчит? Почему он сейчас не остановил мать? Почему тетя Дуся не пришла к нему?..

Стало вдруг холодно и неуютно, и где-то, где-то копошилась невнятная мыслишка, совсем маленькая, беспомощная, но... страшная. Нельзя на нее обращать внимание, иначе совсем всему перестанешь верить.

Мать ходила нервно по комнате, сердито переставляла стулья, поправляла скатерть на столе.

Неожиданно отец заговорил:

— Ты помнишь?..

Мать вздрогнула и остановилась посреди комнаты, глядя в спину отцу.

— Ты помнишь тот процесс?.. Царского карателя, полковника... как его, Бесхлебова, что ли? Которого в Костроме выудили, он в портного перекрасился. Эдакий седенький старичок с тихим голосом — воды не замутит.

— Ты к чему? — спросила мать.

— Живьем сукин сын сжигал баб и детей в амбарах!

— Не пойму, что за нужда вспоминать царского холуя!

— Но ты помнишь, как он ответил на вопрос: что заставило вас так зверствовать?

— Не помню и помнить не хочу!

— Он ответил двумя словами: «Власть и служба!»

— За-мол-чи!! — неожиданно закричала мать.

Отец покосился на Максимку и замолчал, снова отвернулся к окну. Не нравился сегодня отец.

А какое у него лицо. Он только на минутку отвернулся от окна, но Максимка успел разглядеть: желтая кожа туго обтягивает лоб, глаза провалились в ямы, челюсть тяжело и упрямо выдается вперед — чужой, недобрый, не похожий на себя. И что-то скрывает.

Мать не скрывает, мать проще.

Вечером, перед тем как заснуть, уже лежа под одеялом, Максимка снова представил себе луг, осыпанный цветами. Летали пчелы. Цветоножка, чашечка, лепестки, тычинки, пестики... И ласточки купаются в синем воздухе...

А интересно, куда девалась сабля дяди Вани, ее тоже арестовали?

X

Ленин набросал краткую историю рождения советского бюрократизма:

«5 мая 1918 года бюрократизм в поле нашего зрения еще не стоит. Через полгода после Октябрьской революции, после того, как мы развалили старый бюрократический аппарат сверху донизу, мы еще не ощущаем этого зла.

Проходит еще год. На VIII съезде РКП, 18—23 марта 1919 года, принимается новая программа партии, и в этой программе мы говорим прямо, не боясь признать зла, а желая раскрыть его, разоблачить, выставить на позор, вызвать мысль и волю, энергию, действие для борьбы со злом, мы говорим **«о частичном возрождении бюрократизма внутри советского строя»**.

Прошло еще два года. Весной 1921 года, после VIII съезда Советов, обсуждавшего (декабрь 1920 г.) вопрос о бюрократизме, после X съезда РКП (март 1921 г.), подводившего итоги спорам, теснейше связанным с анализом бюрократизма, мы видим это зло еще ясней, еще отчетливее, еще грознее перед собой».

Тон у Ленина здесь почему-то достаточно бодрый, зато содержание этого краткого обзора удручающее: «разоблачение, выставление на позор, вызывание мысли и воли, энергии, действия для борьбы со злом» не только не помогли, не уменьшили зло — нет, наоборот, зло стало «еще ясней, еще отчетливей, еще грознее». Если речь шла «о частичном возрождении», то через два года — только через два! — наверное, нужно говорить о повсеместной всепроникающей заразе. И Ленин не раз признается: «Наше государство с бюрократическими извращениями», то есть бюрократизм становится определенным отличительным признаком нового государства.

А Ленин-то недавно мечтал о таком начале, которое «само собой ведет к постепенному «отмиранию» всякого чиновничества». По его мнению, чиновничество, даже не бюрократическое, — «паразит на теле общества». И словно в насмешку сразу же после революции — грозный рост бюрократизма! Процесс, прямо противоположный замыслам Ленина.

Что же заставило так бурно прорасти этот сорняк?

Ленин тут видит две причины.

Первая: «Царистские бюрократы, — говорит он, — стали переходить в советские учреждения и проводить бюрократизм, перекрашиваясь в коммунистов и для большей успешности карьеры доставать членские билеты РКП. Таким образом, после того как их прогнали в дверь, они влезают в окно!»

Вторая: «...Экономический корень бюрократизма: раздробленность, распыленность мелкого производителя, его нищета, некультурность, бездорожье, неграмотность, отсутствие оборота между земледелием и промышленностью, отсутствие связи и взаимодействия между ними».

Теперь, полвека спустя, «царистские бюрократы» давно повымерли, а бюрократизм жив, мало того, в наши дни он куда обширней, чем при царе-батюшке.

И давно у нас уже нет мелкого производителя, а значит, его раздробленности и распыленности, ликвидирована неграмотность, нет в стране былой некультурности, бездорожье не столь ужасающее, и оборот между земледелием и промышленностью плохо ли, хорошо ли налажен. А бюрократизм неисправимо цветет и множится.

Так чем же тогда жив бюрократизм? Что питает его?

10

Турник, брусья, козлы убраны, кольца подтянуты к потолку, внесены стулья и деревянные скамьи. Общешкольные собрания всегда проходили в спортзале.

Ленка сидела рядом с Максимкой. Волосы у нее снова расчесаны волосок к волоску, и платье выглаженное, с чистым кружевным воротничком, наверное, старалась вовсю, чтобы выглядеть как всегда — девчонка-аккуратистка. За эти дни она стала еще тоньше и, казалось, длинней, лицо острое и прозрачное, шея — как восковая свеча. В набитом зале она сумела отыскать Максимку, села рядом. Мать не разрешает встречаться

с нею и разговаривать, сидеть рядом, пусть даже молча, наверно, тоже не разрешает, но не гнать же ее Максимке, пусть сидит.

Выступал Лешка Корякин, шея рвалась вперед из распахнутого воротника выгоревшей футболки, щетинились волосы, рассекал воздух сухой кулак.

Лешка говорил о фашистах, которые сжигают на городских площадях книги, требуют пушки вместо масла, точат зубы на нашу страну. Лешка говорил, что «мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути!».

Максимка знал — Лешка скоро начнет говорить про Ленкиного отца, косился на Ленку: «Не выдержит, заплачет дура, подумают — жаль контру».

Тетя Дуся каждое утро уходила куда-то «хлопотать», но, похоже, у нее ничего не получалось — дядю Ваню не отпускали. И Максимка мало-помалу стал привыкать к мысли — дядя Ваня виноват, недаром же отец за него не заступается — молчит.

У Ленки — острый нос, желтые запавшие щеки, остановившиеся глаза, слушает, ждет.

И вот Лешка дошел:

— Недавно обезврежены враги народа Крашенинников и Сотников. Их дети учатся в нашей школе. Было бы несправедливо считать Елену Крашенинникову и Григория Сотникова нашими врагами...

Лешка — справедливый человек, справедливее матери Максимки — та теперь и Ленку, и тетю Дусю считает врагами, не здоровается.

— Но мы должны спросить их открыто и честно, в глаза: за кого вы? Что вам дороже — революция или отцы? С нами вы или нет?.. Я требую, чтоб они встали сейчас и сказали. Честно! Открыто!..

Ленка слушала, и по-прежнему неподвижно торчал ее восковой нос — не плакала, глядела стеклянным глазом вперед, мимо трибуны, мимо Лешки, в стену с портретом Сталина. Сталин держал на руках Мамлакат: «Спасибо любимому Сталину за наше счастливое детство!» И только щеки Ленки из желтых стали зеленовато-серыми, да Максимку пугал ее стеклянный глаз. «А все-таки не плачет!»

Не он один оглядывался на Ленку. Ближние оглядывались стеснительно, словно невзначай, и сразу же отводили глаза, а с дальних рядов откровенно подымались, вытягивали шеи, чтоб разглядеть.

В другом углу зала тоже шевелились головы, тоже поднимались с мест — там сидел Гришка Сотников.

Лешка соскочил с трибуны и сел за столом президиума — с краю, на угловой стул.

А в центре сидела директриса. Она поднялась, полная, с крупным мужским лицом, с коротко подстриженными волосами, все — и ребята и учителя — ее очень боялись, хотя она и разговаривала обычно тихо, без крика.

— Думается, мы не станем устраивать здесь допрос, — сказала она, как всегда, негромко, и, как всегда, ее было слышно всем. — Давайте закругляться...

Но Лешка громко выкрикнул со своего углового стула:

— Если они не трусы, пусть выступят!

— Пусть выступят, если захотят. А не захотят — не потянем. Плохи мы были бы, если б без выступлений не знали, чем живут и что думают наши товарищи...

И Лешка опять выкрикнул на весь зал:

— Если спрячутся за спины, они нам не товарищи! Сотников! Если ты не трус, встань и скажи!

И Сотников послушно поднялся в своем углу, долговязый, сутуловатый, длиннорукий, — его знали все, он играл вратарем за сборную школы, играл классно.

Сотников поднялся, и в зале стало тихо. А директриса постояла, постояла и села, низко склонилась над красным столом.

Зал молчал, Сотников стоял и перебирал большими руками пуговицы на пиджаке.

Зал молчал, не дыша, все головы были повернуты в сторону Сотникова.

— Я... — наконец выдавил он из себя. И еще тише стало в зале — вдруг да не послушается. — Я... — словно освобождался от удушья. И громче: — Отрекаюсь... — И снова глухо, так что в мертвой тишине еле-еле можно услышать: — Отрекаюсь... Он достоин... наказания...

И сел.

По залу прошел шорох, все головы повернулись теперь в сторону Максимки и Ленки.

Ленка сидела, согнувшись, торчал нос, стеклянно блестел глаз.

Тихо в зале, блестит Ленкин глаз.

А со всех сторон повернутые лица, со всех сторон разглядывают в упор. Тихо в зале. Ждут.

И вдруг Максимка понял, что Ленка не собирается вставать с места, не хочет говорить: «Отрекаюсь!» Пробежал по спине мороз, поджались пальцы ног. Вот так-так... Вот она какая — отец дороже...

Но все-таки было жаль Ленку — нос острый, шея, как свеча, и блестит глаз. Ленку хотелось спасти.

— Ты чего? — прошептал Максимка.

Она слышала, не могла не слышать, но не пошевелилась.

— Ты чего? Вставай.

У нее отливали зеленью щеки и блестел остекленевший глаз. А все продолжали жадно глядеть, зал ждал, не дыша.

И тогда Максимка отодвинулся подальше от Ленки.

Директриса снова поднялась, в тишине шелестяще потек ее усталый голос:

— Мы часто повторяем слова: «Надо держать порох сухим». Верные слова — порох сухим для врагов! Но это не значит, что его следует тратить на каждого встречного...

Ленкин глаз потух, она опустила лицо, из тощей щеи выступала тупая косточка, колени стискивали сплюснутые ладони. От нее и от Максимки начали отворачиваться, — говорила директриса, а ее привыкли слушать и слушаться. Максимка теснился подальше от Ленки.

На этот раз ребята выходили из зала, не шумя, не толкаясь, не дурачась, — степенно. Взрослая серьезность на ребячьих лицах: сделали дело, не какое-нибудь обычное, школьное, а государственное — обсудили и осудили преступников. Взрослая, торжественная, почти похоронная серьезность.

Зал пустел. Максимка, одним из первых сорвавшийся со своего места, топтался у входа, не в силах был совсем сбежать от Ленки.

Она сидела в опустевшем зале. Видна была ее согнутая узкая спина, тонкая, донельзя натянутая шея над кружевным воротничком, затылок с аккуратным пробором, косички крендельками возле ушей. Одна в пустом зале...

Не мог не смотреть на нее. Да и все выходящие оглядывались.

Он долго топтался в коридоре у дверей спортзала, ждал ее и понимал: это же почти предательство, ей враг-отец дороже революции! Понимал, сердился на себя, но все-таки медлил уходить.

Наконец пришла злость, а вместе с ней облегчение — да что это он? Пусть живет одна. Вместе со всеми не хочет — пусть одна...

Вышел из школы.

У автобусной остановки, прислонившись лбом к фонарному столбу, стоял Гришка Сотников. Он плакал и морщился, стирал кулаком слезы со щек. Прохожие оглядывались на него, но не останавливались. Они не знали, что у Гришки арестован отец. И вообще все это выглядело как-то некрасиво, — на улице много счастливых, и только один долговязый балбес льет слезы. Много счастливых — один несчастный.

Сказал, что отрекается, а слезы-то льет. Никому нельзя верить. Никому!

Даже Ленке.

А дома, в подъезде, все от той же Фатимы он узнал, что исчезла тетя Дуся.

Утром, после того как взрослые ушли на работу, а ребята в школу, тетя Дуся, надев свою праздничную шляпку с колючим перышком из брошки, вышла из подъезда. Напротив давно стояла машина, самая обык-

новенная, легковая — черная «эмка». Из машины вышел человек в песочном костюме и бежевых полуботинках, открыл дверцу и очень вежливо пригласил сесть.

Фатима рассказывала:

— Она наверх поглядел. Наверх — на окно. И сел в машина, мне рукой махнул... Ай-яй, совсем бедный Ленка.

Окна Крашенинниковых выходили во двор, тетя Дуся могла видеть только окно Максимкиной квартиры. Может, в последнюю минуту она хотела увидеть его, Максимку? «Золотое у тебя сердечко». Она знала, что он дружит с Ленкой.

Может быть, еще тетя Дуся и вернется. Может быть...

А если нет?

Значит, и она... Никому нельзя верить. Целое гнездо. И Ленка жила в нем.

Тетя Дуся не вернулась ни к ночи, ни к утру, ни на следующий вечер. Ленка не показывалась из дому, а Максимке все время хотелось ее видеть...

На третий день рано утром, пока Максимка спал, мать куда-то увела Ленку. Максимка догадывался — мать боялась, как бы отец не стал настаивать, чтоб взять Ленку к себе вместо дочери. А это было бы неплохо. Максимка ее перевоспитал бы.

Так он и не видел Ленку после собрания — опущенное лицо, натянутая шея, проступает тупая косточка сквозь кожу, чистенький кружевной воротничок. И уж никогда он не встречал ее в жизни.

Позабыт, позаброшен
С молодых — юных лет...
Я осталась сиротою —
Счастья-доли мне нет...

Так всегда пела Ленка, убаюкивая своих тряпичных кукол. Это была песня ее матери, бывшей когда-то беспризорницей.

XI

Так отчего же появился бюрократизм?

Но прежде, чтоб не было недоразумений, уточним: а что, собственно, это такое? Первый же подвернувшийся под руку словарь нам сообщает: «БЮРОКРАТИЗМ — метод управления или ведения дела, отличающийся преобладанием канцелярщины, волокиты, заботы о формальной стороне вопроса, отсутствием интереса к существу дела, оторванностью от народа, пренебрежением к его нуждам и потребностям».

Канцелярщина, волокита, отсутствие интереса к существу и прочее — частные проявления ф о р м а л ь н о г о отношения к делу. Поэтому будет проще сказать: БЮРОКРАТИЗМ — м е т о д ф о р м а л ь н о г о в е д е н и я д е л а.

Любое дело — забивание гвоздя, работа за станком, управление страной — представляет из себя систему, неизбежно состоящую из трех компонентов: управляемого объекта, непосредственно управляющего, средств связи между ними. Если одна из трех составных — даже только одна — будет как-то не соответствовать системе, то и действия всей системы станут грешить неточностью, не достигать нужной цели, сама деятельность будет носить внешний характер — формальный.

Теперь попробуем приложить эту схему к послереволюционной России.

Объект, подлежащий управлению, — народ. Насколько он был подходящим «материалом» для организации, для управления? Ленин постоянно говорит о невежестве народных масс, о поголовной неграмотности, о «слишком тонком культурном слое», способном понять поставленные задачи, проникнуться общественной необходимостью. А «величайшая ненависть и недоверие масс ко всему государственному»!.. А голод и разруха, усугублявшие эти ненависть и недоверие!.. А некое пренебрежительное отношение к авторитетам, внушенное революционными лозунгами, отвергавшими старую власть, старых хозяев... Кроме того, революция ущемляла и чисто экономические интересы того же крестьянства, подавляющей части населения, силой отбирая у него хлеб и не давая взамен ничего. Явно народ послереволюционной России был труден, если не сказать — неподатлив для управления.

А сами управляющие — правительство нового государства во главе с Лениным?.. Провозгласить идею власти как организации вооруженных масс и отказаться от этого? Объявить о необходимости равенства труда и платы — и снова отказаться. Обещать народу фабрики, заводы и прочие атрибуты капиталистической собственности и в то же время, не мудрствуя лукаво, поставить капиталистический принцип «по найму» в основу общественной организации... Все эти крайне несовместимые противоречия между словом и делом говорят о неясности поставленных задач, о теоретической непоследовательности самого Ленина и его соратников. Увы, правительство нового государства было далеко не безупречно.

Ну, а средства связи между неподатливым для управления народом и не подготовленным к управлению правительством в огромной, разбросанной, разделенной войной на враждебные зоны, технически отсталой стране, где господствовала разруха, быть удовлетворительными не могли!

Известно, что достаточно одному из трех компонентов не соответствовать системе, как вся система станет грешить формальными действиями. А тут плохи все три компонента! Плоха система вообще, где уж тут говорить о результативности. Если такая система и начнет творить дела, то исключительно формальными методами.

Бюрократизм — метод формального ведения дел. Напрасно Ленин кивал на царистских бюрократов, пролезших в окно. Напрасно сваливал в одну кучу разнозначные понятия, как то: «раздробленность, распыленность мелкого производителя, его нищета, некультурность, бездорожье, неграмотность», — все это говорит о полной беспомощности в данном вопросе.

У царской России три составных компонента государственной системы были отмечены теми же недостатками — народ невежествен, правительство находилось в маразме, средства связи, хоть не тронуты разрухой и революционным разбродом, но отнюдь не блестящи. Однако в русском обществе того времени был многочисленным слой людей, который в силу своего положения не мирился с формальным ведением дел, сдерживал распространение бюрократии, гнал ее от себя. И, как ни кощунственно для нас это звучит, в первую очередь это были... частные собственники, те самые презренные и проклятые капиталисты.

Капиталист кровно заинтересован в наиболее эффективной эксплуатации своей фабрики. Если на фабрике дело будет делаться формально, то ее хозяин не получит дохода, прогорит, пустит по миру себя и свою семью. Капиталист — враг бюрократизма. Он, правда, готов холить и лелеять государственную бюрократию — штатскую и военную, — охраняющую его права и покой, но до разумных пределов. Главная его заслуга в том, что он, капиталист, не допускает бюрократию в святая святых — производство материальных благ.

Революция ликвидировала частных собственников. «Все граждане превращаются здесь в служащих по найму у государства». И нет ни у кого ничего с в о е г о — все общее, обезличенное, все принадлежит не тебе, не мне, а некоему расплывчатому хозяину — государству. Рабочий, привозящий на строительство кирпичи, сгружает их, не заботясь о том, сколько их побьется. Кирпичи не его, не его и строительный объект, на котором он работает. Рабочему важно сгрузить, выполнить сам процесс, получить за это деньги, сделать дело формально, не заботясь о результатах. Наивное заблуждение, что бюрократ-формалист обитает только в чиновных кабинетах, за монументальными письменными столами. Среди простых тружеников, кто пашет землю, стоит у станка, бюрократов-формалистов нисколько не меньше, а скорей всего еще больше.

Рабочий разорительно формально сгружает кирпичи, а директор предприятия от этого уж очень большого страдания не испытывает. Предприятие терпит урон, но директор, как и рабочий, здесь на службе. От слишком низкого дохода с предприятия сам директор не обанкротится, с сумой по миру не пойдет, в худшем случае будет снят с понижением.

Формальный подход. Директора не грызет совесть, он не лишается

покоя, ни он, ни кто другой — все общество служит. Все по-службистски озабочены не столько реальными результатами, сколько добросовестным исполнением формальных обязанностей.

Страна непроизводительно трудится, непродуктивно тратит силы, терпит чудовищные убытки. Все в той или иной степени страдают от них и... безразлично сносят. Ибо нет таких людей в новом социалистическом государстве, которые в силу поставленных обстоятельств вынуждены были бы сильней других чувствовать на собственной шкуре разорительность бюрократического хозяйничанья. «Все граждане превращаются здесь в служащих по найму...» Всем гражданам — до лампочки!

И честный человек в такой обстановке портится, а талант попадает в незавидное положение.

Но оскудение страны — не единственное бедствие, порожденное бюрократизмом.

При бюрократизме уже не столько люди бездушны и жестоки друг к другу, сколько сама система агрессивно безжалостна к человеку. Сама система! Все — служащие по найму, все общество превращается в ступенчатую лестницу из приказывающих и подчиняющихся — высший над низшим, низший над еще более низшим... А так как приказы и их исполнение определяются не столько реальной пользой, сколько чисто формальными показателями — делай, не рассуждая, не сообразуясь ни с чем другим, как только с буквой приказа, — то приказ старшего абсолютен, он не ограничивается ничем — даже наглядной очевидностью жизненных фактов, — он воистину обретает абсолютный диктаторский характер.

Все общество состоит из разномасштабных диктаторов. Разномасштабных — да! Но не считайте, что со снижением масштабности снижается и абсолютизм диктаторской власти. Даже самый низший из начальников — тот, кто обязан безропотно исполнять приказы вышестоящих, тоже неограниченный диктатор, не считающийся ни со здравым смыслом, ни с реальными обстоятельствами, ни с наглядной логикой, буквально ни с чем, кроме диктаторства возвышающихся над ним лиц. Дух диктаторства господствует всюду.

Теперь предположим, что кто-то не выполнил диктаторский приказ своего ближайшего начальника — из-за того ли, что этот приказ противоречил реальной обстановке, или просто по нерасторопности — не столь важно. Важно то, что этим невыполнением он подводит своего начальника, вынуждает и его не выполнять приказ. А тот начальник невольно вызовет неподчинение уже своего еще более высокого начальства. И так далее... Неподчинение, в каком бы звене оно ни произошло, болезненно отзывается по всей цепи, в той или иной степени расшатывает *всю систему*, а потому для бюрократической системы жизненно важно бороться против *всякого* неподчинения, любыми способами его подавлять, вплоть до насилия.

Бюрократ перестанет существовать, если он не будет насильником. Насильником над самостоятельно мыслящей личностью, просто над тем, кто проявляет здравый смысл, насильником над народом, чьи жизненные интересы противоречат формальным требованиям, насильником над другим бюрократом, повинным в нерасторопности и даже не повинным еще, а просто подозреваемым, что способен как-то провиниться.

И наша история сплошь состоит из примеров чудовищного бюрократического насилия.

До полного разгула бюрократического насилия Ленин не дожил. Судьба к нему была благосклонна.

11

Он стал замечать, что по вечерам отца и мать пугают шаги за дверью. По длинному коридору бывшей гостиницы, как осторожно ни иди, все равно слышно во всех комнатах.

Освещенный стол под абажуром, сумрак по углам, окно, задернутое занавеской, тишина. Отец сидит за столом, блестит на свету крупный лоб, глаза в тени. Перед ним — пепельница, в нее он тычет окурок за окурком. Мать, тоже закусив папиросу, ходит из комнаты в кухню, убирает со стола. Потом она садится в кресло, берет пяльцы. Она недавно начала вышивать крестиком салфетку — розочки и листочки. Это так непохоже на мать, но говорит — успокаивает. Мать усаживается в кресло, кладет пяльцы на колени и забывает о них. Время от времени она исподтишка поглядывает на отца. Странно, в последнее время она его боится.

И Максимка боится отца — тот часами курит и молчит, о чем-то думает, думает, думает без конца.

Вот в такие-то глухие минуты обычно и раздаются шаги, сначала далеко, в конце коридора...

Отец оживает, подымает голову, и на его бровастом, с отполированным лбом, запавшими глазами и упрямо выдвинутой челюстью лице появляется то виноватое и растерянное выражение, какое Максимка видел давным-давно в детстве, когда тощий старик со своей семьей встал перед ним на колени. Подымает голову и мать, смотрит перед собой в стенку, и глаза ее дышат.

А шаги ближе, ближе... У отца чадит в руке забытая папироса. Шаги под самой дверью...

У матери лицо вытягивается, становится известковым. У отца на лбу под лампой вздувается вена.

Шаги мимо двери. И отец опускает голову, вспоминает о чадящей папиросе. Мать начинает очень внимательно разглядывать розочки на пяльцах, потом спохватывается, кидает взгляд на часы, строго говорит:

— Максимилиан! Ложись спать.

С утра до вечера у Максимки все натянуто, он плохо учится, только для вида сидит дома над тетрадями, не живет, а слоняется, но страшно устает. А тут еще тишина в комнате, шаги, к которым и он начинает тоже с тревогой прислушиваться. Он охотно направляется к своей кровати, раздевается, залезает под одеяло и сразу засыпает.

Так и в тот вечер родились, прозвучали под дверью, заглохли в глубине коридора очередные шаги. Отец, словно разбуженный, поднял голову, провел по лицу рукой, объяснил:

— Прошлой ночью мне приснился сон.

Мать вздрогнула, посмотрела на часы:

— Максимилиан! Ложись спать.

— Сон... — продолжал отец. — По улице едет коляска-самокат. На вокзалах теперь такие. Замечала?.. Водитель стоит впереди, а сзади багаж... Но тут эта коляска едет не по вокзальному перрону, а по нашей улице. И везет она не багаж, а кучу малу здоровенных, веселых парней — цепляются друг за друга, ржут, кричат. И водитель хохочет... Вдруг он оступается и начинает падать, его со смехом держат, что-то орут, а коляска несется. Водителя корчит от смеха, хохочет и падает... Не удержали — упал. Головой о камни. Хруст, как от лопнувшего арбуза. Кровь на мостовой...

— Завел на ночь глядя.

— Коляска останавливается, вся компания соскакивает, окружает мертвого водителя — показывают пальцами и смеются, трясутся, за животы хватаются. Публика подходит, тоже начинает смеяться. Всем смешно, никому не страшно. Страшно только мне одному...

— Слабонервный. С какого времени тебя сны пугать стали?

— С тех пор, как жизнь наяву стала походить на кошмарный сон.

— Очнись! Сын рядом!

— Я еще до конца не досказал. Слушай...

— С меня хватит!

— Я сам засмеялся вместе со всеми. От страха, что другие заметят. Как все, за живот держался, покатывался... От страха.

— Максимилиан! Ложись спать!

Максимка послушно поднялся со своего места.

Когда он натягивал на голову одеяло, пришла странная мысль: а что если и в самом деле все снится? Уж слишком непохоже на настоящее. Уснет вот, проснется — и все, как было прежде. Войдет дядя Ваня в потертом кожаном пальто, в полувоенной зеленой фуражке, собравшийся идти на работу вместе с отцом: «Как жизнь, смена?» Мать стряхивает со своего черного костюма пылинки щеткой, проворчит, что смена растет

ленивая, долго спит. И через коридор, в комнате напротив, собирается в школу Ленка. Она чуточку презирает Максимку, зовет его «Робеспьерчиком». Все, как прежде. Приснилось... И он никому бы не рассказывал свой сон, сам постарался поскорей его забыть.

Уснуть и проснуться в настоящей жизни.

И он уснул, с неприязнью вспоминая нехороший сон отца.

Ему снились скользкие крыши после дождя. Далеко внизу, в узком дворе лужи, по лужам гоняют мяч знакомые ребята. Максимке очень хочется вместе с ними играть в мяч, но не знает, как слезть, страшно, что сорвется, коченеет все тело. С крыши на крышу перекинута длинная доска, с крыши на крышу через весь узкий двор. Доска еле держится на краю, а верхом на ней сидит Ленка в платьице с кружевным воротничком. Она цепляется руками за доску и плачет. Мяч, ребята внизу среди луж, непослушное от страха тело, и все-таки Максимка ступает на доску, двигается к Ленке. Но доска гнется, конец ее срывается со скользкого края крыши. Мощеный двор, лужи, ребята, задравшие головы, мяч, летящий навстречу, и сзади, из открытого окна крик матери:

— Перерожденец!!

Максимка проснулся. Мать сдавленно кричала:

— Перерожденец! Ты становишься грязной контрой!

Ей отвечал сдержанно гудящий голос отца·

— Очнись. И Дуся, его жена, агент? Ее тоже упрятали... на всякий случай.

— Ты очнись! Ты! Против кого?.. Против народа идешь!

— Разве страна и народ предлагают мне выбор: будь тюремщиком или арестантом?

— Ты не веришь Сталину, Николай!

Молчание на минуту, и тихий голос отца:

— Хотел бы, да не могу.

И мать взвизгнула:

— Нико-лай!!!

— Вот-вот, истерика вместо доказательства.

— Николай! Приди в себя!

— Одних ставят к стенке, других прячут за колючую проволоку, а тех, кого не трогают, — живи холопами. Так кто же предает революцию?

— Что ты говоришь? Что?! Какие слова!

— Говорю простые и ясные вещи, а ты уж понять их не в состоянии.

— Мало сажают! Погибнем от сволочи! Захлебнемся от интеллигентской блевотины!.. О-о! И это мой муж! Мой муж! Четырнадцать лет вместе!.. Классовый выродок!

— Невменяема, — обронил отец грустно и спокойно.

И Максимка услышал задушенные подушкой рыдания матери.

Он лежал в темноте, окаменев, не в силах пошевелиться, не осмеливаясь дышать. Он еще ничего не понял, но каждой немеющей клеткой своего тела ощущал ужас.

А вокруг глухая ночь, цепенел за окном город, и на потолке зябко вздрагивал заброшенный со дна улицы свет. Потайное время суток, не обжитое людьми.

И только мать за тонкой стенкой, в нескольких шагах от Максимки продолжала бороться с рыданиями, душила сама себя подушкой.

«Хотел бы, да не могу...» Что он хотел? Чего он не может?.. Ах, верить. Кому?.. Нет! Нет! Не надо! Лучше лежать, лучше закрыть крепко глаза... Это сон. Новый нехороший сон.

Мать наконец сумела задушить себя, перестала рыдать, некоторое время стонуще повздыхала, поворочалась и замерла. Стало совсем, совсем тихо. Оглушительно тихо. В такой вот могильной тишине, должно быть, и оживают те, кто днем прячется от людей, те, против кого зовут плакаты со стен и заборов: «Будь бдителен!..» От-тец!..

Не сразу, исподволь, в омертвевшее, отравленное горем тело пролилась греющая волна, затопила... Максимка почувствовал, что любит...

Да, его! Да, отца!

С каждой секундой все сильней, все невыносимей.

Так любят тех, с кем прощаются. Отец! Отец!

Отец не слышит, отца не слышно. Свет далекого фонаря вздрагивал на потолке. Воровской, непрошеный свет.

Отец! Отец! Люблю! Не выдержу! Умру от любви!

Тихо. Мертво. Отец не слышит.

Прошло полчаса, час или два часа — в непонятном мире, и время стало непонятным, — и хлынули тихие, теплые слезы. Они принесли облегчение, но какое-то тупое, безнадежное.

XII

Захватило вас трудное время
Неготовыми к трудной борьбе.
Вы еще не в могиле, вы живы,
Но для дела вы мертвы давно,
Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано.

Говорят, вернувшийся из вилюйской ссылки Чернышевский разрыдался над этими строками.

Но нет, тут не рефлексирующий Чернышевский, тут было все иначе. Похоронные интонации здесь неуместны. Были силы, был чудовищный заряд неистовой энергии, была сжигающая вера в себя и в дело. И даже слепая Фортуна держалась угодливой служанкой. Сколько рискованных моментов, сколько ничтожных случайностей могли круто изменить ход событий. У дряблого Временного правительства мог случайно оказаться под рукой решительный солдафон, и наспех сколоченные, почти не обученные, плохо вооруженные солдатские и рабочие отряды наткнулись бы октябрьской ночью у Зимнего дворца не на деморализованных казаков, не на кучку желторотых юнкеров, не на смехотворно-опереточный женский батальон... История потекла бы по другому руслу, о Ленине бы вспоминали вскользь, как об одной из эпизодических фигур бурного времени.

Судьба благоволила к Ленину. За всю свою жизнь он не терпит ни одного серьезного поражения, не встречает противника, который бы заставил его хоть на минуту усомниться в своих силах и своей правоте. Ленин — сплошная деятельность, всесокрушающая, победная, воистину титаническая, вызывающая почтительное изумление даже у врагов.

И вот, словно в насмешку над этим торжествующим героем, коварно-благожелательная судьба посылает врага... в лице его *самого*! Но ни он сам и — как это ни странно — никто, никто во всем мире не замечает, что Ленин со свойственным ему фанатическим неистовством начинает сокрушать Ленина же, жестоко, безжалостно, бескомпромиссно!

Кто сильней Ленина, страстней его желал отдать власть в руки народа, в руки рабочих — по его мнению, лучшей, передовой части человечества? Никогда не хотел Ленин власти для себя, только народу, угнетенному, обиженному и униженному!

И кто, как не Ленин, сделал все возможное и невозможное, чтоб диктаторская, ничем не ограниченная власть попала к государственным чиновникам, к тем, кого Ленин называл «паразитами на теле общества», к тем, кто, по его мнению, был всегда орудием насилия и закабаления народа.

Он мечтал о равенстве, и он же похоронил его, украв у ненавистных капиталистов отвергающий какое-либо равенство способ найма.

Он звал к свободе, к бесклассовому обществу, где не должно быть места антагонизму, не будет повода для обоюдной вражды. Он ненавидел государство вообще — всякое государство! И он основал государство, где насилие стало способом жизнедеятельности, где расстреливали сразу сотнями тысяч, а сажали за колючую проволоку десятками миллионов.

О чем бы он ни мечтал, к чему бы он ни стремился, сам решительно отвергал и хоронил.

Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано.

Нет, нет, дано! Как никто, Вы свершили чрезвычайно много, чтоб смертельно поразить в трудной борьбе собственные благие порывы и помыслы.

Человеческая фантазия создала много странных в своей противоречивости образов. Не удивителен ли, например, Нарцисс, гибнущий от нераз-

деленной любви к себе, или же Дон Кихот, чьи добрые дела карикатурно оборачивались злом? Но ни старые мифотворцы, ни современные романисты еще не нарисовали героя, который бы с доблестной отвагой и беспримерной энергией беспощадно поражал сам себя. А если вдуматься, это едва ли не самый распространенный герой человеческого бытия. «Так как не противоречащий себе предмет есть чистое отвлечение рассудка»,— сказал мудрый Гегель, и почитающий диалектику Ленин тут солидаризировался с ним.

Но...

Вы еще не в могиле, вы живы...

Еще не кончена Ваша многотрудная борьба с самим собой.

12

Утро. Солнце в окно.

Привычно гремит чайная посуда, чайник накрыт чистым полотенцем, ждет Максимку. Максимка сам перед собой притворяется спящим.

Отец собирается на работу, повязывает галстук, рыжий в полоску, единственный и неизменный в праздники и будни. Подбородок отца гладко выбрит, лицо обычное, не хмурое и не радостное. Отец спокоен. Вот он натянул пиджак, застегнул пуговицы, озабоченно взглянул на часы, направился к вешалке у двери — серый плащ, кепка блином.

Максимка следит с кровати за отцом, лихорадочно роется в себе, ищет ночную — до «не могу», до «умру» — любовь к отцу. Любовь или ненависть, что-то должно же быть.

Но утро. Солнце в окно. То, что рождается глухой ночью, при солнце жить не может. Максимка находит в себе лишь тихое благодарное облегчение — оттого, что отец такой знакомый, такой «всегдашний», нисколько не изменившийся за страшную ночь — по-прежнему свой.

Отец, как всегда, молча исчезает за дверью. И Максимка мысленно следует за ним по коридору, по лестнице...

Вот отец выходит на улицу. На улице влажная тень, солнце еще не добралось до булыжного дна. Люди топчутся на трамвайной остановке, замызганная стена булочной, мастерская «Ремонт часов», и нет еще пока за стеклом часовщика с носом попугая. На знакомой улице сейчас появился знакомый человек — серый плащ, кепка блином,— кому придет охота оглянуться на него. Гляди, не гляди, все равно не заметишь ничего особенного — серый плащ, кепка блином, таких много.

На этом месте мысли Максимки спотыкаются, болотными пузырями со дна души подымается тревога. Но солнце в окно! Солнце!..

Не надо ни о чем думать.

У матери хмурое, оплывшее лицо.

— Долго будешь отлеживаться? Я, что ли, пойду за тебя в школу?

И голос раздраженный, но в общем-то обычный, утренний. Как часто мать подымала Максимку этими словами.

— Мама... Дядя Ваня не виноват?

Мать вздрогнула, угрюмые, сонные глаза вспыхнули, через плечо оглянулась на дверь.

— Тиш-ше!

Боком пошла на него, хрипло спросила:

— Ты?..

— Да,— ответил он виновато.

Она подошла вплотную, с затаенной неприязнью смотря в лицо Максимки:

— Ты ничего не знаешь. Ты ничего не слышал!

— Но папа же...

Мать снова оглянулась на дверь:

— Тиш-ше!

И вдруг ее глаза налились слезами, она нагнулась и порывисто обняла сына за шею, всхлипнула:

— Он — дурак. Он с ума сходит, твой отец... Голубчик, миленький, забудь все. Никто ничего не должен знать. Никто — ничего!

Мать обнимала, а это так странно — никогда еще не случалось. Ночью она кричала на отца, сейчас ласково, почти униженно упрашивает: забудь все. Непонятно, опять какой-то перекос.

Руки матери гладили его голову.

— Он опамятуется. У него заскок... Скоро пройдет... Голубчик, миленький — никому. Тебе просто приснилось.

От ее ласки, такой непривычной, неумелой, беспомощной, неуютность в душе и разлад. И пугают ее постоянные оглядывания на запертую дверь.

Знакомая улица — булочная, галантерея, мастерская «Ремонт часов». Все на месте, даже часовщик торчит за стеклом попугаем.

Максимка привык уже, что на улице много счастливых и нет несчастных. Ему не хочется думать. Думать — значит, возвращаться в ночь. Отец! Отец!.. Весна, солнце, он счастлив, как все. Верит в отца, любит отца, знает: отец остался таким, каким был. Забудь все, просила мать, никому — ничего, тебе приснилось. И гладила по голове...

Но не приснилось же, нет! Мать лжет, хочет, чтоб и он, Максимка, лгал, притворялся — ничего не случилось.

Если мать лжет, то почему не может отец? Что если отец не такой, каким всегда казался? Что если он никогда и не был таким?..

Эй, живей, живей, живей.
На фонари буржуев вздернем!

Знакомая улица, привычные прохожие — много счастливых и нет несчастных. И Максимке приходит в голову дикая мысль: вдруг да все... все кругом притворяются, делают друг перед другом вид — счастливы, на самом же деле несчастны. Что если у каждого есть свое: никому — ничего!

Славное утро, много солнца, люди, люди, непонятные, таинственные люди кругом.

И снова вломилась невыносимая, истощающая любовь к отцу. Внезапная, как приступ жестокой до умопомешательства боли — задыхайся, кричи...

Почти все счастливые минуты жизни связаны с ним, только с ним, не с матерью. Мать даже хвалила его так, что это не доставляло радости:

— Отлично получил — молодец! Всегда бы так.

Не помнит, чтобы мать приносила ему подарок. А давно-давно отец принес ему в сетке мяч, раскрашенный в два цвета — красный и синий,— настолько большой, что маленький Максимка едва обхватывал его руками. Почему вспомнился этот мяч? Отец приносил много подарков. Мяч давно порвался, выброшен, забыт, но вот вспомнился. Этой зимой отец купил коньки с ботинками, Максимка им очень радовался, но не как мячу...

А однажды Максимка заболел скарлатиной, и отец перестал ходить на работу, ночами носил его на руках, укачивал... Отцовские руки, крупные, бережные, уютные, постоянное прибежище в горестях и радостях. Отцовское лицо вблизи — подпаленные лохматые брови, сумеречный покой под ними... Отцовский глуховатый голос... Все самое важное в жизни рассказано Максимке этим голосом: что было до его рождения, что будет, когда он вырастет, и что есть на свете зло и есть справедливость, враги и друзья. Отец! Отец! Неужели ты притворялся? Ты не такой?.. Нет! Нет! Быть не может!

Если можно верить отцу, то можно верить и людям. Если не верить отцу, то уж никому, никому на свете верить нельзя!

Люди шли по знакомой улице мимо растерянного, раздавленного любовью Максимки.

После уроков он не спешил домой. Пустая квартира для него сейчас самое страшное место. Там нельзя не думать об отце. «Никому — ничего!»

Его тянуло в старый класс, где он проучился четыре года, где все еще висела на стене знакомая карта мира.

Она на прежнем месте, хотя за это время школу не раз ремонтировали, красили стену, конечно, снимали карту и снова вешали. Висел над ней когда-то портрет Бубнова... врага народа.

Лицо мира в двух полушариях. И защемило сердце при виде Африки, где живут угнетенные негры... «Когда я вырасту большой...» Мир терпеливо ждет этого, и в Атлантическом океане плавает привязанная к Европе Испания. «Но пасаран!» Они не пройдут!.. А Мадрид пал. Об Испании теперь говорят мало.

«Когда я вырасту большой...» Но может ли он мечтать теперь, как мечтал? Отец! Отец! «Никому — ничего!» Мир перед глазами — блекло-голубые океаны, сшитые из стран-лоскутков континенты, красным полотнищем наша страна. Твое большое хозяйство, в котором ты должен навести порядок, — не все страны мира окрашены в красный цвет...

Он, Максимка, недавно отодвинулся от Ленки: отец ей дороже. А тебе?.. Ленка тоже любила своего отца. Ленку увели за руку, где она?.. Не все страны мира окрашены в красный цвет.

Открылась дверь, в класс вошли двое старшеклассников — Лешка Корякин и Панов. Этот Панов в школе считался лучшим художником, посещал какую-то студию, недавно нарисовал большую картину — первомайский парад на Красной площади, — получил за нее премию.

Не обратив внимания на Максимку, Корякин и Панов стали оглядывать стены, обсуждать, много ли можно повесить на них картин. В школе открывалась районная выставка детского рисунка.

— Три класса и коридор — хватит, — авторитетно заявил Панов.

Этого парня, случалось, принимали уже за учителя. Он одевался в хорошие костюмы, брился раз в неделю, говорил устойчивым баском. Лешке Корякину далеко до Панова, еще не бреется, но байковая курточка тесна в плечах, мятые брюки коротки, открывают тощие щиколотки, и в голосе Лешки тоже нет-нет, да прорываются рокочущие раскатцы. Уже не мальчишка.

«Когда вырасту большой...» Максимка вдруг сейчас понял, что это «вырасту» не так уж и далеко, скоро случится. Лешка и Панов, считай, выросли — через месяц расстанутся со школой. Скоро... И что-то новое стрясется в мире, похлестче Испании. Скоро... И с саблей в руке под красным знаменем Лешка Корякин поскачет по новым Испаниям. Не все страны мира еще окрашены в красный цвет! Скоро... Но ведь Лешка поскачет с кем-то другим! Лешка не доверял Гришке Сотникову, не доверял Ленке, почему он должен доверять ему, Максимилиану Иванникову?.. Отец! Отец! Как жить дальше?

Ребята двинулись к дверям.

— Леш... — позвал Максимка.

Панов в это время уже исчез за дверью, а Лешка обернулся.

— Лешка, а где... где сейчас Гришка Сотников?

— Бросил школу. Зачем он тебе?

— Лешка... вот твой отец...

Лешка подобрался, уставился чистыми, вязкими глазами.

— Вот твой отец, Лешка, был героем...

— Ну?

— Вот если б он сейчас жил...

— Ну?

— И если б вдруг его... Лешка?

— Отца?! Моего?!

— Если б вдруг...

— Мой — отец — отдал — жизнь — за революцию! — откусывая каждое слово, напомнил Лешка.

— Многие отдавали.

— Отдавали, да не отдали — живы остались.

— Тогда верь только тем, кто погиб?

— Ты это для чего?..

— Ты вот даже ни разу не видел своего отца и то любишь. А Гришка Сотников... Как ему не любить... отца?

— Н-не пойму. Что-то ты тут плетешь?

— Да ты, Лешка, представь — про твоего отца вдруг... Как ты тогда?

У Лешки на скулах проступили пятна, глаза потемнели, кулаки сжались, он шагнул на Максимку.

— Мой отец погиб! Понимаешь — погиб! За революцию! Чтоб ее враги не сожрали! Никто не смеет думать плохо о моем отце! А тебе-то уж, огарок, и вовсе не разрешу!

Но на Максимку нашло упрямство.

— Хорошо, Лешка, не отец... Ну, а мать если вдруг... Мать-то у тебя жива, за революцию не погибла.

И, похоже, он попал в слабое место. Лешка не набросился с кулаками, не закрнчал — отвел глаза в сторону.

— Мать... У нее нет никого, кроме меня...

На этот раз не понял Максимка — к чему сказал это Лешка?

— Любит! А она баба, — продолжал Лешка в сторону. — Чтоб мне хорошо было, она все сделает. Она и на вражью удочку клюнуть может, если мне хорошую жизнь пообещают. В матери я так не уверен, как в отце. Несознательная еще.

— И если, Лешка... Если вдруг клюнет? Как ты тогда?..

— Тогда я ей не сын! — отрезал Лешка. — Ясно?

И повернулся к дверям.

— Ясно, — произнес Максимка. — А ты ее сильно любишь, Лешка?

Лешка обернулся в дверях.

— Да! — сказал он. — Да! Она в депо работает, обтирщицей, все дни в грязи, для меня жилы тянет. Я, может, себя так не люблю, как ее.

— И все равно если вдруг она?.. Все равно ты ей не сын?

— Отец за наше дело себя... А я могу себя жалеть?.. Или ее даже?

Максимка промолчал. Лешка захлопнул дверь.

XIII

Второй приступ паралича, не действуют правая рука и правая нога, но говорить он еще может. Ленин диктует. Начинается самый последний период его деятельности.

Он короток — всего каких-нибудь два месяца. За это время Ленин успевает надиктовать семь работ, среди них знаменитое «Письмо к съезду», получившее позднее название «Завещание». И пишется все это прикованным к постели, полупарализованным человеком.

Ленин не скрывает своей тревоги.

«Дела с госаппаратом у нас до такой степени печальны, чтобы не сказать отвратительны...»

«...Он только слегка подкрашен сверху, а в остальных отношениях является самым старым из нашего старого госаппарата...»

«Мы аппарат, в сущности, взяли старый от царя и от буржуазии...»

«Мы уже пять лет суетимся над улучшением нашего госаппарата, но это именно только суетня, которая за пять лет доказала лишь свою непригодность, или даже свою бесполезность, или даже свою вредность. Как суетня, она давала нам видимость работы, на самом деле засоряя наши учреждения и наши мозги».

Он невесело окидывает взглядом тех, кто остается у власти после него.

Сталин... «сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью». Он «слишком груб», и Ленин попросту предлагает снять его, назначить более терпимого, вежливого, лояльного, внимательного.

Троцкий... «пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением административной стороной дела». Не идеолог.

Зиновьев и Каменев... Нет, Ленин не ставит им в вину «неслыханное штрейкбрехерство» перед революционным переворотом, но и не считает его случайностью. Больше об этих руководителях ни слова.

Бухарин... «Ценнейший и крупнейший теоретик», любимец партии, но... не вполне марксист, «ибо в нем есть нечто схоластическое». Убийственная характеристика для теоретика, да к тому же «крупнейшего и ценнейшего», который и не пытался проявить себя где-либо, помимо марксизма.

Пятаков... «человек несомненно выдающейся воли и выдающихся способностей, но слишком увлекающийся администраторством и администра-

торской стороной дела, чтобы на него можно положиться в серьезном политическом деле».

О других Ленин и не упоминает.

Из рук вон плох госаппарат, и нет таких, кто мог бы заняться его исправлением. Плоха голова, но и само тело не лучше. Страна крайне некультурна, больше того, она нецивилизованна. Не зря ли заварили кашу? Ленин пытается успокоить себя и других фразой Наполеона: «Сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уже будет видно». Очень смахивает на русский «авось» — авось, как-нибудь да вытанцуется.

И все-таки Ленин, разбитый параличом, чувствующий свой близкий конец, видящий удручающую — до отвратительности — несовершенность старообразного, бюрократического государственного аппарата, продолжает на что-то надеяться.

На что конкретно, на какие меры?

Он предлагает:

... надо увеличить число членов ЦК, сейчас их 27 человек, пусть будет 50 или даже все 100 за счет введения не успевших еще обюрократиться рабочих;

... надо передать Госплану законодательные функции;

...надо усилить состав Рабоче-крестьянской инспекции.

И при этом он, Ленин, клеймит за «суетню», непригодную, бесполезную, вредную, засоряющую учреждения и мозги.

А разве предложенные им меры не суетны по своей мелкотравчатости и робости?

Какая разница, 27 или 100 человек будут заседать на пленумах ЦК? Где гарантия, что рабочие, вошедшие в этот наивысший партийный орган, наверняка не сведущие в деле управления, наверняка не обладающие большой теоретической подготовкой, а подчас и элементарной грамотностью, не пойдут на поводу у наловчившихся политиканов? И где гарантия того, что эти честные рабочие вскорости не забуреют, не станут самыми заурядными бюрократами?

Госплан получит право издавать законы. Ну и что? Это учреждение умней и прозорливей других правительственных органов? Почему законы, изданные чиновниками Госплана, должны быть лучше законов, предложенных чиновниками, скажем, того же Совнаркома?

И усиление Рабкрина, если и поможет — если! — схватить за руку лишнего зарвавшегося бюрократа, то уж рассчитывать, что оно этим изменит бюрократическое, созданное по типу царского, буржуазного государственное устройство, по крайней мере наивно.

Суета сует, причем вредная уже тем только, что увеличивает еще больше число бюрократов. Этой суетой заполнена лебединая песня охваченного тревогой Ленина.

Но в лебединой песне звучит и новое — величальные нотки тому, что прежде Ленин не допускал близко к сердцу, считал чужим, тогда как его учителя, Маркс и Энгельс, чужим отнюдь не считали, даже видели в том зачатки грядущего коммунизма.

Речь пойдет о кооперации.

13

Что дороже — отец или революция?

Лешка Корякин больше себя любит свою мать, но революция ему дороже матери.

Он, Максимка, еще никогда не любил так своего отца. Кровь стынет в жилах от неизвестности: что с ним такое? «Хотел бы, да не могу». Не может верить тому, во что верят все, все кругом. Во что верит он, Максимка. Но это же отец научил его верить, это он первый рассказал ему о революции, от отца первого он услышал о врагах:

> Эй живей, живей, живей!
> На фонари буржуев вздернем!

Еще неизвестно — перерожденец ли он, но одно ясно — отец несчастен. «Хотел бы, да не могу». Отцу плохо, нельзя не жалеть его, не любить его.

Максимка возвращался домой. Знакомая улица... Он уже не замечал

ее, он ничего и никого не видел вокруг — отец заполнял все, весь мир, страдающий отец, непонятный отец!

Дома, открыв дверь своим ключом, Максимка увидел отца, сидящего за столом, без пиджака, без галстука, с книгой. Матери еще не было.

Отец оторвал всклокоченную голову от книги и встретил Максимку молчаливым кивком, снова склонился, спрятал лицо. И спина его сгорблена, и тяжелые руки, перевитые крупными венами, устало покоятся возле книги, и сединой тронуты виски. И в стороне валяются забытые матерью пяльцы с неоконченной вышивкой — розочки и листочки.

Близился вечер, легкие сумерки затопили улицу за окном, внизу привычно погромыхивал трамвай. За закрытой на защелку английского замка входной дверью, напротив, через коридор, — другая дверь, все время ощущаешь ее. Наглухо закупоренная, опечатанная дверь, ведущая в пустую квартиру. Как неправдоподобно далеко то время, когда там жили дядя Ваня, тетя Дуся, Ленка. А прошла лишь какая-то неделя. Дядя Ваня... Мысль о нем уже не ужасает, кажется, так и должно быть.

Это ему, Максимке, так кажется, а отцу?.. Для отца отказаться от дяди Вани, наверное, так же трудно, как Максимке от отца. Отец лучше всех знал этого человека, лучше матери, лучше Максимки, даже тети Дуси, наверно, — тетя Дуся позже познакомилась с дядей Ваней. А Сталин, пожалуй, и совсем не знал дядю Ваню. «Хотел бы, да не могу». Конечно, не может, как тут не понять. Отец вдруг становился понятным.

— Пап... — произнес в сторону Максимка.

Сейчас он признается во всем.

— Пап... — осипшим голосом ломая неподатливую тишину комнаты, нежилую тишину лежащего за дверью коридора.

Отец не поднял головы, похоже, он еще ниже склонился над книгой.

— Пап, дядя Ваня... не виноват? Да?

Если скажет: «Не виноват», все будет ясно. Раз он верит в это, раз верит, то понятны и его слова: «Хотел бы, да не могу». Произошла ошибка, редкая, чудовищная, с которой никак нельзя согласиться. Один отец, один из всей страны знает правду. И как от этого тяжело отцу, как ему одиноко, знающему среди незнающих! Он, Максимка, будет жалеть его и любить, страдать вместе с ним, вместе с ним искать выход — как доказать. Не в дяде Ване дело — в правде, без которой нельзя жить.

Отец неохотно, очень неохотно и очень медленно оторвался от книги, поднял всклокоченную голову, уставился мимо Максимки в стену. Он молчал минуту, другую, молчал и глядел куда-то...

И Максимка содрогнулся — сейчас, сейчас в эти минуты, с первым звуком отцовского голоса случится непоправимое! Уж лучше бы ничего не спрашивать.

— Раз его арестовали... — произнес отец медленно, с усилием, негромко, но внятно. Лицо какое-то неподвижное, чугунное, взгляд далекий, проходящий стороной. — Раз так — значит... виноват.

Последнее слово выронил с облегчением, как тяжелый камень, который пришлось долго нести. И опустил голову к книге, всем видом показывая, что не желает больше разговаривать.

За окном под закатом тлела крыша соседнего дома, вливала в комнату угрюмый медно-красный свет.

Максимка вдруг как-то весь устал — заломило плечи, спину, появилась неприятная слабость в ногах, — он опустился на кровать, но глаз с отца не спускал.

Отец! Отец!

Отец сидел, не подымая головы.

Ты лжешь, отец! Ты так не думаешь. Думаешь одно, а говоришь другое. Тебе нельзя верить, отец! Про лучшего друга, про самого лучшего сказал страшную неправду. Отец! Отец!

И отец сидел, окутанный рассеянным медным светом, клонил голову к книге, прятал лицо.

Не прячь, я все равно помню твое лицо.

Твои брови с подпалинкой...

Твои глубокие складки от носа к губам...

Твои глаза, в которые я так часто глядел...

И даже сейчас, не произнося ни звука, ты умудряешься лгать: де-

лаешь вид, что читаешь книгу, и забываешь даже — надо переворачивать страницы. Отец! Отец!

Короткий разговор с глазу на глаз — вопрос и ответ. И случилось непоправимое — Максимка терял отца. Но все равно он продолжал исступленно любить его, даже такого, с сединой у висков, с новой, непривычной, надсадной сгорбленностью. Любил его и не верил ему, любил, и ужасался, и обмирал перед непонятной двуличностью этого близкого, родного из родных человека.

Отец! Отец!..

Через много лет Максимилиан Иванников запоздало понял его. Через много лет и постепенно...

Наши отцы, свершившие революцию, уцелевшие в ней! Все получалось не так, как вы рассчитывали. Вы стремились к свободе, а строили тюрьмы, вы мечтали о равенстве, а пресмыкались перед начальством, вы пели гордо «Весь мир насилья мы разрушим до основанья», а сами увязали в горах трупов.

Наши отцы, нет, слава о вашем мужестве — не досужая выдумка!

...отрекитесь! — ревели,
но из
горящих глоток
лишь три слова:
— Да здравствует коммунизм!

Было мужество!

Но для того, чтобы признать — не то, не так, все иначе, — мало одного мужества, нужно и понимание — почему? Не понимали...

Наши мужественные отцы, вы стали бояться смотреть правде в глаза, отворачивались от чудовищных фактов, не хотели их видеть. Не верили даже себе! Но больше себя вы оберегали от убийственной правды нас, своих детей, твердили: самое передовое, самое справедливое, самое свободное, самое гуманное!.. Самое, самое! Кто из вас не лгал нам в малом и большом?!

Лжем и мы сейчас своим детям, только не так, как вы, — не самозабвенно, скучно, по обязанности и по привычке, уже сами не веря в свою ложь.

Максимилиан Иванников поймал отца на лжи. По простоте душевной, по детскому неведенью он не догадывался, что ложь стала наркотической потребностью наших отцов.

Ленин был едва ли не последним большевиком, который жестоко заблуждался, но не терпел прямой лжи. Но Ленин умер еще до рождения Максимилиана Иванникова.

XIV

Разбирая опыт Парижской коммуны, Маркс говорит: «Коммуна должна была... стать политической формой даже самой маленькой деревни».

Маркс не сомневался — кооперация может стать зародышем коммунизма. Вот его слова: «А если кооперативное производство не звук пустой и не обман, если оно должно вытеснить капиталистическую систему, если ассоциации организуют национальное производство по общему плану, возьмут его в свое заведование и этим прекратят постоянную анархию и периодические конвульсии, неизбежные при капиталистическом производстве, — не будет ли это, спрашиваем мы вас, милостивые государи, коммунизмом, «возможным» коммунизмом?»

Кооперация в том или ином виде существовала и в царской России. Это было хорошо известно Ленину. В 1905 году он говорит: «Да, отвечают революционеры, мы согласны, что потребительные (кооперативные. — **В. Т.**) общества есть в известном смысле кусочек социализма... Пока власть остается в руках буржуазии... — жалкий кусочек, никаких серьезных перемен не гарантирующий... Навыки, приобретенные рабочими в потребительных обществах, очень полезны, спора нет. Но поприще для серьезного приложения этих навыков может создать лишь переход власти к пролетариату».

И вот переход совершается, Ленин, ревнитель интересов пролетариата, становится общепризнанным главой правительства, казалось бы, тут-то и пришло время повернуться ему лицом к кооперации. Но странно, он теперь о ней говорит совсем иные слова.

«Кооперация есть тоже вид государственного капитализма, но менее простой, менее отчетливо-очерченный, более запутанный и потому ставящий перед нашей властью большие трудности».

«Свобода и права кооперации, при данных условиях России, означают свободу и права капитализму».

Не поразительно ли — «кусочек социализма» при власти, которую Ленин искренне считал пролетарской, превращается вдруг в капиталистический ломоть!

И при этом сам Ленин мечтал о коллективном творчестве масс. Казалось бы, раз мечтаешь, то постарайся использовать любую возможность. А совместная деятельность тружеников на общих паях, при общих интересах вполне может стать школой массового, коллективного творчества. На чем еще и учиться людям, как не на практической деятельности? Нет, возражает Ленин: «Кооперативы в большинстве случаев имеют в качестве своих вождей буржуазных специалистов, сплошь и рядом действительных белогвардейцев». Но что за беда, буржуазные спецы ставились тогда и во главе государственных предприятий, Ленин тут не возражал, напротив, призывал привлекать их, заманивая высокими окладами. Если вожди отдельных кооперативов буржуазны, враждебны, то это не означает, что и кооперация как явление буржуазна. Борись с вождями, зачем же простых тружеников, объединяющихся для совместной деятельности, ставить на одну доску с частниками-концессионерами, с узаконенными спекулянтами-комиссионерами?

Странный поворот? Да нет, закономерный. Ленин, придя к власти, мерил с позиций: «Все граждане превращаются здесь в служащих по найму у государства». И тут концессионеры-капиталисты, торговцы-комиссионеры, арендаторы, равно как и труженики-кооператоры, не являются полностью «государевыми людьми», сохраняют за собой какую-то автономию. А потому, как бы разительно они ни отличались друг от друга, для главы нового государства Ленина — они одного поля ягоды. И он сваливает их всех в одну общую кучу — государственный капитализм!

Ленин противоречит Марксу, он противоречит и самому себе — более раннему Ленину, — и тут невольно приходит в голову крамольный вопрос: можно ли его в данный момент называть коммунистом по стремлениям? Он не хочет, он препятствует проявлению творческой инициативы масс, мешает самостоятельной деятельности народных организаций, тем самым сознательно укрепляет диктаторские позиции государственного чиновника-бюрократа.

Но вот последние усилия больного Ленина, последние мысли диктуются непослушным голосом, вместе с тревогой за косный, страдающий всеми старыми пороками госаппарат вновь бросок в сторону кооперации. На этот раз Ленин говорит о ней уже совсем иным голосом: «При условии максимального кооперирования населения сам собой достигает цели тот социализм, который ранее вызывал законные насмешки, улыбку, пренебрежительное отношение к себе со стороны людей, справедливо убежденных в необходимости классовой борьбы, борьбы за политическую власть и т. д.» «...Строй цивилизованных кооператоров при общественной собственности на средства производства, при классовой победе пролетариата над буржуазией — это есть строй социализма».

Кооперация-падчерица возвращается в лоно семьи, снова — «кусочек социализма», даже больше — надежда его. И одновременно суетные меры чисто бюрократического переустройства — увеличение ЦК, законодательность Госплана, усиление Рабкрина. В ряду их надежды на кооперацию показывают лишь растерянность мечущегося на смертном одре вождя революции.

14

Как всегда, он утром отправился в школу: выгоревшая фуражка с надломленным козырьком, жмущий под мышками пиджачок, штаны с пу-

зырями на коленях, потасканный портфель с учебниками и озабоченное выражение физиономии, которое должно говорить любому и каждому: вот идет мальчик, у него в голове нет других мыслей, кроме мысли не опоздать сейчас на урок.

Но на самом деле Максимке меньше всего хотелось оказаться в школе, торчать на уроках, терпеть шумные и людные перемены. В школе волей-неволей придется сравнивать себя с другими ребятами: у всех отцы как отцы, никому нет нужды ничего скрывать, ты — не такой. Лучше спрятаться, лучше быть одному. Но делает вид, что спешит, притворяется перед собой и перед прохожими.

Отец вчера лгал. Теперь Максимке нужно лгать всем: отцу, матери, Лешке Корякину, даже незнакомым прохожим на улице. Вот спешит мальчик в школу... Притворяйся, притворяйся, никому — ничего! Прячь проклятую тайну об отце! С этого утра всю жизнь! Отец лжет. Мать тоже лжет. Вся семья лжива.

У каждого есть друзья, у тебя их не будет. Какие друзья, если ты не сможешь им довериться?

У каждого есть страна, у тебя ее нет. Ты скрываешь от нее преступника.

Каждый мальчишка с легким сердцем ждет: когда вырасту большой... Не смей ждать! Вырастешь, и все равно тебе придется притворяться — какая уж жизнь.

Был недоволен Ленкой — отец дороже. Презирал Гришку Сотникова — лил слезы под фонарным столбом... по отцу. Никому нельзя верить.

Теперь нельзя верить тебе!

Несколько дней назад — всего несколько дней! — он холодел, представляя себе: среди обыкновенных, самых обыкновенных прохожих ходят те, кто прячет внутри тайные мысли. Люди с нормальными телами, с нормальными — не уродливыми — лицами, нормально одетые могут ласково говорить, мило улыбаться, а внутри ненормальные — выродки!

А сейчас бежит по знакомой улице мальчишка, самый нормальный с виду, с ломаным козырьком на фуражке, с обычным озабоченным лицом. Кому придет в голову, что нормальный мальчишка вовсе ненормален!

Скажи ему вчера: станешь выродком — не поверил бы ни за что! Или умер от горя. А сейчас вот бежит по улице и ничего... не умирает.

И Максимка неожиданно позавидовал Ленке и Гришке. Они счастливее, даже они! Им уже не надо притворяться, все знают, кто их отцы, а ты прячься, холодей от страха — узнают, раскроют!..

Идти в школу — нет, нет! Вернуться домой — нет! Сбежать?.. Куда?.. Станут искать через милицию. И найдут. И спросят: почему убежал?..

Рычали на мостовой тяжелые грузовики, давили асфальт узорными скатами. И Максимка со странным интересом начал к ним приглядываться. Лязгая, шли мимо трамваи, набитые людьми, — как легко сорваться под их колеса!.. А в глубине скверика, помнится, стоит железная будка, на ее дверцах выведен череп и кости: «Опасно! Высокое напряжение!» Внутри будки сидит смерть. Улица заполнена не только живыми людьми... Странные мысли приходят сегодня. Странные, но нисколько не страшные.

Вспомнился почему-то сон, рассказанный недавно отцом: треснувшая, как арбуз, голова водителя автокара, общий смех... Отец! Отец! Можно ли жить так, как живешь ты?! И ни на минуту не переставал любить отца.

Решение созрело столь стремительно, что Максимка почувствовал легкое головокружение. В общем-то старое решение, но с новой силой.

Надо идти к отцу, сейчас, немедля! Надо его спросить: «Отец, ты учил меня любить революцию?» И он ответит: «Учил, сын». «Ненавидеть врагов ты учил?» «Учил, сын». «Тогда скажи, отец, как мне поступить, ведь ты мне солгал...» Это надо было спросить еще вчера. Он, Максимка, просто растерялся. Появилась надежда.

А если все уже неисправимо?..

Тогда пусть лучше убьет.

XV

«А что если б он был жив?»

Бессонными ночами, вслушиваясь в шаги за дверью, в одиночных камерах, в лагерных зонах за колючей проволокой, притаившиеся и обреченные, исступленно верующие и утратившие веру, экзальтированные по натуре и сугубо трезвые, с простодушием и со страстью, с тайным негодованием или усталым стоном во время репрессий чаще всего люди задавали себе один вопрос: «А что если б?..» Ведь он так рано умер, ему не исполнилось и пятидесяти четырех лет! В годы коллективизации Ленину было бы всего шестьдесят, в 1937 году — шестьдесят семь.

Наверняка этот бессильный вопрос задавали себе, ожидая расстрела, повально знаменитые бывшие вожди — зиновьевы, пятаковы, бухарины, рыковы. Наверняка над этим задумывался Федор Тенков, мой отец, неприметный советский служащий, из-за неприметности счастливо избежавший ареста.

Праздный вопрос мечтателей, считающих: «Будь нос Клеопатры покороче — иным выглядел бы лик Земли». Будь здоровье Ленина покрепче...

Но все же попробуем представить: что если б?.. Без прекраснодушных упований и сентиментов: что если б данная историческая личность продолжала жить и действовать, как ее деятельность сказалась бы тогда на ходе истории?

Мысленно продолжим жизнь Ленина, и тогда естественно предположить, что его недовольство сложившимся государственным аппаратом должно было расти. И скорей всего он наконец пришел бы к мысли, что изменить можно, лишь ломая весь механизм. Но что пользы в ломке, если не знаешь, чем заменить.

Чем? Каким устройством?

Маркс подсказать не мог. Ленин сам в свое время объявил: «**Открывать** политические **формы** этого будущего Маркс не брался». Ленин предложил форму — «по найму у государства», передал этим диктаторскую власть бюрократии. Энергичный и деятельный Ленин в течение всей своей жизни так и не сумел найти ничего лучшего. Можно ли тогда ждать, что на закате дней он вдруг проявил бы несвойственную ему проницательность, открыл нечто принципиально иное, не намеченное Марксом, переворачивающее наизнанку все, что сам творил прежде, отвергающее то, к чему стремился? Маловероятно.

Он думал, что все дело в плохих аппаратчиках, и уже предлагал заменить их новыми. Со временем эти предложения переросли бы в настойчивые требования, в некие действия, энергичные и решительные, как всегда у Ленина.

Но наивно предполагать, что старые аппаратчики стали бы покорно ждать своего отстранения, не вступили бы в противоборство с опасным для них вождем. Итог этой борьбы мог быть двояким: или аппаратчики побеждают Ленина, добиваются его отставки, не исключено, физически его уничтожают, или Ленин при поддержке новых претендентов на государственные должности сметает своих бывших соратников.

Однако сам-то аппарат по устройству остается прежним. Какими бы ни были честными и принципиальными новые его члены, они станут выполнять старые функции, пользоваться старыми методами. От таких дворцовых переворотов народ по стране не станет культурней, правительство теоретически подкованней, средства связи совершенней — истоки для процветания бюрократизма останутся прежними. И рано ли, поздно назреет необходимость устранить и этих обюрократившихся аппаратчиков. Не бессмысленная ли песня про белого бычка?

Можно предположить, что дело не дойдет до прямой вражды между Лениным и аппаратчиками. Будет продолжаться то, что уже шло, — суетная борьба мнений, жестокая дискуссионная разноголосица, плодящая оппозиционные группировки.

Вот тут-то Ленин рисковал бы вызвать массовое недовольство низовых бюрократов, тех, кто недавно был оторван от станка и сохи, тех, кто обычно заполнял места в залах съездов, кто тогда большинством голосов еще решал — что принять, кого поддержать. Они, эти рядовые бюрократы, не могли быть довольны разноголосицей в командных верхах. Они ждали простых, ясных, четких приказов — делай так-то, делай то-то, — дискуссионная неразбериха, оппозиционная грызня путают их исполнительскую деятельность, осложняют бюрократическое бытие. Кого слушать, кому подчиняться, чьим указаниям следовать? Рядовому бюрократу нужно еди-

ноначалие — непререкаемый авторитет, железный вождь, абсолютизм власти. И чем проще этот вождь, чем понятней его приказы, тем легче жить и действовать добросовестному бюрократу-исполнителю.

Быть простым, не влезать в слишком наболевшие, в слишком очевидные противоречия сложившегося общества мог или уж человек совсем примитивного склада, или полностью беспринципный прохвост, умеющий видеть лишь то, что выгодно. Ленин ни тем, ни другим не был.

Поживи он подольше, наверняка стал бы мало-помалу утрачивать свой высокий авторитет, его имя перестали бы окружать ореолом святости, его прах не положили бы в мавзолей для поклонения. Похоже, что смерть пришла вовремя к этому человеку. Великая драма — драма идей — не стала его личной трагедией.

Все это гадания на тему: что если б...

Но незадолго до смерти, когда Ленин лежал в параличе, несколько незначительных, можно сказать, микроскопически малых событий заставляют задуматься: а не терял ли уже тогда он свой авторитет, по крайней мере среди ближайшего окружения?

15

Громадное, шестиэтажное серое здание. В нем несколько подъездов, у каждого подъезда по нескольку скромных вывесок, каждая вывеска — учреждение. За дверями подъездов, как на вокзале, всегда толпится много народу: одни кого-то ждут, другие кому-то дозваниваются по внутренним телефонам, третьи спешат по широким лестницам, четвертые степенно ждут у лифта. Лифт старинный, тесный, с решетками, медными ручками, с зеркалами, от которых всегда кажется, что подымается вдвое больше людей — целая толпа, терпеливо молчащая, посапывающая.

Незнакомый человек легко может заблудиться в коридорах, бесконечно длинных, днем и ночью освещенных тусклыми лампочками. Но Максимка знал нужные ему коридоры, не раз бывал у отца по мелким мальчишечьим делам — чаще попросить денег на кино. Среди одинаково высоких, одинаково обитых коричневым дерматином дверей — нужная дверь. За ней комнатка-приемная с рядом выстроенных стульев вдоль стены, стол с громадной пишущей машинкой, секретарша, добрая, бойкая старушка со странным именем Цецилия — Цецилия Львовна. По одну сторону от нее дверь, ведущая в кабинет отца, по другую — дверь, за которой раньше сидел дядя Ваня, самый старший начальник над всеми кабинетами, расположенными вдоль бесконечно длинного коридора.

— Ты к папе, мальчик? — спросила Цецилия Львовна, кинув взгляд на Максимку через косо сидящие очки.

На стульях вдоль стены неподвижно восседали люди с тяжелыми портфелями на коленях, молчаливо и строго до осуждения, до враждебности — так казалось Максимке — взирали на неуместно явившегося мальчишку.

— Он сейчас очень занят. Совещание. — Цецилия Львовна кивнула на дверь, но не на отцовскую — на дверь кабинета дяди Вани.

Максимка, послушно следуя взглядом за кивком, вдруг увидел на этих дверях табличку: «Н. С. ИВАННИКОВ». Отец переселился, отец теперь там, где раньше находился дядя Ваня! У Максимки по всему телу разбежались мурашки...

Хотя что тут такого, он должен бы раньше догадаться: отец всегда замещал дядю Ваню. Раз дяди Вани нет, то старшим вместо него посажен отец. Самым старшим по всему длинному коридору, над всеми кабинетами!

Отец, оказавшийся неожиданно на чужом месте, становился еще более чужим. И молча, пугающе строго разглядывали Максимку незнакомые дяди с тяжелыми портфелями на коленях.

— Пойди погуляй с полчасика, дружок. И не уходи далеко. Будет перерыв, тогда успеешь переговорить с папой.

Максимка выскользнул из приемной, прочь от чинной, важной, замороженной очереди с толстыми портфелями.

Коридор, уносящийся в тусклые сумерки, лампочки под серым пыльным потолком, одинаковые двери без числа. И почему-то дрожали колени и прыгало сердце.

«Н. С. ИВАННИКОВ» — серебром по черному, табличка на дверях, за которыми всегда сидел дядя Ваня. Отец вместо дяди Вани! Отец теперь тут самый старший, изо всех дверей идут к нему, над всеми командует, все его слушаются. И эта строгая, молчаливая очередь с толстыми портфелями... Дрожь в коленях.

А казалось так просто встретиться, все сказать: «Отец, ты учил меня?..» «Учил, сын». Просто сказать старому отцу, сидящему на старом месте. На новом месте у отца уже ничего не остается от прежнего — над всем коридором, над всеми дверями!.. И нет уверенности — захочет ли он слушать? Кабинет, однажды прятавший преступного человека, прячет сейчас отца. Озноб в теле, дрожь в коленях.

Через полчаса — только через полчаса! — он освободится. Перерыв на несколько минут, и за эти минуты сказать?.. «Отец, ты учил меня?..» Скорей всего отец будет среди людей, среди тех, с толстыми портфелями. Такие разговоры на людях не ведут.

И не ко времени просочилось непрошеное воспоминание: Максимка сидит на отцовских коленях, зарывается лицом в его грудь. Отец обнимает и гладит голову тяжелой, теплой рукой. У отца тоскующий голос: «Придет время, сынок, когда мы будем так сильны, что станем жалеть даже своих врагов». Отец! Отец! Ты не дождался, ты не вытерпел, ты стал жалеть раньше!.. Хочу тебя видеть прежним, не надо иного! Люблю того, кто пел: «На фонари буржуев вздернем!» Непонятного ненавижу! Отец! Отец!

Через полчаса перерыв...

Неожиданно он обратил внимание, что в простенке между дверями висит плакат: «Болтун — находка для шпиона!» Неудивительно, этот плакат не сразу бросился в глаза — такие плакаты примелькались, на них постоянно натыкался на улице, они висели в школе: «Болтун — находка...» А ведь болтун выдает секреты нечаянно, сам того не желая...

Длинный, тонущий в тусклом сумраке коридор, не знающий дневного света, двери, двери, двери, незнакомые люди сидят за ними. Из всех дверей несут секреты к его отцу... Максимка изнемогал от любви к отцу — к прежнему отцу! Изнемогал от ненависти и страха к отцу переменившемуся. Отец! Отец!

Двери, двери, они открывались, из них выходили люди, куда-то спешили. За закрытыми дверями раздавались телефонные звонки. Со всех концов страны звонят, со всех концов страны стекаются сюда секреты. Сюда — к отцу, в чужой кабинет. Прежний отец толкал Максимку, требовал — спасай, действуй, нельзя медлить, даже болтун — находка...

Дрожь в коленях.

Дверь напротив, похожая в точности на все другие двери. Дверь рядом с плакатом. Максимка, сдерживая дрожь, шагнул к ней, отчаянно дернул за ручку...

Кабинет, светлый, скучно чистый, с неизменным портретом Сталина на стене. За новеньким, желтым письменным столом сидит невзрачный с невнятным, словно выглаженным, лицом лысеющий человек. Он уставился на Максимку.

Молчание.

— Тебе чего? — Наконец удивленный вопрос.

Максимкина решимость кончилась, он охотно повернул бы обратно, но в упор глаза, озадаченные, обеспокоенные, — бежать невозможно.

Хозяин привстал и с тревогой спросил:

— Что случилось, мальчик?

По щекам Максимки потекли слезы.

— Что с тобой? Кто ты?.. Да садись, садись. Вот сюда.

Максимка послушно опустился в холодное клеенчатое кресло.

У человека за столом бегали глаза, дрожали кончики пальцев. Чтобы скрыть дрожь, он время от времени начинал тихонечко выстукивать по столу: «Чижик-пыжик, где ты был?..» И бегал глазами по кабинету, и не смотрел на Максимку.

Он несколько раз протягивал руку к телефону и опускал. Наконец решился, поднял трубку, прокашлялся и осипшим голосом назвал номер. Пока соединяли, он выстукивал тихонечко: «Чижик-пыжик...»

— Товарищ Дербенев... Это из сто восьмой. Очень нужно, чтоб зашли сейчас. Особый случай, не тревожил бы.

И поспешно бросил трубку. «Чижик-пыжик, где ты был?.. Чижик-пыжик, где ты был?..»

Появился второй, грузный, страдающий одышкой, сразу же завалился в кресло и после первых же слов стал мрачнеть. Слушал и мрачнел, глубже вдавливался в кресло. Полное лицо его было грозовым, недовольным. Глаза он тоже прятал.

Он задал Максимке только один вопрос:

— Тебе сколько лет?

— Тринадцать.

— Всего?..

После этого хозяин кабинета и гость с минуту глядели друг другу в глаза, у одного лицо было испуганное, затравленное, у другого — угрюмое и недоверчиво-подозрительное. Наконец оба опустили головы, отвернулись. Хозяин нервно начал выстукивать: «Чижик-пыжик...»

XVI

Рассказывают, что ставился вопрос о выпуске специальной газеты в единственном экземпляре для больного Ленина, откуда были бы изъяты все сообщения неприятного характера, способные взволновать вождя, а значит, пагубно отразиться на его пошатнувшемся здоровье. Какая исключительная заботливость, какая нежная предусмотрительность! Я не верю в столь умилительные причины, для меня проявление столь сердобольной опеки легче объяснить другими, отнюдь не сентиментальными мотивами.

Несмотря на болезнь, Ленин продолжал быть деятельным, и эта деятельность кой у кого вызывала беспокойство за свою судьбу. Кой-кому было выгодно изолировать Ленина, подсовывая фальшивую, успокаивающую информацию. Ленин, ложно информированный, невпопад бы и реагировал, а уж тогда его указания можно не принимать в расчет. И не столь важно, что эту, в общем-то нереальную, авантюрную затею не привели в исполнение, важно — такое желание имело место.

Другой факт: Сталин проявляет бестактную грубость к Н. К. Крупской и, по всей вероятности, неоднократно. Больной Ленин ответил на это возмущенной запиской, требуя от Сталина извинений.

Обычно в этом конфликте видят лишь проявление неприглядных личных качеств Сталина, некие черты будущего деспота. Для меня тут знаменательней другое — Сталин о с м е л и л с я грубить Крупской, самому близкому для Ленина человеку, считал это н е о п а с н ы м для себя.

Он, Сталин, как никто другой, любил и поощрял впоследствии самые грубые, неприкрыто льстивые, низменные проявления лакейства в свой адрес. Он порой даже не замечал, что неумеренная лесть обретает комический характер, мельчит его фигуру. Зачем, например, тому, кого уже величают светочем человечества, быть еще и лучшим другом советских физкультурников? Н и р а з у, как бы неумеренны, как бы порочаще грубы ни были лакейские восхваления, Сталина не возмутило, ни разу он не одернул льстецов. Нужно быть в душе самому непритязательным лакеем, чтоб, не смущаясь, выносить бесстыдный, подчас гротесковый подхалимаж.

Лакейство вылезало у него и раньше, до монаршьей власти.

15 января 1918 года на III Всероссийском съезде Советов он делает доклад по национальному вопросу. Прежде чем произнести традиционное «товарищи», он провозглашает: «Да здравствуют вожди мировой революции — Ленин, Троцкий, Зиновьев!» Нам сейчас кажется такое начало доклада весьма заурядным только потому, что мы прошли в свое время сталинскую выучку, но в начале 1918 года, сразу после революции, когда большинство искренне верило в идеи равноправия, когда вожди еще не стали предметом культового поклонения, когда слово «товарищ», заменившее «господин», еще воспринималось во всей благородной первозданности, открывать деловой доклад со здравицы было своеобразным новаторством. Неискушенные делегаты приняли эти слова за очередной революционный лозунг и проаплодировали, но никто из выступавших не повторил номера, да и впоследствии долгое время не находилось подражателей.

Трезвые историки могут не считать столь мелкую деталь достаточным доказательством лакейской натуры Сталина, но они не должны забывать, что искусство, вскрывающее общие закономерности, держится главным образом на таких вот внешне мелких, кажущихся случайными деталях. Несколько пустых, самих по себе незначащих фраз Манилова открывают характерную не только для современников Гоголя, но и для нас с вами человеческую черту — маниловщину. Галоши и зонтик некоего учителя гимназии Беликова помогают увидеть особый, опять же общественно характерный тип, «человека в футляре». И то, что Сталин первый в революции пропел льстивую здравицу, дает мне полное право подозревать — лакейство органически было присуще ему. Грубость и высокомерие, которые он проявлял позже в столь неумеренных размерах, не противоречат этому выводу, наоборот, подтверждают его: лакей, став господином, должен быть груб и нетерпим.

И вот такой человек лакейского склада пусть не прямо, пусть косвенно, через жену, проявляет пренебрежительную грубость к Ленину. Это может означать только одно — вокруг Ленина уже тогда с л о ж и л а с ь а т м о с ф е р а п р е н е б р е ж е н и я. Для широких масс он все еще великий вождь, непогрешимый гений, для окружения же — парализованный человек, политик, сходящий со сцены. Сходящий, но еще не сошедший, еще достаточно опасный.

И чем-то вызвана была дошедшая до наших дней, в свое время общеизвестная в партийных кругах фраза Крупской, произнесенная в 1927 году: «Живи сегодня Ильич, эти интриганы посадили бы его в тюрьму».

Позднее Крупская таких слов не повторяла, жила под негласным надзором, панически боялась Сталина.

Ленин умер и перестал быть опасным для аппаратчиков, напротив, теперь им выгодно его возвеличить до святости, чтоб прикрываться его высоким авторитетом, выдавая себя за его преемников.

Сам Ленин умер, а ленинизм продолжал жить. Не был ли опасен и он?..

16

Максимка стоял у окна.

Внизу, под окном, жила с незапамятного детства знакомая улица: приходили и уходили трамваи, появлялись и исчезали грузовики, менялись люди на трамвайной остановке, суетливо бежали прохожие, и поток их не оскудевал и не кончался.

Максимка стоял у окна и ждал — вернется с работы отец или нет? Обычно он в эти часы уже появлялся на трамвайной остановке. Максимка несколько раз ловил себя на том, что выстукивает по подоконнику «Чижик-пыжик, где ты был?..»

Внизу среди прохожих появилась мать. Впервые Максимка с особым вниманием разглядывал, как она ведет себя среди людей. Пришпиленная к густым волосам беретка, вздернутая голова, даже сверху видно — выделяется средь других, красива, чуточку презирает обыкновенных, не отличающихся друг от друга прохожих. Спешивший по мостовой мужчина дернулся всем телом, уступил ей дорогу, обернулся вслед, а она прошла, не заметив его. Но походка у нее усталая — волочит ноги. Скоро она появится в этой комнате.

Он обещал матери молчать: никому — ничего.

Минут через десять за дверями послышались шаги, царапнул ключ о скважину, щелкнул замок — мать...

— Ты обедал? — устало спросила она с порога.

Максимка только сейчас вспомнил, что существуют в жизни такие вещи, как обеды.

— Ты чего вдруг — столбом у окна?..

Он взял стул и книгу, стул поставил к окну, книгу положил на подоконник. Мать ушла в кухню, загремела посудой. А он снова стал жадно глядеть в окно, вслушиваться — не дребезжит ли трамвай.

И вдруг он заметил на улице человека... Тот стоял на трамвайной остановке, но не в куче, а в стороне — полный, плотный мужчина в черной шляпе. Да, похож, очень похож... Лицо его трудно разглядеть из окна четвертого этажа. Но похож на того, который вошел в кабинет после теле-

фонного вызова, мрачно спросил, сколько Максимке лет. Одно ясно — этого человека не было на трамвайной остановке, он появился, пока Максимка разговаривал с матерью.

Прошел трамвай, человек в черной шляпе остался, он даже не пошевелился. И еще один трамвай,— человек стоял и вглядывался в тех, кто выходил. Он кого-то ждал, Максимка заметил, как он несколько раз подносил рукав плаща к лицу, вглядывался в часы.

Издалека задребезжал третий трамвай. Человек в шляпе переминался с ноги на ногу, глядел в сторону приближающегося трамвая.

Трамвай остановился, из него вывалился народ, и человек наконец шагнул вперед. И тут-то Максимка увидел отца — серый плащ, кепка блином, неотличимо похожий на других.

Человек в шляпе остановил отца. Они стояли друг перед другом, о чем-то беседуя, явно негромко и, казалось, вяло, говорил больше тот, отец нехотя покачивал головой, в чем-то сомневался. Так они простояли минуты три-четыре, потом незнакомец притронулся к шляпе и отошел. Отец неторопливой раскачкой двинулся к дому. В это время подошел еще трамвай, и Максимка увидел, как человек в шляпе протискивается к площадке.

За дверью послышались тяжелые шаги отца. Мать их тоже услышала, вышла из кухни, стала накрывать стол.

Все шло, как вчера, как позавчера, как год и пять лет назад, по заведенному порядку: отец, помыв руки, сел за стол, Максимка тоже занял свое место, мать начала разливать суп. Как вчера, как позавчера, с успокаивающей точностью.

По заведенному порядку отец должен был задать вопрос о школе: «Сколько сегодня нахватал «неудов»?» В школе давно уже не ставили «уды» и «неуды», а «посредственно» и «плохо», но отец все еще продолжал называть отметки по-старому.

Он и сейчас спросил, но не о школе:

— Цецилия Львовна говорила, что ты приходил ко мне?

Мать вздрогнула, бросила затравленный взгляд на Максимку. Максимка спокойно кивнул головой: «Приходил».

— В чем дело? — поинтересовался отец.

Уткнувшись в тарелку, Максимка ответил:

— Славка Борков... продает марки... всю коллекцию.

Славка Борков жил этажом ниже, свою знаменитую коллекцию марок он продал еще месяц назад. Никто из ребят и не мечтал ее купить — там одна лишь серия тувинских марок стоила столько, сколько стоит новый фотоаппарат.

— Ну и что же?

— Я раздумал.

И снова молчание до конца обеда.

Отец поднялся из-за стола, сел к окну на стул, на котором недавно сидел Максимка, глядя на улицу, неожиданно сообщил:

— Сейчас у самого дома меня остановил... Дербенев.

Мать, собиравшая посуду со стола, замерла.

— Мне показалось, что он ждал меня.

— Что ему нужно? — едва слышно спросила мать.

— Советовал куда-нибудь поехать... отдохнуть. Даже предлагал быстро оформить отпуск.

Мать медленно бледнела, на известковом лбу вздернуты резкие брови, глаза остановившиеся, темные.

— Может, тебе поехать к брату в Городню? Он звал...— тихо сказала она.

Отец не ответил.

— Там лес, река... На самом деле отдохнешь,— приглушенно настаивала мать.

Отвернувшись к окну, отец глухо сказал:

— Где сейчас отдохнешь? В каком месте?.. Только если, как цыгане гадают, в казенном доме.

— Поезжай в Городню.— С тихим упрямством, просяще.

— Нет! — Отец встал.— Нет, не хочу.

Максимка понял весь разговор. Оказывается, тот толстый Дербенев

хотел спасти отца, ждал у трамвайной остановки, чтоб посоветовать — уезжай. Недаром он тогда в кабинете сидел мрачный, должно быть, любит Максимкиного отца. Быть может, он, Дербенев, такой же, как отец, тан же думает: «Хотел бы, да не могу...» И странно, сейчас это не ужаснуло Максимку. Он хотел, чтоб отец послушался Дербенева, уехал в Городню к брату. Было даже радостно оттого, что отца кто-то спасает. Максимка не замечал — он сейчас на стороне отца. Тайком от самого себя.

На кухне мать схватила Максимку за рукав мокрой рукой, приблизила лицо, шепотом спросила:

— Ты никому — ничего?

— Не,— ответил Максимка и выдержал взгляд, не опустил глаза. Он соврал отцу, почему должен говорить правду матери?

А вечером следующего дня из скупых разговоров отца с матерью Максимка узнал, что толстый Дербенев выступал на собрании против отца, всячески поносил его. Совсем непонятно, путало все. Но Максимка уже устал удивляться.

Отец пока ходил на свободе.

XVII

В подчиненном обществе, где опасно проявлять мысль и волю, неизбежно возникает фетишизация лиц, стоящих у власти.

Причем степень фетишизации власть имущих должна возрастать пропорционально высоте занимаемого положения. Председатель колхоза почитается меньше, чем председатель райисполкома или секретарь райкома, секретарь райкома вызывает куда меньшее почтение, чем секретарь обкома, и дальше — больше. Фетишизация достигает предела относительно самой высшей точки государственной пирамиды. Личность, сидящая на самом бюрократическом поднебесье,— источник первичных приказов, собственно, начало начал, то есть бог. Для бездумного исполнителя чужой воли — а таким вольно или невольно становится все население страны,— бюрократ над бюрократами должен быть всезнающим, не способным ошибаться высшим существом, желания которого — непреложный закон жизни.

Такого «совершенства» бюрократическая система достигает не сразу и далеко не мирным путем. Сначала вне бюрократической зависимости оказалось крестьянство, раздробленное на миллионы мелких хозяйств. Им трудно приказывать, потому что невозможно проследить за этими миллионами, как они исполняют приказы. Необходимо собрать раздробленные хозяйства в крупные, тогда контроль за исполнением приказов уже легко осуществить. И бюрократическое государство подымается войной на крестьянство. Жестокая и быстрая победа, не вызвавшая ни сопротивления, ни даже заметного возмущения, говорит уже о могуществе системы, о ее базотказности. «Революция сверху»,— назвал ее Сталин. Что ж, пожалуй, и в самом деле — переворот в обществе.

Бюрократизм подчинил крестьянство, но опасность таилась и внутри самой системы.

Вместе с ростом бюрократической системы рос и авторитет покойного Ленина. Фетишизация власти не могла обойтись без фетишизации создателя этой власти. Но Ленин был слишком сложной фигурой, не все, что он говорил, подходило для крепнущей бюрократии — недовольство существующим госаппаратом, ненависть к самому бюрократизму как явлению, рассуждения о творческой инициативе масс и пр. и пр. Правда, сами по себе мертвые святые никогда не были большой помехой для переродившихся последователей, если даже и высказывали неприемлемое. Человеколюбивые заповеди Христа не помешали святой инквизиции жечь и пытать во славу этого спасителя рода человеческого. Высказывания Маркса о кооперации не помешали ортодоксальному марксисту Ленину отнести эту кооперацию в разряд капитализма. Обошлись бы надлежащим образом и с самим Лениным, если б не оставалось тех, кто слишком буквально его понимал.

В послереволюционной стране было много революционных романтиков, которые продолжали мечтать о несбыточном — о равенстве, свободе, народовластии. Им не могло нравиться диктаторское бюрократическое насилие

с возрождающимся обожествленным монархом. Их несбыточные мечты, их неприязнь к возникающей деспотии находили опору у покойного Ленина, в той части ленинизма, которая неприемлема для бюрократии. Сами по себе идиллические, ирреальные, неприемлемые для практических действий ленинские упования на равноправие и народовластие тем не менее придавали силу и неуязвимость революционным романтикам. Все, что от Ленина, то свято!

Они осложняли бытие рядового бюрократа, вызывая досадные сомнения и путаницу в мозгах исполнителей, нарушая простоту установившихся деловых отношений (приказ — исполнение!), а значит, мешали работе аппарата.

Они, эти революционные романтики, представляли прямую угрозу и для бюрократического бога. Большинство из них помнило Сталина как одного из довольно скромных деятелей партии — пигмеем среди революционных гигантов. Они не могли не презирать его за узость кругозора, за ординарность мышления. Наконец, в их руках имелось такое опасное оружие, как высказывание Ленина о Сталине в «Завещании». Богу неспокойно, бог не мог терпеть их рядом.

И все это осложнялось еще и тем, что революционные романтики, недовольные бюрократическими порядками, как правило, сами были бюрократами, ставленными на власть в ленинские времена. Бюрократическая система несла в себе чужеродную гниль.

Только что прошла грандиозная и жестокая операция с крестьянством, где бюрократическая машина доказала свою безотказность. И это придало решительности, совершается нечто совсем невероятное — бюрократический бог отдает бюрократической системе приказ: пожирай... бюрократов! Нет, не только тронутых гнилью, не одних лишь революционных романтиков — кто их разберет, кто с гнильцой, а кто нет, — на всякий случай заметай всех подряд!

Казалось бы, приказ просто дикий, система-то состоит из живых людей, эти люди могут не подчиниться из одного лишь животного инстинкта самосохранения. Но вот вам наглядное доказательство, что история вовсе не слагается из действий и желаний отдельных личностей.

Личность в истории, как правило, подчинена системе. Та или иная общественная система развивается так не потому, что большинству людей, ее представляющих, это выгодно, а потому, что эти люди соединены в такую конструкцию, которая может действовать лишь определенным образом. И никакой могущественный властитель не может заставить систему совершать то, что ей несвойственно.

Удивляются жестокости Сталина, решившегося на массовые репрессии, но, мне кажется, достойна большего удивления бюрократическая система, для которой дикий по жестокости сигнал — пожирай своих членов! — не был противоестествен. Напротив. Сигнал был брошен, и система заработала со свойственным для бюрократизма усердием.

Однако здесь есть уже готовые возражения. «Но сегодня создается новый миф, — пишет, как всегда, с гневом и непререкаемостью Солженицын. — Всякий печатный рассказ, всякое печатное упоминание о 37-м годе — это непременно рассказ о трагедии коммунистов-руководителей. И вот уже нас уверили, и мы невольно поддаемся, что 37-й — 38-й тюремный год состоял в **посадке** именно крупных коммунистов — и как будто больше никого. Но от миллионов, взятых тогда, никак не могли составить видные партийные и государственные чины более 10 процентов. Даже в ленинградских тюремных очередях с передачами больше всего стояло женщин простых, вроде молочниц».

То есть сталинская бюрократическая система была просто стихийно кровожадна, садила и уничтожала не целенаправленно, доставалось больше тем, кто был чужероден системе.

Я не беру на себя смелость назвать более точный процент потерпевших государственных и партийных деятелей, готов даже согласиться с той малой цифрой, которую называет Солженицын. Но не всегда-то арифметическое число определяет существо дела. При добывании граммов золота приходится перерабатывать многие тонны породы. Обмолоченного зерна бывает много меньше соломы, прошедшей через ту же молотилку.

Когда дело касалось рабочих, рядовых служащих, ученых, деятелей

искусств, молотящая кампания 37-го года не отличалась строгой последовательностью — хватали и сажали по подозрению, по случайным доносам, просто по оказии, особо не ограничиваясь, не жалея и не церемонясь. И только в отношении коммунистов-руководителей наблюдалась явная жестокая тенденция. Буквально в каждой области, в каждом районе было арестовано и расстреляно по два, по три, а то и по четыре раза основное руководство. Хватали одних — ставили других, хватали этих — ставили новых и так по нескольку раз. Хватали не потому, что это были плохие, непослушные или ненадежно мыслящие бюрократы, просто потому, что они занимали достаточно видное место в бюрократической системе. Причина уничтожения — причастность к бюрократизму!

Видных бюрократов могло быть и не столь много в общей численности потерпевших в стране, но почти все они попали под расправу, уцелели лишь считанные единицы. Цель, собственно, была определенная — уничтожить старореволюционные веянья, опасный для бюрократизма ленинизм, но делалось это способом сплошной дезинфекции, лучше уничтожить всех подряд, чтоб быть уверенным в полной стерильности. Бюрократизм неизобретателен.

И после того, как по всей стране, во всех бюрократических инстанциях провели дважды, трижды такую кровавую дезинфекцию, сама система стала качественно иной. Новые бюрократы, наконец утвердившиеся на старых местах, уже не походили на прежних. Им совершенно чужды были какие-либо свободолюбивые мечтания, демократические симпатии. Каждый бюрократ превратился в четко сформированного двуликого Януса — деспота и раба одновременно. Безжалостного деспота по отношению к нижестоящему, униженно преданного раба по отношению к вышестоящему. И никаких колебаний, никаких сомнений, никаких человеческих побуждений — только исполнительность, слепая, бездушная, не считающаяся ни с очевидными фактами, ни с самой жизнью. Новый бюрократ прекрасно знал, что такое система, в которой он находится, с ней шутки плохи.

Вот тут-то можно сказать, что революция сверху кончилась, стабилизовав на неопределенное время наше общество. Воистину Великая Бюрократическая революция! Она прямое продолжение Великой Октябрьской, ее чудовищное детище. Она в какой-то мере завершила ту бурную драму — драму идей, порожденных благородными свободолюбивыми стремлениями. В какой-то мере, на какое-то время, потому что вообще-то драма идей кончится лишь вместе с мятущимся человечеством.

Ну, а в моем хаотическом повествовании две истории, шагавшие каждая по себе, здесь сходятся — величественная история бунтарских идей с историей мальчишки, моего сверстника.

17

Он проснулся от негромкого голоса, произнесшего романтически неправдоподобную фразу, какую до сих пор Максимка слышал только в кино:

— Оружие есть?

Горел свет, и в комнате было много народу — двое в плащах и кепках, двое военных, затянутых ремнями. Полуодетая мать жалась к стене, держалась за горло, волосы рассыпались по плечам. А чужие люди вели себя тихо, держались даже с какой-то неловкостью, словно рабочие из мебельного магазина, — собираются вынести из комнаты тяжелый шкаф и стесняются, что попали в незнакомую квартиру, стесняются, что их так много, потому и говорят приглушенными голосами.

— Оружие есть?

Отец сидел у окна на стуле, прямой, неподвижный, положивший большие, перевитые венами руки на колени, — массивный мужчина в позе примерного мальчика. Запавшие глазницы до краев залиты тенью. А мать жалась к стене, держалась за горло обеими руками, остановившимися глазами глядела на нешумливых, стеснительных гостей.

— В нижнем ящике комода, в левом углу — браунинг, — так же тихо и внятно ответил отец от окна.

У отца был старый браунинг, принесенный с войны, на него имелось удостоверение, Максимка это знал, но так как ему не давали его держать в руках, как саблю дяди Вани, то он не видел этот браунинг в глаза по многу лет и забывал о его существовании.

— Есть ли еще какое-нибудь оружие?

— Нет.

— Приступайте к обыску.

Началось деловитое движение.

И тут Максимка увидел, что у порога сидит еще один человек — дворничиха Фатима. Она, как и отец, послушно сложила руки на коленях, у нее блестят щеки. Максимка понял — она плачет.

Но сам он не заплакал, лежал, натянув на подбородок одеяло, смотрел и слушал. Упала книга на пол, скрипел паркет под сапогами, шуршали плащи...

Один из военных согнутым пальцем обстукивал стены. Тук-тук... Пауза. Тут-тук-тук... Как ленивый дятел в лесу. Его товарищи рылись на полке с книгами, а Максимка из-под одеяла и мать от стены следили за рукой военного. Тук-тук! Тук-тук-тук!.. Стучал и прислушивался, передвигался вдоль стены. Максимка завороженно следил. Рука военного дошла до портрета Сталина. Тук!.. И оборвалось. Сталин поверх плеча военного смотрел на Максимку, с улыбочкой, доброжелательно. Военный не притронулся к портрету, почтительно пропустил, застучал дальше: тук-тук... тук-тук-тук...

Он подошел к Максимкиной кровати, они встретились взглядами. С молодого лица, не выражавшего ни враждебности, ни участия, — глаза уличного прохожего.

— Попрошу, — сказал он.

Максимка не понял и сильнее натянул на себя одеяло.

— Попрошу, — повторил он терпеливо.

— Максимилиан! Встань! — сорвавшимся голосом крикнула мать.

И Максимка торопливо вылез из-под одеяла, встал босыми ногами на холодный пол. Перед одетым, затянутым в ремни человеком он, Максимка, в трусах и майке чувствовал острый стыд. А военный деловито начал ощупывать его постель. Должно быть, это очень неприятно — шарить руками по нагретой постели, да еще когда на тебя смотрят со стороны. Движения военного, сначала деловитые, постепенно становились какими-то натянутыми, неловкими — так гладят бездомную собаку, боясь запачкаться, подцепить заразу. Он помял подушку, откинул одеяло и матрац, заглянул под него, ничего не увидел, кроме пружин кровати, небрежно бросил все на прежнее место, проворчал:

— Попрошу.

Верно, он предлагал Максимке ложиться обратно, но постель была разворочена, Максимка продолжал стоять босыми ногами на полу, у него дрожали колени.

Если б военный еще раз сказал свое «попрошу», Максимка, наверное, лег бы в развороченную постель... от страха. Но военный не повторил, отошел.

Шла работа: шелестела бумага, шуршали плащи, падали на пол книги, выбрасывались из ящиков комода мамины платья. Шла работа, и комната преображалась — без шума, без крика в ней нарастал разгром. А за окном — притихшая улица, а ночь со всех сторон обнимала большой, плотно населенный, крепко спящий дом. И никому не было дела до нешумного, деловитого ночного разгрома. И гости выглядели буднично озабоченными, скупо перебрасывались между собой вполголоса, почему-то дружно оглядывались, когда падала на пол толстая книга или нечаянно сбитая локтем со стола пепельница.

В разгроме не участвовал лишь один гость в сером, в елочку пальто. Он сидел в мамином кресле, скучающе разглядывал ногти, позевывал.

А у порога тихо плакала Фатима.

— Встать!

Отец с усилием поднялся, навесив над коленями руки.

— Можете взять с собой смену белья, полотенце и прочие предметы туалета.

Мать с усилием оторвала себя от стены, побрела, пошатываясь, среди разбросанных вещей. А отец стоял и глядел в пол.

И вот он у дверей, одет в пальто, почему-то в зимнюю шапку, держит в руках узелок. Отец отвел рукой военного, шагнул к матери.

— Ну...

Мать боязливо подалась навстречу ему. Отец обнял, поцеловал, еще раз сказал:

— Ну...

Максимка стоял босыми ногами на холодном полу и дрожал.

Отец повернулся к нему, и Максимка кинулся:

— Пап-па!

От его выкрика ночные гости угрожающе сдвинулись.

— Па-па! Папа!

Шершавая щека отца прижалась к его щеке. Они так стояли несколько секунд, может, четверть минуты. И эти секунды были такими покойными, было так хорошо в объятиях отца, что Максимка забыл об озабоченных людях, смотрящих в упор с расстояния двух шагов. Отец рядом, больше ничего, ничего не надо.

Отец резко разогнулся:

— Максимка, будь всегда честным человеком.

Темное лицо, под зимней шапкой в провалах влажное мерцание, еще раз с трудом выдавленные, тяжелые слова:

— Будь честным.

— Па-а!

Спина в ремнях отгородила его от отца.

Из раскрытой двери повеяло холодом по босым ногам.

— Па-а!..

Дверь захлопнулась, сквозняк прекратился.

Не было даже Фатимы — у порога стоял лишь пустой стул.

Пол усеян бумагами, некуда ступить — всюду книги, белье, платья матери. Мать сидела на полу среди разбросанных вещей, запустив пальцы в распущенные волосы, легонько покачивалась.

А Максимка стоял босиком на холодном паркете, глядел в захлопнувшуюся дверь и дрожал.

Шум шагов по коридору давно заглох. Мать продолжала раскачиваться. За окном, внизу, на спящей улице взревел мотор машины.

Тишина.

XVIII

Двое в комнате:
я
и Ленин...

Наша беседа кончилась, Владимир Ильич.

После того, что я услышал от Вас, может показаться, что я должен проникнуться к Вам недоброжелательством, если не лютой ненавистью. — такое, мол, натворить в истории! Но тогда я должен считать, что от Вас зависел ход истории. А я на протяжении всей беседы пытался доказать обратное: не Вы поворачивали течение жизни, а жизнь сама тащила Вас, занося в омуты. Вы — яркий пример человеческой самонадеянности и человеческого бессилия. Пробежав за несколько тысячелетий от первобытного костра до двигателя внутреннего сгорания, человек уже возомнил, что может управлять собственной судьбой. Не так-то просто, оказывается. И на непомерные претензии — издевка: выдвинут вождь народов, у которого буквально все благие намерения оборачивались тягчайшим злом.

Не будь Вас, был бы кто-то другой, похожий. И Ваше место в истории не могла занять фигура типа Эйнштейна от социологии. Нет, тот, другой, непременно оказался бы столь же незатейливо прост, категоричен, фанатичен, резок до агрессивности, чтоб неискушенный народ мог понять его, выразить через него свою ненависть, скопившуюся от безысходной нищеты, забитости и угнетения. Не будь Вас, пошли бы за Львом Троцким — вполне подходил. Так можно ли винить Вас, Владимир Ильич, что Вы оказались именно таким, какой нужен народу?

Винить народ — тоже глупо. Яблоко не виновато, что оно зелено.

Вы и Ваша деятельность, Владимир Ильич,— частное проявление общего человеческого развития, некой исторической неспелости.

Вы — сын своего времени, я — своего. За те полвека, которые нас разделяют, произошло так много наглядно больного, уродливого, что не понять заблуждений прошлого мог только законсервированный идиот. То, о чем я здесь говорил, никак не великие откровения. Это теперь если не осознает, то чувствует уже каждый. Нынче даже школьник скептически относится к официальному славословию по Вашему адресу, а я и в двадцать с лишним лет еще молился на Вас с восторгом.

Если б я сейчас проникся к Вам ненавистью, это доказывало бы лишь одно: я разуверился в прежнем божестве, считаю себя обманутым — не получил спасительного средства. Значит, я не рассчитываю сам понять, сам открыть, надеюсь на благодать свыше. Значит, я, каким был верующим, таким и остался, готов сменить лишь идола.

Нет, хватит! Хочу мыслить, а не верить в чьи-то готовые догматы! Хочу искать и понимать, не считаясь с обожествленными авторитетами!

Двое в комнате:
я
и Ленин...

Прощайте.

18

Ночь не уходила из города, и город не просыпался. Временами начинало казаться, что на этот раз день не наступит. Свет был потушен, Максимке и матери хотелось спрятаться друг от друга в темноте.

Максимка лежал и напряженно ждал, что снова раздадутся по коридору шаги, дверь откроется, появится отец, сорвет с головы зимнюю шапку.

— Черт-те что! Глупое недоразумение.

Максимка хорошо понимал, что этого быть не может, но ждал, ждал каждой клеточкой натянутого тела.

— Глупое недоразумение...

А потом наступит утро, и тогда забудется ночь. Ночь для того и создана, чтобы наводить на людей кошмары. Днем такого не могло бы произойти, не представляется.

Но ночь не кончалась, свет уличного фонаря тихонько поеживался на потолке. Максимка лежал в оцепенении, мысленно представлял поночному тускло освещенный коридор и ждал... Ждал шагов. И понимал — глупо.

Сколько бы раз он потом ни вспоминал эту ночь, всегда удивлялся одному — тогда не чувствовал себя преступником, мучился за отца и не мучился угрызениями совести. Он даже забыл о том, что считал отца виновным. Он просто самозабвенно, страдальчески жалел его, только жалел и ничего больше чувствовать был не в состоянии. Вытянувшись в постели, окаменев, он ждал, ждал шагов, ждал, что откроется дверь, ждал отцовского голоса: «Глупое недоразумение». Ждал вопреки рассудку, понимая, что не случится, не думая ни о вине отца, ни о своем собственном поступке, перестав связывать события друг с другом.

Возможно, это было мальчишеским самосохранением. В ту ночь отдать себя на суд совести — самоубийство. А в тринадцать лет еще трудно отказаться от жизни.

Темнота напирала из углов, только на потолке зыбкий свет. Он глядел в потолок, вслушивался... И постепенно выполз наружу человек с выглаженным лицом, выстукивающий дрожащими пальцами «чижик-пыжик». Он не хотел, чтоб ему рассказывали, не хотел слышать о вине отца, но не оборвал, не прогнал Максимку, не позвал отца. Этот, с выглаженным лицом, кого-то боялся...

Но, конечно же, не того, второго, не толстого Дербенева. Дербенев тоже не хотел зла отцу, сидел хмурый, а потом ждал отца на трамвайной остановке... Толстый Дербенев тоже кого-то сильно боялся.

Темнота напирала из углов, угарная, удушливая темнота, прячущая мать.

И даже военный, что согнал Максимку с кровати — «попрошу»,— наверное, не очень-то радовался отцовскому аресту. Он был какой-то равнодушный, ему все равно, его заставили, вот он и приехал, согнал Максимку с кровати, разворошил без удовольствия постель. Кто-то заставил, кому-то нужно.

Кто-то! Кого все боятся. Кто-то без лица, без имени. Он не человек, он всюду, он невидимка, прячется сейчас здесь. Он, может, даже залез внутрь Максимки, давно в нем устроился...

Отравляющая застойная темнота, Максимка лежал и коченел от страха и жалости, а коридор за дверью молчал — люди спят, шагов не слышно. В такую ночь способен ходить только Кто-то, без тела, без лица, без имени — Вездесущий. Его шаги не уловишь, не надейся.

Наконец свет на потолке стал бледнеть, воздух в комнате тоскливо посерел, и сперва вкрадчиво, потом назойливо поползли в глаза разбросанные на полу бумаги, смятое белье, старые отцовские башмаки...

Загремел первый трамвай, и мать со сдавленным стоном поднялась. Поднялся и Максимка, стал торопливо одеваться.

Не говоря друг другу ни слова, они принялись прибирать. Наступал день, к его приходу хоть как-то надо замести следы кошмарной ночи.

Утром мать, как всегда, умытая, причесанная, одетая в свой черный костюм, но с бледным и помятым лицом — на известковом лбу яркие брови, под глазами тени — отправилась на работу.

Раз мать уходила на работу, он должен идти в школу — так заведено. Максимка сейчас хотел прежнего порядка.

Он собрался и вышел следом за матерью.

По коридору выступал Борис Моисеевич Шольцман — виолончелист из оркестра, тот, что жил в самом конце коридора — последняя дверь с правой стороны. Он всегда первый кивал Максимке причесанной до глянца головой.

Максимка поздоровался с ним и сейчас, но Борис Моисеевич промаршировал мимо, замороженно прямой, с ярким шелковым кашне под подбородком, со своим громоздким инструментом, упрятанным в матерчатый чехол. Прошел мимо, холодно глядя прямо перед собой, мягко ступая начищенными туфлями.

Максимка двинулся вслед за ним, и виолончелист заторопился, неприязненно передергивая плечиками.

На третьем этаже на Максимку выскочил Славка Борков, собиратель марок. Он двинулся было к Максимке, боком, осторожно, с лицом, полным ожидания, но из глубины коридора раздался голос его матери:

— Славочка! Вернись!

И, не сводя с Максимки глаз, Славка попятился задом.

Внизу, в парадном, стояла Фатима, подпирая толстыми руками тяжелые груди; встречающие глаза с широкого лица как у больной собаки.

— Здравствуй, тетя Фатима,— сказал робко Максимка.

И она торопливо сунула ему что-то в руку, сердито закричала:

— Иди! Иди!

Сжимая в руке бумажный сверток, он вышел на улицу, прошел с десяток шагов, остановился, отвернулся к стене. Хоронясь от прохожих, он развернул сверток.

В нем оказались леденцы, какие Фатима приносила ему в детстве.

И тут он впервые за все эти дни заплакал.

XIX

При раскопках библиотеки Ашшурбанапала была найдена глиняная табличка со стихотворением. Автор его неизвестен, у историков он условно называется «Вавилонский Экклезиаст».

Что же плачу я, о боги? Ничему не учатся люди...

Увы, с тех пор и до сего дня.

Публикация Н. Асмоловой-Тендряковой
1964—1973 гг.

Инна ЛИСНЯНСКАЯ

Новые стихи

* * *

Бессонной стала ночь, а день — беспечным бредом,
Где и в снегу любой мне куст и ствол знаком,
А всякий человек, пусть и сосед, — неведом,
И с лесом в сговоре их обхожу тайком.

...И вновь не сплю в дому гостиничного типа. —
Насколько день шкодлив, настолько ночь строга,
Не дозволяет мне унизиться до всхлипа:
Жизнь укорочена — удлинена строка.

Удлинена и мысль о том, что на пороге
Смерть нищенкой стоит, а я скуплюсь подать
Свою копейку-жизнь. — Ведь скоро в снежной тоге
День бредящий придет, а с ним — и благодать —

Не мыслить, не страдать...

1988

* * *

Не надо ясности
Ни черни, ни царю.
Я не из праздности,
Я дело говорю.

Не надо ясности
Ни в чем и никогда.
В какой напрасности
Зажглась моя звезда?

Где доля лучшая? —
Ищи ее, свищи.
Звезда горючая,
Сгорай быстрей свечи,

Залейся тучами,
Уйди в песчаный грунт,
Звезда падучая
И пугачевский бунт.

1984

В минуту слабости

Я вырвалась из общего котла,
Из-под чугунной крышки воспарила.
Несчастная! Мне разве плохо было
Вариться в темноте и духоте?

Я вырвалась из общего числа,
Расталкивая маленькие числа,
И в одиноком воздухе повисла.
А разве плохо было в тесноте?

— Назад, назад — в котел добра и зла!
Назад — в число! Нет, дорогая, дудки!
Не шутят на Руси такие шутки,
А шутят — повисают в пустоте.

1982

* * *

Челка черная, длинная,
В два этажа,
Каждый волос, как линия
Карандаша.

— А была ль хороша?
— Да, была хороша.
— А была ли душа?
— Да, была и душа...

Неизбежны расспросы,
А возможно, и плач.
Ну, а лучшую розу
Принесет мне палач, —

И красна, и громадна —
С хозяйский кулак.
После жизни так надо,
Полагается так.

1966

* * *

Я днем обижаюсь
Все горше и злей,
А ночью склоняюсь
Над книгой твоей, —

Там не двоеженец
Вершит произвол,
А Божий младенец
Вздымает глагол

Над гетто, где воздух
Лежит на земле

И желтые звезды
Мерцают в золе,

Над снежной юдолью,
Где лагерный скит
Кровавою солью
Обильно полит...

И ночи теченье
Рыданьем дробя,
У Слова прощенья
Прошу за тебя.

1975

* * *

Странное нечто приходит во сне
С четкостью фотоснимка:
В жиже осенней при полной луне —
Женщина-невидимка.
Шляпка откинута далеко,
Кофта, шарфик на горле.
Кто эта женщина? — Да никто —
Плюнули и растерли.
Кто эта женщина — знать не хочу
Имени, но для порядку
Я на помин души засвечу
Синенькую лампадку.

1989

* * *

Я вновь зализываю раны
На берегу залива,
Где свет Финляндии туманной
Течет неторопливо,

И как бы нехотя, небрежно
Отряхивают ели

С себя на берег желтоснежный
Вчерашние метели.

Забудь, душа, что ты ранима,
Забудь, что ты гонима,
Прими туман, как побратима
Отеческого дыма.

1980

Полонез

В окнах — школа, и до зарезу
Надоел ремонтный сезон,
Стук по кровельному железу
Нагоняет смертельный сон.

Догорают во мне событья,
Дотлевают края небес,
И сквозь смерть не могу
забыть я
Ни тебя, ни тот полонез:

Бал открыт. Мы — вторая пара,
И соблазна первый микроб,
У тебя — румянец от жара,
У меня — в коленках озноб.

В школе музыка, в окнах море,
На исходе в мире война...
Поцелуй в пустом коридоре,
Дальше память затемнена.

Дальше в памяти — ни просвета,
Дни ракушками поросли,
И, как море от парапета,
Волны музыки отошли.

Грохот кровельного железа,
Но и в нем, и поверх него —
Отзвук дальнего полонеза,
Отсвет имени твоего.

1980

* * *

А кому ты скормила душу,
И сама ты уже не знаешь
И, похожая на кликушу,
Ты сама себя заклинаешь:

Проклинать — не твое занятье,
Уличать — не твоя забота.

Ты надень-ка белое платье
Да ступай-ка ты на болото.

Поклонись там ягоде-клюкве,
И она тебя озадачит:
Цапля серая в черном клюве
Нянчит душу твою и плачет.

1984

Звонарь, играющий на флейте

Веревками натерты руки,
Но после Службы во дворе
Иные возникали звуки
В Голландии и в звонаре,—
И выходящие из церкви
При тусклом свете фонаря,
Забыв о доме и о цехе,
Толпились возле звонаря,
В тумане плавала скамейка,
И пела, медленно дыша,

Средневековая жалейка —
Семиотверстая душа,
Он и диаспоры недолю
На музыку перелагал,
И издали старик в камзоле
То улыбался, то вздыхал,—
Туман вздымался грудой пепла
Того, кастильского костра...
А флейта пела, флейта пела
Почти до самого утра.

1988

* * *

Когда я грешить начинала
И каялась чуть ли не впрок,
Я в церкви армянской втыкала
Горящие свечи в песок.

А юность моя волновалась,
Волну настигала волна.
Я трижды во всем признавалась
И трижды была прощена.

Меня испугала пощада,
И я не вернулась домой...

И память, и в небе лампада
Морской освещают прибой,

И дом, виноградом повитый,
И цвета луны виноград,
И твой никогда не забытый,
Всегда вопросительный взгляд.

Под этим прямым освещеньем
Какие ответы нужны?
Вся жизнь твоя стала прощеньем
Моей откровенной вины.

1980

* * *

Влажный слог, намагниченный лад —
Льется дождь приворотный,
Льется дождь, и загадочен сад,
Словно грех первородный.
Плод запретный червив, и ни с кем
Дележа не устрою,
Я одна это яблоко съем,
И сознанье раздвою,
И отвечу одна. Да и нет,
Ни Адама, ни Змия,—
Лишь дождя пузырящийся след
И Россия... Россия...

1980

* * *

Как должно Божьим сиротам,
Не спорю я с судьбой.—
Ни с Каином, ни с Иродом
И ни сама с собой,

Но вот — не птичьим пением,
Не пеньем вешних вод,
А бешеным смирением
Всю душу мне трясет.

1978

* * *

Как совершенен замкнутостью круг!
И ты замкнись в себе, душа больная,
На что тебе товарищ или друг,
И в неизвестность дверь, и даль земная?!

Поговори сама с собою вслух
О зыбкости приюта и привета!
...Летит в окошко тополиный пух —
Избыток разыгравшегося лета.

С достигнутой в страданьях простотой
Прими явленья внешнего избыток,
Но никогда за собственной чертой
Что-либо взять не совершай попыток!

1972

●

Владимир МАКСИМОВ

Семь дней творения

РОМАН

Пятница

ЛАБИРИНТ

Здравствуйте, дорогой многоуважаемый папаня! В первых строках своего письма сообщаю, что мы живы-здоровы, того и Вам желаем. Папанечка родненький, как Вы там живете-можете? Приехали мы с Колей на новое место. Здесь кругом степя и очень ветра. А так ничего, жить можно. Очень я по Вас соскучилась, папаня. Часто утром встану и по привычке к стене тянусь постучаться. Попали мы в хорошую бригаду. Бригадир у нас сам из евреев, но человек хороший и душевный. Прямо таких я еще не видела. Заработки в этом месяце, должно, будут хорошими. Правда, вот пойти здесь некуда. Кругом степь голая, ни куста, ни травинки путевой. Все об детстве вспоминаю, когда я на огороде у нас все заячий хлеб отыскивала, а Вы все смеялись: чем бы, мол, дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Вот написала и заплакала. Плакать я теперь много стала, а почему, сама не знаю. Видать, года. Дорогой папанечка, принесу я Вам скоро внука или внучку. Тьфу, тьфу, не сглазить бы. Вы не беспокойтесь, работаю я по мере возможности, больше Коля не дозволяет, и ребята в бригаде не дают. Даст Бог, когда рожу, соберемся все вместе в одном углу, буду тогда дитя растить. Вашу старость обихаживать. Вот как хорошо-то было бы! Только когда это будет? Стройка у нас какая-то непонятная, чего строим, сами не знаем, почитай, одни коридоры да комнатенки махонькие. Ну, да не наше это собачье дело. Платили бы хорошо, а об остальном пускай у начальства голова болит, им с горы виднее. Все я об себе и об себе, а об Вас и совсем забыла. Папанечка родненький, напишите весточку, как живете, как здоровьичко ваше, как по хозяйству справляетесь? Беречь вам себя надо, как Вы у меня старенький, внуков дождаться. Нехорошо мне тут будет, коли Вы заболеете, изведусь вся. Очень я жду письма вашего, папаня. Будьте так добры, не забывайте свою Антонину, а я об Вас никогда не забуду.

Любящая Ваша дочь Антонина и зять Николай.

I

Когда Антонина следом за Николаем переступила порог прорабской, там, кроме самого хозяина, находился неизвестный тощий парень лет двадцати пяти, в заляпанном раствором комбинезоне. Занятые разговором, те даже головы не повернули в сторону вошедших. Прораб — бесформенная махина с короткой склеротической шеей — водил карандашом по листу бумаги перед собой, подсчитывая вслух:

— Считай, по шести копеек плюс добавлю копейки три на подноску. Плюс насечка — гривенник. Соображаешь, какую сумму отхватить можно?

Окончание. Начало см. в №№ 6—8 с. г.

Слушая его, тощий недоверчиво покачивал лобастой головой, равнодушно следил за движением карандашного острия в неуклюжих пальцах прораба, и большие темные глаза его при этом настороженно светились.

— Вы же знаете, Назар Степаныч, что такое насечка, — пока с ней провозишься, какая работа?

— А ты не усердствуй. Пройдись молоточком для порядка и покрывай. Я же принимать буду.

— Не могу, Назар Степаныч. Дело есть дело. Или на совесть делать, или никак.

— Совесть! Что ты, ее с хлебом есть будешь? Я тебе заработать даю, а ты ко мне с моральным кодексом лезешь.

— Да и людей у меня мало для такой работы, Назар Степаныч. В срок не освоим объект.

— Люди — не задача. Людей я тебе дам. — Он вскинул на вошедших тяжелые веки. — Чего вам?

Вполуха выслушав Николая, прораб мельком пробежал поданное тем направление, недовольно поморщился:

— Разнорабочий. Что они там, в кадрах, с ума посходили, что ли? Нету у меня никакой разной работы. Освободился?

— С полгода.

— Что в лагере делал?

— На строительстве.

— Чему научился?

— Всего понемногу.

— Штукатурное дело приходилось?

— И это было.

— Видишь, — удовлетворенно оживляясь, он повернулся к парню, — на ловца и зверь бежит. Хватай, пока не умыкнули. — Взгляд его остановился на Антонине. — А это жена, надо думать? Вот ее-то мы на разные и приспособим. Подкинь им кого-нибудь из своих, сразу с двух сторон фронт погонишь. — Прораб оказался не по комплекции стремительным и подвижным: ткнув карандаш в боковой карман спецовки, он решительно вскочил и подался к выходу. — А ну, на объект!

Вагончик прораба стоял на пригорке, и с порога стройка обстоятельно обозревалась вдаль и вширь. Вокруг площадки, насколько хватало глаз, простиралась, синея в знойной дымке, ровная, как стол, степь. Строительство в основном велось вглубь, возвышаясь над поверхностью земли не более чем на метр-два, поэтому самая площадка выглядела с порога вагончика скопищем серых, под свет степи, квадратной формы плоских бетонных коробок, между которыми сновали запыленные самосвалы. Работа шла там, внутри этих коробок, оттого стройка сравнительно с ее размерами казалась почти безлюдной.

Идя позади мужчин, Антонина более не прислушивалась к их разговору. Ее волновало сейчас, надолго ли задержится она здесь с Николаем. После отъезда из Узловска они уже успели поработать в экспедиции на Крайнем Севере, затем зацепились было в Красноярске на лесокомбинате, но стоило очередному щедрому на посулы вербовщику поманить Николая шальным заработком, он, не раздумывая ни минуты, потащил ее за собой в Среднюю Азию. Раньше Антонина снималась с места без особого сожаления, ей самой хотелось наверстать упущенное за предыдущие свои безвыездные сорок лет. Разнообразие и пестрота открывшегося перед нею простора поразили ее, обещая ей там — за горизонтом — еще более заманчивые дали. Но однажды утром она почувствовала какую-то неясную и обновляющую в себе перемену. Присутствие иной, сокровенной жизни затеплилось в ней, и, сладостно всем существом затихая, она чутко насторожилась и присмирела. С тех пор Антонину потянуло к постоянству и покою. Она страстно вдруг захотела своего угла, своих четырех стен, которые бы отгородили эту возникшую в ней жизнь от грозных случайностей окружавшего ее мира. Поэтому сейчас, идя следом за мужчинами, Антонина откровенно страшилась того, что Николай долго здесь не задержится и ей придется снова укладывать нехитрые их пожитки для новой дороги.

Шедший впереди прораб, поманив спутников за собой, неожиданно свернул в темный провал одной из бетонных коробок. По деревянным

сходням они спустились в едва освещенный временной проводкой коридор полуподвального помещения, из бесконечной глубины которого тянуло некрепшим раствором и земляной сыростью.

— Здесь только фронт наладить, а там дело само пойдет. — Прораб поспешно увлекал их вперед. — Такая деньга потечет, озолотиться можно.

Коридор тянулся вдоль такой же, размером поменьше внутренней коробки со множеством дверных проемов по лицевой стороне, каждый из которых был, в свою очередь, началом поперечного прохода, соединяющего обе стороны всего здания. До выхода на противоположном конце они обогнули ровно половину бетонного четырехугольника. Прежде чем выйти наружу, прораб повернулся к тощему.

— Другой бы благодарен был, а ты ломаешься. Здесь двумя фронтами с обоих концов гнать можно. — Считая, видно, разговор законченным, он выдернул из бокового кармана записную книжку и, вооружившись все тем же карандашом, что-то в ней размашисто накарябал. — Определи-ка их вот в общежитие. — Протягивая парню вырванный из блокнота листок, прораб почему-то упорно отводил от него глаза. — Договорись с подсобкой и принимайся.

Прораб утонул, растворился в солнечном провале выхода, а парень, оборачивая к ним растерянное лицо, сокрушенно вздохнул.

— Без меня меня женили. — Повертел в руках бумагу, хмыкнул. — Ладно, пошли.

По дороге, идя с ним бок о бок, Антонина искоса разглядывала его. Высокий, худой, несколько сутуловатый, с резко вырубленным профилем, он задумчиво щурился на ходу, словно разглядывал вдали что-то ему одному видимое. Парню можно было бы дать не менее тридцати, если бы сквозь мягонькую щетинку на его впалых щеках не светился густой, почти мальчишеский румянец.

— Общага у нас в административном корпусе, — походя объяснил он им. — Семейные живут в кабинетах, холостые — в хозяйственных загонах. Основные циклы уже закончены, так что в основном — отделочники. У меня в бригаде пять человек, будешь шестым. Зовут меня Осипом, фамилия Меклер. Как вас?

— Николай...

— Антонина...

— Тоню пристроим к нашим женщинам на подсобку.

— Полегче бы ей сейчас чего-нибудь, бригадир, — отвернулся в сторону Николай. — Нельзя ей сейчас особо тяжело.

Тот живо повернул к ней мгновенно порозовевшее лицо, и в близоруком прищуре темных его глаз засветилось ласковое сияние:

— Что ж, возьмем в бригаду седьмого. Не обедняем. — Он остановился перед дверью, на которой красовалось меловое изображение черепа и двух скрещенных костей. — Тоже мне, остряки... Заходите.

Административный корпус отличался от остальных бетонных коробок на площадке лишь множеством окон по всем четырем своим сторонам. Внутри его по огибающему здание коридору выстраивались одна за другой бесчисленные, одинакового размера двери, над каждой из которых был прикреплен пластмассовый номерной знак. Осип без стука толкнул крайнюю с корявой надписью поперек: «Комендант».

— Привет начальству! Принимай, Христофорыч, жильцов, выдавай амуницию и ставь на довольствие.

В комнате, заваленной матрацами и раскладушками, за больничного типа тумбочкой сидел волосатый старик в полуистлевшей майке, под которой явственно просматривался вытатуированный на груди государственный герб Российской империи, обрамленный броской надписью: «Стреляйте, гады!» Перед стариком, рядом с надкусанным помидором, поверх стопы ведомостей, стояла едва початая четвертинка. Взгляд его, устремленный в сторону вошедших, источал похмельную печаль самой высокой пробы.

— Еще один? Да еще и семейный! И куда только вас несет, господа! В эту тьмутаракань. Вы думаете, у здешнего рубля другая длина? Ошибаетесь. Скорее наоборот, он гораздо короче. Гораздо. Впрочем, как выражаются в хорошем обществе: хозяин — барин. — Он повел костистым подбородком вокруг себя. — Выбирайте что понравится и занимайте пятьдесят шестой нумер. Вот ключи...

После того как они наконец с помощью Осипа устроились и Антонина, вычистив и вымыв отведенную им комнату, сбегала в ларек и накрыла на стол, комендант уже на изрядном взводе явился к ним в гости.

— Всего на три куверта? Ай-ай-ай, нехорошо забывать домовладельца! Еще пригожусь. — Он снисходительно подмигнул спохватившейся было Антонине. — Не извольте беспокоиться, сударыня, я со своим прибором. — Перед ним, словно по волшебству, появился лафитник. — Будем, господа, ваше здоровье! — На его жилистой шее только кадык дернулся. — Да, Ося, их я еще понимаю. Они русские. Им сам Бог велел мечтать и разочаровываться, такая порода. Все тщатся поближе да побольше взять и разбогатеть разом. Азиатские инстинкты сказываются. Но ты, Ося, образованный человек, еврей. Неужели и твой изощренный ветхозаветный ум не мог выдумать чего-нибудь поудобоваримее?

— Но ты ведь тоже сюда забрался, Христофорыч, — посмеивался одними глазами тот. — И потом, что ты имеешь к евреям?

— Что я имею к евреям? — Видно, эту игру они разыгрывали не впервой — комендант оживился, с готовностью идя навстречу партнеру. — Спроси, что они имеют ко мне? Я старый человек, мне нет смысла кривить душой, но я прекрасно помню, как это все начиналось. Бывало — стучат. Стучат, конечно, прикладами, так внушительнее. Откроет это нянюшка моя, Анастасия Карповна, Царствие ей Небесное, а на пороге беспременно хлюст в кожанке, наган на боку болтается. И уж будьте уверены — или жид, или латыш. И чуть что — сразу на мушку. Ты, Ося, человек грамотный, начнешь, конечно, молоть сейчас насчет полосы оседлости и еврейском люмпенстве как питательной среде революции. Но ты мне скажи, спокойствие-то кровожадное откуда? Люмпен, он вспыхнул и погас. У него классового гнева ровно до первой жратвы хватает. А ваши методически убивали. Убивали, будто нудный обет исполняли. Детишек — и тех не жалели. Романовых, к примеру. Видно, хоть и отказались от веры отцовской, не избыли ее в себе. Сидел в них Яхве, глубоко сидел. Вот и давили гоев. Гоя можно, гой не человек.

— Были и другие, Христофорыч.

— Наверно, были, — вяло согласился тот и, налив себе сам, выпил. — Только я их не заметил. Землю от Парижа до Бугульмы исходил, а не заметил. Правда, знал одного в лагерях под Игаркой. Зяма Рабинович, святая душа. Романист, байки все травил. Да вот ты еще, пыльным мешком из-за угла ушибленный. Черт тебя сюда принес. Я? Я — другое дело. Меня три раза брали, ты это можешь понимать? — Он начал старательно загибать узловатые пальцы. — Из Франции в сорок шестом вернули, взяли? Взяли. В сорок девятом неделю дали на воле походить, взяли? Взяли. В пятьдесят втором через месяц после освобождения опять взяли? Взяли. Не хочу больше! Мне сам Бог велел в самую глушь забиваться. Лишь бы забыли они про меня. Хоть помру не за проволокой... — Он поискал умоляющим взглядом в сторону Антонины. — Не пожалей, сударушка, на посошок старику. — Он одним махом сглотнул налитое, сунул лафитник в карман и, гулко вздохнув, поднялся. — Пойду, засплю свои триста грамм. Здесь я у одного спрашиваю: чего, мол, пьешь много? А он мне: самому, говорит, худо. Зато, говорит, кина насмотрюсь всласть, когда до чертей допиваюсь... Так вот и я...

После его ухода они некоторое время молчали, потом Осип, опуская веки, тихо сказал:

— Хороший мужик, пьет только сильно. Завтра занимать придет. Вы ему не давайте, не отдаст. А напоить его и так напоят, народу много. На хлеб нету, а на водку всегда найдут. — Он коротко взглянул на Николая. — Сам-то не увлекаешься?

— В меру.

— Смотри. Ребятня здесь подобралась — один к другому, пьют все, включая смесь из огнетушителей.

— На мне по этой части где сядешь, там и слезешь.

— Ну-ну...

Подперев кулаком щеку, Осип невидяще смотрел прямо перед собой, и в его настороженном облике Антонине почудился отсвет какого-то еще

неведомого ей знания, которое безмолвно излучал этот едва знакомый ей человек. Да, да, это были не скорбь, не печаль и даже не безразличие, а именно знание того, что она должна была постичь лишь в будущем.

Уходя, Осип уже с порога обернулся:

— Завтра прямо туда и приходите, где сегодня были. Соберемся, прикинем, с чего начать. Всего.

Смутное предчувствие решающего в своей жизни события коснулось Антонины и затем уже весь вечер не оставляло ее. Укладываясь спать, она поймала себя на том, что поет. «Эка тебя, Антонина Петровна, разобрало, гляди — плясать пойдешь!»

II

Проснувшись на следующее утро, Антонина обомлела. За окном стоял литой монотонный гул. Иссеченное песчаной пылью стекло мерно вибрировало. Если бы не требовательный звон будильника, можно было б подумать, что на дворе еще сумерки: тусклое утро едва освещало прямоугольник комнаты. Накинув халат на плечи, она разбудила мужа.

— Гляди, Коля, что на дворе делается!.. Страсть. — Украдкой поглядывая в сторону Николая, она хлопотала вокруг стола. — Вот заехали, сам не рад будешь.

— На Севере померзли, на юге погреемся, — пытался отшутиться тот, но по всему было видно, что настроение у него тоже не ахти. — Перезимуем.

Едва они успели собраться, в комнату к ним заглянул Осип. Снисходительно улыбаясь, приободрил:

— Не тушуйтесь, обойдется. Дня три погудит — утихнет. Тем более работать нам под крышей. — Уже из коридора подмигнул заговорщицки. — Не отставать!

Колкий, обжигающий гортань ветер чуть не сбивал с ног. Степная пыль въедалась в волосы, проникала под одежду, зябко скрипела на зубах. Силуэты строений еле просматривались в сплошной пылевой завесе. Шедший впереди Осип то и дело подавал голос:

— Смелее!.. Смелее!.. Два-три десятка последних усилий, как говорится... Привыкать надо!

Когда они наконец добрались до объекта, Антонине показалось, что все в ней насквозь пронизано сухой зудящей изморосью. Еще не приступив к работе, она чувствовала себя разбитой и обескровленной. Одно только предположение, что это может продлиться еще несколько дней, повергало ее в панику и уныние: «Надо же было забраться в такую преисподнюю!»

Вниз Антонина спускалась, чувствуя на себе настороженный, изучающий взгляд нескольких пар глаз. У стены на корточках, выжидающе присматриваясь к вошедшим, сидело четверо парней в спецовочных комбинезонах. Двое из них были как две капли воды похожи друг на друга: курносые, с белесыми бровями над зеленым удивлением робких глаз. Рядом с ними медлительно потягивал сигарету смуглый, похожий на цыгана парень, короткая шея повязана пестрым носовым платком. Заспанное лицо четвертого не выражало ничего, кроме насмешливой скуки. Пропустив спутников вперед, Осип опустился на трап.

— Знакомьтесь, — кивнул он им. — Вот эти два сапожка: Сеня и Паша. Братья. Любшины. Черный пижон — Шелудько. Сергеем зовут. А эта спящая красавица претендует на имя Алик. Альберт, так сказать, Гурьяныч. Вы сами назовитесь.

— Тоня.

— Николай.

— Считаем, что высокие стороны договорились. — Он мгновенно перестроился на деловой тон: — Условия вы, ребята, знаете. Решайтесь, беремся или нет?

После недолгого молчания первым откликнулся Альберт Гурьяныч. Лениво позевывая, он сказал:

— Тебе видней, бригадир. Только на этом Карасике, сам знаешь, пробы ставить негде: обманет и не кашлянет.

— Работа не по разряду, бригадир, — качнул курчавой головой Шелудько. — Это ж бабье дело — стены мазать. Больше грязи, чем работы. А там — смотри, дело твое.

В ответ на вопросительный взгляд бригадира Сема лишь преданно обмолвился:

— Как ты, Ося.

Паша с готовностью поддержал брата:

— Как ты.

Лицо у Осипа благодарно обмякло, — их в него вера заметно пришлась ему по душе.

— Думаю, что обмануть — Карасику себе дороже. Работа действительно не по разряду. «Соколом» махать все умеют. Прораб обещал учесть коэффициенты. Зато фронт что надо, есть где развернуться. Пойдем сразу с двух сторон. Разделимся так: Сема с Пашей с ними, мы с вами втроем. Тоня в положении, поэтому включаем ее в общий наряд. С нее спрос — по возможности. Кто против?

Как бы отвечая за всех, Альберт Гурьяныч поднялся.

— Чего травить, время — деньги.

Бригадир повернулся к Николаю.

— Будешь здесь за старшего. Мы пойдем на ту сторону. Сегодня занимаемся лесами. — Он, не оборачиваясь, двинулся вперед. — За мной, милорды.

Работа предстояла мелкая, бросовая: разобрать сложенные в углу козлы, укрепить их, закрыть настилом. Но, глядя, с какой внушительной старательностью близнецы приступили к делу, можно было подумать, что производится операция первостепенной важности. Каждая доска в их руках, прежде чем попасть на место, проходила самую тщательную проверку на прочность. Если кто-нибудь из них вколачивал гвоздь, то аккуратности его мог бы позавидовать любой краснодеревщик. Николай, поглядывая на них, только посмеивался:

— Вот хомяки!.. Ишь как облизывают!.. Будто лекальщики. Им в аптеке работать... После них и проверять не надо.

Сколько ни старалась Антонина, действуя наравне со всеми, показать, что даром свой хлеб есть не собирается, доски потолще и козлы потяжелее неизменно ускользали у нее из-под рук, едва она к ним притрагивалась. «За ними не уследишь, — растроганно таяла она. — Поди с такими потягайся!»

К обеду они сообща соорудили леса — по меньшей мере дня на три сплошного гона. Но если Николай, судя по его взмокшей спине, порядком вымотался, то братья выглядели так, будто они еще и не начинали рабочего дня. Обстоятельно оглядывая дело своих рук, Паша коротко произнес:

— После обеда можно насекать.

Сема кивнул:

— Еще как!

Ветер над стройкой ломил ровной непроглядной стеной. К столовой они двигались гуськом, стараясь не упустить идущего впереди из вида. «Нам-то что! — закрывая лицо концом косынки, думала Антонина. — Отработал вербовку — и до свидания. А вот кому жить здесь, — намучаются».

Столовую распирало гвалтом и хохотом. Облако табачного дыма и пара из кухни медленно клубилось над множеством голов. Запахи извести, нитрокраски, столовой стряпни, курева, смешиваясь, оборачивались терпким, обжигающим гортань настоем. В окне раздачи, словно в портретной раме, сияла царственной осанкой дебелая блондинка лет тридцати пяти, усмиряя словом, кивком головы бушующие вокруг нее страсти.

— Мусенька, мне погуще.

— Погуще знаешь где?

— Муся, суп пересоленный, влюбилась?

— Не бойся, не в тебя.

— С тоски сохну, Мусенька.

— Перезимуешь.

— Муся, в кредит отпустишь?

— Спился уже, спрашивать не с кого будет.

Антонину она оглядела с откровенной обстоятельностью и, видно, заключив сравнение в свою пользу, величаво расплылась.

— Конечно, с непривычки? — Черные ее глаза-бусинки снисходительно лучились. — Это еще ягодки, а вот зимой задует, так хоть в печку лезь... Следующий!

За столом Антонину уже ждали. Ей мгновенно очистили место, пододвинули хлебницу и, предоставляя ее самой себе, занялись едой. Но и за обедом ребят не оставляла забота о начатом деле. Оно, это дело, жило в напряженных лицах, беспокойных руках, хмурой сосредоточенности. Альберт Гурьяныч, старательно двигая челюстями, начал первый:

— Здесь месяцем не обойдешься, бригадир. Верных два. И то дай Бог уложиться. По этой стене поползаешь. С одной насечкой мороки недели на две.

— Да, — сокрушенно вздохнул Шелудько, — намахаешься. Нашли крайнего, больше некому. Дураков-то теперь нема.

Любшины одновременно с уверенным любопытством повели носами в сторону бригадира: давай, мол, дорогой, отвечай.

— По-моему, — Осип невозмутимо доедал свой суп, — можно сделать и за месяц. В случае чего будем прихватывать выходные. Такой заработок на земле не валяется. Главное, без паники. Считайте, что деньги у вас в кармане.

Вставая, Альберт Гурьяныч скептически хмыкнул:

— Ладно, мое дело телячье. — Он лениво кивнул в сторону раздачи. — Смотри, сглазит она тебя, бригадир.

Выражение круглого Мусиного лица красноречиво свидетельствовало о ее душевном состоянии. Она провожала Осипа до самой двери взглядом, полным преданности и нескрываемого обожания. У Осипа сердито заалели уши. Он поспешил как можно незаметнее выскользнуть в коридор. Выходивший следом за ним Шелудько восторженно мотнул головой.

— Вот баба! Глаз положит — и погиб человек, залюбит до смерти.

Братья тоже поднялись.

— Мы пойдем, — рассудительно сказал Паша. — Вы тут особо не торопитесь, время еще есть.

Сема поддакнул:

— Полчаса вполне.

Только оставшись наедине с ней, Николай позволил себе заботливо коснуться ее локтя.

— Устала?

— Капельку.

— За ними не тянись, успеется.

— Покуда можно.

— Подорвешься — поздно будет.

— Поберегусь.

— Ну смотри...

— Ты сам-то не рвись. — Его робкая забота о ней тронула Антонину, она ласково погладила ему тыльную сторону ладони. — Всех денег не заработаешь.

Среди разговора за стол к ним подсел прораб.

— Ну, как на новом месте? — В его нервной оживленности сквозило что-то больное, вымученное. — Ветерок этот, конечно, не подарок, да ведь вам-то после севера не привыкать, наверно. Зато теплынь — бани не надо. — Он испытующе воззрился на Николая. — Еще не насекали?

— С лесами возились.

— Ну-ну... Работа, понимаешь, срочная. От нее вся процентовка зависит. Успеть надо.

— Постараемся.

— Ты, парень, вижу, с головой, понимаешь, что к чему. Оська — человек больной. Будет ковыряться, как в часовой мастерской, а здесь темп нужен. Понимаешь? — Маленькие глазки прораба исходили молящей просительностью. — Стукнул молоточком разок-другой и крой себе. Авось не дворец — сойдет.

— Я человек у вас новый, Назар Степаныч, — заскучал Николай, — как все, так и я.

— А ты поговори с ребятами, им же лучше. Что они, своей выгоды не понимают?

— Попробую.

— Вот и договорились, — сразу заторопился Карасик. — Завтра загляну, посмотрю, как начали.

Когда они возвратились на объект и Николай рассказал Любшиным о своем разговоре с прорабом, те лишь согласно вздохнули:

— С Осей надо.

— Без него никак.

— Мое дело передать, — обиделся Николай. — Только если как в аптеке работать — много не заработаешь.

Братья молча переглянулись и не ответили. Но Антонине показалось, будто при упоминании о заработке что-то в их лицах дрогнуло, обмякло, и, отметив про себя эту в них перемену, она посожалела в сердцах: «Ломает душу копеечка, вот как ломает!»

Вечером, молясь перед сном, она просила благодати себе, и мужу, и его товарищам, всем тем, от кого зависело их благополучие. Не забыла и об отце, страстно желая ему здоровья и долгих лет жизни. Последняя же ее молитва была во имя страждущего за других иноверца Осипа.

Сон не шел к ней, она долго лежала в темноте с открытыми глазами, потом спросила, скорее себя, чем мужа:

— Может, не надо?

— Чего? — откликнулся тот сквозь дремоту. — Чего не надо?

— То, как прораб хочет.

— Нашла время, спи...

Снилась Антонине гора, в острых каменистых складках которой цвел какой-то диковинный кустарник. Антонина шла вверх, взбираясь к блистающей яростной голубизной вершине, в уверенной надежде увидеть оттуда море, бьющееся с той, другой стороны горы. В этом призрачном восхождении Антонину и застало утро следующего дня.

III

Вечером в день аванса общежитие заметно ожило. Известное возбуждение чувствовалось уже во время ужина в столовой. Затем оно, постепенно нарастая, перекинулось в коридоры и комнаты. К тому времени, когда подступившие сумерки выявили в окнах россыпь первых звезд, административный корпус гудел от смеха и ругани.

Со страхом и надеждой Антонина отмечала про себя, как пьянка все ближе и ближе подкатывалась к их жилью: дай Бог, мимо, дай Бог, пронесет. Но ожиданиям ее не суждено было сбыться. К полуночи в комнату без стука ввалились Альберт Гурьяныч и комендант, вдрызг пьяные, с бутылками в карманах. Комендант, заискивая перед хозяйкой, согнул в земном поклоне свое сухопарое жилистое тело.

— А мы со своей, Антонина Петровна, со своей. В расход не введем, будьте великодушны, разрешите с вашим супругом, так сказать, на брудершафт...

— Не объедим, Тоня, — Альберт Гурьяныч еле стоял на ногах, — не объедим... Мы люди простые, мы без закуски... Вставай, подымайся, Николай... Раздавим на трех гномов две белоголовки...

Пока Антонина собирала на стол, гости принялись договаривать начатый, видно, еще до этого разговор. Упираясь волосатыми пальцами в грудь собеседнику, комендант трубно втолковывал ему:

— Мужички, говоришь? Кормильцы! Это они тебе здесь в жилетку плачутся: от колхозной голодухи, мол, на заработки приехали. А ты и развесил уши. Слушай их больше! Видишь, вот на мне — штаны китайские, рубаха румынская, ботинки чешские, хлеб мы с тобой едим канадский, колбасу нам делают из мяса австралийского, кашу заправляют датским маслом. Где же он, кормилец наш вечный? А он, сердешный, или на базаре сидит, или в Кремле заседает, весь блестит от наград, по магазинам бегает. Причем, бездельник, нас же с тобой нашим же хлебом попрекает, — жизнь мы ему заели, говорит. Рабочий ученый нынче, сам себя кормит, золото добывает, нефть, машины, книжки делает, которые за кордон за жратву и тряпки идут. А крестьянин твой давным-давно у них на полном иждивении. Даже хлеб его нищий и картошку они ему убирают. А когда Россия действительно на крестьянский хлеб жила, то всегда голодала. Потому как не хлеб это, а слезы. Не умеет он его растить да и не хочет.

Вот немцы на своих супесях по шестьдесят берут, а наш чудо-богатырь на черноземах до сих пор пятнадцати на круг не натягивает. Темен, ленив русский мужичок. Не жалеть его надо, а учить. Работать учить. Ты видел, как он сало солит? Набросает в бочку кусками и рад. А попробуй кто в деревне покоптить или повялить — поедом съедят, затравят. Не терпит русский мужичок, чтобы кто-нибудь выделялся. Они живут по-свински — значит, все так же должны жить. Потому и ненавидит Европу, да и весь мир презирает. Не так живут, не по его. Потому и выхваляется: все у него первое в мире. «Левшу» читал? Видел картинку: грязный, оборванный, в гнилых лаптях. Зато блоху подковал! А ты спроси у него: зачем ее ковать-то? Лучше б умылся вначале, лыка надрал да лапти сплел, дыры в кафтане зашил бы! Воровской, бездельный народ, а ты нюни распустил: трудоднем сирого задавили! Заставишь ты его день даром проработать! Накось, выкуси!

Но Альберту Гурьянычу было явно не до дискуссий на отвлеченные темы. С тоскливой жаждой следил он за рукой Антонины, разливающей по стаканам содержимое поллитровки.

— Выкуси, закуси... прах все это... Ты человек ученый... Над всеми деяниями начальник. А мы люди простые, нам бы гроши да харчи хороши.

— Вот-вот, — выпив, снова завелся тот, — во все века так. На кого же вы тогда жалуетесь? На таких, как вы, только воду и возить, лучше скотины не отыщешь. Без няньки с кнутом не можете, неделю не секут — тоска берет. Эх вы, косопузые!

К мужским разговорам Антонина относилась со снисходительным равнодушием. Смешными казались ей их заботы о судьбах футбольных команд или событиях на восточной границе. Куда больше тревожила ее очередная наценка в столовой, а того более — протертый ворот праздничной рубахи мужа. Прощая им эту маленькую слабость, она в мужских компаниях, занятая своими мыслями, обычно молчала. Поэтому и теперь, подливая гостям, Антонина почти не слышала их речей и опомнилась лишь с уходом коменданта.

— Что, Илья Христофорыч, обиделся, что ли? — Она уже свыклась с их визитом. — Если мало, я сама сбегаю.

Николай накрыл ее ладонь своей.

— Пусть идет. Он свою норму знает. — Сказал и тут же обернулся к Альберту Гурьянычу: — Ты, значит, и женатый был?

— Был! Еще как! — Стремительно трезвеющими глазами он смотрел в пространство перед собой. — Пришел из армии, куда идти? Специальность я на службе шоферскую получил... Читаю: в таксомоторный водители нужны. Подал заявление. Вожу «королей». Служба идет, копейка бежит... Сажаю раз девушку... Светленькая такая. Смазливая... В штанах. Лет от силы восемнадцать. Едем к трем вокзалам... Вдруг она мне и говорит: «Парень, — говорит, — хочешь, — говорит, — копейку хорошую иметь?» А я ей: «Смотря откуда, — говорю, — если от уголовщины, — говорю, — то гуляй в другое место». «Что ты, — говорит, — дело чистое. Клиента я сама найду, а ты, — говорит, — только линять будешь на это время». Обернулся это я, поглядел на нее, и сердце у меня упало: сидит она передо мной, улыбается, ну, прямо с модной заграничной картинки пташка. «А почем, — говорю, — теперь молодость пошла? — А у самого сердце кровью обливается. — Красота почем?» «А пятерочку за раз, — говорит, — иметь будешь, остальное мое». «Ладно, — говорю, — поехали». С того дня и начали мы с ней делать бизнес. Цельную, можно сказать, фирму открыли. Поначалу погано на душе у меня было, а потом пообвык. Опять же заработок, трех зарплат не надо. Прибарахлился, деньжата завелись, шляпа, пальто с поясом. Не хуже другого инженера. Клиентов у нее хоть отбавляй. Иной раз по трое садились. И то сказать, есть на что посмотреть: не девочка — мечта. Часто после работы заедем бывало за город. Выпивон, конечно, с собой, закусь. Между нами никаких дел не было, так, по-товарищески. Если спутаешься, какая уж тут работа!.. Вот как-то и говорит она мне в подпитии: «Алик, — говорит, — а ты бы на мне, на такой, женился?» Растерялся я тут. «Что ты, — говорю, — травишь попусту, зачем я тебе?» А она в слезы: «Люблю я тебя, подлого, вот что!» Весь хмель у меня из головы вон. «Ты что, — говорю, — очумела, какая такая любовь между нами может быть? Ты, — говорю, — посмотри на меня как следует, меня ведь только на огород заместо пугала».

«Дурачок, — говорит, — души своей не знаешь. За тобой, — говорит, — если совсем не ослепла, любая пойдет». Ну, понятно, ополоумел я, моча в голову вдарила, молодой еще совсем был, двадцать пять годочков... В общем, состоялось у нас все в первый раз. Тут и рассказала она мне свою жизнь, какая она у ней была... Из простой семьи сама была. Отец вроде по сапожному делу, а мать уборщица. В Коломне, что ли, жили. Ее с детства за красоту артисткой дразнили. Вот после школы она и бросилась в Москву, в театральный. А там таких, сами понимаете, пруд пруди, одна красивше другой. Сунулась, не взяли, попробовала обходным манером, только опоганилась. Домой вернуться — засмеют. А она с характером: лучше в петлю, чем в Коломну. Ну и подвернулось ей тут объявление: на швейную фабрику, с пропиской. Фабрика эта с вокзалами рядом. Получку первую пришла получать, а там еще с нее причитается... Хоть садись и волком вой. Тут к ней одна из бригады и подсуропилась. «Дурочка, — говорит, — с такой-то внешностью да теряться! Пойдем, — говорит, — со мной вечером, не пожалеешь». «А как же, — спрашивает, — это можно?» «От тебя, — говорит, — не убавится. Удовольствие получишь, и деньги будут. В нашей, — говорит, — бригаде те, что с кожей да с рожей, все ходют». Так и понеслась эта у нее житуха с музыкой. Каждый вечер ресторан или на хате где, а потом уж ей опытные таксиста присоветовали. Пропускная, как говорится, способность выше... Короче, женился я на ней. Все честь по чести, зарегистрировались и прочее остальное. Привел я ее к себе в холостяцкую конуру в Черкизово, соседи за человека не считали, а тут зауважали сразу, какую Алька кралю себе отхватил... Ах, как мы с ней жили тогда! Бывало, я только с работы, а она уже стоит у ворот дожидается, навстречу бежит. И я чую, никогда такого со мной раньше не было, нету мне без нее жизни. Мы, считай, от кровати и не подымались вовсе. Так бы и втиснулись друг в дружку... А уж когда затяжелела она, тут я сам не свой стал. Только пыль с нее не сдуваю. Соседи — те присмирели, издалека шапки ломают. Алька, непутевая душа, в самостоятельную жизнь ударился. С работы бегу — обязательно цветочек, конфетку какую волоку. Мечтаю: родит, совсем человеком станет... Только уж если кому написано на роду дерьмо хлебать, в калашный ряд не суйся. — Тут он даже зубами скрипнул от отчаяния. — Прихожу это я раз с работы, нет моей Танечки, а на столе записочка валяется. Так, мол, и так, дорогой Алик, жизнь, мол, наша совместная не может состояться, потому как рожать ей в таком юном возрасте никак невозможно, она, мол, пожить хочет, а вполне вероятно, и попробовать еще себя в искусстве... И началась у меня не жизнь, а сказка, чем дальше, тем страшней. Пропил я тогда все до исподней рубашки. С работы меня, конечно, скоро выгнали, прав шоферских лишили. Соседи так чуть не озверели от радости — как же, сорвался все-таки Алька! Проходу не дают. Короче, очухался я в дурдоме, с горячкой туда попал. Выписался: ни копейки, ни барахла, а участковый каждый день ходит. Плюнул я на все и двинул в исполком к вербовщику... Так и попал сюда транзитом... Плесни-ка остаточки, Петровна!

Последняя стопка окончательно сморила Алика. Антонина с мужем осторожно подняли его и повели в общежитие, где он вместе с другими одиночками занимал койку. По дороге парень все порывался лечь, пьяно при этом бормоча:

— Братцы, я только на минутку прилягу, и все... И снова как штык. Готов к труду и обороне... Нет, ей-Богу! У нас, у шоферов, закон такой: сыпанул за баранкой минутку-другую и хоть во Внуково... Ей-Богу!

Оставив мужа раздевать и укладывать парня, Антонина направилась было домой, но по пути раздумала и вышла наружу. В лунном сиянии душной степной ночи безлюдная стройка казалась вымершей. Редкие островки света вокруг дежурных вышек выхватывали из темноты все ту же степь с ее бугристой и жухлой поверхностью. В звездную глубину ночи ввинчивался ровный гул реактивного самолета. Мир за пределами тьмы увиделся Антонине вещим и таинственным.

Когда тишина вокруг окончательно отстоялась в ее сознании, она услышала плывущие из темного провала по соседству голоса. Ей почему-то сразу стало жарко. Один — низкий, грудной, женский, — явно принадле-

жал кухонной раздатчице. В другом, настоянном глуховатом баске Антонина узнала своего бригадира...

— Мне от тебя ничего не нужно, Ося. — Муся почти умоляла. — Ты не бойся.

— Не в этом дело, Муся, — смущенно уходил от ответа Осип. — Не в этом дело.

— Ты думаешь — я старая? Я и не старая вовсе. Мне еще тридцать с чуть-чуть.

— Что ты говоришь, Муся?.. Что ты говоришь?

— Может, ты после Назарки гребуешь? Так ведь разве это по своей воле? У меня ведь, знаешь, какой хвост в трудовой книжке? Не ляжешь, никто не возьмет.

— Не поймешь ты, Муся...

— Осинька, ягодка, ноги тебе мыть буду и юшку пить. Только бы с тобой. Хоть когда...

— Не могу я, Муся. Нельзя же вот так просто, как звери. — Голос завибрировал. — Ведь любовь должна быть.

— Моей, Ося, на двоих хватит. Ты только помани. А я за тобой в огонь и в воду.

— Не поймешь ты, Муся... Никак не поймешь.

— Тебя, Ося, никто так никогда любить не будет, как я... Я тебя ото всего заслоню, укрою.

— Не могу, Муся. — И еще тверже. — Не могу.

— Я подожду, Ося, я подожду... Ты погуляй, у тебя самые года... Я подожду.

— Нет, Муся. Нет, не надо.

— Осинька!

— Пойду я, Муся.

— Ося-я-я...

Укрощая прерывистое сердцебиение, Антонина повернула обратно в корпус. Опаленная злым, еще не изведанным ею жаром, она заспешила к мужу, страшась признаться себе самой, что чувством, которое владело ею в эту минуту, была ревность.

IV

Работа на следующий день шла через пень колоду.

Ребята двигались, будто осенние мухи, инструмент валился у них из рук, раствор почти целиком сползал из-под правила на пол. Антонина старалась спасти положение, кое-как латая за ними огрехи, но без постоянного навыка не успевала и в конце концов тоже сникла и опустила руки. Едва у проходной отзвонили к обеду, бригада завалилась тут же на лесах переспать утреннее похмелье.

Прикорнула в уголке и Антонина. Пригрезился ей их садок в Узловске, где она в знойный полдень поливает гряды. Отец сердито следит за ней в окно и сокрушенно качает головой: не так, мол, не так, не так! Слезы обиды душат ее, вода бесцельно льется у нее из лейки, много воды. Влага застилает ей глаза. Холодная, ледяная влага...

— Извини. — Перед ней выявилось грустное лицо Осипа. — Будь другом, помоги немного.

— Сморило, — взволнованно засмущалась она, — печет сильно... Вон как похрапывают! — Она лихорадочно приводила себя в порядок. — Так чего?

— Леса подстроить хочу, одному не развернуться. — Его просительность смущала Антонину еще более. — Моих тоже пушкой не разбудишь.

— Гульнули вчерась ребята... Веди, бригадир.

Вдвоем они отыскали свободные «козлы» и, установив их, застелили досками. Никогда еще Антонина не работала с таким удовольствием, как в этот раз. Помогая Осипу, она не сводила с него ликующих глаз, следя за каждым его шагом и движением. Еще в начале работы Осип разделся до пояса, тощее мускулистое тело его лоснилось от пота, и у Антонины всякий раз, когда он поворачивался к ней разгоряченным лицом, сладостно обмирало сердце.

Взобравшись на выстроенные леса, Осип благодарно подмигнул ей сверху.

— Спасибо. Пускай поспят ребятишки, а мне все равно делать нечего. За это время порядочный кусок насечь можно.

Из-под молотка у него только искры сыпались, когда он шел вдоль стены к краю настила. Осиповы насечки постепенно осыпали бетонную поверхность. Работа получилась добротная, без халтуры и пропусков. «Такого не купишь. — Чувство вины и неловкости перед ним одолевало ее. — Совесть не та».

Занятый делом, Осип время от времени дружелюбно ронял вниз:

— Устаешь?

— К вечеру разве.

— Жара выматывает.

— Я уж привыкла.

— Домой не тянет?

— Еще как!

— Скоро поедешь?

— Не загадываю.

— Что так?

— Всякое бывает.

— Ты голову себе не забивай. — Он строго посмотрел на нее сверху. — Все будет о'кей.

— Дай-то Бог! — растроганно вздохнула она. — Твоими бы устами...

Потом они сидели под лесами, распивая по очереди извлеченную откуда-то Осипом бутылку кефира. Сделав глоток, он передавал кефир Антонине, и та, млея от расположения и благодарности, отпивала свою долю. Слова, которые складывал он, на первый взгляд обыкновенные, непритязательные слова, казались ей сейчас самыми значительными и вескими в ее жизни.

— Мои вот тоже пишут: возвращайся. Соблазнительно, конечно. Я ведь родился и вырос в Москве. Но не хочу. Наверное, только здесь я окончательно почувствовал себя человеком. С детства, сколько себя помню, за мной, как хвост, тянулось проклятое слово «жид». Даже те, что хорошо относились ко мне, мои друзья и знакомые, не забывали при случае вроде бы шутя напомнить, кто я. Но однажды я ушел из дома. Прочитал одну книгу о еврейском бродяге и ушел. Помню, приехал в Ашхабад. Зима, а я в одном легоньком свитерочке. Пока добирался, почти все с себя продал: думал, пустыня, значит, жара. А там, оказывается, зимой тоже не тропики. С вокзала ночью выгнали. Сижу в привокзальном сквере, зуб на зуб не попадает. Подходит ко мне женщина, пьяненькая, в синяках, и спрашивает: «Что, пацан, дрожжи продаешь? Иди на кирпичный, там согреешься». Показала мне, как пройти, и я пошел. На окраине, по соседству с пустыней, нашел я этот завод. Забрался я на печной потолок, а там уже полно народу. Большинство — ребятня вроде меня, но были и взрослые. Место мне нашлось, печь огромная. Лег между двух пацанов, сверху дует, крыша, как решето, зато снизу печет. Так всю ночь и ворочались все вместе: один бок погреешь — на другой переворачиваешься... Прожил я таким образом месяца полтора, подрабатывал на погрузке, приворовывал по мелочам. В пустой день соседи по ночлегу подкармливали. И ни разу за это время даже не вспомнил о своем происхождении. И никто не вспомнил. Были среди нас татары, узбеки, русские, украинцы, латыши — и те были, но никто об этом даже не думал. В драках — и то не вспоминали. Меня вскоре вернули по розыску родителей, но с тех пор я уже не мог забыть этого блаженного состояния своей полноценности. И понял, что ненавидят не нас самих, не нашу национальность, а наше благополучие, наше неучастие во всеобщей нищете, наши не связанные с черной работой профессии. Национальность наша — лишь бирка к ненависти, короткое наименование злобы. В России так же ненавидят всех, кто живет лучше. И тогда я решил, как только закончу школу, нарочно провалиться на вступительных, чтобы уйти работать вместе со всеми на равных, и чем тяжелее, тем лучше... Извини, я закурю.

Доставая курево и спички, Осип задел Антонину локтем, и от этого его нечаянного прикосновения сердце ее зашлось яростным жаром. Его откровенность с ней придавала ему в ее глазах еще больше цены и при-

влекательности. «Досталось парню, — исходила она слезным сочувствием, — врагу не пожелаешь».

Глубоко затянувшись, он неожиданно спросил:

— Хватает вам?

— Пока хватает.

— А родишь?

— Видно будет.

— Сейчас надо думать.

— Думай не думай, где ж их взять?

— Была бы шея...

— Одного хомута много.

— Спроси у Николая, если захочет, я дело найду. Есть тут у меня в городе заработок.

— А сам как?

— Я не из-за денег, интересно просто.

— Работа такая?

— Угу, скульптор там один московский живет. Землю ему из депо принести, глину замесить, мелочи разные. Пятерка по таксе. Заходите в воскресенье, и пойдем.

— Спасибо... Скажу... Деньги пригодятся.

— Договорились. — Он поднялся, отряхнул колени. — Ребят не буди, работы от них все равно никакой... Схожу к Карасю, потолкую насчет нарядов.

Оставшись одна, она долго молилась втихомолку, просила Господа не судить ее строго за сердечную слабость и греховные предчувствия. И после молитвы ее не оставила тихая радость, от которой на душе у нее было ясно и празднично.

V

Когда-то этот город жил морем. Во многих глинобитных его дворах еще и сейчас можно было увидеть остатки рассыхающихся лодок и рыболовные снасти, приспособленные для береговых нужд. С каждым годом море все дальше отступало от города, пока не обернулось едва видимой ножевой полоской горизонта. Город захирел и стал потихоньку вымирать. Молодежь, подрастая, уезжала искать счастья в чужие края, а старики доживали свой век, подкармливаясь около базара и железнодорожной станции с ее дряхленьким оборотным депо.

Но однажды в знойный летний день на городской площади остановился военный «газик». Из него вышла группа офицеров в полевой форме. Офицеры постояли, потоптались у воздвигнутой для торжественных случаев трибуны, затем снова забрались в машину и укатили своей дорогой. А вскоре в город стали прибывать солдаты, располагаясь лагерем на самой его окраине. Не прошло и месяца, как за городской чертой возник, постепенно обрастая вспомогательными службами, поселок из сборных щитовых домиков.

Город ожил. И не то чтобы в нем что-нибудь сразу и резко изменилось, он так и остался одноэтажным и глинобитным, с двумя маяками — мечети и православного храма — в противоположных концах, но улицы его стали оживленнее, разговоры громче, одежды пестрее. Наверное, поэтому местную власть обуяло честолюбивое желание увековечить возрождение города памятными сооружениями наподобие римских. Первым делом решено было соорудить в городском сквере, где до сих пор паслись козы местных пенсионеров, триумфальную арку, украшенную лепными изображениями славных деяний своих земляков. Для этой цели из Москвы был выписан известный скульптор, а в области наняты за аккордную плату два лучших каменщика. К тому времени, когда Осип привел друзей в мастерскую заезжего ваятеля, строительство арки шло уже второй год и близкого конца ему не предвиделось.

Сама мастерская представляла собою длинный, разделенный дощатой перегородкой на две равные части сарай, служивший когда-то портовым складом. В ожидании ребят, ушедших за землей для опок и гипсом, Антонина не спеша обходила помещение по кругу, рассматривая стоящие на подставках вдоль стен изваяния разных размеров и фактуры. Ни одно

из них не походило на то, что ей доводилось видеть раньше. Там все выглядело предельно понятным: человек походил на человека такого, каких она привыкла видеть каждый день в газете или на собрании. Здесь каждая фигура смотрелась совсем иначе. Вздыбленные в безмолвном крике изваяния со сквозными ранами в груди и солнечных сплетениях, казалось, взывали к состраданию и помощи. Особенно поразило ее распятие в углу: пригвожденное к кресту красивое и мощное тело мужчины с вычлененной из него же головой ребенка. Если бы Антонину спросили, она не смогла бы сказать, объяснить словами, почему оно — это распятие — волнует ее, пробуждает в ней смутные, будоражащие душу воспоминания. Мужчины, с которыми ей приходилось жить бок о бок или встречаться — отец, дядя, племянник, муж, — были сильными и неробкими людьми, но присущая им внутренняя детскость обрекала их на беспомощность перед обстоятельствами. Оттого жизнь каждого из них походила на обреченный крик.

В этом медленном проходе вдоль скульптур ее сопровождал бурный, то внезапно затихавший, то воспламенявшийся с новой силой разговор за перегородкой. Два голоса: один — глухой, картавый и другой — настоянный звонким вызовом — наперебой сменяли друг друга.

— ...Снова Боженьку вам подавай, а сами в сторону. Нашли на кого рабство свое свалить!

— Ах уж эта семинарская нетерпимость! Ничему вас, Юрочка, дорогой, история не научила. Всех ненавидите! Ортодоксов, мещан, участковых. Собратья твои, что из лагерей пришли, уголовников ненавидят. Представляю, какой режимчик вы устроите своим политическим противникам, коли придете к власти. Неужели, Юра, трудно понять, что если всегда «око за око», то кровь никогда не кончится? Попробуйте хоть раз простить — самим легче станет.

— Слыхали мы эти песни! Владимирская тюрьма битком набита, а вы все о Промысле блажите. — Переходя почти на шепот: — Слыхал? Крепса в Казань отвезли.

— Вот видишь, — в голосе за стеной обозначилась горечь, — не тебя, не кого-нибудь из ваших, а его, безобидного проповедника. Значит, слово Марка повесомее твоего будет.

— Да кто за ними пойдет? Единицы. Идея их так загажена, что ее отмаливать века не хватит.

— Ты заметил парня, что заходил сюда? — Разговор после недолгого молчания возобновился снова. — Тот, что помоложе?

— Ну.

— Мальчик, как говорится, из хорошей семьи. Школу с медалью кончил. Но вместо института он выбрал самую что ни на есть глухую стройку. Что — трудовой энтузиазм? Отпадает. Мальчик слишком трезв для дешевого идеализма. Блажь? Порода не та. Что же тогда? Ответь, если сможешь.

— Но уж и не вера, разумеется!

— Как знать. Скорее ее предчувствие. Несовместимость чистой души с изолгавшейся средой выталкивает ее в стихию. Но такие, уверяю тебя, за вами не пойдут.

— Таких и не зовем.

— Потому что боитесь их. Уж больно на их белизне тьма ваша выделялась бы. Вы зовете социальных и духовных люмпенов. Отбросы, которые жаждут самоутвердиться на крови. Чужой крови. И вашей, кстати, тоже.

— Дважды история не повторяется. Мы учтем опыт.

— Может быть. Но, так как ваш новый эксперимент влетит России в новую кровавую копеечку, я — против. — Голос отвердел несвойственной ему резкостью. — Поэтому, если вы начнете, я сяду за пулемет и буду защищать этот самый порядок, с которым не имею ничего общего, до последнего патрона. Буду защищать вот этих самых мальчиков от очередного, еще более безобразного бунта. Лучше — что есть, чем вы. Вы — тьма. И Боже упаси от нее Россию.

— Спасибо за откровенность. Благородный охранительный базис под свои заработки подводишь. Конечно! Где же такие, вроде тебя, найдут столько набитых государственными деньгами дураков, способных воздвигать пантеоны даже по поводу открытия городских сортиров?

— Стыдись! Ты же знаешь, что я не выставляюсь и мне не на что жить. Кстати, не тебе говорить...

— Хлебом попрекаешь, христианин! — Голос взвился до крика. — Ноги моей больше у тебя не будет! Стоило мне тащиться за тыщу верст, чтобы дать тебе наконец высказаться. Деньги я тебе верну... Бывай!

— Юра! — И еще более умоляюще: — Юра!

Антонина успела рассмотреть в выскочившем оттуда человеке лишь неопределенного цвета бородку наподобие тех, что носят геологи, и опаленные гневом угольные глаза на широком небрежном лице. Через мгновение с силой захлопнутая им входная дверь уже тихо покачивалась от удара. Приходя в себя от неожиданности, Антонина услышала рядом с собой знакомый, с вызовом голос:

— Нравится?

Перед Антониной, широко расставив ноги и заложив руки за спину, стоял среднего роста широкоплечий брюнет одного примерно с нею возраста. Стоял он в распахнутой ковбойке, концы которой были узлом завязаны на уже заметно определившемся животике, и забрызганных гипсом вельветовых брюках. Волосатая, мощно развитая грудь под рубахой отличала в нем работника истового и постоянного. В кошачьих его глазах плавилось затаенное, почти детское озорство.

— Нравится? — еще раз переспросил он и, не ожидая ответа, быстро и горячо заговорил: — Вот тому, что сейчас ушел, совсем не нравится. Ему мое дело нужно для приспособления к своему. А оно не приспособляется. У моего дела другая задача. Ты понимаешь, — это его неумышленное «ты» сразу расположило ее к нему, — я не в матерьяле выявляю свою идею, а из матерьяла. В камне, в металле, в глине уже все есть, надо лишь найти доступную им форму. Как ты думаешь, что подойдет для этого креста?

От его вопроса в упор Антонина смешалась, но тягота муки, запечатленной ваятелем в распятом теле, вдруг передалась ей, и она еле слышно шепнула:

— Потяжелее что...

С минуту он, словно впервые увидев, молча и удивленно смотрел на нее, потом сказал медлительно и тихо:

— Да, мамочка моя, Господь Бог тебя не оставил... Дал Он тебе благодати... Надолго хватит.

Он, видимо, хотел добавить еще что-то, но в эту минуту снаружи послышался шум, и сразу вслед за этим в мастерскую ввалились ребята, нагруженные мешками с материалом. Хозяин бросился им на подмогу, втроем они легко и сноровисто определили груз к месту и лишь после этого позволили себе сесть и молча закурить.

Глядя на них, мирно покуривающих у распахнутого окошка, Антонина позавидовала мужской доле. Сила мышц или знание ремесла уже обеспечивали им место под солнцем. Для них была неведома обязательность множества мелочей, без которых женщина не могла, лишалась возможности существовать. Ведь ни здоровье, ни работа не составляли в ней главного. Чтобы почувствовать себя в этом мире необходимой, ей требовалось еще и постоянное ощущение своих связей с окружающим, а следовательно, и обязанностей по отношению к нему. «Мужику что, — снисходительно подвела она итог своим размышлениям, — встал да подпоясался, а на бабе вон сколько!»

Первым поднялся и заговорил хозяин:

— Что ж, братцы, день кончился. Пошли ко мне, распорядимся на четыре персоны. Есть у меня бутылка какой-то отравы, разопьем.

В другой половине, приспособленной скульптором под жилье, царствовала местная триумфальная арка во всех своих мыслимых и немыслимых видах: макеты, слепки, фрагменты, фотографии красовались всюду, куда ни обращался взгляд. Фигуры мечтательных дев со снопами в руках и автоматчиков в касках обступали ложе хозяина со всех сторон. Казалось, только мраморный бюст девочки, стоявший на подставке у изголовья, ровным спокойствием своих линий сдерживал их решительный охват.

— Осуждаете, — печально отозвался хозяин, когда с бутылкой было покончено. — Вы правы, но должен я на что-то делать ам-ам. Моего они не хотят. За свои деньги хотят получить всевозможное удовольствие на уровне плохонького кино а-ля Пырьев. И я их понимаю. С какой стати им раскошеливаться ради моих прекрасных глаз? Лучше они раскошелятся ради своих. — Он уставился в Меклера. — Я завидую тебе, Осип. Ты сумел уйти от соучастия. Но ведь для этого тебе была необходима ясность миропонимания. А кто ее — эту ясность — дал твоему поколению? Я! Мы, десятилетиями вместо дела изобретавшие велосипеды и открывавшие америки. Затратив на это годы, мы выдали ее вам в готовом виде уже в начале вашего пути. И поэтому вы имеете возможность начать сразу с настоящего, не затрачивая никаких усилий на то, чему нам приходилось учиться столько лет. И каких лет! И в какой школе! Дорого за эту науку заплачено. Мы словно поле для вас заминированное очистили. На большее нас не хватит. Слишком уж кровавая была работенка. Поэтому теперь я думаю только о том, чтобы мне дали лепить. Я подошел к настоящему, и у меня нет времени для других забот. Иначе мне и жить не стоит. — В нем както сразу определилась усталость, он посерел и поник. — Ладно, ребята, идите, пора. — Он перевел взгляд на Николая. — На жену тебе повезло, братишка... Береги. Такие подарки не каждый день... Ну, до скорого. — Пошарив в кармане брюк, хозяин достал оттуда горсть скомканных бумажек и протянул Осипу. — Вот... Здесь хватит... на всех...

Выходя, Антонина обернулась: мастер сидел с закрытыми глазами, откинувшись затылком на оконный косяк, и тени подступившего к нему сна четко проявили в его уверенной фигуре и на крупном лице выражение детской беспомощности.

VI

Рассказ Муси о самой себе

— Я, милая, такого перевидала, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Это тебе жизнь в диковинку, а я все медные трубы насквозь прошла, жива осталась. Мать моя, Царство ей Небесное, хорошая была женщина, пила сильно. Бывало, выпьет, и пошла куролесить, что под руку попадет. Папашку моего била — почем зря, а он у меня тихий, безответный был, только запойный. Она его бьет, а он лежит, не шелохнется, только просит все: «Сонечка, голубушка, по срамному-то месту зачем? Пожалей!» А она ему: «Я тебя потому и бью туда, чтоб неповадно было выбродков своих на свет пускать». Так они и жили, пока он в одночасье не повесился с перепою. Остались мы с мамашей вдвоем, как в песне поется: «Две былинки-сиротинушки во полюшке стоят». Я так лет с двенадцати еще по рукам пошла. Только с ленивым не спала. Мамка моя об меня все скалки обломала, а мне хоть бы что, за первыми штанами на улицу. Там и одевалась, там и харчевалась. Думала, не родится тот человек, чтоб хомут на меня надел. С кем хочу, с тем и пойду. Только нашла и на старуху проруха. Объявился у нас на улице оголец хроменький, в малокозырке. Сам из себя не виден, зато глаз вострый и с характером, первый срок уже отбарабанил. Поглядела я в глаза его чернявой масти, и зашлась во мне душенька: вот она, судьба моя распроклятая! Как собачонка за ним бегала. Совесть, гордость потеряла. Когда сошлась, озверела совсем, юбку около него увижу — в глазах черно. Как в песне поется: «Чтоб красивых любить, надо деньги иметь». Воровал мой оголец как ни попадя. Я тряпье на базар таскала. Сколько веревочке не виться... Сгорели мы, как шведы. Он подельников выгораживал, все на себя взял, ему на всю катушку, а мне по моей глупости — пять без поражения. И пошло, поехало, как в песне: «А надзиратель — пес, подлюка, гад, не скажет: иди, братишка, я соломки подстелю». Привезли в лагерь, снарядили на лесоповал, пять кубов норма. Две смены отработала — нет, думаю, не пойдет дело. Иду в больничку, говорю: «Клади». А он мне: «Здесь таких ушлых да дошлых пруд пруди. Иди, — говорит, — пока десять суток строгого не схлопотала». Иду, думаю: лучше в петлю, чем за зону лес валить. Попадается мне у вахты старшой из надзорслужбы. Под банкой. Ну, думаю, Муся, «мы рождены, чтоб сказку сделать былью». А вместо, как говоритcя, сердца — пламенный мотор. Примарафетилась наспех и к нему: «Гражданин начальник, жизни лишусь, пожалейте». Посмотрел он на меня пьяным глазом. «Пошли, — говорит, — со мной, поглядим, какая тебе цена». Завел

он меня в котельную, а оттуда уже сам за мной, как теленок, бежал. Поработала в хозчасти уборщицей, а потом — на кухню. Там и прокантовалась до амнистии. Освободилась — идти некуда: мать померла, комната пропала. Сунулась в исполком — вербуйся, говорят. Нашли дуру! Смотрю по коридору — табличка висит: «Горторг». А, была не была! Захожу я прямо к начальнику: «Работник пищеблока со стажем». Гляжу, смеется: «Когда, — говорит, — освободилась?» Я чуть под себя не сделала. А он мне: «Не тушуйся, — говорит, — мне народ битый нужен, чтоб знал, чем срок пахнет». Дал мне ларек овощной на отлете, встала, торгую. Скоро на ноги стала. Молодая, из себя ничего, все липнут. Товар дают получше, план поменьше, выпивка завсегда бесплатная. В торговле деньги сами к рукам липнут: там пересортицу замастыришь, там левый товар в реализацию, вот она, копейка, и собирается. В общем, с каждым днем все радостнее жить. Да и начальство ласками не оставляет: то премию, то прогрессивку, то личным вниманием. Правда, слаб он уже был в коленках, да мне-то что! От меня не убудет. Все бы ничего, да один обэхээсник на меня глаз положил. Мне бы, дуре, лечь под него — и дело с концом, а мне, как назло, вожжа под хвост: нет — и все тут! Уж больно дурен был лягавый. Росточку маленького, плюгавый, лысенький и левым глазом косит. Он уж и так, и эдак, а я ни в какую. Ну, и подсидел он меня с левым товаром. Взяли меня — и в торбу. Он и в камеру ко мне ходил, скажи, мол, только слово, прикрою. Да не на ту напал! Иной раз зажмурю глаза, черт с ним, думаю, жалко, что ли? А увижу — и не могу, прямо с души воротит, — дам, так помру. В общем, обвенчали меня еще на пять по совокупности. Попала на строительство. Уж что ни делала! Штанов, как говорится, не надевала, подо всех ложилась, только, видно, я уже не того сорта стала, да и девок молодых много, всякая просилась. Так и осталась я на общих работах. И даже не знаю, что бы со мной было, если б не попался мне Назарка наш, Карасик. Он и там прорабствовал. Чем уж я ему приглянулась — не знаю, я ведь тогда, как щепа, высохла, хоть заместо гладильной доски. Но как в песне поется: «Глазенки карие и желтая косыночка зажгли в душе его пылающий костер». Пристроил он меня к себе для посылок. Такая лафа пошла, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Ела да спала — и по новой ела. Отошла малость, а Назарка начал досрочное хлопотать, по начальству бегает, запросы пишет. Сразу после комиссии он сюда перевод взял. Только жить я с ним вместе все одно не стала, сняла себе времянку у вдовы одной в городе, сама себе хозяйка. Доход в этой столовке плевый, да мне теперь много не надо, отгулялась. На водочку в кредит копеек двадцать набросишь, посуда, по мелочам набегает, на жизнь есть, а там видно будет. Меня и в город зовут, да не с руки мне там и соблазна много. А по правде, так весь свет в окошке у меня теперь здесь. Последним, видно, огоньком горю. Никогда у меня такого не было, не припомню. Вроде и ничего нет в нем, одни мослы да глазищи, а пройдет мимо — сердце падает. Будто снова пятнадцать мне лет и никого у меня еще по-настоящему не было. Как в песне поется. А ведь на мне пробы ставить негде. В лагере и с коблами путалась, и сама ковырялась, и на учете в диспансере состояла. Ося — это мне за все мои муки престольный праздничек. Увидел Господь малую рабу свою, пожалел, одарил без меры. Молодая была, не верила — какой там Бог, когда жизнь такая? Да судьба надоумила. Принес мне как-то Назарка в рабочую зону яиц крашеных десяток — под Пасху дело было. Пасха Пасхой, а есть хочется. Раздала товаркам по яичку, одно себе оставила. Улучила вольную минутку, села в тенечке, только за подарочек взялась, гляжу, уставилась на меня доходяга одна, смотрит, а у самой скулы сводит от жадности. Загорелась у меня тогда душа от злости: собственной крохи съесть не дадут. «На, — говорю, — падла, подавись ты яйцом этим, туды твою мать!» Схватила она яйцо — и в сторону, а у меня на сердце так вдруг легко сделалось, так тихо, словно родилась заново: кругом птахи поют, листочки пахнут, солнышко прямо в тебя светит. Дошло тогда до меня: вот она — награда Божья! А то раньше бывало дам нищему пятачок, а себе на рупь жду, как в лотерее. С тех пор и поверила, в церковь хожу. Вот завтрева иду... Казанскую Божью Матерь справляют. Хочешь, вдвоем пойдем, в гостях у меня посидишь, как живу, посмотришь... И-и-и, тесто убежало.

VII

Муся жила недалеко от городского центра, в старом, похожем снаружи на глинобитный сарай доме. От летней печи под навесом в углу двора к ним обернулась и пошла навстречу высокая костистая старуха в застиранном штапельном сарафане. Подслеповато щурясь, она не по возрасту певуче выговорила:

— Здравствуйте... С праздничком вас.

— Спаси Бог, Федоровна. — Муся уже возилась с замком перед дверью времянки. — Никто не спрашивал?

— Назар Степаныч с утра был. — Старуха еле передвигала распухшие, во вздувшихся венах ноги. — Соседка заглядывала, спрашивала: будешь ли?

Большую часть крохотной Мусиной комнатенки занимала кровать. Широкая, блистающая никелем, она являла собою торжественное сооружение из перин, одеял и простыней, увенчанное пирамидой кружевных подушек. Остальную обстановку составляли стол и два стула перед окном. Образ Спасителя, обрамленный бумажными розами в правом верхнем углу, только подчеркивал скупое убранство необжитого жилища.

— Так и живу. — Муся поспешно переодевалась в прихожей. — Зачем мне хоромы-то? Только на выходные и приезжаю, считай. Раньше, чуть вольный час — на машину и сюда, а теперь собаками из кухни не выгонишь. Прямо присохла к дыре этой... Как там у вас, скоро пошабашите?

— У нас ничего, двигаемся, — осторожничала Антонина, — бригадир со своими отстает.

— Ишь, ударники, — зло хохотнула та, — Осипа обогнать вздумали! Слабы в коленках. Мне про ваш уговор с Назаркой загодя известно было. Он и Серегу с криком уломал. Бригадир отвернется, они сразу туфту кроют. Жалко мне вас, паразитов, а то бы давно Осипу рассказала.

— Ребята же сами, — пробовала неуверенно защищаться Антонина. — Мы ни при чем... Если бы знали...

— Ребята! Знаем мы этих ребят. Близнецы за копейку раком встать готовы, у них полдеревни родни, и все на них надеются. Шелудько деньги копит, отца своего высланного разыскивать по Союзу собирается. А Гурьяныч за бутылку мать родную заложит... Эх вы! Если бы по-честному-то — догнать бы вам Осипа, как же! У него дело само делается... А, ладно, пошли.

В обрамлении темного платка, чистое, без обычного марафета лицо ее поразило Антонину своей отечной бледностью. Казалось, из него — этого лица — кровинку за кровинкой долго и тщательно выводили цвет жизненной силы, чтобы оставить в нем лишь выражение затаенной муки и усталости.

— Пошли, — еще раз повторила Муся, — припаздываем уже, а то не пробьемся.

Вдоль прокаленных солнцем городских дувалов, устремляясь в одну и ту же сторону, черными цепочками тянулись женщины в одиночку и парами. По мере приближения к слепящему пятну церковного купола, возникшего над близкими крышами, людской поток густел, обрастая все новыми и новыми путниками. На подходе к самому храму толпа сбилась так плотно, что в ней невозможно было пошевельнуться, она двигалась, как единый монолит, не задерживаясь и не расслабляясь.

Из-за отчаянной духоты свечи в церкви еле мерцали крошечными голубыми огоньками. Плотно сбитая людская масса, истекая потом, дышала надсадно и коротко. Совсем еще молодой — реденькая светлая бороденка вокруг румяного лица — священник в полном облачении с видимым усилием преодолевал усталость и раздражение.

— ...Велика их гордыня. Они думают, что только они на Господнем пиру званые гости. Но сердце Господа не их — званых, а незваных жаждет. Незваным открыта Его благодать, к незваным сегодня Его любовь и расположение...

Дурнота кружила Антонине голову, но едва только хор на клиросе затянул «Верую», и она вместе со всеми подхватила молитву, как словно открылось новое дыхание: ощущение слитности, единства с теми, кто стоял рядом, подхватило ее и заполнило ей душу упоением и неизъяснимым покоем. Все страхи и сомнения, какими терзалась Антонина, отодвинулись

от нее куда-то за пределы видимого ею мира. В эту минуту она казалась самой себе бесконечной и неуязвимой для всех бед и несчастий, которые грозили или могли грозить ей и ее близким. «Что нам бояться-то, Господи! — закипали в ней благостные слезы. — Кто нам чего сделает?»

После службы, выбираясь на улицу, она потеряла Мусю из вида. Искать ее дом среди сотен таких же однообразных строений Антонина не решилась, и поэтому, недолго думая, она направилась к береговой мастерской в тайной надежде застать там Осипа.

Еще на подходе к сараю она услышала голоса, один из которых заставил ее сердце лихорадочно забиться: здесь, когда Антонина вошла, Осип, засыпая опоку землей, то и дело пытливо поглядывал на собеседника — маленького горбоносого старичка в черной шапочке на буйной волосатой голове. Старичок прервал свою речь на полуслове, сердито поерзал по Антонине ночными глазами и тут же вопросительно оборотился к парню. Тот, кивком головы успокоив гостя, ласково заулыбался ей навстречу.

— А, Тоня! Заходи, заходи... Знакомься, это Израиль Самуилович. А это — Тоня, я вам говорил о ней... Продолжайте, Израиль Самуилыч, Тоня нам не помешает.

Старичок смягчился, одобрительно покивал ей острым подбородочком и снова заговорил яростным фальцетом:

— Это дети! Они не понимают, что творят. Хорошо, им разрешат выехать, но что будет с остальными? Газеты поднимут крик: евреям не дорогá родина. И мы будем иметь погром.

— Каждый выбирает свою судьбу сам.

— Русский еврей не может быть сам по себе! Русский еврей вместе со всеми. Все не могут уехать! Это-таки не просто — уехать. Здесь остаются могилы, могилы тех, кто верил в нас и надеялся. Вы слышите, Осип, верил и надеялся! Нашим мальчикам не следует забывать, что во всем том, что они ненавидят, есть и еврейская доля. Немаленькая-таки долечка! А платить по векселям, выходит, должны одни русские?

— Каждый платит за свое.

— Нет, за кровь платят все! Поэтому мы — евреи — обязаны нести ношу своей национальной ответственности сами, а не перекладывать-таки ее на плечи других. Разделить страдание вместе со всеми здесь — вот наша судьба. — Он вдруг поник и закончил вяло и почти просительно: — Вы знаете многих из них, передайте им, что нам всем будет очень тяжело, если они своего добьются-таки... Очень. Шолом... Желаю здравствовать.

Старичок молча поклонился Антонине и двинулся к выходу, и только тут стало ясно, что он смертельно устал влачить по этой земле свое сухое и старое тело: до того шаткими, осторожными были его шаги.

После его ухода Осип тихо спросил ее:

— Ты ела?

— Да, — соврала она, в его присутствии ей было не до еды, — у Муси.

— Тогда пошли домой.

— Пошли.

Осип закрыл дверь своим ключом, сунул в дужку замка записку, и они двинулись через засыпающий уже город в сторону степной дороги, которая одиноко отплескивалась от окраины, убегая в распластанную до горизонта голую степь.

Антонина шла рядом с ним, не чувствуя ни духоты, ни усталости, впервые в такой близости около него, страстно, всем существом желая в эти минуты единственного: чтобы дорога, по которой они поднимались, никогда и нигде не кончалась.

VIII

Как-то поздним вечером, разыскивая в общежитии Любшиных, Антонина наткнулась на одиноко слонявшегося по коридору Шелудько:

— Близнецов не видел?

— Соскучилась.

— Постирушки ихние вот, отдать бы.

— Уже запрягли? — насмешливо осклабился он. — Вот куркули, и тут успели!

— Что мне, жалко, что ли? — обиделась она. — Здесь и делов-то всего ничего.

— Тебе-то не жалко, да у них совесть где? Ты ведь не у мужа на шее. С нами смену стоишь. — Предупреждая ее возражения, он примирительно повел плечом. — Ну-ну, дело твое... А я вот что у тебя спросить хочу, — большие выпуклые глаза его напряженно потемнели, — про Крайний Север...

— А что?

— Много там сосланных?

— Хватает.

— Каких больше? Откуда?

— Всякие есть... Больше из Прибалтики... Немцы тоже...

— А с Украины?

— Этих мало.

— Я ведь, знаешь, родился там. Меня мамашка оттуда маленького привезла. А отец там остался, не положено ему. Мать говорит, гуцул он, с Западной Украины. Я мамашку мою еще в пятом классе схоронил, а сам в ремеслуху пошел. Стал про отца спрашивать — нету, отвечают, такого, выбыл в неизвестном направлении. А куда он мог выбыть, если ему выбывать запрещается! У него и паспорта нет. Не положено. Вот, может, в этом месяце сойдется с нарядами, да в заначке у меня шевелится малость, сам поеду искать, а то завербуюсь, дорога будет бесплатная. Не может того быть, чтобы пропал. Найду. Плохо одному жить, зацепки никакой нет, интереса. В отпуск поехать — и то некуда. Иной раз и заработаешь, а похвалиться кому? — Он сокрушенно помотал лобастой головой и двинулся мимо. — Близнецам скажи, пускай дураков в городе ищут, их там много.

Внезапная разговорчивость обычно молчаливого и неповоротливого Шелудько озадачила Антонину: «С чего бы это?» Встречаться с ним ей приходилось лишь на работе и в столовой, и ни разу за все это время он даже не пытался заговорить с ней. Знакомство их ограничивалось обязательными «здравствуй» и «прощай». Вначале ей казалось, что Сергей недоволен ее появлением в бригаде, — конечно, кому понравится перерабатывать за других! — но вскоре до нее дошло его полное и глухое к ней равнодушие. Поэтому сейчас, отходя от него, она удовлетворенно отметила про себя: «Спросить бы мне надо, как отца-то зовут, помянуть во здравие!»

Любшиных она нашла в красном уголке. Раздвинув в стороны горы старых подшивок, они сидели друг против друга за читальным столом, и перед каждым из них белела замусоленная тетрадка.

— Трояк тете Поле. — Слюнявя карандаш, Паша сосредоточенно морщил переносицу. — И Людке тоже пятерку надо, у нее двое.

Сема деловито делал пометки в своей тетради.

— Деда Тишу не забудь, он больше всех нам подмогнул. Ему пятерку, а то и рублей семь.

— Пойдет.

— Кого забыли?

— Вроде все.

— Думаешь?.. А, — заметив стоящую у порога Антонину, Паша смущенно засуетился. — Тоня!.. Подождешь до получки?

— Много ли получать собрался? — Она поставила перед ними стопку белья, вздохнула. — Еле отыскала, всю общежитию обегала.

Сема благодарно засветился.

— Так мы бы сами зашли. — Он поспешно запихал тетрадку в карман. — Что тебе, чего хочется? Мы с брательником в долгу не останемся.

Паша, внушительно откашлявшись, подтвердил:

— Уж это безо всяких.

— Сочтемся. — Уходя, она спиной чувствовала на себе их сопровождающую ее ласковую доброжелательность, и сама в ответ тихо оттаивала. — Будет время...

По пути к себе Антонина, минуя комнату коменданта, дверь в которую была распахнута настежь, краем глаза успела заметить встревоженный профиль Осипа и, уже отходя, услышала его голос:

— Это ты точно знаешь, Христофорыч?

— А ты что, сам не видишь? Вся система камерная. Каморки, как на подбор, и все одного размера.

— Может, это лаборатории?

— Без коммуникаций? Без воды, без отопления? Шутишь! Это байки для пижонов.

Прислушиваясь, Антонина задержала шаг. После недолгой и гнетущей паузы голос Осипа был еще слышен ей:

— Выходит, от них никуда не уйти. Везде они... Всюду... хоть в землю заройся...

— Вот я и говорю, — шумно вздохнул комендант, — стоило вашим дедам начинать эту заваруху, чтобы только сменить надзирателей!

— Пожалуй...

С тяжестью этого, произнесенного Осипом слова она и возвратилась домой. Тревога, вдруг возникшая в ней, все решительнее и круче овладевала ею. Вопрос, которым она не задавалась до сих пор, считая его пустым и докучливым, сложился сам по себе. Что они строят здесь? Кому и для чего понадобились эти плоские, похожие изнутри на пчелиные соты, коробки? Правда, среди рабочих неуверенно поговаривали, будто объект имеет секретное научное значение и даже намекали на оборонительную его роль, но тогда почему в разговоре Осипа с комендантом сквозила такая нескрываемая горечь? Недоумение ее не находило ответа. Неожиданно вспомнилось, что как-то при ней Николай спросил об этом же прораба, и тот, ехидно посмеиваясь, молча пожал плечами. Хотя видно было, что знал, только не хотел или боялся говорить. Жуть скорбного предчувствия свела ей спину. «Вот жизнь пришла, сама себе веревочку совьешь и не заметишь».

Укладываясь рядом с Николаем, Антонина приникла к его уху и взволнованно зашептала:

— Коль, а Коль?

— Ну?

— Что мы тут строим-то?

— Наше дело, Тоня, телячье.

— Страх берет, Коля.

— А ты не думай, спи.

— Узнать бы...

— Спи, Тоня, не нам об этом думать, себе дороже. Спи...

Николай отвернулся к стене и вскоре заснул, а она, так и не смежив до утра глаза, все думала, думала, думала...

IX

Ребята уже добивали последние метры, когда в проеме выходной двери появился прораб в сопровождении коротенького очкарика в соломенной шляпе.

— Шабашите? — Взгляд Карасика рассеянно блуждал по стенам. — Молодцы. А у них там еще работы дня на три.

Очкарик покрутил утиным носом, потоптался у творила, сказал неуверенно:

— Что, Назар Степаныч, тут и устроим проверочку? По свежим, так сказать, следам.

— Это товарищ от заказчика, — ни к кому в отдельности не обращаясь, покрутил головой Карасик. — Работу вашу принимать будет.

Близнецы, словно сговорившись, с вопросительным удивлением оборотились к Николаю. Тот, в свою очередь, выжидающе посмотрел на прораба. В ответ Карасик недоуменно пожал плечами: ничего, мол, не могу сделать.

Не ожидая ответа, гость вооружился молотком, прошел в глубь коридора и в несколько ударов отвалил порядочный кусок чуть подсохшей штукатурки. Затем отошел еще дальше и сделал то же самое, после чего, многозначительно пожевав губами около обнажившейся стены, излишне громко, врастяжку проговорил:

— Поползет покрытие, Назар Степаныч, при первой же сырости поползет. Без насечки кроете. Непорядок.

Антонина похолодела. Если в наряде не будет учтена насечка, под расчет им придется ноль целых и столько же десятых. Дай Бог расплатиться за аванс. Но главная беда для нее сейчас была даже не в этом. Ее беспокоила мысль об Осипе. Каково-то будет ему? Ведь ребята не прорабу поверили — бригадиру. Поверили и слепо пошли за ним. А теперь? Что он им скажет теперь? Зная его натуру, она могла представить себе, во что ему обойдется этот подвох. Она глядела в ставшее ей ненавистным лицо прораба, и жгучая обида на Николая, вступившего с ним в сговор, сделалась для нее почти нестерпимой. «Как же он мог? — заполнялась она злыми слезами. — Как он мог? Ведь этого жулика за версту видно. Загодя известно было, что обманет».

Карасику словно подошвы жгло, он мелко-мелко перебирал ногами на одном месте, невразумительно при этом оправдываясь:

— Бывает... Прореживают ребята... Два места не показатель... Надо бы с другой стороны попробовать.

— Нет, Назар Степаныч, дорогой товарищ Карасик! — закусил удила тот. — Нам и этого достаточно. Мы такой работы в оплату не примем. Пойдет, как сплошной гон, без насечки.

— Михаил Михалыч!

— Не могу, дорогой, не могу. С меня голову снимут. Рад бы порадеть, да не могу, не обессудь.

— Тогда айда к бригадиру, — развел руками Карасик в сторону Николая, призывая его в свидетели своего бессилия. — Что он скажет!

Он первым двинулся вперед, кивком головы приглашая гостя и Николая следовать за собой. Вскоре шаги их затихли в глубине коридора. Сема, аккуратно складывая инструмент, как бы подвел происшедшему итог:

— Заработали.

Паша согласно вздохнул:

— Бывает.

Осуждая мужа, Антонина не снимала вины с себя. Она должна, обязана была удержать его от опрометчивого шага. Разве можно было сговариваться с Карасиком за спиною у Осипа? Кто мог тогда поручиться, что прораб сдержит слово? Волей-неволей ей приходилось признавать и свое собственное, хотя и косвенное, соучастие в обмане. Поэтому сейчас, оставшись наедине с близнецами, она не выдержала напряжения, сорвалась:

— Ведь не нарочно же он! Ведь он как лучше хотел. Он-то этого Карасика без году неделю знает, вам его лучше знать было. Николай на вас смотрел: раз молчите — значит, все правильно. А теперь, конечно, — Лесков за все ответчик. Нельзя так, ребята...

Сказала и осеклась на полуслове: Сема, к которому она обращалась, глядел на нее с жалобным участием. Виновато улыбаясь, он обезоруживающе ее успокоил:

— Что ты кричишь? Что мы — маленькие? Сами заварили, сами и расхлебывать будем. При чем здесь Николай? Его дело сторона. Осипа жалко. Подвели мы его. И всех подвели.

Сема печально поддакнул:

— Подвели.

— И себя тоже наказали.

— Осипа надо было слушать.

— Надо бы...

Наступившее сразу вслед за этим молчание прервал возникший в перспективе коридора Николай:

— Шабаш. — Голос его звучал устало и глухо. — На сегодня хватит. Спешить нам теперь все одно некуда. — Он оборотился к Антонине: — Помой инструмент и прибери. — Кивнул ребятам: — Пошли.

Оставшись одна, Антонина долго еще не могла взяться за работу. Он знала, что самым болезненным для Осипа будет то, что они пошли на обман в ущерб делу. К работе, за которую ему приходилось отвечать, он относился с ревнивой щепетильностью. Любой огрех после себя он переживал с мучительным самоедством. Стоило ей только на мгновение представить себе, какими глазами он посмотрит теперь на нее при встрече, как стыд, жгучий, удушливый стыд возник в ней, и яростно бьющееся сердце ее обмерло в тоске и тревоге.

Управившись с инструментом, она собралась было домой, но какое-то еще неясное, но вещее предчувствие толкнуло ее в обратную сторону, вдоль коридора. И она пошла, движимая этим предчувствием, пошла, почти крадучись, словно бы нащупывая путь. До сих пор ей не приходилось бывать здесь в одиночку. Тишина коридора с пугающе притягательными провалами дверных коробок по одной стороне казалась Антонине настороженной и грозной. В горячке работы ей как-то даже и не приходило в голову поинтересоваться — что там, за этими дверьми. Сейчас, заглянув в первую от края, Антонина затаила дыхание: по обеим стенам сквозного прохода зияли такие же, как в коридоре, входные проемы, только размером поменьше, за первым же из которых перед ней оказался освещенный квадратным отверстием в потолке каменный мешок. Обходя как бы по опрокинутой спирали проход за проходом, она никак не могла взять в толк, что бы это могло быть, для чего пригодится. Минуя последний проход, она уже машинально заглянула в крайнее помещение, и все внутри нее обрушилось и обмерло: в самом углу со сцепленными на коленях руками сидел Осип. В его напряженной позе сквозила усталая безнадежность. По осунувшемуся, во вьющейся щетинке лицу парня стекали тихие, ничем не сдерживаемые слезы. Резкая испепеляющая жалость перехватила ей дыхание.

— Ося... Ты чего тут?

Поднимая на нее глаза, он даже не шелохнулся:

— Так...

Антонина лишь однажды видела, как плачут мужики. Поднявшись как-то ночью после смерти матери, она лицом к лицу столкнулась в сенях с отцом. Лунный свет от распахнутой настежь двери выявил перед ней залитое слезами родное лицо, она тогда не выдержала тяжести сочувствия, опустилась на пол, порывисто приникнув к отцовским коленям.

— Никогда тебя не брошу, папаня! Век с тобой жить буду.

Отец благодарно сжал ей плечи:

— Что ты, Антонина, что ты. Так это я, от старости.

— Вот увидишь, папаня... Вот увидишь...

Ночь та на долгие годы определила судьбу Антонины.

Теперь же, не смея, не решаясь приблизиться к Осипу, она обессилевшим плечом приникла к косяку дверного проема.

— Плохо тебе, Ося?

— Так...

— Может, пойдем?

— Посижу, Тоня... Устал...

— Мешаю, Ося?

— Да нет, наверное... Оставайся... Какое это теперь имеет значение! Закройте, как говорится, занавес, жизнь не состоялась. Знаешь, Тоня, из меня ведь родители хотели сделать дантиста. «В такое время, — говорил папа, — дантист не останется без работы: война за войной, голод за голодом, допрос за допросом». А мама вообще считала, что зубы — это главное в жизни. Жили мы тесновато, и отец принимал пациентов в общей комнате, за марлевой занавеской: стоны, кровь, жужжание бормашины. Один только вид зубоврачебного кресла с детства вызывал у меня ярость. И я пошел на юридический. Но там меня сразу же спросили: «А есть у вас рекомендация общественной организации?» «Нет, — сказал, — но у меня есть желание стать адвокатом». «Этого мало, — ответили мне, — вы должны сначала доказать преданность общему делу». «Каким образом? — полюбопытствовал я. — И какому делу?» «Проявить бдительность». «Но у меня не было случая». «Надо найти». «То есть?» «Да, да! — подбодрили меня. — Вот именно». По их выходило, что прежде чем я смогу защищать кого-то, я должен кого-то посадить. Мне это не подошло. И мы расстались. И вскоре я оказался здесь. Я думал, что отделался довольно удачно, что здесь-то меня уж никто не станет впутывать в свои темные игры. А вышло, что не я их, а они меня обошли.

— Как так? — потянулась она к нему. — О чем ты?

— О чем? — Затихая, он даже улыбнулся сквозь слезы. — Ты сама-то знаешь, что здесь строится?

— Откуда мне знать? Всякое говорят.

— Тюрьма, Тоня, тюрьма.

— Господи! — испуганно поперхнулась она. — Это как же?

— Да вот так, Тоня. — Он медленно поднялся и сделал шаг к выходу. — Мы еще вдобавок и друг друга обманываем. Такие, вроде Карасика, хорошо знают, как можно человека сломать. Сначала купи, потом сломай. Эту науку он еще с молочком матери всасывал. К Николаю я ничего не имею, мне просто жаль его. Один раз поддавшись, трудно устоять.

Осип остановился прямо против нее, глаза их встретились, и Антонина не выдержала опаляющего искушения прикоснуться к нему. И она прикоснулась, приникла к его плечу горячей щекой.

— Ося... Сердца у тебя на всех не хватит... Сгоришь.

— Сердца бы хватило. — Он тихонько гладил ее по голове. — Воздуха не хватает. Дышать нечем, Тоня.

— Мой возьми.

— Не надо, Тоня, нельзя.

— Знать я ничего не хочу.

— Успокойся, Тоня, не дело это.

— Молчи ты...

— Совсем как маленькая. — Ее дрожь передавалась ему. — Самой же потом плохо будет. Это ведь ты от жалости... Тоня...

— Молчи ... Молчи...

— Я никогда...

— Глупенький!..

И если Антонине суждено было излить на кого-нибудь всю меру любви и нежности, отпущенную ей природой, то она сделала это, покорно отдавая себя в его робкую власть.

— Ося... Прости меня... дуру старую.

— Не надо, Тоня... Не надо... Не надо...

Потом Осип, упорно избегая ее ищущего взгляда, встал и уже от двери уронил почти беззвучно:

— Прости...

Антонина не оскорбилась его таким внезапным уходом. Не чувствуя собственного тела, лежала она на обсыпанном цементной крошкой полу и бездумно вглядывалась сквозь потолочное отверстие в обмелевшее, без единого облачка небо. В ней зрело, набирало силу окрыляющее чувство смысла, необходимости своего существования. Наверное, впервые с тех пор, как она осознала себя женщиной, ее коснулось прозрение собственной силы и значения для другого, живущего рядом с нею человека. Теперь она знала, была уверена: что бы ни случилось, у нее уже этого не отнять: «Будь, что будет, мой грех, мне и ответ нести».

X

В общежитие Антонина попала, когда ребята уже кончали ужин. За столом у них царило уныние. Любшины, уткнувшись каждый в свою тарелку, старались ни на кого не смотреть. Альберт Гурьяныч доедал рожки с таким видом, будто все случившееся он предвидел заранее и оттого волноваться по этому поводу нет для него никакого смысла. Шелудько, машинально прихлебывавший чай, выглядел растерянным и вконец убитым. Николай с хмурой затравленностью поминутно оглядывал сотрапезников. Ее появление словно придало ему решительности, он возбужденно заговорил:

— Я еще с ним потолкую, он же мне побожился, что без трепа. Он у меня не сорвется — этот карась. Мы и язей видали. На моем горбу далеко не уедешь. У меня с ним свой разговор будет. Все заплатит. До копейки.

— Давай, давай, — вяло усмехнулся Альберт Гурьяныч, — глядишь, еще и добавит к обещалке.

Шелудько безнадежно махнул рукой.

— Без пользы. Если Карасик не захочет платить, он не заплатит. Карасик дело знает.

Близнецы промолчали, но по тому, с какой обстоятельностью сразу заработали их ложки, было понятно, что посулы Николая вселили в них известную надежду.

Муся, протягивая Антонине первое, заговорщицки кивнула в сторону ребят:

— Толковище на кладбище! Иди, ешь... Сейчас подойду... Работают все радиостанции... Важное сообщение. Строят из себя Бог знает что, а попадаются, как фраера.

Муся появилась перед столом во всем великолепии косметического оснащения. Осветила каждого по очереди ослепительной улыбкой, сказала с вызовом:

— Место бы уступили даме, кавалеры. Ни в ком никакого понятия, а туда же — в люди лезут. — Она уверенно расположила свое пышное тело, поставила на стол пухлые локотки. — Где у вас голова была, когда вы с Карасем договаривались? Или не знали, с кем дело имеете? Или глаза вам позаложило?

— Не в Карасике суть, — угрюмо отозвался Шелудько. — Заказчик как с неба свалился. Куда против заказчика попрешь? Как ни крути, сами виноваты.

— Заказчик! — Румяное лицо Муси мстительно заострилось. — Он такой же заказчик, как я космонавт. Дружок Назаркин из управления. Я его как облупленного знаю. Специально договорились. При мне. У Назарки концы с концами не сходятся, вот он и решил на вас сэкономить. Эх вы, работнички, учить вас некому! Нашли кому поверить! С каких это пор заказчик по подвалам работу принимает? Вы что, первый раз замужем, что ли?

Мусино известие против ее ожидания особого впечатления не произвело: заработок им уже все равно никто вернуть не в состоянии. Они зависели от Карасика, и пойти против него означало для них потерять всякую надежду выкарабкаться из нужды. Он мог даже не прибегать к фокусу с заказчиком, этот Карасик. Он мог просто не заплатить. Не заплатить — и все.

— Дала бы лучше в кредит бутылку, — глядя в стол, буркнул Альберт Гурьяныч. — Все равно нехорошо.

Муся ничего не сказала, поднялась, пошла к себе и вскоре вернулась с поллитровкой и тарелкой соленых огурцов.

— Пейте, — она поставила принесенное перед ними и снова села, — надо будет, еще добавлю. Рассчитаемся.

Она подвинула Альберту Гурьянычу свой стакан.

— Мне тоже чуть-чуть.

Тот молча выбил пробку и, составив стаканы, одним медлительным движением разлил по ним водку. Не глядя ни на кого, он выпил свою долю и лишь после этого кивнул Мусе с повелительной краткостью:

— Тащи еще.

Но и вторая разговорила лишь Альберта Гурьяныча. Ни к кому в отдельности не обращаясь, он глухо забубнил:

— Не повезет, так на родной сестре триппер поймаешь. Что мне на роду написано, всю жизнь заместо хлеба дерьмо есть? Или я рыжий? — Он грязно выругался. — Помню, когда пацаном был, мы все в «начинку» играли. Завернешь бывало мусору какого в белый листок, ленточкой броской чин-чинарем перевяжешь и бросишь на тротуар, а сам сидишь за забором и смотришь в щелку: кто подберет? Идет какая-то старушка, хвать — и за угол. А ты от радости аж за животик хватаешься: вот, мол, старая дура. Умник нашелся! Десять раз учили, а я все на эти локшовые покупки, бантиком перевязанные, как последняя вокзальная б... бросаюсь. Ведь на какую дешевую «черноту» клюнул!

И только тут ребята дали волю ожесточению. Обычно невозмутимое лицо Шелудько тряслось от злости:

— Какая же он все-таки сука, Карасик! — Сергей стукнул кулаком по столу. — Где ж у него совесть, у подлюги!

У Паши невольно вырвалось:

— Жаловаться надо!

Сема не оставил брата без поддержки:

— Управляющему!

Спор, из которого выходило, что жаловаться им нет смысла, что во всем виноваты они сами и что лучше попробовать договориться с прорабом по-хорошему, Антонина слушала краем уха. Все ее существо сейчас переполнялось минувшим свиданием с Осипом. Она еще не знала, какое продолжение будет иметь для них обоих это свидание, но чем бы ни кончилось, одно ей теперь ясно: с Николаем рано или поздно им придется разойтись. Отныне их объединяла только крыша над головой — и ничего более.

По-своему истолковав ее молчание, Николай тихонько поинтересовался:

— Плохо тебе?

— Что ты? — машинально повернулась к нему она. — А, нет, ничего, устала просто.

— Может, пойдем?

— Неудобно.

— Не до нас им.

— Нам до них.

— Как ты...

— Посидим.

— Смотри...

Казалось бы, возмущение бригады должно было в первую очередь обернуться против Николая, как закоперщика всего дела, но ребята в разговоре даже не упоминали его, и Антонина, отдавая должное их такту, была им за это благодарна.

— Ладно, — подытожил беседу Альберт Гурьяныч, — авось, не помрем. Умнее будем. А Назарке я козу заделаю, век помнить будет. — Он взглянул в сторону Антонины и вдруг спохватился: — А чего Осю-то не видно? А?

При упоминании имени Меклера Муся, задремавшая было на плече у Шелудько, вздрогнула и тревожно оглядела компанию:

— Правда!.. И ужинать не приходил... Ему ведь не напомни — и не поест.

— Видно, в город подался, — попытался успокоить ее Паша, но не выдержал тона: — Хотя не должен бы...

Шелудько уверенно подтвердил:

— Не должен.

И тут что-то подняло Антонину с места. Память, как фокус, мгновенно вобрала в себя события прошедшего дня, и, уже почти догадываясь обо всем, она захлебнулась грозной и неотвратимой тревогой. Антонина опрометью бросилась к выходу, но в это время дверь растворилась и перед ней на пороге возник Илья Христофорыч.

— Ося... там. — Лица на нем не было, губы, складывая слова, еле справлялись с судорогой. — В уборной...

Странная, никогда в прошлом не испытанная ясность снизошла к Антонине. Перед ней явственно обнажились причины и связи событий, происходивших вокруг нее в последнее время. Она воочию шаг за шагом проследила, как зрела, набирала силу сегодняшняя гибель Осипа. Случайный этот обман был лишь последней капелькой, заполнившей ему душу, а той, что выплеснула ее через край, стала их недавняя близость. Совсем не такой оказался мир, каким Осип создал его в своем сердце. Мир этот просто вытолкнул его из себя: «Век тебе его замаливать, Антонина, не замолить».

Осип еще лежал в кладовке по соседству с комнатой коменданта, накрытый новой простыней. Обостренным до предела зрением Антонина разглядела каждую его, доступную взгляду, черту и черточку: резкую линию носа под натянувшейся материей, бугорок авторучки над одним из нагрудных карманов и даже билет со «счастливым» номером, прилипший к подошве левой кеды.

Толпа, сгрудившаяся у двери кладовки, напряженно молчала. И в этом ее молчании не чувствовалось испуга или растерянности. Душу зябко сковало дыханием гремучей угрозы. Она — эта угроза — могла прорваться в любую минуту, но в момент, когда казалось, взрыв ее уже был неминуем, тишину обрушил долгий отчаянный крик Муси:

— Ося-я-а-а...

В эту ночь Антонина впервые за их совместную жизнь легла отдельно от мужа, на полу. Видно, догадываясь о многом, он только чуть слышно спросил:

— Уйдешь?

— Не знаю.

— Судишь?

— Нет.

— Я подожду.
— Как хочешь.

Антонина до утра так и не сомкнула глаз. Без дум и желаний смотрела она за окно, где в аспидно-черном небе подрагивали далекие звезды, и в какое-то одно пронзающее сердце мгновение каждая из них почудилась ей живым существом, веще и чутко взирающим на нее со своей головокружительной высоты. Благостное состояние того, что она не одна в этом мире, не сама по себе, а в единстве окружающего, коснулось ее, и слезы благодарности за это подаренное свыше чувство родства со всем и во всем облегчили ей сердце: «Да святится имя Твое, Господи!»

XI

На следующий день вечером в комнату к ним опасливо заглянул прораб.

— Не прогоните? — Он вошел, с показной старательностью пошаркал у порога подошвами и, решительно шагнув к столу, выставил из-за спины бутылку. — Вставай, Коля, требуется это дело, как говорится, разжуваты.

Карасик изо всех сил старался выглядеть, как всегда, уверенным и властным, но получалось это у него не без натуги и смущения. Поспешность, с какой он, определившись за столом, бросился распечатывать поллитровку, выдавала его боязнь перед возможным отказом хозяев. У Антонины в предчувствии чего-то непоправимого засосало под ложечкой. Но, живо взглянув на мужа, она тут же с облегчением вздохнула: тот миролюбиво и даже, как ей показалось, радушнее, чем обычно, поднялся навстречу гостю.

— Заходи, Степаныч, заходи. — Кивок жене: — Давай. — И снова к гостю: — Сейчас она сообразит нам чего-нибудь.

В эту минуту Антонина почти ненавидела мужа. «Нашел себе дружка! — с горечью сетовала она, собирая на стол. — Погубили человека, теперь запивать будут, совесть бы поимели!» После всего случившегося отношение ее к Николаю определилось, как ей казалось, раз и навсегда. Чувство благодарности к нему и уважения сменилось тягостной для нее и едва скрываемой неприязнью. Внезапная и нелепая гибель Осипа, словно резкая вспышка в темноте, обозначила перед ней в окружающем ее мире свет и тень, черное и белое, ночь и день. Теперь она заранее могла сказать, как поступит в том или ином случае или что скажет при этом, чью сторону возьмет. С того вечера ей стало ясно: из роддома она к Николаю уже не вернется.

Карасик услужливо подливал хозяину, тот пил, вдумчиво закусывал и, не перебивая гостя, слушал его пространные излияния.

— Что я, зверь, что ли? Жалко парня. Знал бы — свои доложил. Черт этих заказчиков принес на мою голову. Кто ж знал? В этот раз не получилось, в третьем квартале набросил бы. Что, в первый раз, что ли? И чего все на меня окрысились? Хоть на площадке не показывайся. Так и норовит каждый уесть побольнее. А мне ведь не двадцать лет, я жизнь прожил. Не одним огнем горел. И мятый, и клятый, и фронтом стрелянный. За что же меня так казнить? Что, я его звал, заказчика этого?

Прораб всем корпусом потянулся к собеседнику, вглядываясь в него по-собачьи заискивающим взглядом, но когда лица их сошлись наконец глаза в глаза, произошло то, чего Антонина меньше всего ожидала: рука Николая мертвой хваткой вцепилась в расстегнутый ворот гостя.

— Не знал, говоришь? — Выцеживая слова, Николай безмятежно улыбался, но от этой улыбки Антонине вдруг сделалось жутко. — Черт их принес, говоришь?

— Коля, — хрипел тот, — я ж тебе, как сыну...

— Как сыну, говоришь? Вот я тебя, папаша, и спрашиваю: если не знал, зачем тогда на мою половину привел? Или, может, случайно перепутал? Или насильно заставили?

— Нехорошо, Коля, — задыхался Карасик, — я к тебе, как к человеку...

Не отпуская его ворота, Николай вышел из-за стола, поднял гостя, поставил на ноги и свободной рукой наотмашь смазал ему по скуле, а затем уже бил, не останавливаясь.

— Человек, говоришь?.. Вот тебе, сучье мясо, за старое... За новое... И на три года вперед... Папашка отыскался!.. Получи от сыночка... Схвати от родимого...

С мстительным удовлетворением следила Антонина, как лицо прораба превращается в кровавую маску. Лишь однажды в жизни довелось ей видеть нечто подобное...

После дня пути по растекающейся на оттаявшей мерзлоте узкоколейке обшарпанная «кукушка» притащила наконец платформу, на которой они ехали, к базовому поселку Ермаково. Дорога со станции брала круто в горы, но едва Антонина следом за мужем ступила на нее, как сверху, со стороны поселка, навстречу им скатился и, минуя их, бросился в придорожную чащу парень в лагерной робе, с вылинявшим от ужаса лицом.

Никто из них не успел ничего сообразить: на гребень взгорья неожиданно высыпало множество полуодетых охранников. Размахивая ремнями и палками, солдатня с воем и свистом ринулась вдогонку за беглецом.

Судорожно впиваясь в рукав мужа, Антонина испуганно выдохнула:

— Коля...

— Тише, Тоня, тише. — Ее дрожь передалась ему, он тревожно напрягся и побелел. — Наше дело сторона. Пойдем, — в его поспешности было что-то унизительное, — пойдем... пойдем.

Основная волна схлынула, исчезая в чаще, но сверху один за одним все еще скатывались солдаты, и по исступленно торжествующему выражению их лиц можно было судить, что ожидает беглеца в случае поимки. Николай почти силком тащил жену за собой, шепотом при этом ее уговаривая:

— Что ты знаешь, Тоня!.. Не люди это. Не люди... Им человека сейчас убить — раз плюнуть. Скажут, по ошибке, мол... Еще и награду получат... За бдительность.

— Страшно, Коля.
— Молчи, Тоня, молчи...
— Страшно...
— Молчи.

Но главное испытание ожидало их впереди. На окраине поселка, куда они поднялись, у придорожной обочины в грязной жиже истоптанной трясины сидел в окружении охранников стриженный наголо человек в такой же, как и у беглеца, робе, но уже свисающей с него клочьями. Вместо лица у него был один сплошной кровоподтек, полуоторванное ухо черным завитком болталось у виска, плети перебитых рук безвольно свисали вдоль тела. Человек, по сути, уже не дышал, а только, редко и тяжело икая, дергался.

Возле него с пистолетом в руке топтался неуместно франтоватый лейтенант, охраняя бедолагу от обступивших его и заметно жаждущих самосуда солдат, среди которых выделялся своим решительным видом усатый старшина в меховой безрукавке поверх офицерского френча. Старшина все старался зайти со спины лейтенанта. Тот, в свою очередь, зорко следил за каждым его движением, не давая подступиться к жертве. Но кольцо вокруг лейтенанта сжималось с каждой минутой все теснее, ропот становился все более угрожающим:

— Давить их всех надо!
— Так и так сдохнет.
— Уйди, лейтенант, от греха!
— Не здесь, так в зоне добьем.
— Уйди, лейтенант.
— Смотри, под руку попадешь.

Тот в конце концов не выдержал напряжения, сделал шаг в сторону и отвернулся, как бы высматривая что-то в перспективе дороги. Это было воспринято как сигнал к расправе. Старшина мгновенно выдернул из дорожной стлани первую попавшуюся слегу и, размахнувшись, с лету опустил ее на голову сидящего, череп которого тут же стал расползаться надвое.

Перед глазами Антонины поплыли цветные круги. Низкое, серое небо сомкнулось над ней, и она, не помня себя от горечи и собственного бессилия, завыла в голос:

— А-а-э-э...

Очнулась она в незнакомой комнатке с одним окном, забранным резными ставнями. В отверстия резьбы лился тусклый свет незаходящего северного солнца. За полуприкрытой дверью в соседнее помещение шелестела неторопливая старушечья речь:

— Они-то здеся, как ослободятся, живут до самой навигации сами по себе. Денег на пароход дают. А отсюда зимой только самолетом на материк попасть можно. Вот и живут в палатках под берегом. Кормятся на погрузке... Видно, выпили. Ну, и сцепились со знакомым конвоиром. Слово за слово — драка. Ну, и пырнули они его в бок. Он в крик. Казармы-то рядом. И пошло. Наши-то, знамо дело, озверели. Ваше счастье, мой там оказался, а то бы они и вас не пожалели.

Голос Николая еле прослушивался:

— Спасибо.

И в памяти Антонины всплыло все. И собственный крик тоже. И она, уходя в спасительное забытье, снова сомкнула веки...

Теперь Антонина не кричала. Сама не помня себя, она лишь складывала пересохшими от гнева губами:

— Еще... Еще... Еще...

И хотя Антонина сознавала тяжкую греховность своего исступления, она в сладостном самоотречении брала его — этот грех — на душу. Ей казалось сейчас, что отнятое у нее слишком невосполнимо, чтобы не быть отмщенным. И за это она готова была принять любую самую тяжкую кару. Только бы виновник получил сполна.

Опомнилась Антонина, когда комната уже была полна народу, а ребята из соседнего загона выносили полумертвого Карасика в коридор. Николай стоял, прислонясь к стене, все так же вымученно улыбаясь, и в посеревшем сразу и осунувшемся лице его не прочитывалось ничего, кроме усталости и отвращения. Антонина попыталась было поймать его взгляд, но, едва встретившись с нею глазами, он отворачивался или опускал голову. Сейчас она испытывала к мужу чувство, близкое к материнскому. Ее одолевало жгучее желание укрыть Николая от грозящей ему опасности, заслонить его собою. И поэтому, когда два вохровца принялись заламывать парню руки, она с яростью, для самой себя удивительной, бросилась к нему на выручку.

— А ну, не трожь!.. Ишь, распоясались!.. Он сам пойдет!.. Сам!

Николай с затравленной благодарностью взглянул на нее и, тяжело ступая, двинулся к выходу. Вохровцы устремились за ним. Народ потянулся следом, стекая в двери, словно в воронку. В таком порядке процессия и проследовала через всю стройплощадку до проходной, где у самых ворот Николая уже ожидала трехтонка-самосвал, на которой его должны были везти в город.

Идя след в след за вохровцами, Антонина не испытывала ни тревоги, ни сожаления. Скорее наоборот: гордилась мужем, с каждым шагом укрепляясь в своем к нему вновь возникшем и все возрастающем уважении. Это был ее Николай, тот самый, каким она хотела его видеть и каким он должен был выглядеть в глазах всех остальных. И то, что ему предстояло, виделось ей лишь досадной, но необходимой задержкой перед их новой и теперь уже окончательной встречей. Смерть Осипа свела их в последний раз и навсегда.

Перед тем, как подняться в кузов, Николай в последний раз обернулся к ней и, прощально кивнув, как бы скрепил эту их безмолвную договоренность. Вохровцы обсели его с двух сторон, машина взяла с места, и вскоре смутный силуэт ее растворился в споро надвигающихся степных сумерках. Но Антонина долго еще стояла за воротами, вслушиваясь в безмолвную тишину вокруг и в себя, вернее, в то, что ликующе и властно билось у нее под сердцем.

И была ночь.

Здравствуй, многоуважаемый Лев Львович! Села писать, а сама не знаю, за что браться. Не знаю, чем я Господа прогневала, только жизнь моя снова порушилась, и какой ей будет конец — неизвестно. Николая моего опять посадили. Теперь ждать буду. Сколько нужно. До гроба. Теперь я ему жена перед людьми и Богом и верная раба. Родила я своего первенького соломенной вдовой. Папаню жалко — узнает, худо ему будет. А ехать мне больше некуда теперь, кругом чужбина. Может, вы сами с ним свидитесь, а я на вас надежду иметь буду. Коли примет, приеду помогать ему в старости, дитя растить. Рассердится — сама виновата, проживу и так, свет не без добрых людей. Жальчее всего, погиб человек, я вам об нем писала, тот, который из евреев, Осипом звали. Коли свидимся, покаюсь я вам, святой отец, об грехах моих тяжких и за самый главный грех в злобе на людей. Вышла я из роддома в чем есть, думала: куда идти, у кого хлеба просить? Да не оставил меня Господь своими милостями. Не успела я за ворота выйти, гляжу, едет ко мне Муся из нашей столовой, даже цветиками запаслась. «Поздравляю тебя, — говорит, — пойдем ко мне, у меня жить будешь». А я ее, каюсь, и за человека-то не считала. Ведь вот какой грех. Так и живу у нее, кормлюсь, чем Бог сподобит. По декрету давно уже не получаю, Муся кормит. Золотая женщина и себя блюдет. Ходит тут к ней один, Назар Степаныч, прораб со стройки, хоть сейчас в загс, а она ни в какую. На нем весь грех за Осипа, а она его любила. Вот и не идет. Мне теперь часто видения бывают. Видела маму намедни. Вошла она ко мне под утро, встала у двери, тихая такая, и говорит: «Ты, — говорит, — поплачь, доченька, обо мне, а я твои слезы Осипу отнесу, легче ему будет». Вы, Лев Львович, человек праведной жизни, скажите мне — можно ли раба Божьего, руки на себя наложившего, отмолить? Надо будет, постригусь своей волей, только слово скажите. Остаюсь преданная вам раба Божья Антонина и низко кланяюсь супруге вашей Капитолине Григорьевне.

Суббота

ВЕЧЕР И НОЧЬ ШЕСТОГО ДНЯ

I

Свидание с внуком снова выбило Петра Васильевича из колеи. Хлопоты его об опеке над Вадимом кончились безрезультатно. Во всех, даже самых высоких инстанциях в ответ на просьбу Лашкова должностные лица только сочувственно покачивали головами, но содействовать ему отказывались наотрез. И хотя разговор с отцом Георгием в больнице несколько просветил его на этот счет, он все еще не терял надежды добиться своего. Поступаясь правилом, Петр Васильевич написал слезное письмо старому, еще со смутных времен, знакомцу, ходившему теперь в больших деятелях, и вот уже вторую неделю с беспокойным нетерпением ждал от него ответа. Но ответа все не приходило, и тревожное бдение его день ото дня перерастало в уверенное предчувствие очередной неудачи. Пожалуй, впервые в жизни он ощутил в окружающем его мире присутствие какой-то темной и непреодолимой силы, которая наподобие ваты беззвучно и вязко гасила собою всякое ей сопротивление. Сознание своей полной беспомощности перед этой силой было для Петра Васильевича нестерпимей всего.

Из дому с некоторых пор Лашков стал выходить редко. Разве лишь за съестным и обратно. Остальное время дня он недвижно просиживал у окна, глядя скорее в себя, нежели перед собой. Петр Васильевич мучительно искал в прожитой жизни тот день, тот час, за который так жестоко и неотвратимо ему и его близким пришлось и приходится расплачиваться до сих пор.

И сколько бы он ни думал, мысль его, покружив по лабиринтам воспоминаний, неизменно возвращалась к тому гулкому утру на городском базаре, когда он оказался у разбитой витрины перед грубо раскрашенным муляжом окорока: «Неужто все-таки и началось это, неужто с пустяка этакого?»

После отъезда Антонины Петр Васильевич долго еще не мог приспособиться к новому ритму домашнего быта. Теперь никто не будил его по утрам и не готовил ему завтрак. Белье и рубашки неделями отлеживались в куче под кроватью, и у него не доходили руки, чтобы отнести их

в стирку. Только сейчас, оставшись в одиночестве, он по-настоящему осознал, как много Антонина для него значила и скольким он ей обязан.

Письма, которые она с завидной аккуратностью писала ему, он бережно складывал в бумажник, время от времени доставая их и перечитывая. Жила она с Николаем где-то в среднеазиатской степи, работала на стройке. Дочь подробно описывала ему их теперешнее житье-бытье, беспокоилась о нем, о его здоровье и делах. По всему судя, Антонина была довольна выпавшей ей замужней долей. Радуясь за нее, он в глубине души ревновал ее к Николаю, постепенно заместившему отца в сердце дочери: «В тираж выходишь, Лашков, скоро совсем никому не будешь нужен».

Возвращаясь как-то из магазина, Петр Васильевич, почувствовавший вдруг головокружение и жаркую слабость в ногах, еле доплелся до ближайшей скамейки в сквере, а отдышавшись, услышал рядом с собою легкое покашливание вперемешку с шуршанием газеты. В беспокойном предчувствии он скосил взгляд в сторону неожиданного соседа, и сердце его учащенно задергалось: на противоположном краешке скамейки сидел Гупак, небрежно полистывая свежий еженедельник. Внимание Петра Васильевича не ускользнуло от него. Он мгновенно сложил газету вчетверо и с вежливеньким вызовом поклонился.

— Здравствуйте, Петр Васильевич. Надеюсь, в полном здравии?

— Пока не жалуюсь.

— Слава Богу.

— Не обижает.— Ему хотелось ответить непрошеному собеседнику погрубее, позадористее, но сам не узнал своего голоса, до того вяло и безобидно он — этот голос — прозвучал.— Вашими, как говорится, молитвами.

— Молимся, Петр Васильевич, молимся,— благодарно оживился тот,— не забываем о заблудших.

— А кто заблудший — единолично определяете?

— Нет, зачем же, Петр Васильевич, греха гордыни на душу не берем. Обо всех молимся. И о себе — тоже.

— Не без греха, значит?

— Нет, Петр Васильевич, не нам камень бросать. С нашими грехами только каяться.

— Потому, видно, и не держатся около вас долго? Святость не той кондиции?

— Уж это вы не о дочери ли, Антонине Петровне?

— Ну, хоть и о ней!

— Дочь ваша, Антонина Петровна,— с вкрадчивой проникновенностью молвил тот,— голубиная душа. Такие, как она, от своего раз взятого не отступятся.— Он опустил глаза.— В каждом ее письме ко мне лишь подтверждение этому.

— Выходит, пишет?— жарко обомлел Петр Васильевич, но почему-то не испытал при этом к Гупаку ни гнева, ни ревности.— Уважила дочка!

— Не судите ее строго,— тот несколько придвинулся к нему,— отец по крови и по духу равны для верующего. Родному отцу, тем более атеисту, не расскажешь того, что поймет лишь духовный руководитель.

— Дело — у человека руководитель.— Он старался настроить себя на непримиримый лад, но слова его, едва сложившись, тут же теряли силу.— А все ваше это — блажь, юродство.

— Думаете?

— Да уж знаю.

— Разве можно что-нибудь твердо и наперед знать, уважаемый Петр Васильевич? Любая человеческая жизнь — это Божий мир заново. Как же можно своим глубоко личным знанием постичь другого человека да еще и заставить его жить по-своему? Человек должен себя менять к лучшему, а не обстоятельства. А вы именно с обстоятельств-то и начали. Обстоятельства вы изменили, а душа человеческая как была для вас за семью печатями, так и осталась. Вот мы и подбираем к ней ключи.

— Чем же? Байками своими?

— Словом. Добрым словом.

— И получается?

— Это процесс длительный, Петр Васильевич. Иногда и жизни не хватает. Душа постоянного внимания требует. Вот дочь ваша, Антонина Петровна, к примеру...

— Перебродит в замужестве и забудет.

— Все в руках Божьих,— покорно согласился Гупак, встал, сунул газету в карман пиджака и, коротко блеснув в сторону Петра Васильевича золоченой оправой, заспешил.— Спасибо за беседу. Зашли бы как-нибудь. Общение в нашем возрасте полезно. Многое проясняет. До свидания.

Обезоруживающая просительность Гупака невольно подкупила Петра Васильевича, и он неожиданно для самого себя отходчиво пообещал:

— Зайду...

Через минуту Гупака размыло стремительно наступающими сумерками, и, поднимаясь, чтобы отправиться восвояси, Петр Васильевич сам подивился своей уступчивости: «Сдаешь, Лашков, на чертовщину потянуло!»

Город, в котором он родился и вырос, с которым у него было связано все самое памятное и значительное в его жизни, виделся ему сейчас чужим и неприветливым. Даже люди, что попадались ему навстречу, не имели ничего общего с теми, которых он привык видеть до сих пор. В их походке и рассеянных взглядах сквозила какая-то странная порывистая суетливость. Они словно бы таились от некоей, им самим неведомой погони. Дойдя до самого дома, Петр Васильевич так и не увидел ни одного знакомого или спокойного лица: «Растет город, не уследишь!»

В щели между замочной скважиной и косяком двери торчал уголок конверта. У Петра Васильевича терпко засосало под ложечкой. Он долго не мог попасть ключом в скважину, а когда наконец, войдя, зажег свет, то облегченно вздохнул: «Ответил-таки».

Товарищ его по смутным временам на Сызрано-Вяземской дороге дружески упрекал Петра Васильевича за долгое молчание, сообщал ему, что меры в известном направлении уже приняты, что события развиваются благоприятно и что вскоре следует ожидать удовлетворительного для них обоих ответа.

«Есть же люди!»— подумал он. Утерянное было им в разговоре с Гупаком душевное равновесие вернулось к нему, и он, снова усаживаясь у окна, тихо и умиротворенно задремал.

И снилось ему, будто идет он нескончаемыми узкими коридорами, а за ним — одна за одной — гулко захлопываются многочисленные двери. Коридоры уводят Петра Васильевича все дальше и дальше, и жуть безлюдной тишины сопровождает каждый его шаг. Внезапно из-за очередного поворота навстречу ему выходит отец Георгий и вместо приветствия с соболезнующим укором молвит:

— У меня нельзя отнять того, что во мне и со мной. Вам труднее — вы атеист. Вы идете против своей природы.

И — надо же такому случиться!— Петру Васильевичу нечем возразить больничному своему знакомому. Никогда не испытанное им ранее смятение горькой спазмой перехватывает ему горло.

Пробуждаясь, Петр Васильевич насмешливо посожалел про себя: «Сны и те с панталыку сбились. Стареешь, Лашков, стареешь, давным-давно на слом пора».

II

Москва встретила Петра Васильевича проливным дождем. Первый за нынешнее лето ливень навес за навесом прокатывался по перрону и привокзальной площади, образуя у сточных решеток вкрадчивые водовороты. Город снимал с себя знойное наваждение предшествующих дней, и в его слитном еще недавно облике на глазах проявлялись черты и черточки, отличавшие в нем лишь одному ему присущие рисунки и характер. Громоздкие и тяжеловесные строения чередовались с двухэтажными коробками барачного типа, а те, в свою очередь, мирно притирались к дряхлеющим особнячкам прошлого столетия. Улицы растекались по обеим сторонам ветрового стекла, обнажая впереди блистающую дождевой капелью листву зеленой окраины.

Всю дорогу, пока молчаливый, жуликоватого вида шофер, безбожно петляя по многочисленным переулкам, вывозил Петра Васильевича на знакомую улицу в Сокольниках, он так и не смог унять в себе удушливого сердцебиения: «Неладно у нас все прошлый раз получилось, не по-людски».

Известие о смерти брата застало Петра Васильевича врасплох. И не то чтобы оно оказалось для него неожиданным — в таком возрасте это могло случиться с каждым из них в любую минуту, просто он никогда не думал, что тот, особенно после всего происшедшего между ними, даст когда-либо о себе знать: «Адресок-то, видно, берег, не терял из виду. Хотя и случайно, может, кто подоброхотствовал? И скорее всего».

У знакомого дома Петр Васильевич еще постоял, еще потоптался некоторое время под затихающим дождем, не решаясь войти. Настороженное безмолвие двора носило следы только что отошедшего события: все окна были распахнуты настежь, двери приотворены, а из сеней деревянного флигеля доносилась говорливая суета.

Стоило Петру Васильевичу переступить порог флигеля, как навстречу ему поплыл одиночный причитающий вой. Голос плыл из распахнутой двери братениной комнаты, где за поминальным столом постепенно выявились перед ним несколько сдвинутых друг к другу лиц. Лица дружно качнулись в сторону гостя, и одно из них — крупное, белесое, с веселой искрой в глубоко посаженных, василькового цвета глазах, — отделившись от остальных, выдвинулось в рассеянный сумрак сеней.

— Привет, Петр Васильевич! Васью уже увозиль. Я понимай, некарашо это. Но ошень, ошень жалко... Ми вас ждаль. Захожайте. Менья зовут Отто. Отто Штабель. — Он зашел Петру Васильевичу за спину и дружески подтолкнул его вперед себя. — Васью все мы любиль... Васья быль мой кароши товарьищ...

При появлении Петра Васильевича в комнате не поддержанный никем вой захлебнулся так же внезапно, как и возник. За столом произошло движение, лица сблизились еще теснее, освобождая место для гостя. Он сел, и все взгляды устремились к нему с одинаковым выражением: вот ты, мол, какой, единокровный брат Василия! И пока, рассматривая друг друга, гость и хозяева в мучительной неловкости ожидали взаимного повода к разговору, вокруг Петра Васильевича бесшумно хлопотала старушонка в потертом и висящем на ней балахоном платье неопределенной окраски. Она щедро обставляла его тарелками, чуть слышно шурша у него над ухом:

— Пожалуйте, сырку вот... Селедочки, пожалуйте... Отведайте студню... Хлебца возьмите.

В услужливой вкрадчивости старухи было что-то хищное, кошачье, и, видно, поэтому Петр Васильевич, принимая закуски из ее рук, невольно вздрагивал от всякого их случайного прикосновения.

— Спасибо... Я сыт... Спасибо... Это мне много будет... Благодарствую...

Перед третьим заходом из-за стола поднялся невысокий — одно плечо ниже другого — пожилой мужичок и, в упор глядя на Петра Васильевича цепкими глазами, заговорил бодреньким речитативом:

— Первым делом я должен принципиально заявить, что покойный Василий расходился со мной по многим вопросам внутренней и внешней политики. Это факт. — Здесь, явно рассчитывая на высокое взаимопонимание между ним и гостем, он со значением откашлялся. — Однако как жилец могу подтвердить его полную сознательность по другим вопросам. Как-то: ремонт канализации, очистка двора и другие разные работы. В этом смысле у меня к покойному претензий не имеется. Дело свое Василий знал назубок. Но, граждане, не надо забывать о бдительности. Известно, в какое время мы живем. Врагу никакой пощады! Революцию в белых перчатках не делают. — Чувствуя, что зарапортовался, он рассеянно заерзал глазами по сторонам. — Поднимаю этот бокал... Тост, так сказать... Пусть, как говорится, земля пухом... И так далее и тому подобное... Вечная память, граждане...

Он сел, и ватные плечи его затасканного кителя, густо припорошенные перхотью, вызывающе вздернулись кверху: я, мол, сказал, а там — ваше дело. Глядя на него, Петр Васильевич никак не мог отделаться от навязчивого впечатления, что где-то, когда-то он уже встречал это решительное лицо, эти ожесточенные, без света внутри глаза, слышал эту безоговорочную манеру высказываться. И вдруг, как это бывает в минуты предельного напряжения, когда в распавшейся цепи времен внезапно восстанавливается необходимое звено, ему с поразительной отчетливостью вспомнилось зимнее утро на станции, куда он привез опергруппу после крушения в Петушках. Вспомнилось с такой живостью, что у него, так ему показалось, даже зубы повело тою же зубной болью. И сквозь наслоение лет и событий перед ним обозначился медальный облик председателя уездного чека Аванесяна: «Винт тебе выдан не для украшения, а чтобы стрелять и стрелять без всякой пощады». Эта предельная схожесть двух совершенно разных людей показалась Петру Васильевичу знаменательной. Мрачная злость одного и облезлый гонор другого были отмечены пепельным жаром одной и той же неизлечимой порчи, какая изводила их обоих своей иссушающей душу мукой.

После четвертой разговор сделался всеобщим. Гости говорили, нетерпеливо перебивая друг друга, каждый спешил высказаться первым, считая, надо полагать, свое слово самым уместным сейчас и значительным.

— Помянем раба Божия Василия.

— Золотой человек был, Царство ему Небесное!

— Бывало придешь: Вася, сделай! Всегда без отказа.

— Слова от него худого никто не слышал.

— Что и говорить, человек был.

— Помню, — оживленно вскинулась на противоположном конце стола молчавшая до сих пор грудастая баба с расплывшимся, густо подрумяненным лицом, но тут же осеклась, грузное тело ее бессильно оплыло вниз, а взгляд, устремленный к порогу, остекленел и угас. — Сима!..

На пороге, нерешительно переминаясь с ноги на ногу, стояла женщина. Хрупкую, почти девичью фигурку ее невесомо облегал красный целлулоидовый плащик, цветы в руках, тронутые недавним дождем, трепетно подрагивали. Волнение растекалось по остреньким скулам гостьи белыми пятнами, явственно выявляя на них легкую путаницу устойчивых морщин. Если бы не они, эти морщины, женщину и впрямь можно было б принять за подростка, до того угловатым и несложившимся все в ней выглядело. Обведя застолье серыми с влажным мерцанием в самой глуби глазами, она жалобно улыбнулась и опустила голову.

— Здрасте...

Говор в комнате разом стих, лица напряженно вытянулись и застыли, но уже через мгновение замешательство сменилось беззвучным плачем, от которого Петру Васильевичу сразу же стало не по себе. Гости, не двигаясь, плакали в пространство перед собой, где в головокружительной высоте прошлого парила похожая на подростка женщина в красном целлулоидовом плащике, с облитыми дождем цветами в руках. И Петра Васильевича вдруг озарило, что сидящие рядом с ним за столом люди оплакивают сейчас что-то куда большее, чем его брата.

— Идьем, Петр Васильевич, — тронул его за плечо Штабель. — Женский дело плакайт.

Они вышли в безлюдный и мокрый после дождя двор. Отощавшие облака проплывали над крышами. В редких между ними полыньях вечереющего неба намечались первые звезды. Волглый ветер вязко сквозил в листве тополей вдоль тротуаров, расплескивая окрест окрепшие в сыром воздухе локомотивные гудки и лязг сцеплений с товарной станции, расположенной по другую сторону улицы.

Уже у калитки их нагнала та самая старушонка, что обслуживала Петра Васильевича за столом.

— Вы уж далеко не пропадайте, — заискивающе зашелестела она, — неудобно перед гостями.

— Ладно, — снисходительно бросил ей через плечо Штабель, направляясь к парку. — Мы немного погуляй. — И уже по дороге объяснил спутнику: — Это Люба... Жена Левушкина... Сам Ванья давно пропаль... Совсем старий стала.

Под влажный шорох парковых тополей Штабель и рассказал Петру Васильевичу историю двора, в котором брат его Василий провел большую часть своей невеселой жизни. Вместе с Отто он заново пережил короткую

пору любви Симы Цыганковой и Левы Храмова. Изложил ему австриец и подноготную Никишкина, того, оказалось, самого, что говорил за столом речь. Об исходе семьи Горевых в их разговоре было упомянуто вскользь, но по тому, с какой бережностью произносил тот имена ее членов, в особенности имя Груши, Петр Васильевич определил, чего это Штабелю стоило.

— Ссилька я отбиль... Москва не хочу. Сибирь мой семья. Дети взрослий... Дом есть, карoший работа... Старый я уже, могиля скоро. Пора домой, Петр Васильевич. Там — гость...

Около дома они лицом к лицу столкнулись с крошечной старушкой в темной панамке, надвинутой на самые глаза. Старушка стояла у ворот, уставясь в землю и о чем-то бормоча себе под нос. Сморщенное личико ее при этом выражало крайнюю и, видно, постоянно снедающую ее озабоченность.

— Привьет, Марья Николаевна! — огибая ее, почтительно поклонился Штабель. — Добрий здоровий.

Та и ухом не повела, продолжая одной ей ведомый разговор с самой собою. Уже во дворе австриец, опасливо оглядываясь, пояснил Петру Васильевичу:

— Бивший хозяйка этот дом. Шоколинист фамилий. Сто льет будет. Жива еще... Здоровий женщина. Ошень здоровий. — Штабель восторженно покачал головой, словно бы сам удивляясь живучести и долголетию бывшей хозяйки. — Какой есть люди! Откуда в ней такой здоровий?

Ночлег им обоим Люба устроила в комнате Василия. Быстро и бесшумно она соорудила для них на добела выскобленном ею же полу две постели, перекрестила их на сон грядущий и, выходя, предупредительно обратилась в сторону Петра Васильевича:

— Коли чего понадобится, постучитесь в пятую. Я подбегу и все сделаю.

Темь сразу же заструилась в комнату легким шелестом дворовой листвы, сквозь которую смутно проглядывало звездное небо. В ночной тишине отчетливо выделялся голос пьяного Никишкина, колобродившего в своей квартире на втором этаже дома рядом:

— Ты, старая падла, имеешь понятие, с кем живешь? А? Полное представление имеешь? А? Я тебя, карга, научу свободу любить!.. Чего?.. А десять суток строгого, с лишением прогулок и передач не хочешь?.. Молчать! У меня с социально опасными разговор короткий. Пулю в лоб, и ваших нет... Молчать! Как стоишь?! С кем разговариваешь, твою мать?!

С этим Петр Васильевич и заснул. И снилось ему...

III

Видение Петра Васильевича

Аванесян сидел на скамье спиной к жарко натопленной лежанке и, тесно к ней прижимаясь, силился, казалось, влиться в нее, в ее тепло и надежность. Но печь, видно, не согревала гостя. Костистые плечи его зябко подергивались, а носатое лицо то и дело искажала короткая гримаса: председателя уездной чека трясла гремучая, вывезенная им еще с родины лихорадка.

— Ты мне таких писулек больше не пиши. — Темные глаза гостя, подернутые болезненной желтизной, смотрели куда-то мимо Лашкова, в заснеженное окно и дальше — в ночь. — Подумаешь, трагедия — спецу зубы выбили! Не слиняет. Они нас не жалели. Обер в тебе, Лашков, сидит, аристократ путейский, законник. Порастряс ты в классных вагонах пролетарское самосознание, перерожденнем начинаешь чадить.

— Если бы по злобе, тогда понятно — не выдержал мужик, — пробовал ему возразить Петр Васильевич: чем-то, он еще не осознал, чем именно, гость вызывал в нем раздражение и неприязнь. — А то ведь из жадности, с целью грабежа, на золото позарился. А там золота в этих зубах — разговор один! Зато толков по всей дороге — не оберешься. И больше — не в нашу пользу.

— Плевать нам на разговоры! Собака лает — ветер носит. — Откровенная, чуть ли не брезгливая насмешливость прослушивалась в тоне

Аванесяна, и она — эта насмешливость — окончательно выявила для Петра Васильевича природу его давней к нему неприязни: Лашкову претила манера предучека разговаривать с собеседником так, словно он — Аванесян — знал что-то такое, что другим знать не положено да и не дано. — У меня достаточно способов заткнуть глотку говорунам. — Он даже не старался скрыть своего превосходства над хозяином. — Парамошина я знаю, пролетарий до мозга костей. Такие, как Парамошин, и есть движущая сила революции. И в обиду я его не дам.

— Ты, Леон Аршакович, человек здесь новый, больше понаслышке знаешь. — Чувствуя, как злость протеста захлестывает его, он уже не сдерживал себя: — Ты спроси у кого хочешь: кто такой Парамошин? Пьяница и бездельник, вот кто он такой. Горлопан к тому же. И трус. Его только ленивый и не бил в Узловске. С такими революцию делать — стыд один.

— А с кем же ты ее делать собираешься, Лашков? — Тон Аванесяна становился все грубее и насмешливее. — С гимназистами, что ли? Или с теми очкариками, что в эмиграции в библиотеках упражнялись, философские статейки под кофей пописывали? Нет, брат, шалишь. С этими интеллигентами только чай пить интересно. Больно складно языками чешут. Им только волю дай, они любое дело заговорят. Нам не до философских баек сейчас. Кто — кого, вот и вся философия. Революцию мы с парамошиными делать будем, Лашков. Пока очкарики думают, чего можно, чего нельзя, парамошины дело делают. Без слюней, без лишних разговоров делают. А что он себя не обижает — это его классовое право. Свое вековое берет. По крайней мере я знаю наперед, чего от него ждать. Он для меня ясен — Парамошин. А вот ты, Лашков, — нет, не ясен.

— А не боишься?

— Чего?

— Парамошина.

— С какой стати?

— Съест он. И тебя, и всех съест.

— Ну, это мы еще увидим, у кого быстрей получится. — Желваки на его скулах ожесточенно напряглись. — Скрутим, когда понадобится. А не скрутим, значит, не по плечу ношу взяли. Он тогда сам со всеми рассчитается. За все.

— Ему, Парамошину, никто еще не задолжал. Всем в городе с него причитается.

— Он не за себя, он за класс будет спрашивать. У него историческая ответственность, а ты все на свете своим уездом меряешь, Лашков.

У Петра Васильевича отпала всякая охота продолжать спор. Он чувствовал, что все равно не сможет пробиться к сознанию гостя сквозь непонятное ему отвращение того ко всему, связанному с недавним прошлым. И, хотя Лашков нисколько не жалел о поданном в учека рапорте, зряшность своего поступка представлялась ему теперь бесспорной.

А случай был действительно ни с чем несообразный. Препровождая в Тулу бывшего управляющего узловским депо Савина, конвоир Тихон Парамошин, известный в городе дебошир и гуляка, выбил подконвойному рукояткой револьвера оправленную золотом челюсть. О происшествии Петру Васильевичу доложил кондуктор, сопровождавший вагон, где в отдельном купе Парамошин стерег связанного по рукам спеца. Власть Петра Васильевича на уездных работников не распространялась, и единственное, что он мог сделать, — это написать докладную Аванесяну. Сигнал его был оставлен без последствий, но тот, как оказалось, не забыл об этом, приберег до поры.

— Но в общем-то я к тебе не за этим. — Помягчел гость и потянулся в карман за кисетом. — Просто шел мимо — облава тут у нас была: дай, думаю, зайду посмотрю, как нынче комиссары живут. — Он не спеша набил трубку, прикурил, глубоко затянулся и сквозь дым впервые за весь вечер взглянул прямо на хозяина. — Небогато, Лашков, небогато.

— Как все. Время трудное.

— Как все, говоришь? — Прежняя усмешка сказалась в нем. — Мы не для того брали власть, чтобы жить, как все. Мы не чужое — свое берем. Берем то, что по праву нам принадлежит. По праву победителей. Оставим аскетизм женевским идеалистам. Пусть они глотают свою осьмушку, мы

ее наглотались в царских тюрьмах, мы люди из плоти и крови и в наивную коммунию играть не собираемся. А у тебя, я гляжу, всех ценностей — комиссарова жена.

— Не за комиссара шла, — чуть слышно отозвалась Мария, орудуя ухватом, — за хорошего человека.

— Везет людям! — зябко поежившись, осклабился тот. — Какую королеву отхватил. А вот мне по этой части никогда не везло. Как говорится, образом не вышел. Один нос чего стоит! А уж я так старался. Услыхал, к примеру, что попы хорошо живут, — в семинарию подался. Думал, буду много денег получать, любая пойдет.

— И что, — снова отозвалась от печки Мария, — состоялось у вас счастье?

— Меня скоро выгнали.

— А коли б не выгнали?

— Нет, наверное. Никто бы не позарился. Деньги — мусор. Власть дает право на все. Теперь вот — сами просятся. Недавно тут одна заявилась...

— Не надо, — умоляюще вздохнула женщина. — не надо... Не полюдски это...

— Ладно. — Аванесян решительно поднялся и, старательно избегая ее взгляда, сделал шаг к выходу. В его поспешности было что-то суетливо жалкое. — Хорошенького понемножку, погрелся, пора и честь знать. — От порога он повелительно кивнул Петру Васильевичу: — Проводи.

Крупный медленный снег сыпал над городом. Со станции тянуло горечью остывающего шлака. Тишина, изредка прерываемая паровозными гудками и собачьим лаем, казалась безмятежной и умиротворяюще прочной.

— Пока, Лашков! — Поднял воротник добротной бекеши Аванесян. — Мой тебе совет: не пиши ты больше мне докладных. Все равно читать не буду. На твою докладную Парамошин уже целых три навалял. И таких, что тебе для высшей меры и одной за глаза. На твою вдову много охотников найдется. — Он коротко хохотнул. — Лучше поберегись, Лашков.

Снежная завеса разгородила их, и, глядя вслед гостю, Петр Васильевич с облегчением посожалел про себя: «Немного, видно, ты счастья нажил, у власти сидя, председатель, ой как немного! Только хорохоришься».

Еще в сенях, стряхивая с себя искристую снежную пыль, услышал он доносившееся из горницы шепотное бормотание жены: «Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его... Они не делают беззакония, ходят путями Его... Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих...»

И впервые за их недолгую, но богатую событиями совместную жизнь Петр Васильевич постеснялся перебить жену за этим ее занятием: «Каждому свое, пускай отведет душу».

IV

Как-то среди дня по дороге в столовую Лашкова окликнул знакомый голос:

— Доброго здоровья, Петр Васильевич! Зашли бы. Посидели бы мы с вами в тенечке по-стариковски.

Из-за штакетника дома, мимо которого он в это время проходил, радушно сиял в его сторону одетый в рабочие обноски Гупак.

После того случайного разговора в сквере у Петра Васильевича возникло и постепенно укрепилось смутное предположение, что тот намеренно, с каким-то еще необъяснимым для него умыслом ищет с ним встречи. Поэтому сейчас, ответно кивнув, он решил, как, впрочем, и всегда в подобных случаях, двинуться навстречу неизвестности.

— Отчего же не зайти? Зайду.

В садике при доме Гупак оказался не один. Здесь же над раскидистым кустом крыжовника возился сухонький, подтянутый старичок в соломенной шляпе и сандалиях на босу ногу. Старичок четко, по-военному приник кончиками пальцев к полям шляпы и затем снова углубился в свое занятие.

— Владимир Анисимович, — представил того хозяин. — Большой любитель всякой растительности. Тоже наш брат — пенсионер. — Он почтительно увлекал гостя к навесу в дальнем углу двора. Ковыряемся понемножку. Черенки, прививки разные... Вот сюда, пожалуйста, здесь прохладнее... Сейчас я вам кваску достану... Один, знаете ли, хозяйничаю, супруга в отъезде.

Гупак скрылся в доме и вскоре вышел оттуда с пластмассовым бидоном и кружкой в руках.

— Угощайтесь... Свой... Прямо из погреба. — Он опустился прямо против Петра Васильевича. — Жарко.

— Спасибо. Да, сушь.

— Для сада хорошо А в поле сохнет все. Большой, говорят, недород ожидается.

— Не такое было. Выдюжим.

К столу подошел старичок, сел, положил перед собой садовые ножницы, снял шляпу, обмахиваясь ею, сказал:

— «Выдюживать» следует при непосильных обстоятельствах. А наши нынешние неурожаи — результат нерадивости и лени. Никаких объективных причин тут нет. При современном уровне сельского хозяйства в мире стыдно нам ссылаться на стихийные неурядицы. Тем более в стране со столькими климатическими зонами. — Казалось, в свое время его рассердили однажды и навсегда, весь он являл собою воплощенное раздражение. — Считаем себя европейской страной, а земледелие ведем на африканском уровне. Послушаешь наших деятелей, так стихии преследуют одних нас. Причем стихии выборочные. Извержения, землетрясения, цунами, дорожные катастрофы — это там. А у нас только засухи и непогоды. Надежное утешение для болтунов. Или, скажем, еще — война. Будто одни мы и воевали! Французы нам мясо продают! А мы-то с нашими ресурсами и возможностями! Стыдно, уважаемые.

— Все-таки полстраны порушилось, — осторожно возразил ему Петр Васильевич, ошарашенный его внезапным натиском. — Что ни говори, с другими не сравнить.

— А кто виноват?! — Старичок, взвиваясь, даже подскочил от ожесточения. — Кто виноват, что Российское государство на протяжении двух веков проигрывало одну войну за другой. Если две из них и были выиграны, то лишь благодаря безответному нашему мужику. Можно сказать, вопреки государственному устройству и кадровой армии. Двухсотмиллионный народ не смог выдержать первого боя со страной, в несколько раз меньшей! Из-за политической слепоты головки, напыщенного бахвальства военных и их глупости, глупости и еще раз глупости! — Старичок прямо-таки задыхался от гнева. — Занимали западные окраины без выстрела, играли в «победы» на маневрах, а когда пришлось действительно воевать, то военного министра моточасти еле выловили под Смоленском вместе с его штабом — так драпал. Его заместитель, удирая без оглядки, солдатскую робу на себя напялил, а все свои регалии с документами вместе зарыл где-то в ростовской степи. А главный мыслитель неделю еще пил в ожидании мировой революции в тылу у противника. Каким же бездарным и самонадеянным надо быть, чтобы на это рассчитывать! А ведь в это время земля горела. Кровь лилась, и совсем не та «малая», что запланирована была. Спасибо мужику, снова выручил. Победили. Один к шести победили! Да за такие победы народу памятники надо ставить, а генералов судить военно-полевым судом. А они еще наглости набираются, мемуары пишут. «Левый охват», «правый охват», «котел», «клещи»! Словно балерины кокетничают, кто из них первый. Стратеги, сукины сыны! Бросали людские массы на пулеметы. Да еще и заградительные отряды сзади ставили. Двадцать миллионов положили. Германию ту заново заселить можно. И хоть бы чему-нибудь научились! Снова обвешиваются железками и пыжатся на парадах: «Разгромим», «Раздавим», «Дадим отпор»! Без выстрела европейские задворки оккупировали и хвалятся: «Операция экстра-класса»! Забыли, как из той же Западной Украины бежали сломя голову, когда там не прогуливаться, а воевать пришлось. Недоумки в погонах! А платить за их подлую глупость опять русскому мужику придется. Кровью платить. И какой!

— За столом — все наполеоны,— после короткой паузы неуверенно откликнулся Петр Васильевич. — В деле-то оно куда труднее будет.

На иссеченном возрастом худеньком лице старичка не дрогнул ни один мускул. Он только соболезнующе пошарил по собеседнику зоркими глазами, встал, напялил шляпу, взял ножницы со стола, но, прежде чем отойти, неожиданно спокойно объявил:

— Я в войну корпусом командовал, уважаемый! Стрелковым корпусом, заметьте. И если сужу, то сужу и себя.

Сказал и пошел, оставляя Петра Васильевича наедине с Гупаком и собственным смятением. Хозяин поспешил к нему на помощь.

— Его можно понять, Петр Васильевич. Все близкие Владимира Анисимовича погибли в блокаду. Он преподавал тогда тактику в академии. Сам выпросился на передовую. Всю войну, можно сказать, в окопах. Жена у него отсюда родом была, вот он и приехал старость доживать.

— Что же, один живет?

— Женщина с ним чуть помоложе его. Медсестра бывшая из его части. Ухаживает за ним.

— Рассердился, видно?

— Что вы, Петр Васильевич! Это он только когда на конька своего сядет, а так — святой души человек. У него в доме постоялый двор. И проходящий, и проезжающий — все пользуются. Рубаху готов для первого встречного снять. Редкостное сердце.

— Выходит, и атеист может по совести жить? — не удержался он, чтобы не уязвить хозяина. — Вот пример.

— Вы не правы, Петр Васильевич. — В его как бы виноватой интонации чувствовалась спокойная твердость человека, для которого всякое произнесенное слово имеет определенную цену и вес. — Истинного атеиста ничто не волнует. У него нет проблемы: есть Бог — нету Бога. Атеист живет растительно, ни над чем не задумываясь и ничего не переживая. Как только он задумается, он на пороге к Господу. Человек может считать себя неверующим и все же жить в Боге. Есть молитва делом. Эта молитва тоже доходит. И если вы, сами того не ведая, живете по законам Евангелия, то ваша душа уже приобщена. Здесь нужен лишь последний прорыв, чтобы осознать себя в Боге. Кстати, вы поспешили с заключением: Владимир Анисимович — верующий.

— Зачем ему это? — Обескураженный новостью, он невольно потянулся взглядом в ту сторону, где отставной генерал сосредоточенно подрезал садовый кустарник. — Чего ему не хватает, всего вроде достиг.

— К Господу по-разному приходят, Петр Васильевич. Не от бедности, не от богатства — от чистоты сердца. Вот, к примеру, ваша дочь Антонина Петровна...

— Слава Богу, прошло! — Резкость, с какой он прервал Гупака, мгновенно обнажила в нем давно вызревшую ревность. — От скуки это у нее было. Без мужика бесилась. Поживет в другой стороне, совсем забудет... Ладно. — Он поднялся и заспешил. — Спасибо за квас.

Все с тою же радушной готовностью Гупак провел гостя мимо старичка, слегка кивнувшего ему на прощание, к калитке и, помяв его руку в своей, со значением заключил:

— Заходите. Что одному-то дни коротать? Каждый день ведь мимо ходите. Владимира Анисимовича, если разговорить, заслушаешься. Да и другие люди заглядывают. Тоже занятный народ.

— Спасибо, — уже на ходу облегченно бросил Петр Васильевич, направляясь к дому, — загляну как-нибудь.

Засыпая в эту ночь, он долго ворочался с боку на бок, вспоминая подробности своего захода к Гупаку. Ощущение недоговоренности, сквозившей в речах Гупака, не покидало Петра Васильевича, заставляя его снова и снова возвращаться мыслью к состоявшемуся между ними разговору: «Неспроста это у него, ой неспроста!»

В этом беспокойном недоумении Петр Васильевич и заснул. И приснилось ему странное, ни на что не похожее здание с уходящим в темную бездну потолком. В поисках выхода он подряд открывал попадавшиеся ему на пути двери, но за каждой из них возникала глухая стена. Потом где-то впереди него замаячил свет, и Лашков побежал к нему с надеждой и облегчением. Он бежал и слышал за собой топот множества ног. Свет все

приближался и приближался, а топот становился все громче и громче. Страх преследования сделал его тело невесомым, и он взлетел над лесом тянущихся к нему рук. И в тот момент, когда, казалось, у него уже не оставалось надежды и жадные пальцы должны были дотянуться до него, до его тела, вдруг обретшего тяжесть, — свет принял его в себя. Он оказался на огромной пустынной площади, посреди которой сидела безногая нищенка и протягивала ему навстречу руку за подаянием. И вдруг лицо ее, приближаясь, разрослось перед ним и заслонило собою все кругом. В смятении и огне прозрел Петр Васильевич в нем — в этом лице — знакомые черты своей Марии. Но едва он потянулся к ней, лицо мгновенно растворилось, исчезло, высвобождая для взгляда все то же странное здание с уходящим в темную бездну потолком. Он силился крикнуть, позвать кого-либо, кто бы помог ему снова выбраться наружу, но рот его лишь беззвучно раскрывался в исступленной немоте...

Разбудил Петра Васильевича стук почтальона, вручившего ему под расписку срочную телеграмму от брата: «Женюсь. Приезжай. Андрей».

Сон Петра Васильевича сняло как рукой. «Ишь что удумал на старости лет, черт лысый!»

V

Мокрые после дождя ночные сосны развернулись навстречу Петру Васильевичу, едва он свернул со станции в лес. Коротать ночь на вокзале он не стал и, хотя ему предстояло километров около пяти освещенной лишь звездами дороги, не спеша двинулся по обочине слякотной колеи. Но стоило Петру Васильевичу углубиться в лес, как позади него послышался натужный скрип колес и слабое пофыркивание медленно бредущей лошади. Вскоре с ним поравнялась подвода, с которой его сразу окликнул сонный голос:

— Ай человек?
— Вроде.
— В какую сторону?
— В лесничество.
— Чего там забыл?
— К Лашкову... Андрею Васильевичу...
— А ты не брат евонный часом?
— Вроде.
— Эх-ма! А я пять, считай, поездов пропустил, тебя дожидаючи. — Бесформенный силуэт на передке подводы пришел в движение. — Садись-ка... Дай-ка я тебе сенца подоткну, дорога тряская... А я и смотрю: кто это на ночь глядя в лесничество собрался?.. Сел? Поехали... Пошел!

Переваливаясь с колеса на колесо, телега медленно тащилась сквозь влажную темь. В лицо веяло упругой сыростью, с ветвей, свисавших над дорогой, то и дело осыпалась дождевая изморось. Возница лениво, словно нехотя, понукая лошадь, поинтересовался между делом:

— Куришь?
— Не балуюсь.
— Эх-ма! А я было думал городской папироской на дармовщинку побалуюсь. Придется своего «вырви глаз» завернуть. — Повозившись в темноте, он чиркнул спичкой, затянулся. — Андрей-то Васильич тебя еще вчерась ждал. Цельный день на станцию сам гонял, а нынче меня вот снарядил... И Сашка тоже сама не своя. Зверь баба, а тебя дюже боится. Говорит, партейный. А партейный, дак что, кусается, что ли?.. Как мужик у ней помер, так и осталась с пятерыми одна. Андрей-то Васильич, говорят, сызмала за ней ухлестывал. Да и она по нем вроде сохла. Давно бы ей своего мужика бросить. Он у ей одно название был. Пил смертно и вобче — инвалид войны. Да ить Саша баба такая, все терпела — не бросила, не пошла против совести... Не та, конечно, у них теперь пора, только все одно — дело хорошее, что сошлись... Но!

Усадьба лесничества встретила их безлюдной тишиной. В доме светилось лишь одно окно, и то в нежилой, конторской половине. Осаживая у крыльца, возница снисходительно успокоил Петра Васильевича:

— В деревню догуливать пошли. Надо думать, скоро будут. Не то я обернусь, покликаю. Здесь рукой подать... Валентину, видно, стеречь нас оставили.

В конторе они и впрямь застали мирно дремавшую за столом горбатенькую девочку лет пятнадцати в накинутом на плечи старом мужском пиджаке. Умостившись веснушчатой щекой на сложенных перед собой ладонях, она безмятежно посапывала во сне, всею неудобной позой своей — одно плечо в стол, другое выкинуто вперед — излучая хрупкую, надолго застоявшуюся в ней детскость.

— Валентина! — На свету возница оказался крепким, коротконогим мужичком, небритое лицо которого с насмешливо опущенными книзу уголками тонких губ было помечено, казалось, въевшимся в каждую черточку озорством. — Валентина!

Под его осторожной рукой девочка чутко встрепенулась, открыла глаза, вскочила, уронив с плеч пиджак, и стала смущенно одергиваться.

— На деревне все... Меня тетя Шура специально оставила... В случае чего — прибежать велела... — Она извинительно зарделась в сторону гостя. — Вы уж тут с Егором Иванычем... Я быстро.

Но побежать в деревню ей не пришлось. За окном в далекой глубине ночи вдруг возник и, приближаясь, заполнил тишину протяжный наигрыш трехрядки. Нестройные голоса, перебивая друг друга, пытались сложить «Когда б имел златые горы», но песня не складывалась, и певцы в конце концов умолкли, снова уступая место гармошке.

Егор удовлетворенно подмигнул Петру Васильевичу.

— Идут!.. Изрядно нагулялись... Ишь, выделывают! Видно, Савельич своего крепленого поднес...

Сидя на скамейке у двери, Егор рассматривал гостя с откровенным любопытством человека, от которого ничего не скроешь и которому заранее все о собеседнике известно. Его вызывающая насмешливость коробила Петра Васильевича, и он, чтобы хоть как-то преодолеть возникшую в нем неприязнь к мужику, угрюмо спросил:

— Здесь, у Андрея, работаешь?

— Везде помаленьку, — озорно осклабился тот, — и здесь, и в колхозе тожеть. Как придется.

— Поденно, значит?

— И поденно тожеть.

— Хватает?

— Когда как. День калачи, день на печи.

Где-то уже на усадьбе гармошка, в последний раз вскрикнув, смолкла, и под самым окном закружились голоса:

— Открывай, мать.

— Посмотри, Егор тут ли?

— Андрюха, лошадь на месте.

— Заходите, заходите, я — сейчас.

Голоса переместились в дом и вскоре окончательно окрепли за стеной.

— Садитесь... Садитесь, гости дорогие... Рассаживайтесь... Чем богаты, тем и рады...

— Пьяного да уговаривать!

— И так уж хорош, миром бы посидел. Всю не выпьешь.

— Не скрипи, Наталья, в кои-то веки у нашего брата свадьба. Опосля ить не нальете.

— Маша, потяни-ка скатерку на себя.

Выделившись из темноты конторских сеней, Андрей счастливо засиял и с пьяно раскинутыми в сторону руками пошел на брата.

— Вот удружил!.. Вот удружил, Петек!.. Век не забуду!.. Пойдем... Пойдем за стол. — Андрей тискал Петра Васильевича, увлекая его за собой к выходу, но перед тем, как выйти, бросил через плечо: — Егор, распряги и приходи... Поди помоги теть Шуре, Валюшка.

Появление Петра Васильевича перед застольем вызвало среди гостей замешательство. Гости замерли, выжидающе уставясь в его сторону. Андрей, подталкивая его сзади, приговаривал:

— Входи, входи, Петек, здесь все свои... Входи, не стесняйся... Будь как дома.

И здесь в полной тишине из-за стола поднялась и легко поплыла к гостю начинающая полнеть женщина с лицом уверенным и властным, в которой он сразу же безошибочно признал Александру. Немного не

доходя до него, она почтительно переломилась надвое в земном поклоне и, распрямляясь, молвила без тени смущения или замешательства:

— Милости просим, Петр Васильевич, за наш стол. Будьте нам гостем дорогим.

Выдержки, по всему судя, ей было не занимать, спокойствие ее выглядело неподдельным. Но в том, как вслед за сказанным упрямо отвердели ее полные губы, Петр Васильевич почувствовал вызов и предостережение: мы тоже, мол, с характером. «Да, этой пальца в рот не клади, — одобрительно оценил он ее самостоятельность, — такая в обиду себя не даст. И мужа — тоже». Он сел, и застолье словно прорвало. Все заговорили разом, избывая в слове собственную неловкость перед гостем:

— Штрафную Петру Васильевичу!

— Нет уж, ты ему сначала красненького, а то задохнется без привычки... Вот это дело!

— Пей до дна, пей до дна, пей до дна!

— Пошла!

— Теперя закусь.

Его заставили повторить. Он выпил и потом, уже не помня себя, опрокидывал одну за одной под одобрительный говор гостей и не пьянел при этом, а лишь заливался мутной, давящей затылок тяжестью. Мир постепенно принимал очертания скошенные и расплывчатые. Петр Васильевич час от часу добрел, умиляясь всякому лицу и слову. Из-за покатого плеча невесты на него с веселой лаской смотрела горбатенькая Валентина, чем-то, наверное, тихой своей услужливостью, напоминала она ему Антонину или даже Марию тогда, в далекой молодости. Он ответно улыбался Валентине, давая ей тем самым понять, что ценит ее к нему внимание и со своей стороны к ней расположен. И Егор, выбивавший в эту минуту пыль из половиц, казался Петру Васильевичу милягой-парнем, с которым он хоть сейчас готов обняться по-братски и выпить еще. Да и каждый за столом, на ком бы ни остановился его взгляд, отличался какой-то одному ему присущей привлекательностью.

В разгар веселья Александра, улучив момент, подсела к Петру Васильевичу и стала поспешно, чтобы никто не услышал, оправдываться:

— Вы не думайте, будто я Андрею Васильевичу навязалась. Я своих пятерых и без него обихожу. Муж-то у меня вроде шестого был: что с ним, что без него. Одна управлялась, занимать не ходила. Захочет он — в любой день уйду. Опять же ему одному тоже не сладко. Ни постирать, ни приготовить. Всю жизнь в сухомятку. Жалко мне его очень. По его бы характеру золотую бабу впору. Цены ему, охломону, нету. — Она помолчала и вдруг прорвалась: — Невезучие мы с ним, ох невезучие! Три десятка лет друг около друга толклись, а сходимся, когда уже о душе думать надо. Лучшие годочки по ветру разлетелись!.. Эх! — Ее словно подбросило с места, она сорвалась и вышла в круг. — Не пожалей, Вася, для меня гармошки!

Я любила тебя, миленький,
Любить буду всегда,
Пока в морюшке до донышка
Не высохнет вода.

Александра плыла по комнате, полузакрыв глаза, и не сломленное возрастом гордое тело ее упруго подрагивало под цветастым, сильно расклешенным платьем. Запевая, она смеялась и плакала, и в этом ее смехе, и в этих слезах сказывалась вся ее последняя, отчаянная надежда хотя бы напоследок отвоевать у судьбы свою долю немолодой бабьей радости.

Выйду в поле по тропиночке,
На берег погляжу.
Выпей, милый, по кровиночке,
Я слова не скажу...

— Смотри, Петек! — с восторженным жаром дышал на ухо брату Андрей. — Разве ей ее годы дашь? Королева!.. Вот и мне посветило на старости.

— Дай тебе Бог, Андрюха! — Блаженно растекаясь, Петр Васильевич бережно оглаживал руку брата, свисавшую у него с плеча. — Дай тебе Бог...

Ночь вкрадчиво шелестела за окном мокрой листвой, сквозь которую заглядывали в комнату резкие, словно бы умытые звезды.

Говорят, что непригожа я,
А ты совсем рябой.
Будто нитка за иголочкой,
Пойду я за тобой.

Не сводя с Александры осоловевших глаз, Петр Васильевич прозревал в ней другие черты, другую, теперь уже почти забытую им пору...

VI

Еще одно видение Петра Васильевича

В это утро Петр Васильевич проснулся мокрый от пота и с головной болью, клещами стиснувшей ему виски. Сомнений быть не могло: езда по дороге, забитой тифозными составами, давно научила определять первые признаки сыпняка. «Не ко времени угораздило тебя, Лашков, — огорчился он про себя, — совсем не ко времени».

За окном вагона колобродила вьюга. Она мела уже третьи сутки, не переставая, и конца ей, судя по всему, не предвиделось. Третьи сутки спецпульман Лашкова одиноко торчал в открытом поле где-то между Скопином и Ряжском. В спальном купе их обитало двое: он и его помощник Веня Крюков. Веня сладко храпел по соседству, и от одной мысли, что тому теперь придется возиться с ним и в результате они могут свалиться оба, Петру Васильевичу становилось худо: «Надо бы спровадить его от себя, рано ему еще отходного играть».

— Веня! — тихонько окликнул он. — Веня!

Тот, привыкший за дорогу к неожиданным побудкам, откликнулся сразу, будто и не спал вовсе:

— Ты чего, Петр Васильевич?

— Вроде... того... заболел я.

— Может, продуло? — тревожно напрягся Веня. — Сейчас мы кипяточку сообразим.

— Нет, Веня, тут кипяточком не обойдешься... Ты бы перебрался от меня к паровозникам... Оно так надежнее.

— Думаешь, тиф?

— Он... Все как по-писаному... И жар... и голова чугунная... Соображай... Поберечься тебе надо.

— Это где же я поберегусь, Васильич? — Веня хмыкнул покровительственно. — В степь, что ли, ночевать уйду? На паровозе не побережешься много. Вша-то, она все равно найдет. Давай-ка лучше собираться.

— Куда, Веня?

— А это куда поведу, туда и пойдешь. — Он уже одевался. — До первого обходчика доберемся, а там видно будет. Я сейчас к паровозникам сбегаю, приведу кого-нибудь на подмогу. Один я с тобой не слажу, уж больно ты, Васильич, здоров. Да и ветер...

Вскоре Крюков вернулся с молоденьким кочегаром Тимошей Самсоновым, известным в Узловске своим круглым сиротством и забитостью. Тимоша загнанно оглядел Петра Васильевича, поморгал сонными глазами, тихо сказал:

— Ничего.

Вдвоем ребята быстро и вдумчиво оборудовали Петра Васильевича для предстоящего похода. Руки у Тимоши против ожидания оказались цепкими и сильными, чувствовалась кочегарская выучка. Парень ловко подвел крепкое свое плечо ему под мышку и уверенно двинулся к выходу, осторожно волоча его за собой. При этом кочегар время от времени приговаривал:

— Ничего... Ничего... Ничего, дядя Петя...

Метель, казалось, обезумела окончательно. Вьюжная крупа соединила землю и небо сплошной гудящей стеной. Поезд пропал из вида, едва они отошли от него несколько шагов по наполовину заметенному полотну. Каждый следующий шаг давался им все с большим трудом. Петр Васильевич чуял, что ноги перестали слушаться его. Он все чаще повисал на плече Тимоши не в силах стронуться с места и наконец обезножел совсем.

Тогда, сменяя друг друга каждые пятьдесят — сто метров, ребята понесли его на себе. То и дело впадая в забытье, Петр Васильевич в полубреду явственно различал впереди очертания близкого жилья с дымящимися над ним трубами, но сознание вновь возвращало его в беспросветную коловерть метели, и тогда он с трудом складывал горячечными губами:

— Заплутаем... Вернуться бы.

— Ничего, — хрипел, поворачивая к нему обмороженное лицо, кочегар. — Ничего.

Они бы, наверное, так и не заметили сторожки при дороге, если бы Тимоша не споткнулся о настил переезда и не упал, увлекая за собой и Петра Васильевича.

— Добрели! — возбужденно кричал Веня, помогая им подняться. — Погодите маленько, я посмотрю. Если пост, я крикну... На крик и заворачивайте.

Прошло несколько томительных минут, показавшихся Петру Васильевичу бесконечными. При такой разрухе, какая царила на дороге, сторожка могла оказаться пустой и разваленной. В таком случае песенка его будет спета: на обратный путь ребят уже не хватило бы.

— Давай помаленьку! — пробился к ним словно пропущенный сквозь ватную подушку голос Вени. — Тяни сюда... Сюда... Я тут... Давай... Давай... Сюда...

И лишь только Петр Васильевич ощутил под собой твердую опору жилого пола, память его рухнула в провал жаркого забытья. Среди множества лиц и голосов, круживших в воображении Петра Васильевича в последующие дни, в памяти его отложилось одно лицо и запечатлелся один голос. Когда после трех недель перемежавшегося короткими просветлениями бреда он впервые по-настоящему пришел в себя, оно — это лицо — склонилось над ним, и знакомый теперь голос облегченно произнес:

— Чайку выпьешь?

В свете неяркого зимнего утра облик женщины, вставшей у его изголовья, выглядел расплывчатым и усталым. На вид ей можно было дать лет тридцать с небольшим, но гибкая фигура ее с крепкой, по-девичьи трепетной грудью говорила о том, что она гораздо моложе.

— Давно я у тебя? — спросил он.

— Месяц скоро будет.

— Надоел, видно?

— Надоел. Да куда ж тебя девать, такого хворого.

— Теперь подымусь.

— Лежи, ветром сдует.

— Одна живешь?

— А где же взять мужика-то? Все по миру разбежались свою правду доказывать. Аники-воины беспортошные!

— Куда они денутся?!

— Толк-то какой от них будет? Одно — митинговать умеют. А с мужским своим делом им только на двор ходить.

— Строга ты, девка.

— Девка! На погост пора, — не удержалась она, чтобы не пококетничать. — Три десятка скоро. Скажешь тоже — девка!

— Зовут-то как?

— Раньше Софьей звали.

— Ишь ты! Будто царицу.

— А что я — хуже, что ль? — Она вызывающе вскинула опутанную тяжелой косой голову и как бы преобразилась вся: несколько жестковатые черты ее расправились, резкий голос стал мягче, женственней. — Пробросаешься!

Разговаривая с ним, Софья успела затопить печь, налить воду в чугун, поставить на плиту, вымести пол и заодно проветрить душную комнатенку. Все это она исполняла легко, по-мужски размашисто, словно балуясь между настоящим делом. Всякий раз, когда женщина взглядывала на него, в нем вспыхивало, подкатывая к сердцу знойной истомой, неведомое ему дотоле тепло. И где-то в глубине души он уже сознавал, что это что-то большее, чем благодарность.

Вечером, почаевничав с гостем, Софья принялась стелить себе у печки. Затем, безо всякого перед ним стеснения стянула с себя бумазейное

свое бросовое платьице и, потянувшись, чтобы загасить лампу, отнеслась к нему:

— Надо будет чего — кликни, не стесняйся, я чуткая.
— Спасибо.
— Спасибо потом скажешь, когда очухаешься.
— Да уж и так выходила.
— Сам ты себя выходил. Вон бугай какой!
— Одна видимость.
— Все вы одна видимость... Спи.
— Угу...

Но заснуть он так и не заснул. Петр Васильевич ощущал ее присутствие каждой клеточкой своей вызревавшей к новому существованию плоти. Жаркая тишь, царившая в сторожке, постепенно становилась для него нестерпимой. Он почти задыхался и глох от собственного сердцебиения, в конце концов он не выдержал, позвал:

— Воды бы.

Зубы его лихорадочно стучали о край поданной ему кружки. Откидываясь на подушку, он инстинктивно ухватился за ее руку, и она безвольно подалась к нему.

— Руки-то вон, словно ватные...
— Не уходи.
— Куда тебе...
— Сонюшка...
— Погоди.

Через минуту Софья скользнула к нему под одеяло, приникла шершавой щекой к его плечу, обволакивая его теплом и запахом своего неспокойного тела. Голова у него пошла кругом, но, обессиленный пережитым волнением, он вдруг ослабел и сник. Губы ее снисходительно дрогнули у его уха:

— Эх ты!.. Говорила, лежи... Туда же, загорелся!
— Прости.
— Что я тебе, мамка, что ли?
— Сонюшка...
— Спи уж... Я полежу...

Так началась их первая ночь вдвоем. Много ночей у них было потом, когда утро казалось им досадной неизбежностью, за которой снова последует долгожданный вечер. Все, что осталось за порогом этой сторожки, — дом, семья, дело, — уже виделось Петру Васильевичу непонятным в его жизни недоразумением. Но однажды среди дня на пороге возникла щуплая фигурка Марии. Одного взгляда хватило ей, чтобы понять все здесь происходящее. Но, не привыкшая отвоевывать свою долю у кого бы то ни было, она лишь съежилась вся, сдалась, чуть слышно обронив:

— Гостинец вот я тебе принесла... Ребята здоровы... Кланяются. Заскучали.

Она поставила узелок с принесенной мужу снедью на табуретку около ведра с водой и молча вышла, оставив их решить между собой то, что они должны, обязаны были решить.

Сглатывая горький комок, подкативший к горлу, Петр Васильевич опустил голову.

— Как ты.
— Иди. Дети у тебя.
— Скажешь слово — останусь.
— А зачем ты мне нужен?
— Соня!
— Побаловались — и будет.
— Зачем ты так?
— Хорошенького понемножку.
— Пожалей.
— Пожалела, а теперь ступай.
— Соня...
— Ступай, ступай. Не надо мне тебя. Даром не надо. Всех не пережалеешь... Ступай, вон жена ждет.

Софья смотрела на него в упор со спокойной неприязнью человека, твердо положившего себе не отступать от принятого решения. И только

по тому, как судорожно вздрагивал при этом ее легкий подбородок, можно было судить, чего ей стоило это решение. Долго еще потом, едва он вспоминал тот день, маячило перед ним лицо Софьи, глядящей на него в упор сухими от гнева и презрения глазами.

VII

Январский рассвет еще только-только коснулся чернильной темени за окном, когда в сенях раздался дробный, с прерывистыми паузами стук. «И кого это еще несет в такую рань по мою душу? — Поднимаясь, он никак не мог попасть ногой в тапку. — Дня мало».

Поеживаясь от холода, он тяжело прошлепал к выходу и замер, прислушиваясь.

— Кто?
— Это я, дед, открывай.

Ноги у Петра Васильевича сделались ватными. Трясущимися руками отодвинув щеколду, он растерянно бормотал перед запертой дверью:

— Сейчас, Вадя... Сейчас... Вот старость — не радость... Руки не слушаются... Заходи...

В горнице, пристально разглядывая внука на свету, Петр Васильевич хотя и не нашел в нем особых перемен, не мог не отметить и его еще более резкую против прежнего худобу, и первые седины в жестком бобрике, и чуткую, так несвойственную ему раньше настороженность в каждом движении и взгляде. Вадим сидел перед дедом, прихлебывая чай и упорно глядя в стакан, не спеша ронял слова:

— Она, как видишь, все-таки взяла меня. Правда, с условием, что я тут же слиняю на все четыре стороны.

— Плюнь.

— Уже плюнул. Только я выписан ей под опеку, как недееспособный. Без документов. Теперь мне эта свобода боком выходит. Вот оклемаюсь у тебя немного, если позволишь, конечно, и подамся на юг. Вспомню бродяжье прошлое, а там видно будет. Бог не выдаст — свинья не съест. Есть у меня один план.

— План ты свой забудь. — Петр Васильевич решительно напрягся. — И ехать тебе некуда и незачем.

Теперь, когда Вадим оказался с ним и нуждался в защите, не было на свете для Петра Васильевича преграды, какую он не сумел бы преодолеть, чтобы помочь внуку. Понадобится — он будет в ногах у местных властей валяться, но выхлопочет ему документы. Тогда, если тот не передумает, пусть и едет куда ему заблагорассудится. Вся внутренняя сущность Петра Васильевича сосредоточилась сейчас на этой определяющей для него цели. Уверенность его в благополучном исходе дела была настолько полной, что он, не задумываясь более, утвердил вслух:

— Будут тебе документы.

— Твоими бы устами, дед, — недоверчиво усмехнулся Вадим. — Только едва ли.

— Это у вас там, в Москве, концов не найдешь, — не скрыл своей обиды Петр Васильевич, — а здесь и я кое-чего означаю. Посмотрим, чья возьмет.

— Не сердись, дед, я не хотел тебя обидеть. — Он встал, вышел из-за стола и, потирая виски, принялся ходить взад-вперед по комнате. — Просто повидал я за это время всякого. На многое у меня глаза прорезались. Уж если они, — кивок вверх, — возьмутся за кого, то до конца не отпустят. Хватка у них мертвая. Чего-чего, а сторожить научились. По этой части у них большой опыт имеется... Господи, и что же это за часть света такая! Будто полигон для всяческих мировых безобразий. Почему, с какой стати, что за наваждение? Мало того, что сами в грязи тонем, но еще лезем рабской неумытой рожей своей в Европу других учить уму-разуму. — Глаза его постепенно заполнялись ожесточенными слезами. — Уйти, укрыться, спрятаться от всего этого! Чтобы не видеть, не слышать, не откликаться! И зачем мне их паспорт? Опять к ним на удавку? Лучше уж сдохнуть где-нибудь под забором бездомным псом, чем играть с ними в эту подлую игру. Не хочу!

Петр Васильевич почти не слушал, а вернее, не слышал Вадима. Он лишь напряженно вглядывался в него, ревниво отмечая в нем черты давно забытого им уже облика: «Витька, вылитый Витька, только еще покруче». Сын узнавался во всем: та же неумеренная горячность, то же стремление докопаться во всем до сути, те же внезапные, вне связи с предыдущим, обороты речи. С болезненной отчетливостью всплыло перед Петром Васильевичем памятное ему довоенное утро, после которого он с Виктором больше не встретился: «Чего, чего мы тогда не поделили? Эх, жизнь!»

Пожалуй, только в эту минуту его по-настоящему остро пронзило чувство потери, утраты этого самого, может быть, необходимого ему из близких человека. И, раз начав, память уже не могла остановиться, и Петр Васильевич знал, уверен был, что теперь они — его дети и близкие — последуют из небытия один за другим и каждый из них спросит с него свою долю расплаты. И он уже смирился с тем, что ему придется пройти через это испытание, каким бы жестоким оно ни было. Петру Васильевичу казалось, что лишь рассчитавшись с прошлым, он обретет в душе тот свет и ту ясность, которых ему так недоставало всю жизнь. Поэтому сегодняшняя мука Вадима, сообщаясь ему, вызывала в нем полную меру ответного понимания.

— Пропадешь, Вадя.

— И то — выход.

— Кому от этого выгода?

— А зачем она — выгода эта?

— Я помру — никого из Лашковых-мужиков, кроме тебя, не останется. — Горечь душила его. — Антонина — баба, с нее какой спрос? Тебе жить надо, Вадя. За нас все исправлять.

— Зачем исправлять-то? — глухо отозвался тот. Он стоял теперь спиною к деду, прижавшись лбом к затянутому ледяным кружевом стеклу. — Может, и не надо совсем. Может, в том наша судьба, лашковская, изойти с этой земли совсем, чтобы другим неповадно было кровью баловаться?

— Думаешь? — слабея, еле выдохнул Петр Васильевич. — По-твоему, так это?

— Спрашиваю.

— За свое мы сами заплатили.

— Но и других платить заставили.

— Ты в этом не замешан. Каждый за себя отвечает.

— Легко отделаться хочешь, дед.

— Я уже стар хитрить. За одного весь род не ответчик. — С каждым словом он все больше распалялся. — Не по справедливости это. Разве мы плохого хотели, когда начинали?

— Это факт вашей биографии. От этого никому не легче. Думать надо было.

— Некогда думать было. — Он почти кричал. — У нас минута на счету была. Кто — кого!

— Вернее, друг друга.

— Не до того было, чтобы различать.

— А потом?

— Потом поздно было. Потом надежда оставалась: перемелется, образуется все. Мы, что ли, одни виноваты?

— А кто?

— Не одни мы.

— Но больше доля ваша.

— Может, и наша. — Обида несла его. — Так мы против других и платим больше. Что я, к примеру, от своего комиссарства нажил? Сам смотри, велики ли хоромы, много ли богатства? Последние портки донашиваю. Ничего для себя не берег — ни добра, ни детей родных. Думал, как для всех лучше. Казнить-то за корысть можно, а разве я из корысти это делал? Легко ли мне было по живому резать? Легко ли мне теперь, под старость, одному дни доживать? Все отошли, все отступились. — Он вдруг как-то сразу обессилел и поник. — Вот и ты тоже отрекаешься.

Вадиму, видно, передалось состояние деда, он живо отвернулся от окна и, примирительно усмехаясь, потянулся снова к столу.

— Ладно, дед, делай, как знаешь. Получится — хорошо, не получится — еще лучше. Лишь бы хоть какой-то конец.

В смутном свете нового дня лицо Вадима приобрело землистый оттенок. Темные глазницы обозначились явственнее и жестче. Седина бобрика проступила еще определеннее. Серая, почти нечеловеческая усталость сквозила во всей его ссутулившейся за столом фигуре. Лишь сейчас, внимательно разглядев внука, Петр Васильевич понял тщету своей недавней горячности: тому было не до него и ни до чего на свете вообще, тот просто хотел спать.

— Ляжешь? — Не ожидая ответа, Петр Васильевич бросился стелить внуку. — Давай ложись.

— Пожалуй.

Вадим уснул сразу, едва коснувшись головой подушки. Во сне он выглядел много моложе и мягче. Петру Васильевичу стоило большого труда не погладить внука, как когда-то в детстве, по его упрямому ежику.

— Ишь...

И легкое это, будто звук одинокой дождевой капели по крыше, слово выявило в памяти Петра Васильевича резкие линии и цвета размытого временем дня. День этот предстал перед ним с такой почти осязаемой живостью и полнотой ощущения, будто он — этот день — был не далее чем вчера.

VIII

И еще одно...

Пятые сутки вагон Петра Васильевича стоял в тупике Пензы-товарной. Пятые сутки станция, забитая до отказа составами, исходила зноем и разноголосым гвалтом. За все эти дни в белесом августовском небе не промелькнуло ни облачка. Недвижный воздух был, казалось, насквозь прокален сухим, удушливым жаром. Изнывая от духоты, Петр Васильевич маялся у раскрытого окна в ожидании напарника, околачивавшего в это время пороги станционных кабинетов с просьбой о скорейшей отправке. По соседству с тупиком, на запасном пути вытягивался эшелон с цирковым зверинцем. Прямо против Петра Васильевича, посреди четырехосной платформы, возлежал обрешеченный со всех сторон облезлый лев, и его круглые, с яростным блеском глаза источали в сторону Лашкова долгую и голодную грусть.

У платформы, облокотясь о ее подножку, круглый приземистый толстяк в майке-сетке и с носовым платком на бритой голове лениво жаловался стоящему рядом с ним красавцу в крагах и клетчатой рубахе, заправленной в щегольские галифе:

— Проклятая гастроль! И зачем нас только понесло в эту канитель? Я так боюсь за Алмаза! Вы же его знаете, Артур Поликарпыч. Ему полпуда чайной, что слону дробина. У него второй день нету стула. Ведь это катастрофа. Так мы и до Москвы не дотянем.

— Что и говорить, — скорбно вздохнул тот, и резкое лицо его при этом судорожно дернулось. — Мои тоже совсем поскучнели. Шутка ли, после строго научного рациона — каша. Сплошная каша, представляете, пшенка! — «Пшенка» звучало у него, как «отрава». — А ведь цирковая собака куда разборчивей человека. К тому же я готовлю с ними номер столетия: «Левый марш» в сопровождении оркестра. Нет, вы не представляете!

По ту сторону платформы, натужно пыхтя, выплыл паровоз, за которым потянулись красные пульманы с люками, наспех забранными колючей проволокой. Через ее щетинистые ячейки проглядывались лица, множество детских лиц. Ребята с восторженным благоговением рассматривали возникшего перед ними зверя.

— Больной, наверно.

— Спит он, жарко.

— В Африке не жарко, да?

— В Африке он бы под деревом лег, в тень.

— Голодный он, видишь, какой худой!

— А у льва — тоже пайка?

— Конечно! По барану в день!

— И пряников тоже. Пуд.

— Пуд! Львам лафа.

— Льву больше всех надо. Знаешь, какой он прожорливый? Сколько ни дай, все съест.

— Царь зверей.

Двое у платформы молча растерянно обернулись в сторону пульмана. Крохотные глазки толстяка мгновенно округлились и потемнели, безвольный подбородок мелко-мелко задрожал, плотно сбитая фигура его обмякла и ссутулилась. Вцепившись в рукав приятеля, он жалобно прошептал:

— Что же это, Артур Поликарпыч?

— Дети. — Тот, отворачиваясь, прятал от него глаза. — Наверное, эвакуированные.

— Да, но почему проволока? — не унимался толстяк. — Ведь это дети, Артур Поликарпыч!

Подоспевший в этот момент Лесков, мгновенно оценив обстановку, самодовольно подмигнул Петру Васильевичу:

— Эрвээн, на восток переправляют.

Толстяк живо обернулся к нему.

— Что? Что это такое — эрвээн?

— Родственники врагов народа. — Лесков пренебрежительно хохотнул. — Знать надо, папаша! А еще артист!

Когда смысл сказанного наконец дошел до циркача, он, осунувшийся и словно бы сразу постаревший, с минуту еще постоял, держась за рукав приятеля и о чем-то мучительно раздумывая. Затем, озаренный внезапной догадкой, легонько оттолкнул его от себя и бросился к соседнему с платформой жилому вагону. Проводив его обескураженным взглядом, красавец в галифе беспомощно развел руками:

— Невозможный человек.

Вскоре толстяк снова появился на платформе, но уже переодетый и слегка подкрашенный, с крошечной балалайкой через плечо. В два не по возрасту молодцеватых прыжка он вскочил на тормозную площадку и тут же возник перед львиной клеткой лицом к лицу с ребятами за проволокой. Осветив себя шутовской улыбкой, циркач лихо ударил по струнам.

— Вам не известно, что за зверь зовется Чемберлен? — хрипловатым речитативом затянул он. — Ну, а теперь, ну, а теперь, послушайте рефрен. Фонарики, фонарики горят, горят, горят. Что видели, что слышали, о том не говорят. — Взятый темп был ему явно не по силам, но он не сдавался. — Когда возьмется он за ум, когда протрет глаза, мы на его ультиматум начхали три раза. Фонарики-сударики горят, горят, горят. Что видели, что слышали, о том не говорят... Бим! — задыхаясь, кричал он стоящему внизу усачу. — Ты слышишь меня, Бим? Разве ты не слышишь — ребята зовут тебя? Ах, какой ты трусишка, Бим!

Но тот, не слушая его, шарил вокруг себя жалобными глазами в поисках сочувствия и все рвался с объяснениями к осклабившемуся от удовольствия Лескову:

— Что он делает?! Нет, вы только посмотрите, что он делает?! Ведь за это по головке не погладят. И потом он давно бросил клоунаду. У него уже был инсульт. Ведь он же не выдержит! Да остановите вы его наконец!

Лесков лишь отмахивался от него, приплясывал в такт балалаечного наигрыша.

— Вот дает старикан!.. Вот дает!.. Сыпь на всю катушку, папашка! Покажи пацанам, на чем свет стоит!

Усач еще поморгал, потоптался около Лескова, но, так и не найдя в нем поддержки, вдруг весь напрягся и, хватаясь за поручень тормоза, заблажил неожиданной фистулой:

— Я здесь, Бом! — Одним махом он оказался рядом с товарищем. — Здравствуйте, дети, это я — Бим!

И, словно по команде, внутри пульмана несколько десятков ребячьих голосов разом выдохнуло:

— Здравствуй, Бим!

Друзья старались вовсю. Они пели, плясали, ходили на руках и даже били друг друга. И, конечно же, плакали при этом. В их действиях сквозило что-то отчаянно-исступленное. Казалось, они решили показать ребятам все, что умели, и все, на что были сейчас способны. А из конца в конец скорбного поезда уже гремела, множась на ходу, грозная предупредительная команда:

— Прекратить!.. А ну прекратить!.. Марш от эшелона!.. Предупреждаю в последний раз, прекратить!

Двое на платформе, будто не слыша никакого крика, продолжали заниматься своим делом. Приближающийся топот кованых сапог, казалось, лишь подстегивал их.

— Бим! — истошно вопил толстяк, обливаясь потом. — Ты умеешь бегать?

— Да, Бом! — в тон ему откликался партнер. — Умею, но не так быстро, как вон тот человек, который бежит сюда.

— Еще бы! — не унимался толстяк. — От войны надо уметь бегать. Этот умеет.

С той стороны платформы — над ее бортом — появилась фуражка с голубым околышем, а следом за нею распаренное, в крупных рябинах лицо.

— Кому сказано — прекратить! По уставу караульной службы имею право стрелять. Понятно?

— Не мешайте нам репетировать! — Усач воинственно выпятил грудь и двинулся к фуражке. — У нас правительственное задание. Мы репетируем номер века. Немедленно освободите помещение!

Лицо над бортом исчезло, но тут же появилось снова, уже поверх тормозной площадки:

— Я тебе, жидовская морда, покажу номер. До смерти кровью харкать будешь...

Неизвестно, чем бы все это кончилось, а кончилось бы скорее всего плачевно для циркачей, но в это время вагон с испуганно и молчаливо наблюдавшими за всем происходящим ребятами тронулся с места. Эшелон, медленно набирая скорость, поплыл мимо платформы. Фуражка тут же скрылась из вида, и только удаляющийся голос ее обладателя прощально погрозил снизу:

— Твое счастье, падло! Я бы из тебя такого клоуна нарисовал, век не просмеяться.

Чувствуя себя в полной безопасности и оттого еще более воодушевляясь, толстяк не выдержал-таки, поскоморошничал в ответ:

— Бим, ты его боишься?

— Да, Бом! — поддержал тот друга. — Но не так, как он фашистов...

Когда состав с вооруженным охранником на хвостовом тормозе миновал платформу, толстяк бессильно откинулся спиной к клетке. Затем повернулся, приник к стальным прутьям мокрым, в цветных подтеках лицом и глубоко вздохнул:

— Что, Алмазушко, жарко?.. Такая наша жизнь, господин лев, ничего не поделаешь, терпи.

Усач, положив ему руку на плечо, осторожно, но твердо оторвал его от клетки, заботливо помог сойти со ступенек, и вскоре они скрылись за дверью своей теплушки.

— Мы люди маленькие, — забираясь на верхнюю полку, попытался по обыкновению съерничать Лесков, — нам бы гроши да харчи хороши, верно я говорю, Васильич?

Лашков не ответил. Сейчас ему было не до напарника. Он никак не мог взять в толк всего случившегося: «Детей-то, детей-то зачем? Какая за ними вина?» Ответ напрашивался сам собой, но согласиться с ним — с этим ответом — у Петра Васильевича не хватало ни мужества, ни готовности. «Зачем же я жил тогда? — отгоняя от себя соблазн сомнения, мысленно протестовал он. — Есть в моем деле правда, а остальное перемелется».

В этом обманчивом успокоении он, засыпая, и утвердился.

IX

На этот раз секретарша, вернувшись из кабинета Воробушкина, не озарила Петра Васильевича лучезарным радушием. Оскорбленное еще прошлым его визитом самолюбие исполкомовской дивы было наконец удовлетворено сполна.

— Прием с трех, — откровенно торжествуя, сухо отчеканила она, — подождите в коридоре.

Лашков понял — дело плохо: не простил ему Костя Воробушкин излишней его памятливости. Но решимость Петра Васильевича от этого

укрепилась лишь еще больше. Для него теперь не существовало щекотливого сомнения: о чем можно говорить, о чем нельзя. Если бывший машинист оказался так скор на забывчивость, Петр Васильевич напомнит ему пару-другую фактов из его далеко не безупречной биографии. Будет грозить, просить, требовать, но вырвет у Воробушкина согласие на выдачу документов своему внуку.

В коридоре на откидных стульях, уныло вытянувшись вдоль стен, уже томилась в ожидании приема изрядная очередь. Рядом с Петром Васильевичем оказалась грузная баба в плюшевом жакете и добротном клетчатом платке поверх надвинутой на самые брови черной косынки. Ее крохотные, обращенные к соседке глазки источали слезную искательность.

— Оно, конечно, утюг — мелочь, невелико имущество. Да мне утюг этот — память по усопшей родительнице. Я им и абажур и боты матушкины, почти не ношенные, без слова уступила. Зачем они мне? Ни фасон, ни размер не подходят. А они мне, сестры те, значит, заместо благодарности два ребра за этот самый утюг сломали. И ухом правым я плохо слышать стала. Я им этого никак не спущу. Я на производстве член бригады ударного труда, и в жакте меня тоже знают. Что утюг — мне принцип дороже...

Соседка бабы, тусклая девушка — стеганая нейлоновая курточка, тощий мохеровый кокон вокруг робкого, без кровинки, лица, — смущенно озираясь, механически ей поддакивала:

— Да, да, конечно!.. Разве можно?.. Еще бы!.. Я вас понимаю. Да, да, конечно.

По другую руку Петра Васильевича скуластый, с квадратным подбородком парень, судя по фуражке, таксист, обиженно гудел на ухо беременной женщине рядом с собою:

— Ты, главное, не тушуйся. Говори все, как есть. Куда нам с тобой деваться? С каких это заработков нам в кооператив вступать? Раз таксист, значит, миллионер, что ли? Какую копейку зашибешь — всем надо дать. Ремонтникам надо? Надо. Мойщику тоже надо. На въезде опять же давай. Пальцев на руках не хватает, кому давать!.. Пока не подпишет — не уходи. Не уходи, и все!

Та сосредоточенно молчала, но по тому, как в волнении подрагивали на вздутом животе ее крест-накрест сложенные руки, чувствовалось, что слова мужа находят в ней самый живой и заинтересованный отклик.

Время тянулось томительно долго, и Петр Васильевич, наскучив ожиданием, подался было размяться в исполкомовский двор, но в этот момент из приемной торжественно выплыла уже знакомая ему дива.

— Кто здесь товарищ Лашков? — Она намеренно небрежным взглядом скользнула мимо Петра Васильевича. — Прошу пройти к Константину Васильевичу.

Сопровождаемый возмущенным ропотом, он миновал приемную и с известным облегчением — принял-таки вне очереди! — очутился в кабинете у Воробушкина. Тот, не поднимая ему навстречу тяжелой своей головы, кивнул на кресло перед столом.

— Садись, Петр Васильевич. Извини, что задержал. Должность такая, всем до меня дело... Слушаю!

Стараясь быть покороче, Петр Васильевич изложил Воробушкину суть своей просьбы. Хозяин слушал, не перебивая, изредка косясь на окно, где в соседнем дворе ребятишки гоняли мяч. Время от времени он усмехался чему-то своему, хмыкал неопределенно и еще ниже опускал голову. Когда же Петр Васильевич кончил, Воробушкин встал и нетвердой поступью подался к стоящему в углу несгораемому шкафу. Взяв тяжелую дверцу на себя, он вынул оттуда початую бутылку коньяку и мелкую тарелку с двумя рюмками и разрезанным надвое лимоном.

— Тяни, Васильич. — Наполнив одну рюмку до краев, он подвинул ее гостю. — Будем.

В полном молчании они сделали еще два захода, после чего Воробушкин наконец заговорил:

— Эх, дети, наши дети! И в кого они только пошли сейчас? Кажется, все им отдавали, а выросли — и не узнаешь. Ничего в них от нас не осталось. Куда их несет, чего им нужно? — Речь его лилась веско и внятно, но по сухому блеску в мутных глазах хозяина можно было

с уверенностью заключить, что он давно и матеро пьян. — Спросишь — молчат. Все у них свое что-то на уме. А что, вот вопрос? Когда шманцы-танцы, компании всякие, это понятно — молодость играет. Такие ясны, с такими разговор простой. Вот как с тихими быть? Ходит себе молчун такой и молчит. А чего он молчит — вот вопрос. Поглядеть — овечка овечкой, что у него там внутри? О чем он думает? Что замышляет? Попробуй к нему подступись. У него, у тихого, все в ажуре. Все показатели по моральному кодексу налицо. Только ведь и дураку ясно, что он своего часа звездного ждет. А уж как стукнет этот час, от него тогда, от тихого, пощады не жди. — Он умолк и с минуту в нерешительности смотрел на недопитую рюмку, затем поднял ее и медленно, с видимым наслаждением выцедил до самого дна. — Вот и мой тоже, старший, мне сюрприз преподнес... Между нами только, Васильич... До поры... Он ведь у меня в Германии служит. Вот сообщили: пытался перейти в западную зону... Сидит теперь под следствием. Свое он, ясно дело, получит. Да и мне не поздоровится. А ведь каким паинькой был! Слова поперек не скажет, дневник — одни пятерки, стишки писал... Вот и узнай после этого, кто из них чем дышит, когда у родного сына душа — потемки!.. Видно, скоро мне по его милости к вам — пенсионерам — в сквер идти, «козла» забивать. — Он вымученно осклабился. — Возьмешь в напарники, Васильич?

— Не играю. — Петр Васильевич почувствовал, как неприязнь снова охватила его. — Других дел хватает.

— Не успокоился еще? — снисходительно посочувствовал ему тот. — Пора бы протрезветь, Васильич. Я еще тогда, после суда, понял, в чем сила. Всякие там красивые слова — это в пользу бедных. Прав тот, кто умеет подчиниться обстоятельствам. Мочиться против ветра — себе дороже... Думаешь, я без тебя не знал, что Кольке Лескову сверх всякой меры впаяли? Я этого пострадавшего в гробу видел в белых тапочках! Но власть у него — значит, и правда за ним. Ты меня с этим кретином чуть было под монастырь не подвел. Еле выкрутился.

— Тогда и жаловаться нечего, Костя. — Это неожиданно и счастливо найденное им объяснение тем невзгодам, какие преследовали его последние годы, отозвалось в нем тихой горечью. — Свое же дерьмо обратно получаем.

— Это, — лениво отмахнулся тот, — поповщиной отдает, Васильич. Вроде закона «кармы», что ли?

— Не слыхал.

— В Индии закон такой есть религиозный. По нему всякий поступок оплачивается судьбой эквивалентно: хороший — добром, плохой несчастьем. Ну да это тоже, скажу я, — в пользу бедных... Ладно, заговорились мы с тобой, а у меня прием как-никак. Зашел бы домой ко мне. Посидели бы, поговорили ладком, без спешки... Бывай.

— А с делом-то как? Поможешь?

— А! — Воробушкин брезгливо поморщился. — Пускай зайдет ко мне с метрикой. Ну и заявление тоже. В связи с утерей, мол... Будь.

Еще весь под впечатлением неожиданно скорой удачи Петр Васильевич столкнулся в исполкомовском дворе с Владимиром Анисимовичем. В генеральской папахе и бекеше он выглядел еще более тщедушным.

— Черт знает что такое! — Он прямо-таки трясся от негодования. — Невозможно достать кусок толя для матери фронтовика. Моего, кстати, соединения был солдат. В коммунхозе, говорят, нету, говорят что-то о великих стройках. Разгильдяи! А в коридоре какой-то хлюст сунул мне в руку бумажку с адресом местного шабашника, некоего Гусева. Выходит, у шабашника Гусева есть толь, несмотря на великие стройки, а у государства толя нет. Откуда, спрашивается, толь у шабашника? По ленд-лизу получает? Или у него единоличные торговые контракты с заморскими державами? Или спецснабжение непосредственно через Совмин? Безобразие! Вот иду скандалить с отцами города... Извините.

Стремительно обогнув Петра Васильевича, он легко, словно переодетый в генеральскую форму мальчишка, взбежал по лестнице и скрылся в подъезде.

Жизнь в какой уже раз за последнее время сталкивала Лашкова с людьми, которые так или иначе соприкасались с ним в свою пору:

Гупак, Воробушкин, Гусев! Будто события, описав некий предупредительный круг, замкнулись у своего собственного истока: «Словно и не было ничего. Где были, там и остались».

Воробушкин сдержал слово: Вадиму выдали временное удостоверение и прописали на площади деда. Но остаться жить в Узловске внук отказался наотрез, и Петру Васильевичу с трудом удалось уговорить его поехать к Андрею пожить, осмотреться. Пока Петр Васильевич списывался с братом, улаживал вызванные непредвиденными расходами денежные свои дела, внук целыми днями пропадал в городской библиотеке. Втайне старик только радовался этому: пусть успокоится парень, отойдет немного. Но чем внимательней вглядывался старик в него, тем определеннее убеждался, что снедавшая внука тоска лишь постепенно уходит вглубь, нисколько не ослабевая и не притупляясь. Часто, проснувшись среди ночи, Петр Васильевич заставал Вадима бодрствующим у окна с неизменной сигаретой в зубах. И хотя внешне тот стал сдержаннее и мягче, в нем нет-нет да и прорывалось его прежнее яростное исступление. «Задело парня, — молчаливо горевал Лашков, — надолго задело».

В день отъезда внука Петр Васильевич после беготни по хозяйству завернул в магазин, чтобы набрать гостинцев для своих благоприобретенных племянников. У прилавка дорогу ему заступил долговязый детина в видавшем виды прорезиненном плаще поверх телогрейки, заколотой у подбородка булавкой.

— Третьим будешь, папаша?

Из-под опущенного козырька цигейковой шапки на Петра Васильевича глядели круглые склеротические глаза, первая вопросительность которых сразу же сменилась заискиванием:

— Петру Васильевичу!.. Извиняюсь.

Что-то знакомое пригрезилось Петру Васильевичу в этом студенистом, свекольного цвета лице. И все же, не затрудняя памяти, он хотел было уже пойти мимо — мало ли кто в городе мог знать его! — но тот снова искательно потянулся к нему:

— Не признали?.. Родич ваш... Левка... Из Торбеевки... Гордея Степаныча сын.

Ну, конечно же, он, Петр Васильевич знал его! Левка запомнился ему нескладным — вечно нечесаные патлы над изможденным всеми мыслимыми пороками лицом — слесарем из депо, за которым по всей дистанции ходила слава самого изобретательного «сачка». Глядя сейчас на него, Лашков с запоздалым смирением прозрел в его слинявшем облике отражение собственного возраста и, наверное, поэтому не нашел в себе мужества пренебречь родством, пройти мимо.

— Лева, милый. Себя в зеркале узнавать перестал. Вот теперь помню. Значит, третьего ищешь?

— Дерет русский мороз, Петр Васильевич, — переполнялся благодарностью тот. — Капиталу всего рупь, вот и ищу охотника. Может, поддержите?

— А что! — вдруг подхватило его веселое отчаяние. — Где наша не пропадала! На вот трешницу, без примкнувшего обойдемся. Делов-то куча!

Того даже пот прошиб от удовольствия и признательности.

— Эх, Петр Васильевич! Одна нога здесь, другая там. Заделаем все в лучшем виде.

Остальное происходило, словно заранее отрепетированное действо. Левка, равнодушно пренебрегая руганью в очереди, по-хозяйски вклинился в самое ее начало, сдал пустую и получил запечатанную поллитровку, отходя от прилавка, горделиво подмигнул Петру Васильевичу: знай, мол, наших, — и кивком головы пригласил его следовать за собою.

Спустившись в туалет при городском сквере, Левка скрылся за дверью дежурной каморки и оттуда через смотровое окошко поманил Петра Васильевича к себе. Здесь под неразборчивое ворчание старушки-уборщицы они и распили бутылку, закусив щедро высыпанным Левкой на стол валидолом. Первая их не разговорила. Петр Васильевич выложил еще трояк, Левка расторопно обернулся, и, только после того, как вторая была допита, в них обоих окрепла хмельная тяга к взаимопониманию.

— Эх, — сожалительно, мотая лобастой с залысинами головой, начал Левка, — прошла жизнь, как в тумане. Вроде и родиться не успел, а уже справки на пенсию собираю. А у самого ни кола, ни двора. До сих пор угол снимаю. Женился было, не ужились. И то сказать, пью много. А что делать? Кругом тоска белая, бабы и те не манут. Одна радость — с человеком словом перекинуться. — Он замялся, опустил глаза и стал пальцем выписывать вензеля на клеенке перед собой. — Не обижайся, Петр Васильевич, покривил я... Есть у меня деньги... Я еще сбегаю, рассчитаемся. Тошно мне одному пить, вот и смотрел напарников... Заработать нынче — плевое дело, строится много, всем слесарь нужен. Только успевай: кому кран, кому ванна... Да ни к чему мне деньги те... Куда их? Не купишь на них ничего, кроме вина... Хочу вот в Дербент на тепло податься. Я те края хорошо знаю. Всю войну там прокантовался... Брата вашего, Андрея Васильевича, там встречал как-то... Жив?

— Жив. Рассказывал.

— Вспомнил, значит? — сияя, встрепенулся тот. — Как сейчас помню. На базаре еще с ним пиво пили. Он все об Агуреевой Сашке беспокоился, помню.

— Живут нынче вместе. В Курково, в лесничестве он теперь. С этого лета живут.

— Любовь! — пьяно осклабился Левка и тут же огорченно погас. — А мне вот не везет. Три раза расписывался, а не состоялось дела. Поганое бабье пошло. Что̀ им человек, им деньги подавай. А у Андрей Васильевича любовь, это железно. Весь город знал. Да и баба того стоит. Посмотреть — и то все отдашь... Эх, по такому случаю!

Не слушая слабых возражений Петра Васильевича, тот смотался в магазин еще раз. И снова они выпили, закусывая все тем же валидолом. И о чем-то опять говорили, досадливо отмахиваясь от усиленно выпроваживавшей их старухи уборщицы. Петр Васильевич, которому дальний родственник его казался теперь на удивление молодым и симпатичным, приглашал Левку заходить всегда запросто, без церемоний и стеснений. Тот, в свою очередь, заверял старика в вечной преданности и любви и все пытался облобызать ему руку, чему он неуверенно противился, но в конце концов, хотя и не без стеснения, позволил. Затем они, подгоняемые уборщицей, выбрались наверх, в сквер, где долго еще клялись друг другу не зазнаваться и помнить обоюдную хлеб-соль и родство, пока наконец пьяное забытье не развело их в разные стороны.

Домой Петр Васильевич возвращался в том благостном расположении духа, когда все окружающее выглядит празднично приятным и достойным восхищения. «Погодка-то какая! — С удовольствием прислушивался он к тому, как ядрено поскрипывает снег под его подошвами. — Как на заказ! Легко так, будто тридцать лет с плеч сбросил. Домой приду, Вадька не узнает. А Левка-то, Левка каков! Орел-парень! И не жадный. Надо будет его привадить, а то сижу один, как сыч, родня все-таки».

Прежде чем пройти к себе, Петр Васильевич завернул на половину дочери. После отъезда Антонины он еще не был там, оставив в ее комнате все как есть, с тем, чтобы, возвратившись, она не почувствовала никаких перемен. Стараясь не шуметь, он открыл дверь и огляделся. Все здесь было до мелочей знакомо ему: застеленная лоскутным одеялом кровать, швейная машина под футляром у окна, задернутое марлевой занавеской кухонное хозяйство в простенке между печкой и дверью. На гвоздике, вбитом в планку дверного наличника, висел заношенный, оставшийся еще от покойной Марии жакет. Петр Васильевич шагнул было дальше, в глубь комнаты, но голоса, вдруг обозначившие себя за стеной в другой половине, заставили его невольно замереть и прислушаться...

— Хочу все сам узнать. — В голосе Вадима слышалась нескрываемая резкость. — Своими руками все пощупать.

— Одна лишь любовь ко всему сущему может быть источником познания, — с тихой осторожностью выбирал слова Гупак. — А вы в мир собираетесь с тяжелым сердцем. Истину можно постичь не сходя с места. Беспокойное любопытство не прибавляет знания. Подумайте сначала. Зачем спешить?

— Так можно продумать до самой смерти. Мы живем в экзистенциальное время, время окончательного выбора. Я выбрал. О чем еще говорить, сотрясать воздух?

— Выбор в позиции, а не в движении. Может быть, для вас важнее и ответственнее сейчас остаться здесь. Вы не находите?

— Какой смысл? Зачем?

— Разве судьба Петра Васильевича, вашего деда, не трогает вас? Вам нужно помочь сейчас друг другу.

— В чем?

— Увидеть свет впереди.

— Это бесполезно. Ему его слепоты еще на целый век хватит. Таких, как я, он щелкает вместо семечек.

— Опыт вас ожесточил. Но из опыта надо делать выводы, а не средство самозащиты.

— Вот я и хочу сделать выводы. Для этого надо сравнить. Увижу— сравню.

— Такими глазами вы ничего не увидите. У суетного гнева — плохое зрение.

— Наоборот, гнев обостряет зоркость.

— Редко. И ненадолго.

— Думаю, что успею кой-чего разглядеть.

— Сомнения-то все равно останутся, — после недолгого молчания печально отозвался тот. — Всегда кажется, что остался неиспытанным лучший вариант. — Он явно сдавался. — Во многих обликах ходил я по миру, а когда под старость вроде бы сподобился истины, оказалось, что и в этом окне не весь свет. Может, и вправду лучше не задерживаться. Тогда, наверное, не останется времени для сожалений... Ворчу это я так, по привычке, от дряхлости души и тела, а в общем, я рад за вас. В наше суетное время не всякий решится на это. С какой бы радостью я вышел сейчас на дорогу и пошагал бы куда глаза глядят. Да вот ноги меня уже не носят, кончил век.

— Простите...

— Что вы, что вы! Ваше упорство для меня поучительно. Один мир к другому не примеришь. Тем более мой.

— Может, поделитесь?

— Если вам интересно.

— Мне теперь все интересно.

— Извольте... Мы ведь с дедом вашим, Петром Васильевичем, знакомы давно. Еще с того мирного времени. Фамилия моя по батюшке...

Гупак рассказывал, а Петр Васильевич, слушая его, все теснее прижимался лицом к старенькому жакету своей покойной жены. И давний, еле уловимый запах, присущий только ей и знакомый только ему, возвращал его к той невозвратимой поре, когда одно лишь безмолвное присутствие Марии рядом с ним заполняло его существование ясным и высоким смыслом. «Что я без нее? — спрашивал он себя, чувствуя, как слезы закипают у него в горле. — Нуль без палочки, ничто, пустое место». Мысль эта сложилась в нем так мгновенно, так обжигающе, что он, не сдерживаясь более и не стыдясь своих слез, тихо заплакал. И поздние слезы высветили прошлое чистым и ровным светом.

X

И еще...

Собрание уже подходило к концу, когда слова попросил Парамошин. Сытым колобком выкатился он из зала на сцену, разместил за неказистой клубной трибуной свое объемистое тело, внушительно откашлялся и, ловко округляя фразы, заговорил:

— Международное положение чревато, товарищи. Мировой империализм точит клыки. Классовый враг не дремлет. Энтузиазм кипит на стройках пятилеток. Наша задача — обеспечить на транспорте железную дисциплину и бесперебойность движения. Успехи в этом деле по нашей дистанции налицо. Но имеются, товарищи, тревожные факты. Не на высоте у нас борьба с пережитками. Есть такие, что детей крестют. А также иконы у некоторых. И даже из партийных рядов... Вот здесь присутствует главный кондуктор товарищ Лашков. На дистанции его хорошо знают. Старый партиец, в гражданскую комиссарствовал на дороге. А в доме у него и посейчас цельный иконостас, хоть выставку устраивай. Так, товарищи, не пойдет. Враг начеку. Его хлебом не корми, дай только наше послабление...

Зал восторженно загудел:

— Позор!

— Пусть отвечает перед собранием!

— Да хватит вам тень на плетень наводить, что мы Лашкова не знаем, что ли?!

— Факты — упрямая вещь.

— Демагогия!

— Выйди и скажи.

— И скажу!

Взывая к тишине, оратор привычно помахал пухлой ладошкой и бодренько продолжил:

— Враг начеку, товарищи. Капитал старается бить нас параллельно нашей перпендикулярности. Мы должны пресечь в наших железнодорожных рядах правый заскок и левый уклон...

Проговорив в таком духе еще полчаса, довольный собой, он уверенно скатился в зал, сел на место, и бритая наголо голова его с вызовом повернулась в сторону президиума: ну, что вы, мол, теперь скажете?

Единоборство Петра Васильевича с Парамошиным не прекращалось с того самого дня, когда тот узнал о его докладной в учека. За это время бывший конвоир раздобрел, обзавелся индиговым френчем и должностью, но давней обиды не забывал и при всяком удобном случае старался вернуть должок сторицей. Связываться сейчас с ним у Петра Васильевича не было никакой охоты. Слишком хорошо усвоил он на прошлой своей работе, что всякие объяснения при народе лишь затемняют суть дела, порождают новые пересуды и кривотолки. Но десятки глаз в эту минуту были вопросительно обращены к нему, и не ответить им он не мог, не имел права. В то же время отвечать на обвинение означало окончательно оказаться во власти Парамошина и его компании. Поэтому единственным средством спасения для него было теперь перевести все в шутку.

— Скажу бабе, — насмешливо косясь в сторону торжествующего противника, хмыкнул он, — пускай сымет. Только так думаю: попов бояться — в лес не ходить.

Садился Петр Васильевич под одобрительный смешок большей половины зала. «Э, Парамошин, Парамошин, — снисходительно посочувствовал он обескураженному врагу, — не по зубам орешек берешь. Я таких, как ты, с пуговицами глотаю».

После собрания секретарь партячейки Скрипицын, угрюмый, от рождения хромой парень, известный в округе больше поделками из бросовых корешков, чем партийным своим чином, догнал его у входа, спросил как бы мимоходом:

— Домой?

— Вроде.

— Что собираешься делать?

— Поспать надо. Завтра в поездку.

— Я не об этом.

— Пускай у Парамошина голова болит.

— Шутишь?

— На всякий чих не наздравствуешься.

— Смотри.

— Пуганый...

Некоторое время они шли молча. Осень шелестела в палисадниках, осыпая с кустов и деревьев хрусткую жилистую листву. Станция оглашала окрестность перекличкой маневровых паровозов. В слинявшем небе клубились редкие тучки. У городского пруда бабы, как и много лет назад, полоскали белье. На городском базаре мужики торговали живностью и сеном. Над крышами слободских сараев кружились турманы, погоняемые пронзительным свистом голубятников. Город, выдержав долгий натиск смутных времен, подспудно жил своей, неистребимо устойчивой жизнью, так ничем внутренне и не изменившись.

— Парамошин, конечно, демагог, крикун, — снова заговорил Скрипицын, — но и ты тоже хорош. К тебе всякий народ ходит, а у тебя в красном углу церковный парад. Так ведь и билет положить недолго! Он ведь

не отступится за здорово живешь, просигналит куда следует. По твоей милости и мне не поздоровится, намылят шею... Соображаешь?

И здесь Петра Васильевича прорвало. Всю горечь и злость, что исподволь скапливались в нем в течение дня, он излил на собеседника.

— Как же так выходит, секретарь? Живу я на виду у всех. Чем дышу — всякий в городе знает. С чем в революцию пришел — тоже известно. Первым начинал и не последний кончил. Только получается, что все это можно псу под хвост кинуть. Любому брехуну вера, а мне — нет. Это по справедливости разве? Или ты Парамошина не знаешь? Рвач, доносчик, подхалим. Нахватался слов разных и несет околесицу на всяком собрании, авторитет зарабатывает. Если все ради таких, то и начинать не стоило.

— Ты эти слова брось! — сразу посмурнел тот. — За такие разговоры нынче по головке не погладят.

— Дрожишь, Скрипицын?

Тот остановился, пошарил в карманах, достал смятую папироску, прикурил, но не затянулся. Отвернувшись, заговорил шепотной скороговоркой:

— Боюсь я, Петя, Парамошина этого. Смерть как боюсь. Нету у меня силы против его речей. Как заговорит, чую — тону я. Ты ему: «Работать надо». А он тебе: «Мировой империализм». Вот и поговори с ним. Чуть что не по его — дело шьет, на оппортунизме ловит, в попустительстве обвиняет. И благо бы один он. С него другие пример брать начинают. И все из тех, кто дурочку на работе привык валять. Попробуй заткни им глотку. Быстро под статью подведут. Эх, бросить бы все это к чертовой бабушке! Да теперь уже не дадут подобру уйти, поздно... Ладно, пока. Мне еще в горком нужно.

Скрипицын свернул в переулок, но даже в том, с какой тяжелой поспешностью он сворачивал, чувствовались его смятение и растерянность. И, когда через несколько лет тот разделил скорбную участь многих, Петру Васильевичу не раз вспоминался этот долгий осенний день и это расставание на перекрестке двух городских слободок.

Подходя к дому, Петр Васильевич заранее переживал тягостную сцену предстоящего ему объяснения с женой. С самого начала их совместной жизни Мария с присущей ей тихой твердостью сумела отгородить маленький мирок своих внесемейных интересов от его власти. Ему же было недосуг заниматься ее делами. Так они и жили, не мешая друг другу верить в то, во что каждый из них верил. И вот теперь он должен был нарушить эту их с женой молчаливую договоренность. На сердце у него скребли кошки, и все вокруг было ему немило.

Дома Мария бесшумно и быстро обставила мужа тарелками, вынула из печи чугун с оставленным специально для него гуляшом и, сунув руки под фартук, замерла по привычке у двери, готовая в любой момент кинуться к нему по первому его знаку.

В соседней комнате младший сын Петра Васильевича — Женька — монотонно зубрил заданный в школе урок:

— Кислород — важнейшая составная часть воздуха. Кислород — важнейшая составная часть воздуха... В воздухе находятся два газа: кислород и азот... Это определил французский ученый Лу... Лавузье... Лавуазье...

За безмолвной трапезой Петр Васильевич мучительно подбирал слова для предстоящего разговора. Ему хотелось найти доводы, в своем роде единственные, против которых ей невозможно было бы возразить. Но в голову лезло все самое пустое и неподходящее. «Чего тянуть? — в сердцах досадовал он на себя. — Выложить сразу — и с плеч долой».

Мария — одну за другой — меняла тарелки перед ним, он машинально, не замечая ни вкуса ни вида, ел и наконец, не выдержав тишины вокруг и там, внутри себя, спросил:

— Антонина где?

— Спит.

— Постели и мне. С утра в поездку. Деев заболел. — Поднимаясь из-за стола, он неожиданно для самого себя решился. — Слушай, мать... Надо бы убрать с глаз, — он кивнул в угол, — канитель эту... Неудобно, ко мне люди ходят... Партийный... Нынче вот Парамошин на весь город ославил, а завтра...

Петр Васильевич поднял глаза на жену, поперхнулся и умолк: такой он ее еще не видел. Бледная, трясущаяся, она рассматривала мужа в упор, упрямо откинув голову назад, словно заново узнавала его. Полотенце в гневных руках Марин медленно скручивалось в тугой беспокойный жгут.

— Ваша воля, Петр Васильевич, вы в этом дому хозяин. Только вы меня в таком разе отпустите с миром. Мы о том с вами не уговаривались, чтобы я свою веру теряла. Мне ваши дела совсем не по душе, да не мое это дело — других судить. Себя бы соблюсти в Господе. А коли вам моя вера не по душе, не обессудьте, уйду я и складень этот с собой унесу.

Такого отпора Петр Васильевич не ожидал. Ее с подобной силой проявленная самостоятельность вызвала в нем вместе с чувством досады невольное к ней уважение: «А ты, оказывается, не проста, матушка, ох, как не проста!» И он, не из желания настоять на своем, а больше из порядка, чтобы только оставить последнее слово за собой, смущенно буркнул:

— Говори, говори...

— Таиться не приучена.

— Ишь, волю взяли...

— Я из-под вашей воли не выхожу, Петр Васильевич. — Чувствуя, что настояла на своем, она смягчилась. — Только вы мою темноту мне оставьте.

Убедившись окончательно, что жена не уступит, Петр Васильевич смирился и мысленно махнул на последствия рукой: «Собака лает, ветер носит. Побрешут, побрешут и отвяжутся».

Но с той поры Петра Васильевича в трудных случаях не покидало ощущение присутствия в его жизни чего-то прочного и устойчивого, рядом с чем он мог считать себя в безопасности. И за это он был благодарен Марии.

XI

Весна вошла в город неожиданно и застала Петра Васильевича врасплох. Заснув однажды вечером под вкрадчивый свист поземки за окном, он, разбуженный утром пронзительной трелью будильника, глазам своим не поверил: комнату заливало ровным слепящим светом. В солнечной тишине звон капели, проникавший сюда с улицы, казался Петру Васильевичу оглушительным. «Еще одна весна подарена тебе, Лашков, — весело подразнил он себя, — радуйся, старый хрыч! Доживешь ли до следующей?»

То, что природа привыкла делать исподволь, не спеша, в течение недель, она совершила за последующие несколько дней. Стаял снег, набухли и взорвались зеленым пламенем почки, окрестные пруды очистились ото льда. Небо над городом стояло высокое, без единого облачка, настоянное густой, почти осязаемой синевой.

В один из таких погожих, словно на заказ, дней в дом к Лашкову постучался Гупак. После отъезда Вадима тот, заглянув однажды, стал частенько навещать Петра Васильевича, объясняя свои визиты самыми разными предлогами: то узнавал, нет ли вестей от внука, то являлся поздравить с очередным престольным праздником, то нес неотложную городскую новость. Вначале Петр Васильевич тяготился непрошеным гостем, слишком мало было у них общего, но незаметно для себя привык к гупаковским посещениям, а вскоре не мог без них обойтись. Споры с Гупаком скрашивали его одиночество, помогая ему уяснить самого себя, свое теперешнее отношение к окружающему. Поэтому сейчас появление гостя после непродолжительного перерыва откровенно обрадовало Петра Васильевича. Впуская Гупака, он не сдерживал радушного возбуждения.

— Забыли совсем, Лев Львович, старика. Вторую неделю глаз не кажете. Я уж было подумал — обиделись.

Тот, прежде чем поздороваться, перекрестился, поклонившись в пустой угол, и лишь после этого протянул хозяину прохладную ладошку.

— Что вы, что вы! Прибаливал немного. Чуть встал — сразу к вам. Как вы тут? Весна-то, а? Как в сказке. — Удовлетворенно потирая руки, он расхаживал по комнате. — Сплошное благорастворение. Рамы-то, Петр Васильевич, вынуть бы не мешало. Может, вместе, а? Чего откладывать? Сразу всю сырость выдует.

— Успеется. Я ведь и не бываю дома последнее время, хлопоты всякие заели. Ночую только.

— Все равно воздух нужен. — Гупак одним ловким движением содрал полоску бумажной наклейки с оконного паза. — Сны чище будут. Помогайте, Петр Васильевич.

Вдвоем они в какие-нибудь полчаса привели окна дома в соответствующий времени года вид, вынесли мусор, и оба, довольные делом своих рук, расположились отдохнуть на лавочке в палисаднике.

Перед домом мимо них проходили люди и погромыхивали машины. В опутанном проводами электропередач и телеантенн небе реактивный истребитель выписывал дымные восьмерки; по соседству, в строительном дворе, надрывно повизгивала пилорама. На всем вокруг ощущалась печать умиротворенности. Наверное, поэтому и разговор их складывался поначалу мирно и неторопливо.

— Что нового у Вадима Викторовича, — словно невзначай обронил Гупак. — Пишет?

— Объездчиком устроился. С дедом Андреем вместе работает. У него и живет.

— Где семеро едят, там восьмой даром прокормится. Лишь бы ужился.

— Дед его не Господь Бог, чтобы одним хлебом всех насытить!

— Опять упрощаете, Петр Васильевич. Нельзя же сводить Евангелие к простому собранию чудесных мифов наподобие греческих. Святые отцы изложили события первого пришествия на доступном для масс языке. Отсюда и кажущаяся его примитивность. Но житейскими доводами никогда не опровергнуть веры. Спаситель не хлебом в прямом смысле, а хлебом истины со всеми поделился. Ее-то и хватило на всех. И на тех пять тысяч. И на многие и многие миллионы потом.

— Да вроде на убыль идет пища Его. — Чувство противоречия брало в нем верх. — Трезвеет народ, в пьянство ударился. В сивухе истины ищет.

— Вера нашего народа, по сути, только начинается, Петр Васильевич. Для большей веры через великое сомнение надо пройти, может быть, даже через кровавую прелесть. То, что раньше было у многих от страха, от скуки, теперь от смирения начинается. С мукой, с беззаветностью к вере идут. Вы присмотритесь, Петр Васильевич, кругом тому свидетельства. — Коротко помолчав, он опустил тяжелые веки и перешел на полушепот: — Дочь ваша, Антонина Петровна, прислала. Просит меня поговорить с вами.

Ревнивая обида взяла Петра Васильевича. Он и раньше догадывался, что дочь его продолжает поддерживать переписку с Гупаком. Слишком уж явной становилась с каждым днем осведомленность Льва Львовича о ее жизни в Средней Азии, которой тот почти не скрывал в разговорах с ним. Но ему и в голову не приходило, что она могла скрыть от него что-то такое, о чем без стеснения писала чужому человеку. Это было выше его понимания, и он, не скрывая досады, отвернулся.

— Чего там еще у нее?

— Зря вы, Петр Васильевич, дорогой, принимаете это так близко к сердцу. Вы, наверное, и сами не раз открывались незнакомым людям. Врачу, например. Постороннему открыться легче, потому что от постороннего можно всегда уйти и забыть его. К тому же мы вашей дочери не совсем чужие. Мы единоверцы. Это, знаете, немаловажная деталь к нашему разговору... Антонина, Петр Васильевич, обратилась ко мне неспроста. Она любит вас и боится огорчить, а потому и спрашивает у меня совета.

— Дожил! — Весь еще во власти раздражения, он мало-помалу приходил в себя. — Валяйте, чего уж там!

Обстоятельно и толково Гупак поведал ему обо всем, что случилось с Николаем. И — странное дело! — чем безотраднее рисовалось Петру Васильевичу нынешнее положение дочери, тем полнее становилось его сочувствие к ней.

«Эх, Антонина, Антонина, отцу родному не доверилась! Что я, зверь, что ли?» К концу гупаковского рассказа ему уже не сиделось на месте. Стоило тому умолкнуть, как он сразу же нетерпеливо заторопился.

— Телеграмму надо дать. — Жизнь снова обрела для него реальную цель. — Чего ж она там сидит одна с ребенком?

Лев Львович, явно не ожидавший с его стороны такого скорого и определенного отношения к своему сообщению, смешался:

— Подготовиться бы надо.

— А чего нужно? Все есть. Чего недостанет — купим.

— В порядок квартиру бы привести, Петр Васильевич. Ребенок ведь там жить будет.

— Когда же теперь? Найми, с неделю провозятся. А то и больше. Сам рад не будешь, чего уж там!

— Зачем же неделю? — осторожно вздохнул тот. — Гусевых позвать — в два дня управятся.

— Гусевых? — Упоминание о старом соседе несколько покоробило его, но отступать было поздно, и он сдался: — Гусевых, так Гусевых. Только возьмется ли? Ему другой заказчик по нраву.

— Какой там! — Гупак воодушевленно вскочил. — За особую честь почтет. — Его прямо-таки распирала жажда немедленной деятельности. — Нечего и откладывать, сейчас пойдем.

— Удобно ли вот так?.. Сразу... Как снег на голову?

— Уж чего удобнее! Только рад будет.

— Ну, коли так...

— Будьте покойны.

Редкие в эту пору дня прохожие с удивлением оборачивались вслед двум старикам, которых едва ли кто в городе ожидал когда-нибудь увидеть мирно идущими бок о бок по улице. Но им было теперь ни до кого. Оживленно обсуждая предстоящие хлопоты, они незаметно для себя пересекли город из одного конца в другой, направляясь туда, где царственно маячил над окраинной слободой резной конек гусевского дома.

Самого хозяина они застали за углублением сточной канавы вдоль внешней стороны изгороди. Жилистый, ширококостный, он орудовал штыковой лопатой с размеренной сноровкой человека, привыкшего делать любую работу без огрехов и на совесть. Заприметив гостей, Гусев с силой воткнул лопату в грунт, вытер пот со лба и радушно, но безо всякой, впрочем, искательности заулыбался им навстречу полнозубым волевым ртом:

— Кого я вижу! Привет, привет, гостюшки! — Он обратился в сторону дома. — Мать!

За изгородью, на высоком крыльце мгновенно, будто только и ожидала мужниного зова, появилась не старая еще совсем женщина в клеенчатом переднике и, вытирая руки кухонным полотенцем, в свою очередь, гостеприимно засияла оттуда:

— Милости просим. Чего же у двора стоять, проходите в дом, гости дорогие!

Нет, она почти не изменилась — бывшая соседка его Ксения Федоровна. Время лишь чуть заметно стянуло ее моложавое лицо тоненькой паутинкой едва уловимых морщин. Сидя за столом на открытой веранде, Петр Васильевич искоса следил, как споро и несуетливо хлопотала она вокруг них, стараясь придвинуть ему кусок получше и рюмку пополней, и в душе завидовал хозяину и дарованной ему жизненной удачливостью: «В рубашке родился, чертов сын!»

— Об чем разговор! — Легкий хмель только подчеркивал щедрую вальяжность Гордея. — Сделаем. В обиде не останешься, Васильич. Я не коммунхоз, на авось не работаю. И цена по совести. А тебе как бывшему соседу так и вовсе скидка. Завтра с утра к тебе своего парня пришлю, а к вечеру сам приду, помогу. Договорились, в общем... Здоровьичко-то как, Васильич?

— Скриплю.

— Кость в тебе крепкая. Вы, Лашковы, все почти до ста набирали. Ты в них заряжен. Тебя еще надолго хватит.

— Где там! Этот десяток доскрипеть бы, и то дело. Бывает, шнурок завяжу, а разогнуться уже мочи нет. Земля к себе тянет. — Неожиданно он перехватил взгляд Гордея, со значением устремленный на Гупака. — Скоро рассчитаюсь.

— Пойду, пожалуй, — взглянув на часы, суетливо заторопился Гупак, — ждут меня.

— Сиди, Львович, — сказал Гусев, но сам встал, чтобы проводить гостя, — подождут.

— Нет, нет, нельзя мне дурные примеры пастве своей подавать... Спасибо за угощение.

От внимания Петра Васильевича не ускользнули ни взгляд, которым они при этом обменялись, ни поспешность, с какой Гупак откланивался, ни облегчение хозяина после того, как тот вышел. Неясное подозрение, возникшее у него в самом начале встречи, окончательно укрепилось в нем: «Договорились, заранее договорились обо всем, старые хрычи!» Он не только не оскорбился их сговором, но даже в известной мере был рад этому. Смутная тяга его к Гусеву и таким, как Гусев, становилась с течением времени почти неодолимой. От них — этих людей — исходило еще неясное для него ощущение властной надежности, около которой ему жилось увереннее и яснее. Глядя на них, на их крепкие и твердые рты, можно было с уверенностью сказать, что жизнь на земле никогда не кончится. Они не дадут, не позволят ей кончиться, так наполненно и беспрерывно билась в них деятельность, работа.

— Вот кто поживет еще,— кивнул Петр Васильевич в сторону двери.— Ни одного седого волоса!

— У него рак, Васильич,— просто, как о чем-то значения особенного не имеющем, сообщил, опускаясь против гостя, Гордей.— Месяца два-три, больше не протянет. Вот такие дела, Васильич.

— Может, обойдется? — сам пугаясь своей неуверенности, вздохнул он.— Бывали случаи.

— Нет, не обойдется, Васильич,— еще спокойнее и тверже сказал Гордей.— Я его доктору дом крыл. Никак не обойдется. Да и он сам знает.

— Знает?!

— Знает.— Гордей взглянул ему прямо в глаза и взглядом этим как бы определил для него всю меру его житейской слепоты.— Вот такие дела, Васильич. Нам бы такой силы. И света тоже.

— Да...

— Чего там темнить, Васильич,— Гордей поднял свой недопитый стакан и потянулся с ним к гостю,— я ведь давно хотел с тобою с глазу на глаз. Пора бы нам поговорить по душам. Жизнь на исход пошла. Нечего делить, все поделено.

— Я что ж, давай.— В нем исподволь вызревало, набирая силу, ответное к Гусеву расположение.— Я никогда глухим не притворялся, сам знаешь.

— Вот это дело! — Одним глотком опорожнив содержимое стакана, он уставился на Петра Васильевича светлыми смеющимися глазами.— Пей, Васильич, время терпит. Будем мы с тобой всякие нынче разговоры разговаривать. Тебе же всей правды никто, кроме меня, не скажет. Побоятся...

Они просидели за столом до глубокой ночи. Говорил больше Гусев, а Петр Васильевич слушал. Впервые с чужих слов он увидел свою жизнь со стороны, узнал, какой она выглядела в глазах окружающих. Гордей не щадил в нем ни чести, ни самолюбия. Шаг за шагом, день за днем восстанавливал он в его памяти даже им самим забытые уже события. Перед мысленным взором Петра Васильевича вдруг встала вся судьба целиком, во всей совокупности ее удач и ошибок, будней и праздников. И, подводя итог увиденному, он с испепеляющей душу трезвостью должен был сознаться себе, что век, прожитый им, прожит попусту, в погоне за жалким и неосязаемым призраком. И тогда Лашков заплакал, заплакал молчаливо и облегченно, и это было единственное, чем он мог ответить сидящему перед ним человеку.

XII

На другой день Гусев привел к Петру Васильевичу высокого, худого, с ранними залысинами парня, откровенно их, гусевской, породы и, легонько подтолкнув его вперед себя, снисходительно отрекомендовал:

— Мой единокровный. Недотепа, правда, но дело знает. В обиде не будешь. Выйдем, Васильич. Пускай осмотрится, прикинет, что к чему. А мы пока покурим.

Они устроились на верхней ступеньке крыльца, гость молча закурил, и Петр Васильевич, преодолевая неловкость, с трудом сложил:

— Цену бы назвал, а то ведь и не расплатишься с тобой до самой смерти.

— Договоримся.

— Посильно не обижу.

— Ничего мне от щедрот твоих не надо, Васильич.— Он грустно вздохнул.— Заплатишь по таксе — и будь здоров. Ты думаешь, я рвач? Не хочу на производство идти? Нет, Васильич, не работы я казенной боюсь — казенной лени. Разве это дело — при одних руках трое начальников? И все норовят, чтобы я похуже сработал, лишь бы побыстрей. Им ведь не работа — прогрессивка нужна. А ведь я мастер, Васильич.— Он почти застонал.— Мастер! Понимаешь ты это, Васильич? А, что говорить! — Он загасил папиросу о подошву, но окурок не выбросил, положил в карман и поднялся.— Пойду, дел по горло. Буду забегать присматривать.

Глядя вслед его подтянутой молодцеватой фигуре, уверенной походкой пересекавшей улицу, Петр Васильевич с нескрываемой завистью заключил про себя: «А ведь мы однолетки. Выходит, свои у каждого года».

А молодой Гусев уже выдвигал в сени немудрящую лашковскую мебелишку. Работал он уверенно и почти бесшумно. Вещь за вещью как бы сами по себе плотным четырехугольником выстраивались в углу между торцовой стеною и погребом. Помогая ему протаскивать через дверь жалобно дребезжащий посудой буфет, Петр Васильевич спросил его с дружелюбным расположением:

— Как зовут, сказал бы?

— Алексеем.— Парень расплылся в смущенной улыбке.— Отец не сказал разве?

— Думал, видно, знаю.

— Он такой у меня, папашка,— еще шире осветился тот,— с гонорком. Думает, про него все заранее знать обязаны. С характером старикан, его на вороных не объедешь.

Потом они вместе сдирали старые, в клопиной сыпи обои и пожелтевший слой газет под ними, и совместная эта работа облегчала Петра Васильевича, сообщая ему чувство уверенности в добром исходе волновавших его последнее время дел и забот. Он сам не заметил, как постепенно вошел во вкус работы и стал во всем помогать Алексею. Перебрасываясь между собой деловыми замечаниями, они загрунтовали и побелили потолки в обеих половинах, выкрасили оконные переплеты и оба, довольные удачно завершенным днем, опорожнили четвертинку под наскоро приготовленную Петром Васильевичем закуску. Вконец раздобревший хозяин кинулся было в магазин за добавкой, но гость решительно перевернул свой стакан вверх дном.

— Я, батя, пас

— Что так?

— Папашка не любит, когда посреди работы.

— Строг?

— Да как сказать. Строг — не строг, а порядок любит. Если и осадит, так по делу. Я ведь в депо начинал. А когда с Николаем вашим вся эта бодяга получилась, он, папашка мой, забрал меня оттуда, к себе приспособил.

— Выходит, ты Николая знаешь?

— Ясное дело.

— Толком-то я сам ничего не слыхал.

— Да как-то авралили мы в депо. Там всегда к концу месяца жмут. Вкалывали без выходных, а план все равно горел. Здесь под горячую руку и заявилось городское начальство. Один там, который поважнее, орать начал. Да все матом, матом. Ну, Коля и не стерпел, врезал ему промеж глаз... Не любил, когда не по справедливости. Золото парень был, компанейский.

Петр Васильевич часто пытался представить себе, что же такое был его зять. Близкое знакомство их, по сути, так и не состоялось. Ему нравилась обстоятельность Николая, но, какая жизнь, с какими взаимосвязями стояла за парнем, оставалось старику неизвестным. Последние слова младшего Гусева, будто вспышка далекой зарницы, высветили перед Петром Васильевичем черты твердого и цельного облика.

— Ну, а вы-то что же? — Гневно напрягаясь, он уже жил мгновением, минутой случившегося тогда.— Вы что?

— А мы что? — Парень угрюмо потупился. — Против власти не попрешь.

Петру Васильевичу почему-то вспомнилась его собственная толкотня по московским кабинетам, откуда он неизменно выходил с удушливым ощущением своего бессилия и опустошенности, и скрепя сердце он хмуро согласился:

— Да... Не попрешь.

Под окном послышались шаги, потом звякнула дверная щеколда, и следом из темного провала сеней в настежь распахнутую дверь вплыл бодрый гусевский тенорок:

— Работнички! Света в сенцах оставить не могли. — Он выявился на пороге и цепко скользнул взглядом вокруг, оценивая работу. — Годится. Колер только жидковат малость. Ну-ка, Леха, — он деловито кивнул сыну, — заводи клейстерок, сегодня и поклеим. Тут и делов-то на раз помочиться.

Много мастеров довелось Петру Васильевичу наблюдать в деле за свой век, но такой работы видеть не приходилось. То была даже не работа, а действо. Отец и сын словно бы соревновались в ловкости и проворстве, слаженно, наподобие четко выверенного челночного механизма, дополнял каждый движение другого. Ровные, весенней расцветки полосы ряд за рядом без единой морщинки стекали сверху вниз, к самому плинтусу. Работая, они изредка и ровно в меру необходимого перебрасывались словом-двумя:

— Чуть подтяни.

— Готово.

— Возьми левее.

— Пойдет?

— Самый раз.

— Подай бордюр.

— Сплошняком?

— Годится.

К ночи обе половины в доме Петра Васильевича блистали нарядной новизной, источая в звездную темь терпкий запах клейстера и краски. Тщательно отмывая руки под умывальником, Гусев-старший горделиво посмеивался в сторону хозяина:

— Не ослабела еще рука у Гусева. Принимай работу, Васильич! Не подкопаешься. Я тебе цветного линолеума к завтрему достану. Без вреда внук ползать будет... Леха, полотенце!

Провожая мастеров, Петр Васильевич слегка придержал Гордея за локоть, но тот, догадываясь о его намерении, решительно освободился:

— Брось, Васильич. Не возьму с тебя ничего, кроме как за матерьял. Ни полушки не возьму. Уж ты не обижайся, а только и Гусевы тоже — люди. Бывай.

Сказал и канул в ночи. А Петр Васильевич, оставаясь наедине с собою и мерным отзвуком затихающей гусевской поступи, долго еще не мог избыть в себе жаркой растерянности: «Вот тебе и Гусев! Как кутенка, в мое собственное дерьмо ткнул. И, видать, не зря».

XIII

На вокзал Петр Васильевич явился часа за два до прихода поезда. Бесцельно бродил он по его полупустым залам в тайной надежде встретить кого-нибудь из бывших сослуживцев. Но сколько Лашков ни всматривался во встречных путейцев, ни одного знакомого лица так и не увидел. «Вымирает потихоньку довоенное племя, — мысленно посетовал он, — скоро совсем никого не останется». И лишь на перроне, в самом его конце, у раскрытого окна кубовой перед Петром Васильевичем объявилось знакомое, но уже помятое и как бы сплюснутое временем лицо. Перехватив его взгляд, старуха за окном беззубо заулыбалась:

— Здравствуйте, Петр Васильевич.

— Здравствуй, Татьяна.

Татьяну Говорухину Лашков знал еще девчонкой. Дочь путевого обходчика с Бобриковского разъезда, она всю жизнь провела около дороги. Была и смазчицей, и проводником, одной из первых села на паровоз, хотя

потом большую часть времени убивала в президиумах разных, больших и малых, собраний. В тридцать пятом Говорухина вышла замуж за гремевшего на транспорте знатного машиниста — Мишку Золотарева, а в следующем, тридцать шестом, с первенцем на руках уже возила ему передачи в Тульскую внутреннюю тюрьму. В те времена, еще пользуясь влиянием у местных властей, Петр Васильевич, всегда ревновавший к судьбе своего брата — железнодорожника, помог ей с жильем и трудоустройством. С той поры Татьяна, так и оставшаяся для него девчонкой, изредка встречаясь с ним, всякий раз благодарно млела.

— Ай, встречаете кого? — Женщина продолжала ласково светиться в его сторону. — Не родня ли?

— Антонина.

— Проведать или насовсем?

— Совсем.

— С Николаем?

— Родила. — В городе вроде Узловска ни одно даже самое малое событие не могло остаться незамеченным, и поэтому ее осведомленность о его семейных обстоятельствах он воспринял как должное. — Внука мне везет.

— Вот тебе и Антонина! — Отечное лицо Говорухиной порозовело от удовольствия. — Молодец девка.

— Не подвела. — Проникаясь к ней признательностью за ее открытое сочувствие, он внезапно для самого себя разоткровенничался: — Петром назвали.

— Не забыли отца, значит.

— Не забыли, — утвердил он и хотел тут же добавить к сказанному что-нибудь еще — ласковое и прочувственное, но в этот момент по станционному репродуктору было объявлено о подходе московского скорого, и он, подаваясь ближе к полотну, лишь рассеянно покивал на прощание. — Бывай, Татьяна.

Едва состав, направляясь к перрону, выделился из строя пульманов на расположенной неподалеку товарной станции, сердце у Петра Васильевича резко и учащенно задергалось: «Еще и не узнаю сослепу, помяло, небось, на чужбине-то!» Все то медлительное время, пока мимо него тихо проплывали окна вагонов с приникшими к ним лицами, это тревожное опасение не покидало его. Сам того не замечая, он двинулся вровень с поездом, избывая в этом движении свою тревогу и неуверенность.

Но только лишь состав, в последний раз вздрогнув, остановился, как в проеме тамбура восьмого вагона, среди пестрого смешения шляп, кепок и платков Петр Васильевич сразу же различил повязанную давно знакомым ему манером синюю косынку Антонины. У него перехватило дыхание. Слепо расталкивая встречных, он ринулся к заветной подножке. А дочь уже тянулась искательным взглядом ему навстречу, уже выставляла перед собой байковый сверток, словно оправдываясь и моля о снисхождении.

— Вот и приехала. — Принимая от нее внука, он в горячечном волнении даже поздороваться забыл. — Не спеши... Вот...

— Здравствуйте, папаня, — облегченно пролепетала она, благодарно приникая к его рукаву. — Хорошо-то как!

По дороге домой Антонина время от времени скашивала в сторону отца испытующий взгляд, как бы проверяя первое свое впечатление. И Петр Васильевич, догадываясь о ее затаенной тревоге, всем своим видом старался поддержать в ней присутствие духа и надежду. Внук чуть слышно посапывал у него на руках, и это младенческое посапывание отдавалось в сердце Петра Васильевича долгим и сладостным томлением: «Ишь ты, как высвистывает, Петр, Николаев сын, так бы и не просыпался вовсе!» Минуя родную слободу, он с горделивым удовлетворением отмечал про себя краем глаза каждую отдернутую занавеску в соседских домах, всякий любопытствующий взгляд и кивок прохожего: «Не пропал лашковский род, господа хорошие, живет!»

Дома, восторженно оглядевшись вокруг себя, Антонина лишь руками всплеснула.

— Папаня!

— Сколько можно в грязи сидеть. — Чувствуя себя в глубине польщенным ее одобрением, он старался выглядеть как можно равнодушнее. — И опять же — ребенок.

— Прямо словно новоселье! — С привычной легкостью она распеленала на отцовской кровати своего первенца и тут же потянулась к Петру Васильевичу за сочувствием. — Три девятьсот родился. И не болел ни разу.

— В нас пошел, в Лашковых. — При взгляде на шевелящийся комочек живой плоти он поймал себя на том, что у него дрожат губы. — Больных у нас в роду не было.

— Дай-то Бог.

— Сами не оплошаем.

— У семи нянек...

— Ничего, уследим.

Так, бездумно перекидываясь с дочерью короткими фразами, Петр Васильевич помог ей накрыть на стол. И они сели друг против друга. Впервые за день взгляды их встретились, и все, что до этого было ими недоговорено, сказалось само собой: жизнь для них началась заново, и они оба молчаливо соглашались оставить пережитое по ту сторону порога.

— Мне нельзя много, молоко уйдет. — Она решительно придержала протянутую отцом к ее рюмке бутылку. — Разве только за встречу, папаня.

— Тебе видней. — Он налил себе до краев. — Ну, дай-то нам с тобой всего хорошего.

— Спасибо вам, папаня.

Антонина со вкусом и вдумчивостью выцедила свою долю, отставила рюмку в сторону и, так и не дотронувшись до закуски, поднялась:

— Покормлю пойду да прилягу. Дорога была длинная. Укачало, еле ноги держат.

— И не поговорили.

— Наговоримся еще, папаня. — Она задержалась на пороге и в голосе ее прорезалась горечь. — Время теперь у нас будет.

Петр Васильевич не мог не отметить про себя происшедшую в дочери едва заметную, но важную перемену. Появилась в ее жестах, походке, манере говорить какая-то твердая сила, перед которой его начинала охватывать необъяснимая робость. Такая Антонина была ему еще незнакома: «Вот она, порода-то, когда стала сказываться!»

Наедине с собой Петр Васильевич не боялся признаться себе, что жизнь свою он заканчивал тем, с чего бы ее ему начинать следовало. Перед ним во всей полноте и объеме, словно проявленные на темном до этого снимке, определились причины и связи окружающего мира, и он, пораженный их таинственной целесообразностью, увидел себя тем, чем он был на самом деле: маленькой частицей этого стройного организма, существующей, может быть, лишь на самой болезненной точке одного из живых пересечений этого организма. Осознание своего «я» частью огромного и осмысленного целого дарило Петра Васильевича чувством внутреннего покоя и равновесия. «Правда, видно, не в чужом огороде прячется, — его мысли текли умиротворенно и ровно, — а в нас самих. Верно Гупак говорит: Тот не хлеб — душу свою делил, потому всем и хватило. Чужое раздать нехитро, ты своим поделись. Надо полагать, куда труднее будет. Вон Гусев в разговорах справедливости не ищет, — делом занят, ремеслом. Помрет — работа его после него останется. А от меня что? Что останется? Одно пустое сотрясение воздуха? Спеши, Лашков, торопись, покуда дух вон не вышел. У тебя всякий день, как подарочек к празднику, восьмой десяток уже».

Из полудремотного бодрствования его вывел детский плач по ту сторону перегородки. За окном, между пределом ночи и горизонтом, уже пробивалась смутная полоска рассвета. Тихонько, чтобы не разбудить дочь, он поднялся и прошел на ее половину. В рассеянном свете ночника лицо Антонины выглядело моложавее и проще обычного. Сознание своего материнства не оставляло женщину и во сне. Оттого, наверное, в неловкой позе ее — полусогнутая в локте рука почти у самого подбородка — обозначилось выражение чуткой напряженности.

Осторожно высвободив плачущего внука из-под ее руки, Петр Васильевич кое-как, с горем пополам спеленал его и, укутав в большое одеяло, вышел с ним на крыльцо. Рассвет за дальними крышами постепенно набирал силу, очертания домов и деревьев с каждым мгновением становились резче и определеннее. Внук, видно, почуяв себя в крепкой надежности бережных рук, утих, и Петра Васильевича против его воли потянуло прочь от дома, туда, где за пределом слободы блистала утренним асфальтом стекающая в горизонт дорога. Миновав улицу, он пошел по ней, по этой дороге, навстречу стремительно возникающему дню.

Чутко прислушиваясь к едва уловимому дыханию внука, Петр Васильевич с каждым шагом обретал все большую уверенность в своей собственной и всего окружающего бесконечности и единстве. Теперь-то он уже не просто догадывался, а твердо знал, что восходящий круговорот, в котором он вскоре завершит свою часть пути, продолжит следующий Лашков, внук его, Петр Николаевич, приняв на себя предназначенную ему долю тяжести в этом вещем и благотворном восхождении.

Утро высвечивало перед Петром Васильевичем втекающую в горизонт дорогу, и он шел по ней с внуком на руках. Шел и Знал. Знал и Верил.

●

Лев ЛОСЕВ

«...Две жизни как одна»

* * *

Жизнь подносила огромные дули
с наваром.
Вот ты доехал до
со своим самоваром.

Щепочки, точечки, все торопливое
(взятое в скобку) —
все, выясняется, здесь пригодится на топливо
или растопку.

Сизо-прозрачный, приятный, отеческий
вьется.
Льется горячее, очень горячее
льется.

* * *

Поэт есть перегной, в нем мертвые слова
сочатся, лопаясь, то щелочно, то кисло,
звук избавляется от смысла, а
аз, буки и т. д. обнажены, как числа,

улыбка тленная уста его свела,
и мысль последняя, как корешок, повисла.
Потом личинка лярвочку прогрызла,
бактерия дите произвела.

Поэт есть перегной.
В нем все пути зерна,
то дождик мочит их, то солнце прогревает.

Потом идет зима,
и белой пеленой
пустое поле покрывает.

Посвящение

Смотри, смотри сюда скорей:
над стаей круглых снегирей
заря заходит с козырей —
все красной масти.

О, если бы я только мог!
Но я не мог: торчит комок
в гортани, и не будет строк
о свойствах страсти.

А есть две жизни как одна.
Стоим с тобою у окна.
А что, не выпить ли вина?
Мне что-то зябко.

Мело весь месяц в феврале.
Свеча горела в шевроле.
И на червонном короле
горела шапка.

Икона

Аквариум в сочельник Рождества.
Возможность невозможного коснуться.
Кощунственная рифма...
Черта с два!
Давно претит безвкусица кощунства.

Синеющий в сочельник Рождества,
он кажется то образом, то словом.
Там ангелов блестящая плотва
в зеленом, белом, розовом, лиловом.

Аквариум — в зеленом, золотом,
лиловом, розовом, блестящем, белом.
К стеклу прижаться лбом, глазами, ртом
и к слову, становящемуся делом,

приблизиться.
К стеклу всплывают лбы,
глядят глаза, подрагивает веко,
возможно, выделяя из толпы
стоящего так близко человека.

Дождь

Набережные намокли,
капли как-нибудь,
как небрежные монокли,
падают на грудь.

То-то волны кольцевидны,
сваи в них весь день,
точно мокрые цилиндры,
малость набекрень.

А большой лагуны сцена
вечно в мельтешне,
там захлестывает пена
белое кашне.

Расстояния матросам
на один плевок.
Толстощеким и курносым
смотрит островок.

Взглядом мертвым и упрямым
(мокр, и мертв, и прям)
смотрит в небо мокрый мрамор,
под которым там

бывший кукиш сцене царской,
бедный сибарит,
аки лев венецианский,
Дягилев зарыт.

То-то горе — сине море,
черные гробы!
Но гудят, гудят в миноре
в белых две трубы

пароходы местных линий,
воды бороздя,
и длиннее черных пиний
линии дождя.

Почерк

Треть пропить-прокутить,
треть в кулак просвистеть,
треть оставить сыночку и дочке.
Неприятно на собственный почерк смотреть,
на простывшие эти следочки.

Погулять погулял,
покутить покутил,
наследил карандашиком серым.
Сам не знаешь, как в эту дыру угодил
и каким это вышло манером.

Ни бумаги не надо,
ни карандаша,
только б сыпало инеем с веток
да, посвистывая б, погуляла душа,
погуляла б душа напоследок.

Три рубля

(Случай в Москве)

В котельной
багров кагор близ колбасы отдельной.

И вдруг на трех рублях, где будто б злак,
он распознал масонский знак,
а в самой цифре 3
узрел звезду Давида.
Похолодело все внутри,
но он не подал вида.

Гремело радио, бодря,
всех призывая на заря-
дку. Встала над Москвой заря
тридцать второго мартобря.

Он принял в сквере двести грамм
и наблюдал, дремля,
свеченье красных пентаграмм
над башнями Кремля.
Он спал, но то был вещий сон,
в нем было 5 идей:
1) имеют башни облик свеч;
2) их, ясно кто, сумел возжечь;
3) Фиораванти — иудей;
4) Наполеон — масон;
5) . . . .

Оплывал потихоньку красный воск,
и левый мозг за правый мозг
поехал кое-как.
К себе домой через Крымский мост
шагает кочегар.

Из чувств он ощущал — тоску.
Он понимал, что проиграл
тому, кто хозяйничал в мозгу,
и бодро ручки потирал,
и инструменты выбирал.
«Идем к тебе». «Идем ко мне».

Жена на службе. Суп на окне.
Ребенком воздух весь пропах.
Диавол был во всех углах.

Проснулся он от тишины.
Все еще не было жены.
Он чувствовал конец игры.
Он знал, что было тишиной,
но брел проверить — не мокры
пеленки дочери грудной?
О да, мокры они, мокры.

Земля

Стелле

Весь этот шарик, Стелла,
есть голова без тела.

На лоб надвинув кепку льда,
несется он невесть куда.

Вглядимся в глаз его мазут:
как слезы, корабли ползут.

Вглядимся в скул концлатеря.
«Смерть вырвала из наших ря...»

Чей это шепот-полусвист,
дыханье хладное зимы?

«Смерть выр...», как будто
зубы мы,
как будто смерть — дантист.

Одному растению

Слишком витиевато и длинно,
мельтешит, неудобно для глаз.
Что-то слишком растительность, Нина,
распустилась в гостиной у нас.

Зелень вьющуюся, кривую,
торжествующую, кум королю,
я терплю ее, сосуществую,
не воюю я с ней, но люблю.

Толстомясое злое алоэ,
что колючками в воздух впилось.
Так и надо. Расти, удалое!
Протыкай этот воздух насквозь.

По-солдатски, мол, радо стараться,
грудь на бруствер — и враз вылезай.
Ты — хирург. Оперируй пространство,
пустоту из него вырезай.

Запускай колючки
в душу мою.
Я тебя с получки
коньяком полью.

В гроссбух

Я по природе из тетерь.
Не перечесть моих потерь —
стихов, приятелей, ключей,
в дымину пропитых ночей;
то телефонный разговор
похитит полчаса, как вор,
то дети как-то без затей
вдруг выросли — и нет детей.
Я давеча, страшась сумы,
у дара своего взаймы
решил спросить. Какой удар!
Мне отказал мой дивный дар.
И ты, Брут! Так сказать,
и ты показываешь тыл?

А Муза Памяти? Тю-тю,
ее давно и след простыл.
А Муза Разума? Она
сама в себе отражена
и не дает, зараза, в долг.
Мой лучший друг, Тамбовский Волк,
мотает серой головой:
я, дескать, сам пустой, хоть вой.
Давно уж Музы ни гу-гу,
давно уже сидит в мозгу
бухгалтер, а точней — чекист.
Командует взять чистый лист,
число поставить, месяц, год
и записать: в расход.

Полемика

Нет, лишь случайные черты
прекрасны в этом страшном мире,
где конвоиры скалят рты
и ставят нас на все четыре.

Внезапный в тучах перерыв,
неправильная строчка Блока,
советской песенки мотив
среди кварталов шлакоблока.

Слова для романса «Слова»

Слова, вы прошлогодняя трава:
вас скосишь, и опять вы прорастете.
Счета оплачены, и музыка права,
и дирижер с бухгалтером в расчете.

Устроим праздник, поедим, попьем,
поделимся осенним впечатленьем,
что расстояние, и площадь, и объем
искажены шуршанием и тленьем.

Знать, горизонт, почуяв холода,
в тугой клубок свернулся
по-кошачьи.
Что делать, не скакать же
по-казачьи —
нет лошади, да и вообще куда?

Сибирской сталью холод полоснет,
и станет даль багровою и ржавой,
магнитофон заноет Окуджавой
и, как кошачий язычок шершавый,
вдруг душу беззащитную лизнет.

Я складывал слова, как бы дрова:
пить, затопить, купить, камин, собака.
Вот так слова и поперек слова.
Но почему ж так холодно, однако?

Автопортрет с растением

Засим я себя нарисую в укропном венце,
с листочком для крепости черносмородным на нижнем
конце.
Я крепкий огурчик. Я даже не сорван пока.
Амурчик над темечком пляшет еще гопака.
Вот свиток развернут, на коем начертан чертог,
где я обучал иноземца читать между строк.
(И было неведомо мне, дураку,
что мой иноземец читать не умеет строку.)
Гляжу на нетолстую пачку оставшихся дней.
Так чем же займемся? Займемся пусканьем корней.
Растенье в цветочках? Растенье, ушедшее в плеть?
На цветоплетенье почти неприлично глядеть!
Запустим-ка корни в подзол иностранной земли,
Чтоб шар этот черный они бы насквозь проросли,
чтоб вылезли, если не клейким листочком в земле
земляков,
хоть тощим росточком
средь трещин асфальта, окурков, обрывков, плевков.

31 октября 1958 года

Сон вызвал острую тоску.
Л. МАРТЫНОВ

Только вот потом бывает тошно...
Б. СЛУЦКИЙ

Операция продолжалась не более минуты.
Леонид Николаевич и Борис Абрамович
трусят по улице Воровского,
не испытывая ни боли,
ни стыда,
ни сожаления при виде стайки
муз, рыдая, удаляющихся за здание МИДа.

Впереди еще будет много лет,
зим, весен, загранпоездок,
переводы с восточноевропейского,
избранное, смерть, комиссия по лит. наследству.

Место между адом и раем
мне представляется огромным вокзалом.
Там они ночуют (но не спят) на твердых скамейках,
толкутся у буфета (буфетчица ушла на минутку),

глазеют на припадочного, бьющегося под табличкой
«Купленные билеты назад не принимаются
и не обмениваются»,
караулят свою очередь,
неподвижную между грязных колонн,
как поджатый хвост.
Если кто знает настоящие молитвы,
помолитесь за них.

«Сожжено и раздвинуто»

И все, чего нет на картине
Ему пережить суждено.
В. ШЕФНЕР

Березка. Девицы прическа.
Рассвета/заката полоска.
Виток (т. е. ветер). Волна.
«Дороги». «Закат над заливом».
«Рассвет над проливом». Стыдливым
петитиком — сзади — цена.

Ах, что-то не тянет смеяться,
а тянет дежурством сменяться
в дурную эпоху, в тот свет,
где из-под стеклянного шара,
набив в портмоне гонорара,
выходит на Невский поэт.

Он грустен: «Обложка по Сеньке.
Халтура за медные деньги.
Заезжен размер, а строфа
разношена старой галошей.
Весь стих, как трамвай нехороший,
что тащится на острова.

Что делать — дурная эпоха,
все попросту пишут, да плохо,
что хуже и впрямь воровства.

Эх, грудь ты моя, подоплека,
всех помнишь, а вслух только Блока
и то с отрицаньем родства».

(Что делать — дурная эпоха.
В почете палач и пройдоха.
Хорошего — только война.
Что делать, такая эпоха
досталась, дурная эпоха.
Другая пока не видна.)

Автобус! машина «победа»!
Прошу, не давите поэта,
не смотрит он по сторонам.
В нем связь между нами и Блоком,
в ледащем, слегка кривобоком,
бредущем в плохой ресторан.

О муза! будь доброй к поэту,
пускай он гульнет по буфету,
пускай он нарежется в дым,
дай хрену ему к осетрине,
дай столик поближе к витрине,
чтоб желтым зажегся в графине
закат над его заливным.

* * *

Начало было медленно и странно.
Курил, помалкивал и наливал вино.
Но глянула луна в окно, и Анна
испуганно взглянула на него.

Ее лицо к его лицу прижато.
Глаза закрыты. Губы горячи.
Им чудится, что за окном, в ночи,
брат на убийство подбивает брата.

Лариса ПИЯШЕВА

В погоне за Синей птицей

ЭТЮД О СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ *

От автора:

Читатель не найдет здесь привычных академических и строгих научных доказательств. Ибо книга эта — эмоция, выхлестнувшаяся на бумагу при попытке постичь тайну социализма, за которым гоняется человечество уже не одно столетие, и понять, что же такое его социальная справедливость. За какой Синей птицей снаряжали люди свои экспедиции и парусные каравеллы? Какой Эдем находили они на солнечных островах Утопии?

Пусть простит меня читатель за чрезмерное цитирование. Я хотела донести до него в подлиннике кусочки земли с этого острова, сохранить его песни и ритуальные танцы и передать как можно более точно то ощущение, которое охватывало меня по мере постижения этой тайны.

Эта книга — протест. Протест против тех, кто самонадеянно заявил, что постиг тайну человеческого бытия, построил на планете Остров Справедливости и поселил на нем Синюю птицу.

Я тщательно искала его следы. Его райские сады со спелыми фруктами, его волшебные реки с резвящейся рыбой, его солнечные зеленые угодья с мирно пасущимися стадами. Я вглядывалась в лица — здесь должны жить приветливые и радостные люди. Но везде торчали куски колючей проволоки, могильные камни украшали эту землю, а навстречу шли замученные и отчаявшиеся. Эта книга — надежда и упование на то, что время великих утопий безвозвратно ушло в прошлое.

> Это был режим, и это было время, когда слова и вещи, словно сойдя с ума, пустились в чудовищный, фантасмагорический танец. Мы стали называть все вещи не присущими, не принадлежащими им именами. Тоталитаризм нарекли демократией, не начавшееся еще — уже завершенным, а роющих котлован называли штурмующими небо.
>
> Ю. АФАНАСЬЕВ

> Пролетарская демократия в миллион раз демократичней всякой буржуазной демократии; Советская власть в миллион раз демократичнее самой демократической буржуазной республики. В России совсем разбили чиновничий аппарат; не оставили на нем камня на камне. Свобода печати перестает быть лицемерием...
>
> В. И. ЛЕНИН

> Социализм продемонстрировал возможность решения проблем на... коллективистской основе ...дал людям труда достойную и уверенную жизнь. Социализм ...наращивает силу и убедительность своего примера, демонстрирует реальный гуманизм всего уклада жизни.
>
> Материалы XXVII съезда КПСС

Наши достижения в буднях созидания

> *Достижения советского общества в осуществлении социальной справедливости очевидны.*
>
> Т. ЗАСЛАВСКАЯ

Биография. Б. Э. Аксакова. Самарканд. В 1943—1944 гг. была членом подпольной антифашистской группы в пос. Симеиз Крымской обл. «После освобождения Крыма в мае 1944 г. меня вместе со всем народом вывезли с родных мест. В 1946 г. осудили по 58-й статье сроком на десять лет. В 1974 г. меня полностью реабилитировали. Одинока, детей нет, близких родственников тоже нет. Пенсия 63 рубля. Лесоповал, затем девять лет каторжных работ в Воркутлагере. Всего 40 лет трудового стажа... Горько и обидно, что сейчас, когда страну охватил дух обновления, я не могу достучаться до справедливости» («Огонек», 1989, № 4, с. 3).

Чего же просит эта несчастная женщина у властей, так безжалостно искорежившим ей жизнь? Признания того, что в 1943—1944 годах она была членом подпольной антифашистской группы. На что она имеет удостоверившую этот факт справку из КГБ. Зачем ей это? «Это официальное признание имеет для меня сейчас и моральное и материальное значение».

Смилуйтеть, Господа власть имущие! Ведь 63 рубля — это меньше ежедневного содержания каждого из вас. Помилосердствуйте! Вспомните о справедливости. Не о вашей, классовой — о человеческой. Люди, которые милостыню сегодня у вас просят по вашей вине и из-за ваших ошибок, больны, одиноки и нищи, и каждый из вас лично по человеческой справедливости, я уж не говорю, что по социальной (по социальной справедливости судить тех надо, кто отправлял на лесоповал) — должен выплачивать им из собственного заработка за каждый день каторжного труда, за каждый месяц адского года. И за неродившихся детей. И за несложившуюся семью. И за исковерканную судьбу. И пенсия (это уже не из вашего личного, а из нашего — общественного — кармана) должна у них быть не 63 рубля, а по максимуму, как партийному персональному пенсионеру. Вот только тогда можно будет об искуплении вины перед людьми, перед страной, перед детьми и внуками вашими начать разговаривать.

Рассказ очевидца. Год 1989. «Мы проехали тысячи километров территории всех республик Средней Азии. И много раз видели на хлопковых полях детей и подростков. Так было и в Узбекистане, и в Туркмении. Несколько раз останавливались мы у групп малолетних сборщиков хлопка... Видели их работу на полях, обработанных дефолиантами. Восемь часов труда под обжигающим солнцем, скудное питание, непригодная для питья вода из лотков и арыков, которую пьют, потому что другой нет. И всюду партийные и советские руководители областей говорили нам, что школьники в этом году на хлопке не работают» («Огонек», 1989, № 4, с. 3).

Да, не служить этим детям в нашей доблестной армии, потому не служить, что больны и немощны эти дети по вине и воле тех «партийных и советских руководителей».

«Правда». «31 октября 1983 года скоропостижно скончался видный деятель Коммунистической партии и Советского государства, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, член Президиума Верховного Совета СССР, дважды Герой Социалистического Труда Рашидов Шараф Рашидович».

ТАСС 2 ноября. «Приспущены флаги на площадях и улицах Ташкента. Остановилось сердце верного сына советского народа, чья жизнь без остатка отдана великому делу строительства коммунизма. В трауре Дворец Дружбы народов СССР имени В. И. Ленина, где в зале установлен гроб с телом покойного. В 17 часов в почетный караул у гроба становятся кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК В. И. Долгих, члены Бюро ЦК Компартии Узбекистана».

Дмитрий Лиханов. «Их можно узнать в лицо: А. Каримов, Р. Гаипов, К. Эргашев стояли у гроба мертвого вождя, как стояли они у истоков коррупции, взяточничества и насилия. Политическая мафия Узбекистана провожала в последний путь своего великого босса, человека, ввергнувшего республику в пучину национальной трагедии и растоптавшего веру в какую бы то ни было справедливость».

Ранним утром 15 августа К. Эргашев вывел неровным почерком свое последнее письмо: «Я, честный член КПСС, марксист-ленинец — умер. Да здравствует КПСС! Марксизм-ленинизм! Да здравствует советский народ!» («Огонек», 1989, № 4, с. 20—21). Что это — отчаянный цинизм или оглушающее мракобесие?

Из письма санинспекции. «В связи с превышением предельно допустимых концентраций нитратов в бахчевых культурах в два раза предложено реализовать продукцию через сеть общественного питания в качестве третьего блюда».

Из письма зам. министра здравоохранения зам. председателю Госагропрома. «На протяжении 1986—1987 гг. Госагропром СССР и Госагропромы союзных республик неоднократно обращались в Минздрав СССР с просьбой о разрешении реализации населению овощей и картофеля с превышением допустимых уровней содержания нитратов».

Из письма санинспекции. «Наиболее высокое содержание нитратов отмечалось в кабачках (в семь раз), в моркови, в огурцах — в восемь раз, капусте белокочанной, в помидорах — в пять раз...»

Если по справедливости — за одно только это обращение в Минздрав Госагропром надо ликвидировать. А вопрошавших привлечь к уголовной ответственности — за умышленную попытку отравить народ. Но нет справедливости в нашем родном Отечестве. И посему будем дружно лопать нитраты в качестве третьего блюда с разрешения санинспекции, которая в конце концов «повысит» норму, а может, и без него. Количество нитратов от этого не изменится. Заводы, выпускающие их, прикрывать не собираются. Нам ведь продовольственную программу выполнять надо. И от наших социалистических завоеваний не отказываться. А позакрывать травящие нас заводы — безработица, запахать нитра-

* Главы из книги.

ты в землю — так земля-то их все равно вернет следующим урожаем, да и продовольственную программу не выполним. Так что, граждане самой демократической и самой справедливой страны, подставляйте кошелки и становитесь в очередь за нитратами да за рогами и копытами, которые в колбасу нашу перерабатывают. Ибо все это нам по справедливости, по классовой, пролетарской.

Коллективное письмо (всего 14 подписей). «Приехали мы сюда, в детскую краевую больницу, из разных уголков обширного Хабаровского края, Магаданской обл., Камчатки, Сахалина, Якутии с надеждой на то, что здесь вернут нашим детям здоровье или по крайней мере смогут отодвинуть, заглушить то самое страшное, что могут сделать такие заболевания, как лейкозы, сахарный диабет, гепатит... Но в каких условиях лечатся наши дети! Невозможно в полной мере описать убожество здания больницы, обвалившуюся штукатурку в палатах, прогнивший пол с огромными дырами для крыс, мышей и тараканов, отсутствие столовых в отделениях, игровых комнат, прогнившую канализацию, откуда постоянно текут нечистоты, переполненность палат (до 15—18 человек). Среди нас есть мамы, которые привозят детей на лечение вот уже десять лет, но не отмечают никаких перемен во внешнем и внутреннем облике больницы в лучшую сторону... Может быть, вы думаете, что министерства РСФСР и СССР не знают о наших бедах? Знают! За время существования больницы здесь побывало столько разных комиссий, что если бы от каждого посещения была б хоть какая польза, то не только больницу — город построить было можно!» («Огонек», 1988, № 42, с. 5).

А может, в Министерстве здравоохранения этого не знают?

«**Корр.** В министерстве меня познакомили с такими цифрами: у нас в стране ежегодно болеют острыми кишечными заболеваниями и вирусными гепатитами более 2,5 миллиона человек, брюшным тифом — около 9 тыс. В 1986 году от этого умерли около 25 тыс. человек, большинство из них — дети. От чего появляются такие заболевания?

Министр здравоохранения академик Е. И. Чазов. От чего? От недоброкачественной воды, например, от низкого санитарно-гигиенического уровня многих молоко- и мясоперерабатывающих предприятий. Считайте, в республиках Средней Азии от 12 до 24 процентов питьевой воды не соответствует нормам по бактериологическим показателям. На вредных производствах у нас работает 9,4 миллиона человек, из них 30% — женщины. 270 тыс. женщин заняты тяжелым физическим трудом. А мы гадаем, откуда уроды рождаются (до 64 тыс. в год!), откуда недоношенные. Ясно, что причины в основном социальные...

Сегодня заболевание раком чаще всего устанавливается в третьей-четвертой стадии, когда сделать уже ничего нельзя... То же и с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В 1970 году мы по численности врачей достигли уровня США, потом вдруг резко рванули и с 668 тысяч специалистов довели их количество в 1986 г. до 1202 тысяч. Конечно, выпускали скороспелок... Недавно проверяли мединституты Башкирской и Северо-Осетинской республик. Ситуация критическая. Уровень подготовки крайне низкий... Ржавчина равнодушия, которая еще недавно разъедала общество, коснулась и врачей. Только 35% районных больниц имеют горячее водоснабжение, 27% — не имеют канализации, 17% — водопровода. Хозяйство настолько запущено, что руки опускаются.

Корр. «Все лучшее — детям»... Мы хороним своих детей в 2,5 раза чаще, чем в США, в четыре раза чаще, чем в Швеции, в пять раз чаще, чем в Японии...

Чазов. В здравоохранении — внутри его — тоже был остаточный принцип, по которому финансировали материнство и детство. И, конечно, у нас не было хороших детских больниц, не хватало даже родильных домов.

В здравоохранении существует такой норматив — стоимость койки. В ряде социалистических стран она составляет от 40 до 80 тысяч рублей. Так вот, в Таджикистане удосужились построить больницы со стоимостью койки меньше 5 тыс. рублей — столько, кстати, стоит одно место в современных животноводческих комплексах. В этой же республике более половины стационаров размещены в помещениях и зданиях со стопроцентным естественным износом. Из 18 тысяч поликлиник и амбулаторий, расположенных в сельской местности, лишь пятая часть имеет специально построенные здания. Побывайте в старых московских больницах, которые десятилетиями не реконструировались, и вы поймете меня. К 1986 году процент ассигнований на здравоохранение упал до 3,9% национального дохода. Судите сами. Вот данные трех-, пятилетней давности: доля расходов на здравоохранение в валовом национальном продукте в США составляет 10,9 процента, в Австрии — 10, в Бельгии — 9,1, в Боливии — 6, в большинстве стран — членов СЭВ — свыше 5 процентов».

Сегодня нам разрешили произнести вычеркнутое из нашей прежней жизни слово — милосердие. Будьте же милосердны, господа пролетарские диктаторы! Посмотрите вокруг себя! Увидьте же, наконец, как живет народ в нашем светлом социалистическом сегодня. В грязи и очередях, в бюрократическом коридоре, в почти что нищете и полной беззащитности от партийно-бюрократической и уголовной мафии. В нашей стране страшно быть больным и престарелым...

Волосы встают дыбом от нашей системы здравоохранения, социального обеспечения, заботы о больных и престарелых, о детях и бедных. Еще шаг — и мы докатимся до уничтожения стариков во имя «светлого будущего наших детей». Еще шаг — и все дети начнут рождаться мутантами, уродами или просто мертвыми. Все пишут о переброске рек. Но ведь вы закладываете гормоны в пищу, подмешиваете отраву в колбасу, кормите нас ядовитой рыбой...

И мне вдруг стало страшно. Я отодвинула от себя заготовленную кипу «перестроечных» «Огоньков»... Вот о чем надо было писать мне — «Мольба о социальной справедливости». И как только я осознала это, тотчас и остановилась: ведь все это уже сказано. И каждое сказанное слово уже включено в народную память и увековечено. И тогда я решила — пусть это будет самая короткая глава в этой книге. Я мысленно назову ее «Молебен».

Господи, не дай мне забыть, что все ниспослано тобой!

Прости, Господи, помилуй и помоги!

Новый социальный заказ

«XXVII съезд КПСС высказался за проведение **сильной** (выделено мною.— **Л. П.**) социальной политики. Через нее мы должны активизировать весь человеческий фактор и привести в действие огромный потенциал, которым располагает наша страна.. Таково условие перестройки. И это **святая забота** (выделено мною.— **Л. П.**) партийных, советских, хозяйственных руководителей всех рангов» (М. С. Горбачев. Перестройка неотложна, она касается всех и во всем. М., 1986, с. 48).

Социальная политика любой западной правящей партии направлена на помощь слабым, больным, престарелым, немощным, безработным, увечным, многодетным матерям и матерям-одиночкам. Она всегда направлена на человека. В этом смысл социальной политики — помогать нуждающимся.

Какую цель ставит перед собой социальная политика КПСС? «Главная задача социальной политики состоит в выработке и осуществлении мер по сохранению и укреплению существующего общественного и государственного строя или замене его новым строем... Решению этой главной задачи подчиняются экономическая политика, социальная политика, политика в области государственного строительства, культурно-идеологическая политика... Социальную политику можно определить как составную часть общей политики определенных классов, воплощенную в политическом сознании, социальных программах и социальной практике политических партий, государства, других элементов политической системы общества, регулирующих общественные отношения в интересах этих классов. Социалистическая социальная политика — это составная часть общей политики рабочего класса, воплощенная в марксистско-ленинском политическом сознании... регулирующая социальные отношения в интересах рабочего класса, широких трудящихся масс, строительства социализма и коммунизма» (Социальная политика КПСС на современном этапе. М., 1988, с. 8).

«...XXVII съезд партии рассматривает социальную политику как мощное средство ускорения развития страны, подъема трудовой и общественно-политической активности масс, формирования нового человека, утверждения социалистического образа жизни, важного фактора политической устойчивости общества» (Материалы XXVII съезда КПСС. М., 1986, с. 105).

Не спеши, читатель, отмахнуться от привычных клише, где-то мы все это уже слышали. «...Под социальной политикой мы разумеем сумму тех мероприятий экономической политики, которые имеют целью или следствием — сохранение, поддержание или уничтожение, отрицание определенной хозяйственной системы или ее части. Социальной политике противостоит политика индивидуальная — те мероприятия, которые направлены на благосостояние отдельных лиц или групп, невзирая на их принадлежность к определенной хозяйственной системе и, следовательно, к определенному социальному классу...

Всякая созидательная целесообразная социальная политика должна быть непременно классовой политикой, должна подвести одновременно под одну руководящую точку зрения все стороны хозяйственной жизни. Главнейшей задачей ближайшего будущего является — проводить современную, так называемую социальную политику, т. е. политику рабочего класса, и лишь тогда экономическая политика потеряет свою неплановерность и беспринципность и сольет в единую цельную систему ныне разъединенные отрасли: аграрную, промышленную и торговую — хозяйственные политики». «Правильная» социальная политика должна проводиться во имя интересов «прогрессивного класса» и «общего интереса», но никак не «сборных интересов всех вообще», интересов «всех» маленьких людей или тому подобных «нелепых групп».

Правильная социальная политика должна строго сохранять направление, в котором развивается экономическая жизнь. «Это направление заключается в предпочтении одной какой-либо хозяйственной системы, т. е. одного социального

класса» (В.Зомбарт. Идеалы социальной политики. С.-Петербург, 1906).

И хотя изложено тяжело, но — знакомо и надежно. Теоретизирующий историк и экономист, верный духу научного социализма и преданный идее человеческого прогресса, не может мыслить иначе. Ведь в каждую историческую эпоху есть только один прогрессивный класс, и все, что идет ему на пользу и в рост, тоже прогрессивно. Даже ошибочный шаг, но сделанный в нужном направлении, лучше, чем сильный, но не в ту сторону. Ведь законы истории неумолимы. Так мыслили, казалось бы, не только Гегель, Маркс и русские большевики. Так мыслили почти все социалисты на рубеже веков. Так думал и Зомбарт. Его национализм был столь же научным, как и его социализм. Если могут быть на свете прогрессивные и реакционные классы, отчего не быть прогрессивным и реакционным нациям? Ведь идея социализма — порядок, эффективность и процветание. Какой еще народ, кроме немецкого, с его врожденной любовью к порядку и дисциплине, может быть больше подходящим для распространения практики и идей социализма в этом мире? Кто еще, как не немцы, органически не выносит анархичность капиталистической свободы с ее либерально-демократическими побрякушками?

Зомбарт — великий теоретик нацизма, тоталитаризма, национализма. Великий поклонник и популяризатор Маркса. Это потом все «непрогрессивные» и «нечистые» пойдут в газовые камеры. Это потом вырастут башни Архипелага Гулага и колючая проволока обовьет нашу землю. Все это будет потом, на той ступеньке, на которой все до единого — сторонники и последователи великого учения Маркса (и Каутский, и Гильфердинг, и Зомбарт, и Сталин, и Брежнев...) — «осквернят» его извращенным пониманием Его идей. Это потом Ленин «приспособит» Маркса к условиям России, а Сталин перепишет его в «Краткий курс». Это потом социал-демократы как бы пробудятся от тяжких снов и выбросят за «борт истории», вырвут из сердца и из политической программы своей «марксистский корень». Все это потом. А сейчас Зомбарт создает так хорошо знакомую теорию перемалывания классов, теорию «прогрессивных» и «непрогрессивных» классов, теорию «большого», окрыленного идеей «светлого будущего» и «маленького», озабоченного собственными мелкими, несоциалистическими, эгоистичными целями и заботами человека. Прогрессивный класс — рабочий, угнетенный, эксплуатируемый, бедный, нищий и немощный. Он станет «всем», венцом, творцом, создателем и руководителем жизни.

Когда Сталин заключал с Гитлером договор о сотрудничестве, ненападении и разделе Польши, разве он осуждал национал-социализм? Когда собственные лагеря смерти строил? Или это были особые — социалистические лагеря? Мы открещиваемся и отмежевываемся от этой архисоциалистической доктрины, а наши политики представляют все новые и новые свидетельства и подтверждения. И здесь и там главенствовала идея «перемалывания классов» и уничтожения всех «непрогрессивных классов». И там и здесь развитие следовало железной рукой двигать в сторону «общей цели» и «общего блага». Все «непрогрессивные классы» должны были быть лишены социальной защиты (или уничтожены физически) во имя «планомерной», «цельной», «последовательной» непротиворечивой и «непримиримой» социальной политики, обеспечивающей обществу «наивысшую производительность».

«Справедливыми стремлениями считаются: сохранение и увеличение наших современных культурных богатств, поддержание и укрепление нашего национального могущества, по крайней мере по отношению к менее значительным западноевропейским и азиатским народам, природосообразный прирост народонаселения, возможное улучшение материальных условий жизни, т. е. возможно полная победа в борьбе с природой, расширение благ культуры на более широкие слои населения и возможно большее освобождение людей от труда... Теперь, думаю я, нам нетрудно будет дать ответ на наш вопрос относительно наиболее целесообразной социальной политики,— вот он: здоровая социальная политика должна ставить себе задачей возможную поддержку того социального класса, который является представителем экономического прогресса, потому что только таким путем осуществится его идеал — широкое развитие производительных сил, достижение которого необходимо в интересах культуры». Это — Зомбарт. Великий идеолог национал-социализма.

Чем его прошлая теория социальной политики и социальной справедливости отличается от нашей нынешней? Я не знаю. «Объект социальной политики — не личность, а общество: его классы, слои и группы»,— считает либеральный идеолог перестройки Т. Заславская и выдвигает программу «эффективного управления человеческим фактором». Программу, в которой человек заменен «человеческим фактором», а партия — силой, изыскивающей средства его активизации в целях ускорения экономического роста.

В концепции «сильной социальной политики» КПСС «маленького человека» с его житейскими проблемами и трудностями нет вообще. Есть прогрессивный «рабочий класс», «широкие трудящиеся массы» (классово однородные), есть «строительство социализма и коммунизма», как генеральная цель, и ускорение экономического роста как ближайшая задача (Социальная политика КПСС на современном этапе, с. 8). «Святая же забота» партии состоит в том, чтобы в целях ускорения «активизировать весь человеческий фактор», то есть изыскать

средства для того, чтобы заставить граждан трудиться с большим усердием, с большей отдачей и более интенсивно.

На это и направлена программа «активизации использования трудового потенциала» и «планомерной дифференциации роста благосостояния групп населения» Т. Заславской. Речь идет в том числе и о формировании и планировании материальных и духовных потребностей в целях «их более полного удовлетворения».

«Социологические исследования,— пишет Т. Заславская,— выявляют неполное использование трудового потенциала, снижение общественной активности и инициативы, а существующие методы стимулирования не учитывают разнообразия человеческих интересов, потребностей, устремлений». Курс на ускорение, считает она, «делает особенно актуальными эффективное управление человеческим фактором в производстве» (Т. Заславская. Человеческий фактор развития экономики и социальная справедливость. «Коммунист», 1986, № 13, с. 62).

Социальная политика «служит мощнейшим средством пробуждения не только материальной, но и духовной, личной заинтересованности масс в достижении общественных целей, главным источником общественного и трудового энтузиазма.

...Применительно к перспективе развития социалистического общества под социальной справедливостью понимается установление политического, социального и экономического равенства общественных групп, то есть обеспечение социальной равноценности их положения при сохранении ряда различий в его конкретных проявлениях; но применительно к современности мы говорим о социалистической справедливости. Для эффективного функционирования человеческого фактора в производстве наиболее важен социально-экономический аспект социалистической справедливости, основным содержанием которому служит последовательное осуществление принципа «От каждого по способностям, каждому по труду».

В чем же, спросит читатель, новизна подхода одного из лидеров перестройки? Разве не эти формулы сияли во всех предшествовавших партийных документах всех эпох и стадий развития социализма, разве не они кочевали из книги в книгу всех многочисленных «ученых»... превращенных, по словам самой Заславской,— в обслуживающий персонал, работающий по принципу «чего изволите»? (Т. Заславская. Народ безмолвствует?.. «Огонек», 1988, № 41, с. 6).

Разве не эти цели — «эффективное управление человеческим фактором», «полное использование трудового потенциала», «повышение общественной активности и инициативы», «личная заинтересованность в достижении общественных целей», рост «общественного и трудового энтузиазма» составляли суть сталинско-гитлеровского словаря?

Новизна — в понимании равенства. До сих пор идеологи под «равенством» понимали социальную однородность и уравнительность в распределении продукта и утверждали, что у нас уже достигнуто «политическое, социальное и экономическое равенство». Теперь под равенством понимается «социальная равноценность в положении общественных групп при сохранении ряда различий в его конкретных проявлениях». В соответствии с этим и формулируется главная цель в области социальной политики: обеспечение условий «планомерной дифференциации роста благосостояния групп населения». «Государство,— пишет Т. Заславская,— не может ставить целью равномерное повышение степени удовлетворения потребностей всех элементов общественной структуры. Реализация сильной социальной политики означает планомерную дифференциацию роста благосостояния групп населения, существенно различающихся своей ролью в социально-экономическом развитии общества, активно способствующих его ускорению или, напротив, его тормозящих, вносящих неодинаковый личный и коллективный вклад в рост благосостояния всего общества. Именно этот дифференцированный подход делает социальную политику **политикой**» (Т. Заславская. Человеческий фактор развития экономики и социальная справедливость. «Коммунист», 1986, № 13, с. 67—68).

Как верно подметил Игорь Клямкин, наши академики никак не хотят понять, что «безнадежно устарели не только методы, вызывающие и подстегивающие энтузиазм, но и сам военно-коммунистический энтузиазм. Он неэффективен, нерентабелен, он прикован исторической цепью к слову «больше» и отделен исторической пропастью от слова «лучше» (И. Клямкин. Почему трудно говорить правду. «Новый мир», 1989, № 2).

Абсурдно и само намерение — «планомерно дифференцировать рост благосостояния отдельных групп»,— предполагающее необходимость и возможность выявлять их «роль» в «общем деле», вычленяя тех, кто «активно способствует», кто «пассивно», а кто и вовсе не способствует росту «общего блага».

Как намерены ученые рассчитывать этот «вклад»? По каким критериям, в каких единицах измерять личные и коллективные усилия? Да и зачем все это? Чтобы сделать «социальную политику — политикой»? А разве без того она таковой не являлась? Разве не была занята КПСС на протяжении всей своей истории именно «планомерной дифференциацией» доходов? Так в чем же перестроечная новизна, в чем сила «сильной социальной политики»? Ну разве что в том, что раньше государство ставило своей целью «равномерное повышение степени удовлетворения потребностей всех элементов общественной структуры», а теперь —

дифференцированное, осуществлять которое оно намерено планомерно?

«Социальная справедливость,— разъясняет Т. Заславская,— заключается, во-первых, в поощрении и всемерной поддержке тех групп, которые вносят наибольший вклад в общественное развитие, во-вторых, в социальном контроле и экономическом регулировании положения тех групп, которые ставят свои узкопрофессиональные, ведомственные или местнические интересы выше общественных и наносят вред общественному развитию. Все (рабочие, руководители и специалисты) кровно заинтересованы в ускорении социально-экономического развития как условия быстрого роста уровня жизни... Наряду с теми, кто полностью связывает свое благосостояние с общественным производством... есть люди, готовые трудиться... не на общих условиях, а несколько «наособицу» — к примеру, на семейном подряде, в личном подсобном хозяйстве, в сезонных строительных бригадах. Общество заключает с ними своеобразные соглашения на взаимовыгодных условиях... Но, чтобы не допустить образования социального слоя, выделяющегося большими доходами по сравнению с остальной массой трудящихся, «необходимо строго учитывать и контролировать получаемые ими доходы, а начиная с определенного уровня, облагать их прогрессивным налогом».

Здесь и заложено наше главное диалектическое новшество: на протяжении долгих десятилетий марксистский социализм был устремлен на преодоление всех форм частной собственности и выравнивание доходов, а программа построения социализма заключалась в выкорчевывании всех частных элементов из общественной жизни. Теперь, когда экономическая необходимость вынуждает возвращаться к различным формам частного предпринимательства, партия ставит своей целью «строго учитывать и контролировать получаемые ими доходы». И осуществлять это под знаменем социальной справедливости. Ну разве можно допустить, что «частник» станет богаче работающего в государственном секторе? Никак нельзя. А тем более опасно, если он объединится с соседями и коллегами и образует «социальный слой», выделяющийся «большими доходами по сравнению с остальной массой трудящихся». Здесь уже прямая угроза социализму. Кто же захочет за гроши трудиться в госсекторе для «общего блага», если в кооперативе за тот же труд можно зарабатывать реальные и гораздо более высокие доходы «для себя»?

Фактически, если оторваться от всех «научных» слов, речь идет об очень простом, но очень сильном стремлении не допустить неконтролируемой и несанкционированной дифференциации доходов, которая неизбежно возникает в случае развития кооперативной, индивидуальной и семейной (фермерской) деятельности. Все та же, традиционная для КПСС, но окрашенная новой словесной аурой цель — не допустить, чтобы человек обрел независимость от феодальной закрепощенности со стороны государства. А для того чтобы люди, кровно заинтересованные не в «ускорении социально-экономического развития как условия быстрого роста уровня жизни» (ведь именно это предписано им теорией), а в быстром росте уровня этой самой жизни, действительно не почувствовали себя вдруг хозяевами, надо, чтобы их доходы и впредь «планомерно» поступали бы в «общий котел» и «дифференцированно», в соответствии с государственным представлением о том, кто «друг», а кто «враг» перестройки, перераспределялись бы на «общие цели». Другого смысла за всем этим не стоит.

Все поставлено с ног на голову. Не государственная машина (функция, механизм) для Человека, а «человеческий фактор» для Государства. Не социальные нужды Гражданина, а магический «Общественный интерес». Не личность, а коллектив. Но разве коллектив — это не объединенные в группу люди со своими бедами и проблемами?

«В принимавшихся в прошлом году решениях по Нагорному Карабаху настойчиво звучало: «соблюдение государственных интересов требует...», «признать недопустимым, когда сложные национально-территориальные вопросы пытаются решать путем давления на органы государственной власти... Чувствительный он, оказывается, государственный организм» (Г. Старовойтова. Вопрос решен, проблема остается. «Родина», 1989, № 2, с. 11).

Мы придумали себе заклинание, имя которому «государственный интерес». Змей-горыныч, который отнимает, конфискует, подавляет, пожирает, изничтожает.

Разве возможен, существует, реален он сам по себе, вне интереса армянского народа? Разве не есть национальный интерес народа — государственный, который всего лишь собирательное понятие интересов личных, человеческих, национальных? Оказывается, существует особый — социалистический «государственный» интерес, при котором интересы личные, частные, национальные — на выкорчевывание.

До тех пор, пока ученые ставят задачу изучения экономического поведения людей, социальных групп, классов, этнических проблем не возникает. Ибо изучение процессов — задача любой, в том числе и общественной, науки. Но, когда вопрос встает о практическом использовании знаний, должен включаться жесткий критерий нравственности. Ибо там, где ставится задача воспитания, манипулирования или формирования всего и всех под общую цель, заносчивую цель тоталитарного толка, необходим жесткий общественный контроль за политической волей социальных планировщиков, реформаторов и воспитателей «человеческого

фактора». Еще более жесткий, чем за качеством продуктов и состоянием окружающей среды. Ибо там подмешивают гормоны и пестициды и травят воздух, а здесь калечат саму человеческую сущность.

Мы придумали себе образ человекообразного монстра — человека «коммунистического труда»,— который забивает гвозди и думает об общем благе, клеит обои в заботе о светлом будущем своих детей, пишет стихи любимой в думах о том, как одухотворится все человечество, в думах о духовном богатстве. Образы «высшей цели» и «будущего процветания» на ниве «общественных фондов потребления», объявленные нашими завоеваниями, и сейчас дурманят и сознание, и жизнь людей, делая их не людьми, заботящимися о благе, воспитании, сытости детей собственных, а «сверхчеловеками» «новой формации» — «факторами», «элементами», «винтиками-шпунтиками», которых воспитывают, формируют, планируют, приручают к труду, подстегивают кнутами и приманивают пряниками. Мы придумали себя обществом новой, «недочеловеческой формации», в которой «планируют потребности», и гордимся этим завоеванием перед всем миром. Мы — люди «коммунистического труда»! Что же это за монстр — «коммунистический труд»?

«Коммунистический труд,— писал В. Ленин,— в более узком и строгом смысле слова есть бесплатный труд на пользу общества, труд, производимый не для... получения права на известные продукты, не по заранее известным и узаконенным нормам, а труд добровольный... труд, даваемый без расчета на вознаграждение... труд по привычке трудиться на общую пользу... труд как потребность здорового организма» (В. И. Ленин. ПСС, т. 40, с. 315).

«Новая» этическая норма — коммунистический — это труд бесплатный, даровой, или, как у нас принято, «на халяву» — на базу, на картошку, на уборку территории, на расчистку мусора, на строительство детского садика или попросту на коммунистический субботник в чей-нибудь фонд и на чей-нибудь счет и, конечно же, во имя общего блага. Старой же нормой был труд лагерный, без расчета на вознаграждение и сполна удовлетворяющий «потребность здорового (государственного) организма» в даровой рабочей силе.

В марксистской революционной фразеологии необходимость ломки старого строя обосновывалась незаконностью присвоения владельцами собственности части продуктов труда. После того, как «социализм из утопии превратился в науку» и «социалистический принцип распределения по труду, нацеленный на всемерную активизацию каждого для блага общества» — так определяет Т. Заславская эту цель,— был узаконен, законным стало и присвоение собственником (государством) всех продуктов труда.

Для того же, чтобы были послушны и добровольны и без ропота, а с энтузиазмом исполняли свой «коммунистический труд», и придумали особую и специфическую форму труда «общественного», вершимого освобожденными или неосвобожденными воспитателями (парторгами, профоргами и другими «оргами»). Мы построили общество, в котором труд без вознаграждения повсеместно соседствует с вознаграждением без труда, разлагая одновременно и тех, кто бесплатно трудится, и тех, кто бесплатно кормится.

Но вернемся к новой социальной политике КПСС. «Социальная политика направлена на вовлечение в активную общественно необходимую трудовую деятельность всех способных к труду, а также на осуществление контроля за мерой труда и мерой потребления» (Социальная политика КПСС на современном этапе, с. 20).

«Возникшие в последние годы «элементы социальной коррозии негативно сказались на духовном настроении общества, как-то незаметно подтачивали высокие нравственные ценности, которые всегда были присущи нашему народу и которыми мы гордимся,— идейную убежденность, трудовой энтузиазм, советский патриотизм» (Материалы Пленума ЦК КПСС 27—28 января 1987 г. М., 1987, с. 11).

Мир знает две формы принуждения к труду: прямое — административное и косвенное — экономическое. Запад в черные периоды своей истории (периоды фашистских диктатур) экспериментировал с «радостями» прямого насильственного принуждения к труду.

Применявшиеся нацистами так хорошо знакомые нам методы — паспортный режим, принудительное регулирование условий заключения трудовых договоров, прямое подчинение рабочих предпринимателям, насильственное перемещение рабочих из одних районов и отраслей в другие, введение территориальных барьеров, трудовая мобилизация, военно-трудовые лагеря, безудержная эксплуатация, использование рабского труда, политика «растягивания труда», налоговый пресс и т. д. оказались хорошей «прививкой» против внеэкономического принуждения.

Все эти «эксперименты» давно свернуты, уроки осмыслены, и граждане зорко следят за своими политиками, не подпуская и близко к власти новых тоталитаристов.

Другая форма — «кейнсианский дирижизм» — никогда не была столь «эффективной». Рыночная экономика никогда не знала ни «полной занятости» в ее социалистическом смысле, ни «трудового энтузиазма». Какую же форму избрали сегодня для нас наши политики, от каких элементов «социальной коррозии» намерены они очищать нас в новый, перестроечный период?

Ответ читаем в уже цитированном коллективном труде толкователей соци-

альной политики КПСС: «Социальная политика, способствуя формированию у тружеников социалистического общества классового самосознания, высокой гражданственности, социальной ответственности, коллективизма, патриотизма и интернационализма, утверждает социалистические начала образа жизни советских людей, противостоит таким его антиподам, как тунеядство, стяжательство, взяточничество, накопительство, индивидуализм, преступность, пьянство и наркомания, бюрократизм, карьеризм, и другим формам и проявлениям социального паразитизма. Очищаясь от этих элементов «социальной коррозии», общество становится все более мобильным, динамичным, ускоряющим темпы социального прогресса во всех сферах жизни.

Конечной же целью всех этих преобразований объявляется превращение необходимости трудиться в первую жизненную потребность. В этом видится и цель, и смысл, и идеал коммунистического общества: «Вовлекая в активную трудовую деятельность каждого трудоспособного члена общества, партия видит и коммунистическую перспективу — постепенное превращение труда в первую жизненную потребность» (с. 21).

Как же случилось такое, что естественная необходимость — добывать себе хлеб насущный,— на протяжении всей истории человечества бывшая вынужденной необходимостью, стала смыслом всех программ по «воспитанию», «приручению» и «формированию масс» во имя выработки у них этой «первой жизненной потребности»?

До каких же высот «классовой мудрости» надо было подняться, чтобы отнести индивидуализм, эту гордость любой либеральной системы, провозгласившей личность высшей ценностью, это завоеванное человеком нового времени право на самого себя, свою личную самоценность, отнести в разряд «социального паразитизма» и поставить его в список коррозий и аномалий общественной жизни рядом с такими отвратительными социальными болезнями, как пьянство, наркомания и преступность? Чтобы отказ работать в государственном секторе называть «тунеядством»? А естественное для любого предпринимателя стремление к прибыли — «стяжательством»? Желание иметь собственные сбережения и чувствовать себя независимым от государственного попечительства — «накопительством»? А способность подниматься по социальной лестнице — «карьеризмом»?

Мы все вывернули наизнанку. Мы подменили причинно-следственные связи. Мы поставили социальное развитие первичным по отношению к экономическому базису, создающему основу и фундамент роста благосостояния. Решения нашего правительства — что бы оно ни решило — всегда оправданы такими высокими, гуманными целями, как социальное благо и социальная справедливость. С индивидуализмом мы боремся. Наша социальная политика — это политика классовая. А «объект социальной политики — не личность, а общество; его классы, слои, группы» (Т. Заславская. Тактика перемен. «Известия», 1986, 18.IV). Каждому, как говорится, свое. В мире нет идеальных обществ. Но никогда в индивидуалистическом обществе, ориентированном на самоценность и социальную защищенность личности, еще не проливалось столько слез и столько крови, сколько лилось их в обществах, ориентированных на «общее благо» и «общую цель».

Есть ли альтернатива?

Посмотрим, например, как она выглядит в «буржуазной», «реакционной», «антинародной» «Принципиальной программе» правящей партии ФРГ — ХДС (1978г.). («Grundsatz programm der GDU Deutschlands». Bonn, 1978).

Три основных принципа составляют суть их социальной доктрины — принцип солидарности, основанный на представлении о единстве труда и капитала; принцип справедливости («справедливое распределение доходов и собственности», «справедливая заработная плата», «справедливая налоговая политика» и др.) и принцип субсидиарности — «помощь для содействия самопомощи и частной инициативе».

«Человека нельзя ни низводить до роли опекаемого, ни принижать до состояния только потребителя государственных услуг,— говорится в программе.— Предпосылкой этому является усиление позиций **индивида** (выделено мной.— Л. П.)... В соответствии с этим возможности получить образование, профессию, обзавестись собственностью, достичь высокого уровня материального благосостояния, накопить денежные средства рассматриваются как цели, определяющие социально-экономический курс ХДС/ХСС». В своей политике эти партии руководствуются следующими ценностными установками: «Лучше воспрепятствовать возникновению социального зла, чем устранять его последствия»; «социальная политика, ориентированная в будущее, должна быть профилактической и сочетать в себе рентабельность и гуманность. Гуманнее и рентабельнее:

— дать семье возможность выполнять свои воспитательные функции, чем финансировать дорогостоящие учреждения по возмещению ущерба, возникшего как следствие недостаточной заботы;

— предотвращать несчастные случаи, чем смягчать их последствия;

— сохранять здоровье, чем бороться с болезнями;

— предупреждать возникновение нужды, чем поддерживать бедных».

ХДС/ХСС выступает за то, чтобы предоставлять социальные блага действительно нуждающимся в них, постоянно пересматривая социальные притязания в соответствии с изменением имущественного положения, включая налоговые льготы и социальные пособия. Никакого единого страхования, всеобщего обеспечения граждан государством быть не должно.

Обеспечению этих принципов должны служить соответствующее социальное законодательство, налоговая политика и политика распределения доходов, позволяющие рабочим **делать сбережения, приобретать собственность, обретать финансовую самостоятельность и независимость** (выделено мной.— Л. П.) от государственного «социального попечительства».

Выступая против бесплатных общественных фондов потребления, ХДС/ХСС заявляет, что граждане должны платить за все те услуги, в которых они нуждаются и которыми они пользуются, но получать их в том виде и такого качества, которого они желают и которое позволяет их материальный достаток. В этих целях они намерены всячески способствовать созданию частных сбережений и росту личного благосостояния граждан, используя уже накопленный ими на этом пути опыт.

Программа утверждает преимущества личностного фактора по отношению к общественному (коллективистскому): личная заинтересованность, личная ответственность, личная инициатива и личные возможности как важнейшие и незыблемые ценности демократического общества. В соответствии с этим формулируется цель, на достижение которой должны быть направлены «все экономические, финансовые и социальные политические решения»,— «развивать дальше социальное рыночное хозяйство так, чтобы усиливалась личная инициатива и все больше росла доля каждого в общественном и экономическом прогрессе».

Главным в социально-экономической политике, соответствующей принципу субсидарности, является создание условий для личностного участия граждан в экономической и социальной жизни. Для этого следует уменьшить экономическую зависимость граждан и воспрепятствовать сужению поля частного потребления и частного инвестирования, происходящего по мере возрастания доли государства в валовом национальном продукте. ХДС/ХСС исходит из того, что все граждане должны получить возможность доступа к различным формам собственности. В соответствии с этим они намерены способствовать образованию производственного имущества в руках работополучателей и участию работополучателей в прибылях предприятий.

В правительственном заявлении, названном «Программа обновления: свобода, гуманность, ответственность» (май, 1983 г.), канцлер ФРГ Г. Коль сформулировал принципы новой экономической и социальной политики — политики обновления социального рыночного хозяйства: «Весь исторический опыт нынешнего столетия показывает: экономический строй имеет тем больший успех, чем больше государство сдерживает себя и чем большую свободу оно дает каждому в отдельности. Социальное рыночное хозяйство, как никакой другой строй, пригодно для осуществления на деле равенства шансов, гарантирования собственности, для обеспечения благосостояния и социального прогресса. Мы хотим не большего участия государства, а меньшего, мы хотим не меньшей, а большей личной свободы. Социальное рыночное хозяйство — не только наиболее удачная экономическая форма. Оно также лучше всего подходит людям: ставит перед гражданами задачи, но не распоряжается ими».

Как разнится все это с социальной политикой КПСС, которая намерена формировать классовое самосознание, коллективизм и патриотизм, идейную убежденность и трудовой энтузиазм, осуществлять контроль за мерой труда и мерой потребления, формировать потребности, воспитывать «нового человека» и превращать труд в первую жизненную потребность.

И все это — напомним — для того, чтобы становиться «все более мобильным, динамичным, ускоряющим темпы социального прогресса» обществом. Обществом «полной социальной справедливости», прогресс которого заключен в «полном социальном равенстве» и «полной социальной однородности».

Но даже самое возвышенное классовое самосознание, самая высокая гражданская ответственность и интернационализм ни на один процент не ускорят темпов нашего развития. Так же как полное преодоление накопительства, бюрократизма, карьеризма и других элементов «социальной коррозии» не сделает нас ни более мобильными, ни более динамичными, ни более сытыми.

Наша классовая социальная политика, накладывающая руку на все доходы всего общества, сама по себе выступает одним из главных тормозов развития. Сдерживая инициативу, пренебрегая личностными факторами, делая человека объектом планирования, манипулирования и формирования, она лишает систему той динамичности, которая только и возникает там, где человек, его инициативность и творчество, свобода действия и духа выступают движущей силой развития.

Мы ставим себе в заслугу классовую однородность нашего общества. «Социализм ликвидировал классы». «Классы — это зло». «Классовое общество — общество несправедливое». Мы боролись с «классами», а уничтожали людей. Мы боролись с детской бездомностью, а умерщвляли родителей. Мы доблестно преодолевали голод, а уничтожали производителей хлеба. Мы собственными руками развязали гражданскую войну, породили нищету, бездомность, детскую беспризорность, чтобы затем «по-социа-

листически» с ними бороться и доблестно преодолевать. Мы обвили страну колючей проволокой, построили новые города «уголовников», а теперь в них боремся с преступностью, вандализмом и одичанием своего народа, перевоспитываемого с помощью карательной машины в «нового» человека «светлого» будущего. Мы внесли все это в учебные гимны, в ритуальные танцы, которые исполняют жрецы «научного коммунизма» и «политической экономии социализма» в светлых и современных университетских аудиториях.

«Социально-классовая структура социалистического общества и пути достижения социальной однородности». «Развитие национальных отношений и укрепление интернационального единства наций в социалистическом обществе». И венец — «Коммунистическое воспитание трудящихся». С подзаголовками: 1. Методологические проблемы воспитания. XXVII съезд КПСС о преодолении застойных явлений в идейно-воспитательной работе. 2. Система воспитательной работы. Основные направления, формы и средства воспитания» (Научный коммунизм. Учебник. М., 1988).

Как в кошмарном сне. Как в царстве беспросветного цинизма и подлой демагогии.

Мы хотели ликвидировать сословные, имущественные и национальные привилегии, а разграбили имущество, разорили храмы и распродали национальные ценности, сожгли книги и уничтожили людей. Привилегии же — и сословные (правда, другие ныне сословия), имущественные (правда, иные те привилегии), и даже национальные — так и остались. Получатели, правда, не те. Да ведь и жизнь не та.

Мы взрывали, душили, давили, мородерствовали... Во имя социальной справедливости. Во имя всеобщего равенства...

В интересах культуры... Во имя будущих детей... По праву... По какому праву? По какому праву дано было разрушать, уничтожать и грабить, убивать и конфисковывать? Я задаю не риторический вопрос. По какому праву группе людей, объявивших себя носителями исторического прогресса, освободителями и творцами светлого будущего, дано было право разрушать то, что было создано трудом, умом и сердцем отцов и праотцов наших, дедов и прадедов? По какому праву? Пусть ответят мне историки и философы, культурологи и правоведы. Пусть ответят, пусть убедят, пусть обоснуют. И тогда я поверю, что во всем этом была историческая необходимость и неизбежность, вытекающие из исторического права разрушения во имя своего, подвижного, меняющегося, мерцающего и подмигивающего идеала.

Слова Святого Писания гласят: «Благими надеждами...» Мы прошли через все круги, побывали в круге первом, и во втором, и в третьем. Мы выкорчевали российскую интеллигенцию, выкорчевали крестьянство, ремесленников, промышленников, финансистов, ростовщиков и торговцев, мы выкорчевали навыки земледелия и скотоводства, а сегодня корчуем виноградарство и докорчевываем владельцев теплиц. По какому праву? Во имя какой высшей социальной справедливости толпе разнузданных молодчиков, направляемой партийной бюрократией, дано право конфисковывать, уничтожать и обкладывать налогами не ими созданное и не ими заработанное? По какому праву 18 миллионов «управленцев» распоряжаются теми крохами, которые еще может производить крестьянин на своем убогом средневековом огрызке земли, прирезанном или урезанном у него «заботящимся» об «общем благе» хозяином? По какому праву, закону, нравственной норме это средневековое необузданное мракобесие, освещенное демагогией о «высшем благе», разоряет землю, иссушает душу и парализует те ничтожные остатки чувства Хозяина, которое еще нет-нет да и проклюнется где-то в виде то поднявшихся парников, то обогреваемых кирпичами теплиц?

Не по праву, а по принципу. По принципу классовой социальной справедливости. Прогрессивный класс — пролетариат, а суперпрогрессивный — верхушка пролетарских диктаторов — лучших из лучших, во имя блага которых и процветает социалистическая социальная справедливость. Когда Н. Бухарин в книге «Экономика переходного периода» рекомендовал расстрелы как одну из форм «выработки коммунистического человечества», то с точки зрения марксистской теории социальной справедливости он был неуязвим. Все различие в том, что у Ленина пролетарский классовый интерес, а у Зомбарта идея «чистоты» вылились в концепцию национального интереса и арийской исключительности.

Беспредельный цинизм: полное обесценивание человеческой личности, достоинства, судьбы, жизни — все это порождение «классовой» справедливости. Справедливо то, что говорит последний генсек. Партия определяет и задает всякий раз свой, новый масштаб социальной справедливости. При Сталине справедливо было «карать», ныне «миловать». Ложь о социальной справедливости. Так назову я летописи брежневского застоя, так назову и сегодняшние гимны. Не сказано у нас еще в стране официально слово о социальной справедливости. Не доросли еще наши идеологи до прямого и правдивого разговора.

Что же такое сильная социальная политика? И что такое сильное государство? Сильная социальная политика — это та политика, которая способна защитить маленького человека с его горестями, тягостями и бедами. Социальная политика, в которой человек — «остаточный принцип» после патриотизма, интернационализма, классового самосознания и идейной убежденности,— слабая и несправедливая.

Сильное же государство — это не государство военного типа с широкой системой карательных органов, выявляющее и карающее инакомыслящих. В жесткой системе карательных органов нуждается как раз слабое тоталитарное государство, трусливое правительство, которое боится знать о себе правду. Сильное — государство, обеспечивающее в стране правопорядок, справляющееся со всякого рода экстремизмом, хаосом и нарушениями, подрывающими устои общественной организации, не прибегая к средствам грубого подавления и насилия. Сильное государство — это государство, которое не боится своего народа, а поддерживается его волей.

Социально справедливое государство

Классик политической экономии Адам Смит различал два типа неравенства — «неравенства, обусловленные самим характером занятий», и «неравенства, вызываемые вмешательством государства». Нас в данном случае интересует второй тип неравенства: те формы социальной несправедливости, которые порождаются вмешательством государства.

«Политика вмешательства,— писал А. Смит,— действует следующими тремя способами: во-первых, ограничивая конкуренцию в некоторых промыслах меньшим числом людей, чем сколько обратилось бы к ним без такого вмешательства; во-вторых, усиливая конкуренцию в других промыслах сравнительно с тем, что было бы при естественных условиях; и, в-третьих, стесняя свободный переход труда и капитала от одного промысла к другому и с одного места в другое...» (Смит А. Исследование о труде и причинах богатства народов. М., 1935, т. 1, с. 117).

Надо сказать, что за два столетия число способов насаждения социальной несправедливости заметно возросло. Исследованию феномена «государственного монополизма» посвящено много толстых монографий. Все они сходятся на том, что монополия — это всегда зло, порождающее диспропорции, искажения, социальную несправедливость и неравенство, а государственная монополия — это зло в квадрате, так как она порождает и трансформируется в мафиозную структуру, совладать с которой становится не под силу ни одной из социальных групп.

Социализм всегда ставил своей целью равенство в распределении. На этом поприще мы достигли поразительных результатов: оперирующий хирург получает у нас столько же, сколько продавщица в универмаге; при том, что идет открытая эмиграция из страны высококвалифицированных специалистов, врачей, ученых, артистов, процветает теневая экономика с подпольной занятостью, а воровство, взяточничество, паразитизм и иждивенчество превратились в повседневные и будничные элементы нашей социальной жизни.

Наши либеральные оппоненты из «буржуазного лагеря» всегда утверждали иное представление о справедливости. «Справедливым как раз является неравенство доходов,— писал Ф. Хайек,— оплата не участия в процессе, и не вклада в «общее дело», и даже не усердия и трудолюбия, а результата. Оплачивать бессмысленные усилия наравне с приносящими признанный рынком результат — значит проявлять несправедливость по отношению ко всем: одни получают незаработанное, в то время как другие недополучают своего сполна. Политика выравнивания доходов подрывает стимулы к производительному труду, обедняя каждого».

Для того чтобы избавиться от «уравниловки» и вернуть людям нормальные стимулы к труду, наши ученые предлагают несколько «рецептов».

«Для стимулирования инициативы, производительности труда, повышения качества продукции... необходимо принципиально изменить систему оплаты труда»,— пишет Г. Попов (Г. Попов. Перестройка управления экономикой — в кн. «Иного не дано». М., 1988, с. 625.)

«Можно смело перейти к системе, при которой гарантированная часть оплаты будет стабилизирована, а весь дальнейший рост производительности должен оплачиваться из фонда, который должен быть заработан». И далее. «Как известно, у нас не принято уменьшать зарплату. А это зря, основную работу по преодолению уравниловки и перераспределению дохода надо передать в руки самих трудовых коллективов. Такой подход покажется несправедливым тем, кто хотел бы жить без напряжения. Но без обострения взаимоотношений в коллективах вряд ли можно развернуть реальное массовое движение в пользу перестройки и ускорения» (Г. Попов. Перестройка в экономике. «Правда», 1987, 21 января).

Фактически речь идет о новом «черном» переделе. Гарантированный минимум заработной платы на гарантированном рабочем месте сохраняется, а «остаточный фонд» перераспределяется в соответствии с мнением коллектива: худшие должны понять, принять и с достоинством отдать десятку лучшим, лучшие же не должны гнушаться, ибо это им по справедливости.

При этом каждому можно будет предъявить обвинение в том, что он лентяй, работает не в полную силу, не с полной отдачей, в соответствии с чем его заработок должен быть урезан и передан тому, кто работает «по способностям».

Ну, перераспределим мы сейчас все

заново, до посинения, до «диалектического» шока, до апокалипсического удара... Во имя истинной и подлинной социальной справедливости! Во имя стимула для перестройки! Но ведь ни на копеечку мы от этого богаче не станем. И ничего, кроме мелких склок от очередного передела, в памяти нашей не задержится.

Результат же предлагаемой реформы — сокращение гарантированного минимума заработной платы с правом перераспределения «заработанной» части дохода будет скорее всего прямо обратным ожидаемому: люди вообще перестанут работать за гроши и начнут искать себе занятость в и без того уже высокоразвитом секторе «теневой экономики».

Новый принцип социальной справедливости — «пусть тот, кто работает лучше, получает больше» — рекомендуют распространить и на общественные фонды потребления. В старом, доперестроечном варианте они распределялись «по рангам», но бесплатно. В новом варианте в соответствии с поставленной целью — вписать выплаты и льготы в мотивационный механизм — их нужно будет еще и заслужить.

Речь идет о том, чтобы дифференцировать пенсии, распределение жилья, продолжительность отпуска и предоставление путевок на лечение в санатории и дома отдыха по личному вкладу каждого, по результату его труда, по усердию, по отношению к делу.

Но как, не имея единицы измерения «личного вклада» и «трудового усердия», определить дифференцированную «меру» социальной справедливости, в соответствии с которой делить общественные фонды потребления?

Т. Заславская предлагает «установить социально обоснованное соотношение между платным и бесплатным распределением потребительских благ, социально справедливое распределение между государством и населением затрат на содержание детей, престарелых и инвалидов», то есть, говоря попросту, сделать часть общественных фондов потребления дважды платными. Первый раз мы платим в виде отчислений от заработной платы, из которых формируются наши «бесплатные» фонды, а второй — в виде назначенной государством непосредственной оплаты за конкретные виды услуг. Определять, что раздавать бесплатно, а за что кому и сколько платить, будет, естественно, государство. До сих пор разграничения между «государством» и «народом» как бы не проводилось. Народ работал «на благо государства». Государство забирало львиную часть в «общий котел» (в бюджет), а затем «справедливо» распределяло. Считалось, что экономика наша хоть медленно, с отставанием от капиталистического мира, неэффективно и неповоротливо, но все же развивалась, росла, накапливала богатство и что гарантированный минимум зарплаты и доля в общественных фондах потребления так или иначе нами уже заработаны и оплачены. Они и являются той собственностью граждан, которую им предоставили вместо отнятого права собственности на средства производства. Это был своего рода социальный выбор (о добровольности его сейчас речь не идет), или, на языке социологов, социальный договор: богатеем все вместе, общими усилиями, равномерно и без большой дифференциации в доходах. Для реализации этого договора и была учреждена (не о добровольности сейчас речь, повторю) система «общего котла», гарантировавшего каждому рабочее место, минимальный заработок и долю общественных фондов потребления в форме бесплатного здравоохранения, бесплатного обучения и бесплатных социальных услуг.

На деле вышло не так. На смену старым привилегиям по социальному происхождению пришла система распределения людей по «роли», должности и месту в партийной иерархии. Равенство в потреблении бесплатных благ осталось только для «низших».

Сегодня партия объявила о переходе на хозрасчет, суть которого заключается в намерении сделать часть социальных услуг платными. При этом отчисления из заработной платы в общественные фонды потребления еще больше возрастут.

Предусмотрен более быстрый рост общественных фондов потребления по сравнению с фондом заработной платы. Они увеличатся на 25 %, а за период 1986—2000 годов примерно вдвое. Это означает, что доля недоплат к заработной плате и налогов, выплачиваемых гражданами, будет еще больше увеличиваться, то есть будет осуществлен еще один тур мобилизационно-перераспределительной политики в пользу увеличения размеров общественных фондов потребления путем сокращения прямой заработной платы, выплачиваемой за труд. При этом часть социальных услуг станет платной.

И в этом, возможно, был бы смысл, если бы речь действительно шла о радикальной перестройке системы. Отменяются гарантии, но одновременно предоставляются права — на частную собственность, на средства производства и свободную предпринимательскую деятельность. Поскольку этого не представляется и не предусматривается, то ясно, что речь идет о поиске «козлов отпущения»: «плохо» и «хорошо» работающих граждан, между которыми намерены в зависимости от «вклада» при отсутствии каких бы то ни было критериев для расчета этого самого «вклада» в условиях монопольной власти и абсолютной зависимости от администрации «справедливо» перераспределять «пирог».

То есть речь идет о псевдореформе. «Псевдо» потому, что, отняв гарантии, надо вернуть собственность. И, наоборот, не возвращая собственности, нельзя отнимать гарантий. Нельзя потому, что

трудящиеся в нашей стране, вынужденные кормить «номенклатуру» — идеологическую и перераспределительную машину,— и без того поставлены в весьма стесненные финансовые условия. Только после того как мы перейдем к рынку и выпустим заработную плату из-под пут государственного нормирования, «нормирующего» ее размер на грани выживания, резко сократим размер общественных фондов потребления и предоставим гражданам возможность самим распоряжаться своими доходами, только после того как каждый из нас станет собственником с собственным счетом в банке, можно будет разрешить «населению» хозрасчетные отношения с государством.

Страшно, когда теряют чувство ответственности те, от которых мы все зависим. Это было страшно в 20-е годы, когда они формировали институты подавления экономической и социальной свободы в стране, страшно это и сейчас, когда под перестроечные гимны формируется платформа прямого наступления на горло и без того беззащитного и полунищего «индивида», «личное обогащение» которого все еще стоит поперек горла у «последовательных коллективистов».

Какой же принцип — равенство, дифференциация или наше «диалектическое» дифференцированное равенство — является «истинно социалистическим»?

Социализм — это общество равенства. По целям, замыслам создателей, по мечте, которая будоражила умы образованной публики прошлого столетия. По той политической программе, которая воплощалась в жизнь в нашей стране с 1917 года. Устранение неравенства между классами, социальными группами, между городом и деревней, между мужчиной и женщиной, между различными национальностями и республиками и т. д.— разве не это лежало в основе всех наших социалистических преобразований? Разве не идея равенства — в доходах, в распределении, в отношении к собственности — двигала массами? Правда, все думали тогда, что будут в равенстве и богатстве, а получили «равенство нищих». Думали о справедливости и сытости, а живем в обиде и дефиците.

Можно спорить о разумности такой цели, о радости от такой судьбы, о значимости такого образа жизни для каждого отдельного человека, наконец, о достижимости этого социалистического идеала. Можно говорить и о чудовищных издержках, связанных с попытками осуществить это всеобщее земное материальное равенство. И об утопичности, о недостижимости этого идеала, о невозможности всех свести к общему знаменателю и поделить все поровну.

Но одно бесспорно: богатый сосед в нашем социалистическом раю вызывает зависть. А если авторитеты, рассуждающие о справедливости людской политики, еще и говорят, что это богатство незаконно, а его обладатель — эксплуататор, кровосос или враг народа, то рука уже готова потянуться к оглобле, обрезу, винтовке и идти на борьбу за «всеобщее равенство» и «вселюдскую справедливость». Но вот справедливость восстановлена, богатые похоронены, богатства поделены и наследники уже не заявят своих прав. И жизнь начинает разворачиваться заново. И как бы ни выравнивали, а у одних уж дача и автомобиль, сберегательная книжка и круиз по Средиземноморью, а у других — долги да пустые бутылки. И опять возникает та же вечная тема — социалистического равенства и социальной справедливости.

На протяжении долгого времени людям внушалось, что социализм — это общество равенства и социальной справедливости, что социалистическая революция была осуществлена для того, чтобы избавиться от имущественной и социальной дифференциации, порожденной, как утверждал Маркс, институтом частной собственности. Социалистическая революция была осуществлена в целях преодоления этой социальной несправедливости, заключавшейся в том, что одни — владельцы собственности — имели возможность обогащения, а другие были такой возможности лишены и вынуждены были работать по найму. Революционеров, отдававших себя делу социализма, не смущало, что, национализировав собственность, они делали каждого наемным работником государства. Их согревала и одухотворяла перспектива всеобщего равенства.

Эта уравнительная психология, повсеместно насаждавшаяся и пропагандировавшаяся большевиками, очень прочно укоренилась в массовом сознании. «Погоня за чистоганом», «обогащение», «спекуляция», «собственнические замашки» — все это из словаря общества социального равенства, в котором пусть бедно, но справедливо. Рост благосостояния всегда понимался как общий рост государственного котла, как абстрактное благосостояние, как военная мощь государства.

Приученный к идее равенства, народ готов был постоянно мириться с мизерностью своих доходов, с социальной необеспеченностью, с очередями и отсутствием продовольствия, но при условии, что все — и сват, и брат, и сосед — находятся в равных условиях с приблизительно одинаковым уровнем жизни и структурой потребления. Это был очень важный психологический стимул поддержания системы в состоянии равновесия. Уравниловка, отвечающая глубинным психологическим законам, тщательно прокламировалась, насаждалась и поддерживалась как символ справедливости.

Переход к кооперативному социализму выдвигает иной принцип социальной этики. «Пусть обогащается тот, кто работает»,— говорит Николай Шмелев. «Мы должны смириться с дифференциацией доходов, с неравенством, преодолеть уравнительную психологию»,— пи-

шет Анатолий Стреляный. Мы должны изжить из себя принцип социалистического равенства — уравниловки. Лучше быть сытыми, но неравными, чем равными, но голодными. Однако граждане, честно и добросовестно работающие в государственном секторе, законно ставят вопрос: почему? Почему у кооператоров доходы в тысячах рублей исчисляются, а у них — двести, ну, максимум триста рублей? В чем же тогда наша социальная справедливость?

Вопрос острый, больной и — справедливый. 70 лет в обществе шла война с принципом «Обогащайтесь!». 70 лет отрицательной фигурой в книгах, кино, песнях и анекдотах был «нэпман», «торгаш», «спекулянт», «собственник». 70 лет с экранов телевизоров не сходила гражданская война, в которой доблестные советские красноармейцы раскулачивали, национализировали, уничтожали «кулацкие банды», и в конце всего торжествовала социальная справедливость: торгашеское и частнособственническое зло наказывалось, а будущее всеобщего равенства и социальной справедливости торжествовало.

Сегодня лозунг — «Обогащайтесь!». Те, кто вчера был «спекулянтом» и «кровососом», теперь торгуют на рынках, в переходах, в магазинах, открывают свои «частнособственнические» кафе и рестораны и «заколачивают деньгу». А как же революционная героика? Как с равенством? Если провинциал-кооператор едет в Москву за 60 тысяч покупать «Волгу», то где же здесь социальная справедливость?

Там, где существует правовое государство, где действует та самая демократия, которой мы «только учимся», этот вопрос решен. Справедливость — это равенство всех перед законом. Это равное для всех право стать собственником, получить образование, приобрести специальность, выбрать себе место жительства, работу, право трудиться в частном или государственном секторе, право завести собственное дело, право объединить свой капитал с капиталами других и вступить в акционерное общество.

А как быть тем, у кого собственности нет? Права на инвестирование также нет. Права открыть собственное дело только еще обсуждается. Право взять кредит и купить завод либо взять в частную аренду парикмахерскую или открыть частный магазин отсутствует. Есть только одно право — на труд. Для решения вопроса о социальной справедливости — равенстве в условиях общей коммуны этого, может быть, и достаточно. Работаешь — получаешь свою долю. А в обществе «смешанной экономики»?

Что такое проблема социальной справедливости и равенства в обществе смешанной экономики? Это и есть вопрос, который требует от наших ученых и политиков, замысливших большую экономическую реформу, ответа. И что же мы видим?

— Необходимо перераспределить «остаточный» фонд заработной платы в пользу тех, кто лучше работает.

— Необходимо ввести плату за общественные фонды потребления.

— Необходимо строго учитывать и контролировать получаемые кооператорами доходы, а начиная с определенного уровня, облагать их прогрессивным налогом.

Для чего?

— Чтобы не допустить образования социального слоя, выделяющегося большими доходами по сравнению с остальной массой трудящихся.

Как не допустить?

— Да изъять — и все тут. Какие проблемы?

А проблемы следующие. Начнут изымать, начнут закрываться кооперативы и вымываться с рынка индивидуалы. Кто выиграет? Казна? Нет. Она потеряет часть своих законных доходов, поступающих от налогов. Потребитель? Тоже нет. Он вновь лишится возможности выбора. Сузится и ассортимент. Ну, сами кооператоры либо прогорят, либо эмигрируют. Так кто же выиграет? Выходит, только блюстители справедливости по части равенства. Мне голодно, но и ты не рыпайся.

А кто проигрывает от высоких доходов кооператоров? Казна? Нет. Чем выше их доходы, тем больше имеет казна. Потребители? Опять же нет. Дорого — не покупай. Плохого качества? Купи в государственном магазине хорошего качества и дешево. Нет в магазине? Но при чем здесь кооператоры? В магазине и до них, и при них, и с ними, и без них — пусто.

Кто проиграет от того, что у нас появится независимый «социальный слой, выделяющийся большими доходами»? Это и есть вопрос для размышления. Вопрос не праздный. Ибо в ответе на него лежит проблема выбора нашего будущего пути развития.

В последнее время со страниц печати не сходит слово «мафия». Откуда — задаются вопросом наши праведники — у нас в стране всеобщего равенства и социальной справедливости взялась мафия? Мафия и монополия — явления однопорядковые. В обществах рыночной системы, предоставляющих открытые возможности для формирования новых структур, всегда есть силы и институты, которые противостоят мафии: мешают ей захватить все. В обществах монопольной собственности и власти таких сил и возможностей нет. Конкуренту, способному производить более эффективно, дешево и качественно, взяться неоткуда. Частного бизнеса, кроме «подпольного», нет. А с ним государственные монополисты расправляются твердо и безжалостно. В результате свобода действия монопольно-мафиозных структур и систем оказывается практически безграничной. В руках министра-монополиста сосредоточиваются огромные, недоступные ни

одному частному собственнику средства. В его власти любые «вековые» проекты — по строительству железной дороги или переброске рек, по закладыванию любого количества тракторных заводов и замораживанию любых строек. Он вправе распоряжаться десятками тысяч и миллионов людей, распределяя, переставляя, пересылая и перетасовывая. В его руках судьбы и жизни, материальные средства и фонды. Чем сильней министерство, тем неограниченней его власть, тем больше влияние, тем большими возможностями оно располагает.

Так что наши «мафиозные процессы» — это не случайные отклонения от нормы. Это скорее «издержки» (или промашки) самих мафиози, изредка приоткрывающих завесу над тайнами своей жизни. Это лишь вырывающиеся наружу гейзеры, свидетельствующие о том, что внутри системы идет смертельная схватка между крестными отцами различных кланов. Мы боролись с рыночной анархией? Мы хотели порядка? Мы получили этот порядок. Рыночный дух умер. Имя нашему порядку — мафия. Там, где нет конкуренции, там монополия. Там, где монополия,— там мафия.

В отличие от «капиталистической», уголовной, теневой, действующей в сфере наркобизнеса, порнографии и других запрещенных законом сферах наша «распределительная» мафия сформировалась именно что во всех официальных сферах деятельности: в промышленности, в торговле, в финансовой системе, на транспорте, в строительстве.

Мы хотели переиграть капиталистический мир на пути централизации, монополизма, мобилизации и подавления частнособственнических устремлений к обогащению. Мы преодолели «частнособственнические устремления». Частной собственности у нас нет. Но мы все превратились в нацию «воров» и «спекулянтов», стремящихся «нажиться» на «общественном благе». Каждый второй из нас стал «несуном», а процент добросовестных работников не превышает одной трети всех тружеников в СССР (Т. Заславская. Человеческий фактор развития экономики и социальная справедливость. «Коммунист», 1986, № 13).

Монополия и мафия неразрывны. Они органично врастают друг в друга, формируя вокруг себя извращенную идеологию, извращенную мораль, извращенную нравственность личной и общественной жизни. Кто-то призывает каждого ворующего прийти и покаяться, рассчитывая на то, что личное очищение освободит от нравственного падения. Может быть, оно и так. Только каяться должны в первую очередь те, кто создал и поддерживает государственную монополию, централизм, администрирование во всех сферах нашей жизни, и в первую очередь в экономической.

Для того чтобы разрушить мафиозную структуру власти, собственности и производства, необходим переход к рыночным условиям экономической жизни. Система свободного ценообразования, свободного перелива труда и капитала, свободный, единый для всех рынок оптовой торговли средствами производства, сырьем и материалами, свободный и равный выход на внешний и внутренний рынок, одинаковые финансовые условия (кредитования, обязательных платежей и др.) — все это обязательные и необходимые факторы демонополизации экономической жизни. Без них ни кооперативный сектор, ни свободное предпринимательство шансов на выживание не имеют.

Но беда еще и в том, что покаянием сыт не будешь. Для того чтобы выйти из кризиса, необходима радикальная экономическая и социальная реформа. Людям необходимо вернуть отнятое — собственность. Общество должно перейти к демократическим формам жизни с традиционными для любой буржуазной демократией правами и свободами.

Равенство или благосостояние? Вот дилемма, которая взывает нас к выбору пути. На прежнем отрезке мы предпочли равенство и получили общество привилегий, разительной несправедливости, социальной необеспеченности и полунищенского существования (даже по критериям 1913 г.). Мир, который без централизаций, коллективизаций, обобществлений, национализаций, мобилизаций, без эксплуатации энтузиазма постепенно, но верно создавал свое благосостояние, намного опередил нас не только в экономическом, но и в социальном плане.

Подавление экономической свободы обернулось отсталостью, убогостью, необеспеченностью.

Все эти годы мы активно распродавали нефть — природный ресурс, принадлежащий не только нам, но и нашим правнукам. Как потратили мы вырученные деньги? На сколько приумножили мы национальное богатство? Где заложили мы фундамент будущего роста, развития и процветания нашей системы? Мы транжирили и разбазаривали ресурсы. Мы подрывали основы будущего роста и благосостояния.

Социализм доказал: нет никаких преимуществ у планового централизма. Кроме, правда, одного: беспрецедентного в истории человечества права присваивать результаты труда всех граждан, оказавшихся вовлеченными в этот процесс глобального монументализма. Создав мафиозную структуру власти, мы создали ей все условия для переброски рек и передвижки гор, помогли ей построиться в одну гигантскую пирамиду, которая увековечивает в глазах потомков нашу великую эпоху революционных завоеваний. Одному мы только ее не научили — соизмерять затраты с результатами.

Что же такое социально справедливое государство? Социально справедливым я назову такое государство, которое

способствует обеспечению роста общественного благосостояния, не препятствует конкуренции и распределению национального продукта в соответствии с принципом производительности (эффективности) и не бросает бедных, больных, престарелых и немощных на произвол судьбы.

Социально справедливое государство — это непременно правовое государство, в котором равенство понимается как равенство каждого перед законом. Непременным условием справедливого правового государства является отсутствие каких бы то ни было (налоговых, партийных, потребительских и др.) привилегий. Правовое государство — это такое государство, которое обеспечивает равенство прав, возможностей и шансов, охраняет социальную справедливость, понимаемую как распределение доходов, соответствующее объективным результатам личных усилий, личного вклада каждого.

Равенство не достигается тем, что доходы богатых передаются бедным, равенство заключено в равенстве всех перед законом, равенстве шансов, возможностей и прав.

Справедливое государство — это государство, в котором действует формула справедливости: «Каждый свободен делать все что хочет, предполагая, что он не нарушает такой же свободы кого бы то ни было другого» (Спенсер Г. Справедливость. СПб., 1897, с. 39).

И христианская заповедь: «Делай другому то, что ты себе желаешь от других». Или правило Канта: «Действуй лишь по тому правилу, которое ты желал бы сделать всеобщим законом».

Отличительным признаком правового государства являются общие для всех и каждого правила общественной жизни, нарушение которых со стороны властей влечет за собой наказание. Так, использование детского труда, превышение продолжительности рабочего времени установленного законом уровня, оплата труда ниже установленного законом минимума и другие нарушения трудового и социального кодексов автоматически становятся актами судебного разбирательства, обязующего прекратить произвол, компенсировать причиненный ущерб и возместить убытки. В социальном законодательстве отражается та единая и общая для всех норма социальности, которую взялось и обязано нести на себе государство. Установление границы пенсионного обеспечения в 60 лет означает, что каждый гражданин по достижении этого возраста и при наличии определенного законом стажа работы получает гарантированное право на пенсию (независимо от лояльности, от отношения к труду, от усердия, дисциплины и взаимоотношений в коллективе).

Другой важный вопрос: где лежит грань социального гуманизма и социальной справедливости? Разные общества в разные времена и в разных культурах решали для себя эту проблему по-разному. Одни убивали стариков, другие почитали и кормили их, одни презирали блудниц, другие их сытно кормили, одни изгоняли бродяг, другие платили им пособия, одни лечили алкоголиков, другие предоставляли им свободу умереть на улице. И всякий раз находились группы бедных, обездоленных и отверженных, на которых не хватало ни самоотверженности, ни человеческой любви, ни доброты, ни милосердия.

Социализм провозгласил примат общественных интересов над личными. Эта формула использовалась и в период «военного коммунизма», и в период коллективизации и «раскулачивания», и в период мобилизационной политики индустриализации, и в период хрущевской оттепели, и в брежневский период «развитого социализма». Этот лозунг выдвинут и сегодня, в эру большой перестройки.

Есть очень большая опасность в том, что во имя демократического социализма вновь начнут приносить в жертву маленькие ценности маленького человека. Как избежать этого? Посредством правового, социально справедливого государства, заботящегося не об «общем благе» и «общей цели», а грозно и зорко стоящего на страже прав и свобод каждого из нас.

Георгий ВИРЕН

Время альманахов

ОБЗОР И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Сборники, альманахи в нашей литературе величины изменчивые, мерцающие. Годами десятки их тихо пылились на полках магазинов и библиотек, не привлекая внимания читателей. Правда, бывало, что-то да случалось! То появился в провинциальном издательстве сборник «Тарусские страницы», то «Метрополь»: даже не напечатанный, он стал событием в литературной и общественной жизни...

«Минувший год был поистине «временем альманахов»,— писала «Литературная газета» в январе 90-го. «...1989-й, похоже, запомнится нам, его современникам, как год альманахов»,— вторил ей в феврале журнал «Знамя». Это не преувеличение: сборники и альманахи, невзирая на бумажный дефицит, посыпались градом. «Весть», «Зеркала», «Слово», «Латерна магика», «Мы и наше время», «Пушкинская площадь», «Лицей на Чистых прудах», «Апрель», «Лексикон», «Встречный ход», «Московский вестник», «Хронограф-89»...

Остановившись на некоторых из них, попробуем понять, что принесли они в литературу, как меняют (если меняют) наш взгляд на нее.

Мне особенно приятно было увидеть любовно изданный том «Вести», подготовленный одноименной экспериментальной самостоятельной редакционной группой и выпущенный в свет издательством «Книжная палата». О замысле этого сборника я впервые услышал весной 1987 года от Вениамина Александровича Каверина. Сборник должен был стать первой книгой нового независимого кооперативного издательства, накопить для него, так сказать, стартовый капитал. Каверин очень надеялся, что рождение кооперативных издательств сможет сломать государственную монополию на книгоиздание, которая много лет уродует литературный процесс. Вокруг идеи «Вести» объединились и признанные мастера, и молодежь; планы были обширные... Однако в полном объеме они не осуществились, как говорится, по не зависящим от редакции обстоятельствам. Но книга вышла.

В «Вести» — воспоминания Вениамина Каверина, повесть Булата Окуджавы «Приключения секретного баптиста», рассказ Фазиля Искандера «Абхазские негры», стихотворения Давида Самойлова, Геннадия Айги, Эдуардаса Межелайтиса, Александра Кушнера, Дмитрия Сухарева... Немало писателей «андеграунда» 70-х, и звезда первой величины среди них — Венедикт Ерофеев с его повестью «Москва — Петушки». Одна из самых знаменитых самиздатовских книг, читанная нами в слепых копиях, переведенная на многие языки, пришла наконец к читателю. Есть и новые имена прозаиков — Юрий Стефанов, Александр Давыдов... Сразу бросается в глаза принцип «Вести»: практически ни одно из вошедших в него произведений по разным причинам не могло быть напечатано в Советском Союзе еще три-четыре года назад.

Тот же критерий положен в основу сборника, вышедшего в издательстве «Московский рабочий»,— «Зеркала». Там мы видим некоторые имена, фигурирующие и в «Вести»: Венедикт Ерофеев (рассказ «Василий Розанов глазами эксцентрика»), Евгений Попов (рассказ «Во времена моей молодости»), но также и другие: Татьяна Толстая, Виктор Ерофеев, Вячеслав Пьецух, Дмитрий Пригов, Владимир Салимон, Сергей Гандлевский... Две книги, общим объемом больше 50 листов, собравшие свыше четырех десятков авторов, на мой взгляд, дают широкую панораму потаенной литературы 70—80-х годов. Оговорюсь, что далее речь пойдет только о работах прозаиков, потому что поэзия современных альманахов — предмет отдельного обстоятельного разговора.

Начнем с цитаты.

«Я вышел из дому, прихватив в собой три пистолета. Один пистолет я сунул за пазуху, второй — тоже за пазуху, третий — не помню куда.

И, выходя в переулок, сказал: «Разве это жизнь? Это не жизнь, это колыхание струй и душевредительство». Божья заповедь «не убий», надо думать, распространяется и на себя самого («Не убий

себя, как бы ни было скверно»), но сегодняшний день и сегодняшняя скверна вне заповедей...

Дождь моросил отовсюду, а может, ниоткуда не моросил, мне было наплевать. Я пошел в сторону Гагаринской площади, иногда зажмуриваясь и приседая в знак скорби. Душа моя распухла от горечи, я весь от горечи распухал, щемило слева от сердца, справа от сердца тоже щемило. Все мои ближние меня оставили... И в довершение от меня сбежало последнее существо, которое попридержало бы меня на этой земле. Она уходила — я нагнал ее на лестнице. Я сказал ей: «Не покидай меня, белопупенькая!» — потом плакал полчаса, потом опять нагнал, сказал: «Благословенно-лонная, останься!» Она повернулась, плюнула мне в ботинок и ушла навеки».

Думаю, что для читателей повести «Москва — Петушки» авторство отрывка вне сомнений: Венедикт Ерофеев. Это — начало рассказа «Василий Розанов глазами эксцентрика». Творческий почерк Венедикта Ерофеева абсолютно самобытен, оригинален, узнается по нескольким строчкам. Именно в прозе Ерофеева сошлись многие черты, характерные для значительной части «андеграунда».

И первая из них, пожалуй, ирония. Она начинается с осмеяния штампов и мифов эпохи застоя, но идет дальше — против всех наработанных, нажитых за годы «строительства социализма» идеологических, социальных, литературных и иных клише. В этом особенно силен Венедикт Ерофеев. И не останавливается на этом: мы имеем дело с тотальной иронией, пронизывающей всю нашу жизнь, выворачивающей наизнанку все и вся: прагматизм и идеализм, мораль и аморальность, дружбу и любовь... Порой может показаться, что эта тотальная ирония, рожденная безверием и безнадежностью, разрушила совершенно все жизненные ценности и основы...

Но, однако, она все-таки замирает перед некими Высшими Силами, определяющими судьбу человека. Говорю столь обобщенно, потому что Высшие Силы не всегда есть Бог, но важно, что они есть — ерофеевские «ангелы», и «созвездия», и судьба, и рок, и предназначение...

Кстати, судя по «Вести» и «Зеркалам», «андеграунд» не выдвинул ни одного действительно религиозного писателя — идеи православия (как и мусульманства, и иудаизма, и буддизма), так сказать, «в чистом виде» не нашли своих проповедников в этой литературной среде, однако растворились в творчестве ряда авторов, подспудно определяя их вектор. Признание некой Высшей Силы, правящей балом жизни,— почти обязательная часть кредо «андеграунда». И это естественно: потаенная литература основана на неприятии официального мировоззрения, а значит, и уныло-вульгарного материализма, и лживого воспевания казенного «морального кодекса строителей коммунизма»...

Отсюда же — от неприятия — и выбор тем и героев: алкаш, душевнобольной, женщина легкого поведения, а если и нормальный человек, то разочарованный, уставший, измученный, утративший веру и силы жить. То есть опять-таки герой, противостоящий фигурантам официальной литературы. Впрочем, здесь необходимо уточнение.

Официально утвержденный герой, пламенный борец с хорошим ради лучшего в общем-то вымер в литературе к началу 60-х годов и в дальнейшем уже стал реликтом. И герои В. Быкова, Ф. Абрамова, В. Распутина, Ч. Айтматова, Ф. Искандера и других крупных писателей 60—70-х годов не конструировались по ждановским схемам. По сути дела, вопреки препонам и рогаткам цензуры в литературу вошли живые люди, реальная жизнь, и едва ли справедливо считать застойной всю «открытую» литературу эпохи застоя. Что же тогда не принимал «андеграунд»?

Работая в официальной литературе, писатели вынуждены были учитывать, что их поле ограждено красными флажками. И приходилось либо лавировать, искать свободные проходы между рядами флажков, либо пытаться «за флажки, жажда жизни сильней!» (по Высоцкому). Здесь были и победы, когда удавалось хоть немного расширить поле жизни, были и поражения: шла борьба. «Андеграунд» ушел от нее, чувствуя себя абсолютно свободным, не желая признавать существование любых флажков, барьеров, границ. И это наложило существенный отпечаток на всю потаенную литературу. И главное, пожалуй,— это отсутствие интереса к глобальным проблемам — социальным, политическим. В «андеграунде» 70-х годов не могли родиться ни «Жизнь и судьба», ни «Архипелаг ГУЛАГ», ни «Дети Арбата». (Поясню, что «андеграунд» — лишь часть огромного самиздата, включавшего авторов от Мережковского до Марченко; называю самиздатом не только впервые «изданное» на «Эрике», которая, как известно, «берет четыре копии», но и контрабандно проникавшие к нам зарубежные издания, и ксерокопии книг дореволюционных.) Такие произведения начинаются с хрущевской «оттепели», идут от «шестидесятников» с их горячим стремлением навеки отринуть сталинизм, улучшить, облагородить жизнь общества. Для нового поколения подпольных литераторов все это не главное.

Данное разделение, кстати, отразилось и в «Вести»: Булат Окуджава выступил в ней с повестью о том, как одного молодого человека обманом пытался завербовать КГБ, а Фазиль Искандер — с политизированным рассказом в духе «Созвездия Козлотура». Оба произведения, ясное дело, не могли быть напечатаны в 70-е годы. Они как бы опоздали в печать в конце 50-х — начале 60-х годов, по всему своему смыслу и строю относясь к литературе того времени. Оба

Ерофеевых, Толстая, Пьецух, Попов, Давыдов, Стефанов, Левитин, Лаврин в своей прозе несут иное ощущение жизни, ставят перед собой иные задачи.

Итак, писателей «подполья» объединило неприятие официальной морали, официальных правил жизни, спокойное отношение к политической тематике и попыткам перестроить наше общество, тотальная ирония, склонность к мистицизму, внимание к маргинальным слоям общества, к угрюмым углам бытия, к тайной жизни сознания... (Замечу в скобках, что расхожее представление о «подпольных» авторах как о сплошь матерщинниках и «порнографах» весьма далеко от действительности; во всяком случае, ни «Весть», ни «Зеркала» не подходят под ироничное описание некоего неподцензурного сборника, которое дал в романе «Плавающая Евразия» Тимур Пулатов: «...под обложкой Альманаха было собрано все самое скабрезное — и черный юмор, и сексопатологическое эссе под названием «Женщина-лидер», и поэма.., сплошь рифмованная лагерным матом — диалог зэка и его угрюмого охранника о свободе и неволе...»)

Есть и еще одна важная черта литераторов этого направления и поколения: неприятие официальной эстетики. Эксперименты в области формы, эстетический поиск, игра со словом вошли в кредо «андеграунда», отделили его от официальной литературы, так же, как и от писателей-традиционалистов, исповедующих принципы классического реализма.

В «Зеркалах» и в «Вести» особенно наглядно проявилось именно это качество бывшей подпольной литературы. Стилистический, языковой диапазон прозы в них весьма широк.

Скажем, Евгений Попов, сторонясь усложненности и зауми, нарочито, подчеркнуто прост. Но простота эта не совсем проста и частенько неожиданна. Попов как бы размывает границы между жизнью и литературой, плавно переводя в прозу течение собственной жизни (вернее, жизни своего условного героя — язык не поворачивается назвать его лирическим). Ирония Попова сродни шутовству, точнее — скоморошеству, а потому простота его обманчива и наивность — лукава. Он втягивает читателя в эту скоморошью игру, внешне так похожую на жизнь, но все-таки остающуюся игрой, где все вроде бы невзаправду и все вроде бы невсерьез. Но если приглядеться, вдуматься — видишь и правду, и серьезность, и драматизм... Пожалуй, это даже нельзя назвать экспериментом или эстетическим поиском: Евгений Попов давно уже все для себя нашел, а может быть, и не искал особенно — он просто живет в литературе так, как ему нравится, и предлагает желающим присоединиться к его игровому способу существования. И перед теми, кто последует за ним, жизнь «встает в ином разрезе...».

Юрий Стефанов — поэт и переводчик старофранцузских романов, а также произведений Вольтера, Расина, Ронсара, Вийона, Рембо; проза его впервые опубликована в «Вести». Утонченная, изысканная проза мастера, пристально и любовно оглядывающего мир со всеми его богатствами. Вот отрывки из его «Закудыкиной горы» — небольшой повести, состоящей из нескольких миниатюр; это детские впечатления о мире, детское открытие тайн и красот жизни.

«Первый сад, самый ближний и близкий, насаженный прадедом, взявшим привой и подвой из калужских гончарных питомников — и ни одного ствола не вымерзло с той поры,— цвел на печке. Голубые побеги коренились в кособоких ампирных вазонах и ветвились, ветвились, текли снизу вверх по чуть пожелтевшей поливе в коричневатых ссадинах и выбоинах, оплетали со всех четырех сторон срединное место дома. И особенно ярко цвели и светились с октября по апрель, а там их цветение перенимали яблони, вишни и сливы во втором саду».

И еще: «Я поднимаю веки, словно крышку оставленного без присмотра колдовского котла. Я ощущаю себя учеником чародея, самовольно проникшим в страшное святилище учителя.

Я смотрю на мир под иным углом зрения.

Безудержным броуновским пиршеством бурлит передо мною почерневший котел волшебника, разбрызгивая через край тошнотворную сладкую черемуховую накипь...»

По-моему, текст не требует комментариев, он убедительно показывает творческую манеру Юрия Стефанова, его особость, «элитарную выделку» его прозы (слова Аллы Марченко из ее статьи «Альманахи и вокруг»). И — что важно — предлагает, как и Попов, «иной угол зрения» на мир. На мой взгляд, художественные достоинства этого произведения очевидны, и лишь одно может вызвать недоумение и сожаление: почему понадобилось четырнадцать лет, чтобы оно увидело свет? Ответ — впереди.

Совсем не похож ни на Попова, ни на Стефанова Михаил Левитин (альманах «Зеркала», «Я снимаю «Крысолова» или Мертвый телефон»). Напомню, что Левитин не новичок в литературе, автор двух книг прозы: «Болеро» и «Мой друг верит». До сих пор он представлялся мне достойным продолжателем мастеров «одесской школы». В новой работе он все дальше уходит от предшественников, становится все более самостоятельным, удачно и необычно соединяя две профессии,— Левитин не только писатель, но и театральный режиссер. «Я снимаю «Крысолова»...» — пьеса. Не берусь пересказать ее сюжет. Он сложен: гриновский «Крысолов» входит в воображаемую пьесу, создаваемую героем, и одновременно — в его собственную жизнь... Речь идет и о растерянности творца, и об измельчании душ, и о взаимоотношениях супругов, и о любви, и о предательстве — короткая, но очень емкая и много-

слойная пьеса, построенная нешаблонно до дерзости. Ее мир по-театральному эксцентричен, ио его обитатели — люди из плоти и крови, а не маски комедии дель арте; Левитин ведет их по грани условного театрального действа и живой, кровоточащей жизни. Мне кажется, что Михаил Левитин находится на· пороге серьезных перемен в своем творчестве н обещает многое...

Татьяна Толстая, Виктор Ерофеев, Вячеслав Пьецух... Впрочем, о них достаточно написано в критике, и думаю, что повторяться не стоит.

А вот Александр Давыдов впервые выступил в сборнике «Весть» с повестью «Сто дней». Повесть эта — записки сумасшедшего в самом прямом смысле слова. Герой, от лица которого ведется повествование, находнтся в «доме скорби», описывает свою жизнь там и одновременно — свои видения, свое общенне с воображенным «альтер эго»... Судя по всему, диагноз героя — раздвоение личности. Мне кажется, Давыдов его устами точно определил особенности своей повести: «Давай вместе поиграем моим бредом, ведь за тем я сюда и пришел...» И далее: «Да, я псих, доктор... Да, доктор, это бред. Но есть ли что существенней этого бреда, когда рука вольно бежит по листу, выписывая вязь букв? Мы бредим миром, который отказался бредить сам, навевая нам сны». Бред сей достаточно сложен, замысловат, пронизан библейскими мотивами и намеками, а в итоге оставляет впечатление аутентичной записи потока больного сознания. Не берусь однозначно расценить повесть как удачу или фиаско, потому что лично мне чужда такого рода «клиническая» проза. Но одно ясно: повесть Давыдова вполне характерна для потаенной литературы усложненностью, вниманием к нетипичному, маргинальному герою и его сознанию, «странностью», внешней асоциальностью.

Никаких следов «балаганной» игры, бредовых фантасмагорий не найти в прозе Марка Наумова («Зеркала», рассказ «В лесу родилась елочка»). Реалистический, бытовой рассказ о том, как замученный, измордованный тяжким бытом отец семейства ищет под Новый год елку для сына. Елка, обычная елочка, — дефицит из дефицитов, ради которого несчастному отцу приходится и трястись в автобусах и электричках, и тесниться в толпе, и вступать в сделку с воришкой, и убегать от хулиганья... О Господи... Нет, все кончается хорошо! Отец достает-таки елочку, и сынишка рад, прыгает вокруг нее... Но те мучения, которые претерпел отец ради подарка, стоили ему, иаверное, не одного года жизни. Жизни, состоящей из таких вот пирровых побед... Я отмечал, что писатели «андеграунда» в целом довольно равнодушны к социально-политической тематике. Но пришло время пояснить: они равнодушны к откровенно политической, тенденциозной, партийной (в широком смысле) литературе, но отнюдь не безразличны к бедам своего народа. Вот н в рассказе Марка Наумова ни слова не говорится о Брежневе (рассказ датирован 1978 годом), о политике, о властях, никто не подвергается резкому осуждению или осмеянию... Но жнзнь показана такая безотрадная, такая мрачная (без тени сгущения красок!), что ничего и не надо о политике — и так ясно, что это за общество — развнтой социализм...

Близок рассказу Наумова и рассказ Ирины Поволоцкой «Семь Авангардов» (альманах «Зеркала»). Он тоже написан просто, без стнлистических изысков. Это историня человека, в юности своей, в тридцатые годы, свято верившего в мифы сталинского режима: бескорыстный труд на благо общества, самоотверженность во имя светлого будущего, готовность к любым личным жертвам ради построения социализма и так далее. А финал его грустен: жизнь прожита и прожита в бедности, в лишениях, а ни социализма, ни светлого будущего не построено и на его веку не будет... Вот такая судьба — и не надо ни слова о кровавых преступлениях сталинщины...

Классическая традиция русской психологической прозы и не менее старая, устойчивая традиция сочувственного внимания к «маленькому человеку» представлена в «Вести» небольшим рассказом Нины Катерли «Старушка не спеша». По сути дела, это внутренний монолог одинокой пенсионерки, убого живущей на гроши, искренне не понимающей реалий иового времени и наивно судящей его по давно утратившим силу и смысл законам своей молодости — тридцатых годов... Рассказ щемящий и трагичный, но не слезливый и не сентиментальный. Скрупулезная точность психологического анализа — то достоинство, которого часто не хватает многим авторам «андеграунда». Рассказ «Старушка не спеша» в панораме прозы «Вести» уверенно и прочно занимает эту «нишу». И «пейзаж» бывшей подпольной литературы становится целостным, завершенным.

Но для того, чтобы точнее оценить сборники «Весть» и «Зеркала», полезно, мне кажется, взглянуть на вышедший одновремеино с ними в издательстве «Московский рабочий» сборник «Лицей иа Чистых прудах». Кстати, составители всех трех сбориков декларировали свои цели.

«Зеркала»: «Сборник включает в себя произведения писателей, имена которых только входят в иашу литературу, а сами эти вещи даже вообразить напечатанными было бы невозможно еще четыре года назад. ...В сборнике нет едииообразия, невольно создаваемого общим кругом мыслей, настроений, близких дорог в поисках формы. Но общность есть — сопротивление тотальной лжи и тотальному невежеству, до сих пор едва ли не насильно насаждавшимся в литературу...»

Составители «Вести», объясняя, что сборник должен был стать первой книгой нового кооперативного издательства, так

формулирует их задачи (и первой книги, и всего издательства): «...поиск новых литературных имен и публикация произведений, без достаточных оснований отвергаемых существующими издательствами».

А «Лицеисты» пишут вот что: «Главная задача издания — представить те жизиенные наблюдения литературной молодежи и известных писателей, которые остросовременны и актуальны независимо от того, отдалены по времени от нас события, описываемые автором, или они животрепещущие, сиюминутные».

Боюсь, что составители всех трех сборников лукавят — больше или меньше, вольно или невольно, в силу ли краткости аннотаций, но все они неточны. Впрочем, не стоит их упрекать, не в аннотациях и декларациях дело. Дело в самой лнтературе. Обратимся к сборнику «Лицей...»

Сразу заметно резкое отличие прозы «мэтров» — и не только в художественном уровне.

Юрий Нагибин — рассказ «Спринтер или стайер?» — о людях сталинских времен. Лазарь Карелин — «Власть» — мафиозная жизнь высокопоставленного чиновника. Два рассказа Эдварда Радзинского — из одного из них выросла весьма известная ныне пьеса «Наш Декамерон». Великолепный рассказ рано ушедшего из жизни Натана Эйдельмана «Дуэль с царем» — на нескольких страницах сказано о судьбах русских инакомыслящих больше, чем в иных многословных статьях. Леонид Лиходеев — «Обед» — не очень увлекательная история времен первой мировой войны, похожая на случайный отрывок из некой большой работы. Все эти рассказы очень разные: разные и по тематике, и по стилистической манере, и по направленности; и вообще не очень понятно, что их свело под одну обложку...

Но основную часть сборника составляют работы молодых (или начинающих) авторов. Вот повести Михаила Германа «Там, на полустанке...» и Андрея Богословского «Осенние прогулки». Первая из них — история молодого парня, который, возвращаясь после демобилизации из армии, заехал с поручением на маленький полустанок и там случайно... женился. Семья, ребенок, работа, приработок... Дотошное, детальное, неторопливое исследование жизни... Как в рассказах Наумова и Поволоцкой, у Германа нет политических инвектив. Есть правдивое описание жизни далекого полустанка: бедность, нудная работа, теснота в доме (точнее — бараке), отсутствие радостей, кроме водки, невозможность хоть как-то поменять эту жизнь... Гибель героя — логичный, почти что неотвратимый финал.

Повесть Богословского — фактически о том же самом, но написана она на ином жизненном материале: журналист, киноактриса, музыканты, поездки по городам и весям, суматошная жизнь взахлеб, когда герои утром не знают, где окажутся вечером, а вечером понятия не имеют, где проснутся утром, — не только дом неизвестен, но даже город... И финал героя, в общем, тот же, что у Германа, разве что без крови и смерти. А суть одна, вампиловская: «Жизнь, в сущности, проиграна»...

Так же проиграна жизнь и героя рассказа Владимира Логинова «Серебряный опарыш»: погоня за материальными благами принесла ему немалый достаток, но, оказавшись в одиночестве, отверженный любимой женщиной, он опускается и странно умирает... Умирает и героиия рассказа Олега Файнштейна «Невеста льва». Ее жизнь тоже ие удалась, многолетние ее труды на благо общества, ее самоотверженность во имя построения светлого социалистического «завтра» никем не оценены, и финал — одннокая, беспросветная, серая старость...

Повторю: это хорошие повести и рассказы. Но что же они так похожи?! А если добавить еще и стилистическое сходство, то начинающие прозаики «Лицея...» — ну, не как близнецы, конечно, но как братья. К тому же практическн все повести и рассказы начинающих авторов можно определить как бытовую прозу социальной ориентации. Возникает впечатление, что чистопрудный Лицей — заведение с весьма жестким конкурсным отбором, основным критерием которого является принадлежность к строго реалистической традиции, опнсание быта и еще раз быта, обязательность социальных выводов, желательно с развенчанием — либо общественного строя, либо ложных жизненных установок. Беды во всем зтом нет, но представляется, что составители сурово процензурировали те самые «жизненные наблюдения литературной молодежи», о которых говорится в предисловии к сборнику. В нем не нашлось места тем, кто работает в манере своеобразной, необычной, экспериментальной, не нашлось места «фантасмагориям» и попыткам выработать новые «эстетические отношения искусства к действительности». Еще можно было бы понять составителей, если б они откровенно заявили: «Даешь социальность, быт, реализм! Мы — против игр н буффонад, против элитарности и экспериментов! Мы — такие, не любо — не слушай!» Так ведь нет: декларируется подход широкий, демократичный... А тем не менее сработала эстетическая цензура.

Ведь именно против этого больше всего выступал и выступает бывший «андеграунд», выходящий ныне в открытое море литературы. Если исходить из политических догм недавнего времени, то лишь немногие сочинения «Вести» и «Зеркал» могли бы быть по этим причинам отвергнуты цеизурой (в первую очередь упомянутые работы Окуджавы и Искандера). Но практически все они являются неприемлемыми с жестких эстетических позиций времеи застоя. И, по-моему, главная заслуга составителей «Вести» и «Зеркал» состоит именно в

прорыве своего рода эстетической блокады, зашоренного, узкого отношения к литературе, в борьбе против тех, кто раз и навсегда несокрушимо решил, «что такое хорошо и что такое плохо». Политическая цензура сметена, эстетическая — упорно сопротивляется. И замечательным событием нашего времени является не только то, что печатаются «Архипелаг ГУЛАГ» и «Колымские рассказы», но и то, что в литературу вошли такие разные, порой диаметрально противоположные авторы, как Венедикт и Виктор Ерофеевы, Толстая и Попов, Пьецух и Левитин, Стефанов и Герман...

Впрочем, разными могут и должны быть не только писатели, но и альманахи. Было бы некорректным требовать от всех сборников такого же принципа составления, как, скажем, в «Зеркалах». Возможна и тенденциозность, и единство направления, как эстетического, так и идейного (то есть то, что порой яростно клеймится как «групповщина», я же уверен, что это очень полезное дело, если только группа складывается по принципу творческого единства, а не по законам мафии). И важно, чтобы эта тенденциозность заявляла о себе открыто, не стесняясь самой себя. Примером «полезной групповщины» мне представляется литературно-художественный и историко-культурный альманах «Латерна магика».

Вот что говорится в «Предуведомлении» к альманаху: «Союз искусств «Латерна магика» выпускает свой первый альманах. Мы перекидываем мост к той высочайшей цивилизации, какой являлась Россия в начале нынешнего века. Эта цивилизация была потеряна. Ей на смену пришла варварская культура, которая также, в свою очередь, была потеряна (ее последний всплеск называют временем застоя). Наступает новый этап эволюции — всеобщее одичание, наиболее отчетливо выраженное пещерной эстетикой авангарда. Мы собираем под знамена Союза искусств всех тех, кому дороги традиции духовности и гуманизма, чей взор с надеждой устремлен в прошлое — живоносный источник преемственности культуры».

Это похоже на манифест. И хотя мне трудно согласиться с тем, что вся наша культура в последние семьдесят с лишним лет — это варварская культура (от Платонова до Гроссмана? От Ахматовой до Бродского? От Эйзенштейна до Тарковского?); что эстетика авангарда может быть определена как пещерная, но все же откровенность и четкость позиции составителей «Латерна магика» в известной степени подкупают.

В отличие от большинства современных альманахов «Латерна магика» включает и работы зарубежных авторов. Это статья Джорджа Оруэлла «Литература и тоталитаризм», историческое эссе Генриха Роутси о Павле I из книги «Ожидающая культура», отрывок из книги Карла Кенига «Брат зверь», повествующей о странствиях угрей и лососей. Включены в сборник и глава из философской книги Андрея Белого «История самосознающей души», и отрывки из воспоминаний первой жены Максимилиана Волошина Маргариты Сабашниковой, отрывок из книги протоиерея Александра Меня «Магизм и единобожие», переводы латинской и немецкой поэзии Сергея Аверинцева, исследование Лилит Козловой о поэзии и личности Марины Цветаевой. А кроме того — поэзия и проза Ольги Седаковой, стихи Сергея Гражданкина, Елены Огневой, Лии Владимировой, проза Василия Моксякова, Анны Бернштейн, Марианны Веховой, Миры Плющ, Владимира Ерохина; Венедикт Ерофеев представлен знакомым нам по «Зеркалам» рассказом «Василий Розанов глазами эксцентрика».

Смею думать, что не все авторы сборника подписались бы под приведенным выше манифестом «Латерна магика». Но, как уже говорилось, дело не в декларациях,— можно, оказывается, клеймить эстетику авангарда и включать в сборник произведения заядлых авангардистов. Подобная непоследовательность дает, однако, положительный результат — проза в сборнике представлена самая разнообразная.

«Часть души» — отрывок из книги Василия Моксякова «Русские ночи» — поначалу навевает воспоминания о «Смиренном кладбище» С. Каледина: та же среда и похожий круг лиц — кладбищенские рабочие. Но быстро понимаешь, что на этом сходство с повестью Каледина кончается. Василий Моксяков не ставит своей целью «открыть» жизнь кладбищенских рабочих, для него это лишь обстоятельства места действия, не больше.

В центре внимания откопанный «покойник» — человек, похороненный после того, как заснул летаргическим сном. В могиле он пробудился, рабочие случайно услышали шум, откопали его, он пришел в себя, однако потерял дар речи. Некоторое время он живет в домике рабочих на кладбище, входит в их как бы «семью». Впрочем, не в этом суть работы Моксякова. Помимо небанальной истории ожившего покойника, «Часть души» уснащена различными «побасенками» — забавными случаями из жизни, вероятно, в сумме претендующими на нечто вроде группового портрета русских, на художественное открытие русской души. Во всяком случае, я понял именно так, хотя делать окончательные выводы трудно: к сожалению, и эта работа, и многие другие в «Латерна магика» представлены в отрывках — это показалось мне недостатком сборника, так как производит клочковатое впечатление, лишает законченности и порой порождает вопросы, на которые не может быть ответов.

Рядом с оригинальными побасенками Моксякова — работа Владимира Ерохина «Возвращение в Тамбов» (опять-таки — из романа «Вожделенное отечество»). Это воспоминания автора о юности, проведенной в Тамбове, судя по всему, вполне автобиографичные. Построена вещь без сюжета, импрессионистично. Это не просто воспоминания, но и своего рода попытка самоанализа. Ерохин пишет: «Я думаю о тех людях, из которых складывается мой автопортрет. Они отражаются в моих глазах, как и дома, события. Ведь единственная реальность — человеческая душа, сознание, все сущее существует в нашем сознании. Все, что я знаю, что есть в моей памяти и душе, и составляет мой автопортрет». По стилистике и сути близки к работе Ерохина воспоминания Миры Плющ «Эвакуация» — о жизни в Средней Азии в военные годы.

Рассказы Анны Бернштейн «Стена» и «Апельсины» — яркий образец абсурдистской юмористики, гротескного изображения нашей жизни, столь богатой на сюжеты, в которых реальная жизнь оказывается чертовщиной, а нелепая абсурдность становится фактом.

В аннотации сборника, подготовленной Эми Нельсон из университета штата Мичиган (США), рассказ Ольги Седаковой «Хэддн Лук» представлен так: «Блестящие, утонченные словесные игры поэта, глядящего на обыденную жизнь и существование». Я привожу эту оценку, чтобы сбалансировать собственную, а именно: набор красивых и малопонятных фраз, еле-еле скрепленный почти неразличимым образом главной героини. Могу согласиться с Эми Нельсон, что это словесная игра, однако смысл ее для меня — увы — остался закрытым (да и не убежден я в том, что он вообще есть; не исключаю, что Ольга Седакова решила поиграть в прозаическое слово, в виде эксперимента подчинить его поэтическим моделям; то, что Седакова — поэт талантливый, убедительно демонстрирует подборка ее стихов, открывающая сборник).

Что же объединяет, скрепляет «Латерна магика»? Не только обращение к культуре начала века, к потерянной, по мнению составителей, цивилизации. Да, сборник отличается высоким уровнем интеллигентности, серьезностью — вплоть до научности — в подходе к коренным вопросам бытия, философичностью, нескрываемой элитарностью, своего рода аристократизмом образованности. Но такой подход не зашоривает составителей, не заставляет их прибегать к эстетической цензуре, а лишь устанавливает довольно высокий порог качества прозы, поэзии, эссеистики. И позволяет сохранить ценнейшее качество — разнообразие писательских стилей, направлений, жанров.

Сборник «Мы и наше время», изданный «Молодой гвардией», так же, как и «Лицей», объединил опытных прозаиков (Сергея Залыгина, Валентина Распутина, Владимира Крупина) и менее известных, но уже зарекомендовавших себя профессиональными работами: Николая Шипилова, Александра Белая, Владимира Карпова, Ивана Евсеенко. Трудно подвести общий знаменатель под собранные в книге повести, рассказы и очерки. Но если все же попытаться сделать это, то можно выделить такие характерные черты (говорю о художественной прозе, а не о публицистике сборника): внимание к жизни простонародья, главным образом деревенского, поселкового, к изгоям общества, обиженным и убогим; приверженность реалистической манере письма. Есть и некоторая «фотографичность» прозы, то есть авторы точно подмечают характеры и явления, однако не ставят своей целью выйти на обобщение, осмыслить явление в целом или создать типический характер. Если же и предпринимаются попытки обобщения, то они, как правило, идут в русле устоявшихся мнений и не несут открытия (характерный пример — рассказ Надежды Перминовой «Плывущие мимо» — о городских жителях, равнодушно путешествующих мимо разоренных деревень русского Севера). Впрочем, мои выводы не совсем точны, так как в некоторых рассказах присутствуют и городская жизнь, и своеобычная манера письма (скажем, «Твой Чижик» и «Площадь» Ирины Полянской), есть и интересные психологические наблюдения («Святое письмо» Владимира Карпова — писателя из Электростали). Трагическая тема афганской войны представлена сильным рассказом Олега Хандуся «Он был мой самый лучший друг»...

Если попробовать судить о новой генерации прозаиков только по сборнику «Мы и наше время», то, пожалуй, можно было бы заключить, что в литературный процесс 90-х годов входят достаточно зрелые профессиональные писатели, которые, однако, не несут нового взгляда на жизнь и литературу, следуя по колее, намеченной предшественниками-мастерами. Но на самом деле картина иная. Ведь «Мы и наше время» вливается в разнообразный и сильный поток новой прозы, представленной многими другими альманахами и сборниками, и находит в нем свое место. Не претендуя на открытия, авторы сборника честно пишут о жизни, избирая те ее области, которые им знакомы и близки. Составитель сборника Эрнст Сафонов подчеркивает: «Убеждены, что все эти произведения — при понятной разности в содержании, при неодинаковости достигнутой в них художественности — находятся в русле основного требования книги: в них пульсирует встревоженность времени... в них прорисовываются образы, характеры современников».

В принципе по сходному критерию построены и альманахи «Апрель», издаваемые одноименной Всесоюзной писательской ассоциацией. Для них, правда, характерны насыщенность публицистикой, высокая степень политизации и одновременно — поиск прозы, сочетающей своеобразную, необычную манеру письма с острой социальной проблематикой (например, повесть Александра Терехова

«Зёма» в первом выпуске). Однако альманахи «Апрель» постепенно становятся заметным явлением современного литературного процесса и поэтому, на наш взгляд, заслуживают более подробного разговора.

Разность, разноликость сборников и альманахов, как собранных «под идею», так и «свободных»,— наверное, и есть главное достижение минувшего литературного года. Некоторые критики считают, что сегодняшняя литература не дает высоких образцов, сравнимых с «Доктором Живаго», «Жизнью и судьбой»... Пожалуй, что так. Но все же постепенно начинается накопление нового качества литературы, расширение ее диапазона. На мой взгляд, именно так и создается почва для будущего рождения вершинных произведений. Впрочем, не будем торопиться и выдавать желаемое за действительное: судя по всему, эта почва возникнет не завтра.

Литература — разная, писатели — разные. Боже, какая простая, да что простая — примитивная истина! И как же медленно ее осознание пробивает себе дорогу в журналах и издательствах. Сейчас немало говорится о низкой политической культуре нашего общества, о неумении спорить. В СП СССР даже прошел пленум совета по критике и литературоведению на тему «О культуре дискуссий» — хорошая тема для школьного классного часа оказалась вполне актуальной для «инженеров человеческих душ». Думаю, что в основе бескультурья — нетерпимость и властная самоуверенность. И это полностью относится к литературной сфере, в которой редакторы и издатели из поколения в поколение чувствуют себя всезнающими и всевластными хозяевами рукописей бесправных авторов, судьями, чей приговор окончателен.

И не потому ли посыпался град альманахов, многие из которых нечто вроде заявки на будущий журнал или даже издательство, что нынешние, уже перестроившиеся, журналы охотно печатают Солженицына и Аксенова, Аверченко и Алданова, Войновича и Лимонова, но в отношении «другой» прозы все еще медлительны и осторожны (чтоб не сказать «ленивы и нелюбопытны»). А порой — и нетерпимы...

Радоваться пока нечему: появление нескольких десятков произведений «другой» литературы ситуации еще не изменило. Скажу больше: тот факт, что они пробиваются медленно,— полбеды. Дело обстоит еще хуже: мучительно медленным путем идет к читателям литература в ч е р а ш н е г о д н я. Сборники, о которых веду речь, вышли из печати недавно — не более года назад. Но написано когда! Посмотрите: «Москва — Петушки» — 1969, «Там, на полустанке...» — 1969, «Василий Розанов глазами эксцентрика» — 1973, «Закудыкина гора» — 1975, «Приключения секретного баптиста» — 1973—1988, «В лесу родилась елочка» — 1978, «Во времена моей молодости» — 1980, «Билли Бонс» — 1981, «Бердяев» — 1981, «Сто дней» — 1984—1986... Большинство произведений, о которых я говорил, и, судя по всему, большинство работ, составивших сборники,— 70-х и начала 80-х годов. Это литература времен застоя!

(Другое дело, повторю еще раз, что никакого застоя в нашей литературе не было,— был застой в издательской деятельности, а значительная часть отличной литературы ушла в самиздат или отлеживалась в столах — в этом я вполне согласен с американскими исследователями Петром Вайлем и Александром Генисом, статья которых напечатана в феврале 1990 года в «Огоньке»; и рецензируемые сборники, по-моему, убедительное подтверждение этой мысли; так что «застой» в данном случае не определение качества прозы, а лишь ярлык эпохи.)

Таким образом, явленное нам «подполье» 70-х — начала 80-х принадлежит к тому потоку «возвращенной литературы», который уже несколько лет главенствует на журнальных страницах и, очевидно, сможет доминировать еще некоторое, не такое уж малое время. Лучшие из работ, собранных в «Вести», «Зеркалах», «Лицее», «Латерна магика», на мой взгляд, становятся, если уже не стали, историей. Они отразили прошлые настроения людей, реалии прошлой жизни, они рождены ушедшей эпохой, вспоены и вскормлены ею. Думаю, что многие упомянутые мной авторы сборников так и не смогут вырваться за пределы миросозерцания, возникшего в те годы, останутся «бардами времен застоя». Это вовсе не упрек, это — неизбежность, потому что сложившиеся за десятилетия взгляды на жизнь не могут меняться со скоростью политической перестройки.

Но литература сегодняшняя уже есть. В огромном большинстве — в рукописях. Если вновь победит эстетическая цензура (осложняемая клановыми боями), то мы прочтем эту прозу послезавтра. Вайль и Генис видят выход в скрещении издательских возможностей зарубежья и творческого потенциала молодых авторов «метрополии». Очень разумно. Но только ли это? Неужели и в этой сфере единственным нашим спасением станут совместные предприятия?!

Ведь главное значение «Вести», «Зеркал», других сборников и альманахов, представивших нам «подполье» 70-х — начала 80-х, для сегодняшней литературы заключается, по-моему, в том, что они начали прорыв эстетической зашоренности, эстетического единомыслия. Они показывают, что литература может и должна быть разной, что лишь многоцветие и многообразие обеспечат ее жизнеспособность. Мы не знаем, какой будет литература последних лет XX века. Но если она будет разной — она будет живой.

Из истории общественно-литературной борьбы 60-х годов

ТВАРДОВСКИЙ, СОЛЖЕНИЦЫН, «НОВЫЙ МИР» ПО ДОКУМЕНТАМ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР. 1967—1970

II. «ДЕЛО СОЛЖЕНИЦЫНА»

(сентябрь 1967 г.)

От составителя. Во второй половине мая 1967 г. в литературной жизни страны произошло важное событие. Состоялся IV Всесоюзный съезд писателей. Однако не сам по себе этот съезд, парадное, сугубо казенное мероприятие, своей заведомой, заранее организованной бессодержательностью вполне типичное для начинающейся «эпохи застоя»,— событием стало то, что произошло непосредственно перед съездом и весьма сильно наэлектризовало литературную общественность. Речь идет о «Письме IV-му Всесоюзному съезду Союза советских писателей», написанном А. И. Солженицыным 16 мая и разосланном по 250 адресам — преимущественно известным писателям и в редакции газет и журналов.

Первой из основных тем «Письма» было «то нетерпимое дальше угнетение, которому наша художественная литература из десятилетия в десятилетие подвергается со стороны цензуры... Не предусмотренная конституцией и потому незаконная, нигде публично не называемая, цензура под затуманенным именем «Главлита» тяготеет над нашей художественной литературой и осуществляет произвол литературно неграмотных людей над писателями» (цит. по журналу «Слово», 1989, № 8, с. 82). С большой силой и убедительностью развив этот тезис, автор резюмировал: **«Я предлагаю Съезду принять требование и добиться упразднения всякой — явной или скрытой — цензуры над художественными произведениями, освободить издательства от повинности получать разрешение на каждый печатный лист»** (там же).

Во второй половине письма, предложив «четко сформулировать» в Уставе Союза писателей «все те гарантии защиты, которые предоставляет союз своим членам, подвергшимся клевете и несправедливым преследованиям» (там же), Солженицын в перечне преследований (сведенных им в 8 пунктов), которым в 1965—1967 годах подвергся он сам, назвал, в частности, следующие:

«1. Мой роман «В круге первом» (35 авт. листов) скоро два года, как отнят у меня государственной безопасностью, и этим задерживается его редакционное движение. Напротив, еще при моей жизни, вопреки моей воле и даже без моего ведома этот роман «издан» противоестественным «закрытым» изданием для чтения в избранном неназываемом кругу...

2. Вместе с романом у меня отобран мой литературный архив 20- и 15-летней давности, вещи, не предназначавшиеся к печати. Закрыто «изданы» и в том же кругу распространяются тенденциозные извлечения из этого архива. Пьеса «Пир победителей», написанная мною в стихах наизусть в лагере, когда я ходил под четырьмя номерами (когда, обреченные на смерть измором, мы были забыты обществом и вне лагерей никто не выступил против репрессий), давно покинутая эта пьеса теперь приписывается мне как самоновейшая моя работа.

3. Уже три года ведется против меня, всю войну провоевавшего командира батареи, награжденного боевыми орденами, безответственная клевета: что я отбывал срок как уголовник или сдался в плен (я никогда там не был), «изменил Родине», служил у немцев. Так истолковываются 11 лет моих лагерей и ссылки, куда я попал за критику Сталина...

Так моя работа окончательно заглушена, замкнута и оболгана» (там же, с. 82—83).

Яркое произведение бесцензурной публицистики, лишь начинавшей тогда возрождаться в нашей стране, «Письмо» получило широкое распространение, и не только среди писателей. многие из

П р о д о л ж е н и е. Начало см. в № а за 1990 г.

которых, в свою очередь, в индивидуальных и коллективных письмах на съезд высказались в поддержку и в защиту Солженицына. Хотя состав делегатов, а тем более выступающих был заранее тщательно просеян, руководителям Союза писателей пришлось очень крепко держать в руках вожжи, чтобы ни само «Письмо», ни поддержка его идеям не прозвучали с трибуны съезда. Это им удалось, но напряжение, которое испытывал президиум, его страх, как бы не произошло что-то незапланированное, ощущали и сидящие в зале. Можно себе представить, какой вздох облегчения испустило руководство Союза и кураторы из ЦК, когда все обошлось «без эксцессов», когда было выбрано — по заранее составленному списку — новое правление СП СССР, а на состоявшемся тут же пленуме правления — еще более жестко отобранный и загодя утвержденный в «инстанциях» новый (то есть фактически старый) Секретариат.

Стенограмма первого послесъездовского заседания Секретариата, состоявшегося 29 мая 1967 года (оп. 37, пор. 198; обнаружена А. Воздвиженской) живо и ощутимо воссоздает атмосферу, царившую на подобных совещаниях, когда они проходили без посторонних, в своем кругу, где все были более или менее заодно. Твардовского нет; убежденный, что судьбы литературы решаются не здесь, равно как и не на съездах, пленумах и пр., он на такие мероприятия давно уже ходит очень редко, только при какой-либо реальной необходимости. Все течет как по маслу: краткая, чисто ритуальная (поскольку тоже предустановлена свыше) церемония распределения «портфелей», собственно, подтверждения, что все они сохраняются за прежними владельцами,— без каких-либо альтернативных кандидатур, даже без обсуждения...

Г. М. Марков. Позвольте мне просто по старой памяти, потому что я не имею сейчас никаких прав и оснований, открыть наше заседание. Нам надо обсудить вопрос, кто у нас поведет дела...

Соболев Л. С. Оставить на вахте тех, кто был.

Воронков К. В. Мы советовались с К. А. Фединым и с товарищами, нашими руководителями из ЦК. Есть такое предложение: избрать второго секретаря Союза писателей СССР. Есть предложение избрать на эту должность Георгия Мокеевича Маркова. Если вы все согласны, ему и командовать. Кто за это предложение, прошу проголосовать. Кто против? Никто.

Марков Г. М. Я благодарю за оказанное мне доверие и хочу сразу поставить еще один вопрос. Уже надо отправлять делегации в Баку и Пушкинские места. Надо кому-то распоряжаться, подписывать командировки, доверенности, распоряжаться кредитами. Давайте решим вопрос о секретаре, который поведет наши общие вопросы, связанные с аппаратом и т. д. (**С места.** Константина Васильевича, Воронкова.) Будут ли какие другие соображения? Нет. Необходимо голосовать. Кто за это предложение, прошу поднять руки. Против? Нет. Тогда, Константин Васильевич, приступайте к своим обязанностям. Нам сегодня надо решить ряд неотложных вопросов. Надо выпускать «Литературную газету». Есть предложение в должности главного редактора «Литературной газеты» утвердить секретаря правления Чаковского Александра Борисовича. Нет других предложений? Проголосуем. Кто за это предложение? Кто против? Против нет» (лл. 1—2).

Теперь пора переходить к очередным делам. Главная забота — письмо Солженицына, в связи с чем обсуждаются в основном три вопроса: 1) цензура; 2) как быть с автором письма; 3) как быть с поддержавшими его писателями?

Солженицын, вероятно, был бы удивлен, если бы узнал, что его филиппика против цензуры нашла известный отклик даже здесь, в обществе людей с вполне благополучными литературными биографиями, а политически вполне благонадежных.

С. В. Михалков. «Что касается цензуры, то мне кажется, что наш Секретариат должен решить этот вопрос в рабочем порядке в ЦК. Там, по-моему, в кадрах дело. Там есть хорошие редакторы[1], очень образованные, а есть такие, которые перестраховываются. Сейчас появилась тенденция, когда в одном городе разрешают, а в другом запрещают. Раньше, когда Главлит ставил разрешение, это было обязательно для всех» (лл. 6—7).

Н. П. Бажан. «К сожалению, Главлит не ограничивается своими компетенциями. Если они видят имя, похожее на китайское, сразу запрещают» (л. 14).

Были и более решительные высказывания.

Л. Н. Новиченко. «О цензуре. Сейчас под предлогом «нельзя омрачать праздник» режутся многие вещи[2]».

А. А. Сурков. «Наш общественный долг разобраться в этом деле, потому что сейчас очень много претензий» (л. 8).

К. М. Симонов. «...Есть вопросы, которые надо принципиально ставить. На Секретариате должна быть обсуждена рукопись романа Ажаева. Мы должны настоять, чтобы он был напечатан[3]. За ним вскрывается ряд вопросов, связанных с цензурой, и в ЦК неверное отношение. На материале романа Ажаева предлагаю поставить целый ряд вопросов, связанных с этим» (л. 22).

Однако звучали и остерегающие голоса. В частности, Н. М. Грибачева, который весьма прозрачно намекнул своим

[1] Официальное наименование сотрудников Главлита.

[2] 50-летие Октябрьской революции явилось для партийного руководства удобным поводом к резкому ужесточению цензуры.

[3] Роман В. Ажаева «Вагон» был опубликован лишь в 1988 г. («Дружба народов». №№ 6—8), через 20 лет после смерти автора.

собеседникам, что, раздражаясь против власти Главлита, они, по существу, посягают на неприкосновенность основ: «Прежде всего, когда мы заходим на какой-нибудь вопрос, давайте не дипломатничать между собой. Это относится прежде всего к вопросу цензуры. Я по роду моей работы, как главный редактор журнала («Советский Союз».— **Ю. Б.**), тоже сталкиваюсь с цензурой и знаю, что по литературным вопросам цензура ничем не уполномочена ведать, ее обязанность — охранять государственные устои и интересы советского государства. Когда мне говорят о нелюбимом красном карандаше, хотя бы говорили и наши товарищи, мне становится неприятно. Цензура как таковая не задерживала произведений, цензура докладывала свои соображения в ЦК, и там решали вопрос... При чем здесь «Раковый корпус» и цензура, если этот роман не согласилось печатать ни одно издательство? По отношению ко многим вещам происходит такое, зачем же кивать на цензуру?» (лл. 8—9).

Что цензура как таковая не задерживала произведений — это была, конечно, заведомая неправда, но зато полной правдой было то, что в условиях унифицированной печати самым первым и самым жестким цензором является редактор,— для того он и назначен. Это подтвердил В. М. Кожевников: «Некоторые редакции отвечают, что рукописи задержаны цензурой, а на самом деле в цензуру они не поступали. Из опыта нашей редакции. У нас в продолжение 19 лет, когда я работаю (главным редактором журнала «Знамя».— **Ю. Б.**), не было ни одной рукописи, задержанной цензурой» (л. 13). То есть все, что следовало задержать, задерживалось самой редакцией[4].

В резюмирующем выступлении Г. М. Маркова вопрос о цензуре не затрагивался вовсе; таким образом, первая и главная тема письма Солженицына была оставлена руководством Союза писателей без ответа, ушла в песок.

Как быть с самим Солженицыным? Подобно обсуждению вопроса о цензуре стенограмма и здесь фиксирует некоторое промежуточное состояние умов, характерное для периода между хрущевской «оттепелью» и полной реставрацией партийно-бюрократической диктатуры (в ее новых, бескровных формах). Отсюда, помимо индивидуальных оттенков, порой довольно значительных, некоторая общая двойственность отношения руководителей Союза писателей к обрисованному в письме положению и личности опального литератора, уже переставшего быть для них тем Солженицыным, которого в недавнем прошлом выдвигали на Ленинскую премию, и еще не ставшего тем, кого в недалеком будущем примутся открыто поносить как «литературного власовца».

Воспроизвожу наиболее существенные высказывания.

Г. М. Марков. «...Мы сделаем так. Солженицына пригласим в ближайшее время. Может быть, сначала поговорит группа из 3—5 человек. Надо поговорить, узнаем, чем можно помочь. Потом соберемся, чтобы поговорить по принципиальным вопросам. Тогда требуется совет всех. Некоторые нужды его, например, выпуск сборника рассказов, это можно решить[5]. Что касается его рукописей, его романов, потребуется время[6]» (лл. 3—4).

С. В. Михалков. «Когда обсуждался роман Солженицына[7], то мнения были разные. В частности, выступал Кедрин[8]. Он отмечал способность автора, но сказал ряд конкретных, серьезных замечаний. Солженицын согласился с ним, сказал, что очень благодарен за критику и учтет все это. Значит, если бы он доработал свой роман, его можно было бы издать. Что же касается того, что он забил тревогу и приходил в МО (Московское отделение Союза писателей.— **Ю. Б.**) и говорил по поводу своей пьесы «Пир победителей», то эта пьеса, как он объяснил, была написана в состоянии, когда он был в лагере. Но он не зачеркивает, он ее хранил как произведение искусства, а пьеса эта власовская, типичная эсеровщина, и вряд ли он напишет письмо, что он отказывается от этих своих произведений. Издать его книжку рассказов, пособие дать — это одно дело. Использование того, что у нас некоторые романы долго читаются и задержались, и он написал вместе с Копелевым[9] на весь мир письмо,— это вопрос другой. Так свое творчество не защищают» (л. 6).

А. А. Сурков. «Письмо Солженицына — политический документ... Солженицын не адресовался съезду[10], не предполагал, что это обсуждение будет на съезде, он достаточно умный и серьезный человек. Человек идейный, и поэтому ни материальное вспомоществование, ни другое этот вопрос не решит. Его можно решить только большим, серьезным, политическим разговором... Я, например, не знаю, не читал «Раковый корпус», а

[4] В. М. Кожевников умолчал из скромности о такой грани своего цензорского опыта, как передача в КГБ рукописи романа Гроссмана «Жизнь и судьба».

[5] Сборник так и не появился

[6] Потребовалось 22 года.

[7] Имеется в виду обсуждение I части романа «Раковый корпус» секцией прозы Московской писательской организации 16 ноября 1966 г. в Центральном доме литераторов.

[8] Ошибка стенографистки: на обсуждении выступала З. Кедрина. С. Михалков опирается на выступление критика, чья политическая благонадежность была доказана ее памятным участием в качестве «общественного обвинителя» на процессе Синявского и Даниэля.

[9] Копелев Лев Зиновьевич, писатель, германист, товарищ Солженицына по лагерю. С середины 60-х годов публично выступал в защиту Солженицына, а также других диссидентов. С 1980 г. в эмиграции.

[10] В том смысле, что, по существу, он адресовался не к съезду.

в Московской секции эта рукопись проходила «на ура». Товарищи, это не частный вопрос. Солженицын — это вопрос нашей общественной атмосферы, и отсюда никуда не уйдешь. Этот вопрос надо решать» (лл. 7—8). И, как бы спохватившись: «Я прочитал пьесу Солженицына — это пьеса идейного противника, который этого не скрывает».

Н. М. Грибачев. «Я не имею ничего против Солженицына как человека, но у меня сразу закрадывается подозрение, что это хитрый, тактический и стратегический человек с дальним прицелом. Солженицын заинтересован вовсе не в напечатании своего романа как такового, ведь это можно попытаться сделать, и не в пособии, потому что, если бы он сказал, что ему трудно, Союз бы ему помог. Солженицын заинтересован в лаврах мученика и борца за справедливость. Именно поэтому так кокетлива и нехороша последняя фраза: «Умру...» [11]. Это же безнравственно. Поэтому мы столкнулись в данном случае, как мне кажется, с очень зрелым, хорошо обдуманным ходом, которым Солженицын хочет показать «кузькину мать» и Союзу писателей, и Советской власти... «Пир победителей» — власовская пьеса. Отказывается он от нее? Пусть прямо напишет, от каких произведений он отказывается. Сначала с Солженицыным должен поговорить кто-то один, или Константин Александрович, или Георгий Мокеевич. Посмотреть, позондировать. Пять человек ничего не узнают. Лучше один-два, но не надо собирать много, чтобы это было доверительно, с интимностью. А потом, исходя из этого, можно двигаться дальше... В крайнем случае, если нам не удастся договориться с Солженицыным, если письмо будет опубликовано (на Западе.— **Ю. Б.**) и группа (поддержавших его писателей.— **Ю. Б.**) будет настаивать на своем, у меня есть предложение. Давайте договоримся с ЦК партии и уговорим разрешить опубликовать пьесу Солженицына «Пир победителей» с коротким предисловием: «Дорогие товарищи, советские читатели, прочитайте сами и решите». Ведь он будет вторым Тарсисом [12], которому руки не подадут. Опубликовать — и пусть тогда Солженицын отвечает перед народом» (лл. 9—10).

Эта высоконравственная идея — опубликовать вопреки протестам автора выкраденное у него произведение — была поддержана Л. С. Соболевым: «Ваше предложение мне чрезвычайно нравится, занимает меня... Здесь надо взвесить, какой процент читателей будет смаковать эту вещь с полным политическим сознанием и какой процент будет негодовать. Предложение Грибачева такое, что от него отмахиваться нельзя» (л. 16).

Л. Н. Новиченко. «Я читал «Пир победителей». У меня к нему такое же непримиримое отрицательное отношение, как отношение автора к Конституции, Советской власти. Если т. Солженицын требует свободы печати для таких вещей или отдаленно на них похожих, ему надо давать прямой политический ответ» (л. 19).

К. М. Симонов. «О Солженицыне. Надо написать ему письмо, что прежде чем обсуждать Ваше творчество, хотелось бы прочитать произведения, которые Вы сами называете... Пусть он напишет письмо до всякого разговора с нами. Если же вопрос встанет очень остро, я поддерживаю предложение Грибачева» (л. 22).

Г. М. Марков, резюмируя. «С Солженицыным. Тактика определилась. В ходе еще раз посоветуемся. Разумеется, с письма (Солженицыну.— **Ю. Б.**) надо начинать. Надо не одного человека, но чтобы при сем присутствовали 2—3 человека. И, наконец, обсуждение, которое, разумеется, предполагает широкое ознакомление» (л. 23), <то есть ознакомление всего Секретариата, в том числе его немосковских членов, с неопубликованными произведениями Солженицына>.

Что касается писательских обращений в поддержку Солженицына, то тут более всего важна информация К. В. Воронкова: «В защиту Солженицына поступил ряд писем от известных литераторов, и групповые письма, и даже письма, которые подписываются десятками делегатов съезда. У нас есть коллективные письма, даже Паустовского нашли и дали подписать. Есть письма с требованием обсудить это письмо (Солженицына.— **Ю. Б.**) на съезде» (л. 2) [13]. По этому поводу в некоторых выступлениях прозвучали ноты раздражения и тревоги.

Н. М. Грибачев. «Что касается больших групп подписавшихся. Я должен сказать, что наш съезд прошел в атмосфере сплочения... Но та большая группа подписавших письмо <по поводу> Солженицына, мне кажется, тем самым создала известную трещину, которая может усугубляться. Дело серьезное и сложное. Очень много коммунистов. Сейчас законы партийной жизни показывают, что надо с ними как с коммунистами поговорить, обсудить, добиться согласия стоит. Те, кто просит уделить внимание писателю,— это правильная позиция. А с такими, как Копелев, надо говорить серьезно... по-партийному предъявлять счет до конца, а не наполовину».

[11] Письмо кончалось словами: «Я спокоен конечно, что свою писательскую задачу я выполню при всех обстоятельствах, а из могилы — еще успешнее и неоспоримее, чем живой. Никому не перегородить путей правды, и за движение ее я готов принять и смерть. Но, может быть, многие уроки научат нас не останавливать пера писателя при жизни» (см. «Слово», 1989, № 8, с. 83).

[12] Тарсис Валерий Яковлевич (1906—1983), писатель. В 1962 г. опубликовал на Западе сатирическую повесть «Сказание о синей мухе», после чего был арестован и помещен в психиатрическую клинику. В 1963 г. вышел из КПСС и Союза писателей. С 1966 г. в эмиграции.

[13] Обнаружить названные письма (как и вообще почту съезда) не удалось. Скорее всего они были уничтожены. Но если сохранились копии, их следовало бы опубликовать как ценный материал для истории литературы и общественного сознания.

С. В. Михалков. «На партгруппу надо его вызвать» (л. 10).

Но в целом у присутствующих не было ясного плана, как поступать с подобным широким проявлением инакомыслия в писательской среде, и решение вопроса было отложено до переговоров с Солженицыным.

О том, как развивались события на протяжении трех последующих месяцев, можно составить представление по письму Солженицына, с которым он обратился к руководству Союза писателей 12 сентября 1967 года (в нашей стране оно опубликовано в ж. «Слово», 1989, № 8). Поскольку оно явилось непосредственным поводом к созыву заседания, стенограмма которого публикуется ниже и участники которого часто на него ссылаются, имеет смысл воспроизвести его полностью.

В секретариат правления Союза писателей СССР
Всем секретарям правления

Мое письмо IV съезду Союза писателей, хотя и поддержанное более чем ста писателями, осталось без оглашения и без ответа. Лишь распространились единообразные, по-видимому, централизованные, слухи, успокаивающие общественное мнение: будто архив и роман мне возвращены, будто печатается «Раковый корпус» и книга рассказов. Но все это — ложь, как вы знаете.

Секретари правления СП СССР Г. Марков, К. Воронков, С. Сартаков, Л. Соболев в беседе со мной 12 июня 1967 г. заявили, что правление СП считает своим долгом публично опровергнуть низкую клевету, распространявшуюся обо мне и моей военной биографии. Но не только не последовало опровержения, а клевета не унимается: на закрытых инструктажах, активах, семинарах агитаторов обо мне распространяется новый фантастический вздор — вроде того, что я бежал в Арабскую республику не то в Англию (хотел бы заверить клеветников, что они побегут скорей). Наиболее же настойчиво видными лицами выражается сожаление, что я не умер в лагере, что был освобожден оттуда. (Впрочем, и сразу после «Ивана Денисовича» такие сожаления уже выражались. Теперь эта книга тайно изымается из библиотечного пользования.)

Те же секретари правления обещали «рассмотреть вопрос» по крайней мере о печатании моей последней повести «Раковый корпус». Но за три месяца — четверть года! — и это нисколько не сдвинулось. За три месяца сорок два секретаря правления не оказались способны ни вынести оценку повести, ни принять рекомендацию о ее печатании. В этом странном равновесии — без прямого запрета и без прямого дозволения — моя повесть существует уже более года, с лета 1966-го. Сейчас журнал «Новый мир» хочет печатать эту повесть, однако не имеет разрешения.

Думает ли Секретариат, что от такой бесконечной затяжки моя повесть тихо изникнет, перестанет существовать и не надо будет голосовать о включении или невключении ее в отечественную литературу? А между тем, начиная с писателей, она охотно читается. По воле читателей она уже разошлась в сотнях машинописных экземпляров. При встрече 12 июня я предупредил Секретариат, что надо спешить ее печатать, если мы хотим ее появления сперва на русском языке; что в таких условиях мы не сможем остановить ее неконтролируемого появления на Западе.

После многомесячной бессмысленной затяжки приходит пора заявить: если так произойдет, то по явной вине (а может быть, и по тайному желанию) секретариата правления СП СССР.

Я настаиваю на опубликовании моей повести безотлагательно!

Солженицын (подпись)

12 сентября 1967 г.

Хотя заседание, на котором Солженицыну должен был противостоять возможно более полный состав Секретариата, планировалось заранее, получение письма, без сомнения, ускорило его созыв. Уже в ближайшие два-три дня иногородним секретарям были разосланы за подписью Воронкова телеграммы следующего содержания: «Заседание секретариата правления Союза писателей СССР созывается утром пятницу 22 сентября. Ввиду важности вопроса Ваше присутствие обязательно. Для предварительного ознакомления объемными документами к Секретариату прошу прибыть Москву восемнадцатого или девятнадцатого сентября. Прошу срочно телеграфировать дате приезда Москву». В особой редакции приглашение было послано Шолохову (без ответа): «Дорогой Михаил Александрович заседание Секретариата по обсуждению заявления Солженицына созывается 22 сентября утром. Ваше присутствие очень желательно Сообщите Ваши возможности приезда». Были приглашены и все секретари-москвичи, за исключением Л. Леонова (см. л. 20, список приглашенных). В эти же дни Воронков обменялся телеграммами с Солженицыным. «Рязань 12 проезд Яблочкова дом 1 квартира 11 Солженицыну. Заседание секретариата правления Союза писателей СССР по рассмотрению Ваших писем назначено на пятницу 22 сентября тринадцать часов. Приглашаем Вас на это заседание. Телеграфируйте. Приветом Воронков». «Москва Г-69 Воровского 52 Секретариат Воронкову. Буду пятницу часу дня Солженицын». Тексты этих телеграмм, как и оригинал письма Солженицына, приложены к протоколу заседания.

Участники заседания пришли на него

с различными целями. Солженицын и Твардовский — главным образом с тем, чтобы добиться согласия Секретариата на публикацию в «Новом мире» романа «Раковый корпус» (в крайнем случае ценой определенной уступки — готовности признать «сенсационной» форму «Письма съезду», не отказываясь от его содержания). Поскольку к этому времени Солженицын уже фактически был своего рода персона нон грата, появление романа могло бы, помимо основного своего литературного значения, противодействовать той травле, которой его автор систематически подвергался, в том числе и в большинстве органов Союза писателей. Опираясь на согласие Секретариата, можно было надеяться провести роман (наименее «непроходимое» по тем временам из крупных произведений Солженицына) через цензуру, которая в противном случае в силу названных обстоятельств попросту не стала бы его даже и рассматривать. Напротив, для руководства Союза писателей[14] смысл проводимого мероприятия заключался в том, чтобы, воспользовавшись трудным положением писателя, принудить его к публичному покаянию (в форме отповеди «буржуазной пропаганде») и в то же время уклониться от помощи ему, в том числе и в публикации романа. За исключением А. Салынского и еще более К. Симонова, этой линии держались все выступающие.

Однако значение публикуемой стенограммы, которую до сих пор заменяла лишь краткая запись, сделанная Солженицыным (см. «Слово», 1990, № 1), далеко выходит за рамки конкретных предметов спора. Подобно стенограмме обсуждения «Нового мира» и в еще большей степени, чем она, предлагаемый документ представляет нам и своего рода серию выразительных «автопортретов» участников заседания и — через них — весьма содержательный материал для исторического осмысления, политической и нравственной оценки той идеологии, той эпохи, того состояния общества, представителями которых они являются.

Заседание секретариата правления Союза писателей СССР

22 сентября (оп. 37, пор. 216; стенограмма, полностью) *

Присутствовали: секретари правления Союза писателей СССР, тт. Федин К. А., Абашидзе И. В., Абдумомунов Т., Баруздин С. А., Боцу П. П., Бровка П. У., Воронков К. В., Кербабаев Б. М., Кожевников В. М., Корнейчук А. Е., Марков Г. М., Межелайтис Э. Б., Мусрепов Г. М., Новиченко Л. Н., Озеров В. М., Рюриков Б. С., Салынский А. Д., Сартаков С. В., Симонов К. М., Сурков А. А., Танк М., Твардовский А. Т., Топчян Э. С., Шарипов А., Янсонс А. И., Яшен К. Н.

Алексеев М. Н.— секретарь правления СП РСФСР.

Мелентьев Ю. С.— зам. заведующего Отдела культуры ЦК КПСС.

Сырокомский В. А.— первый зам. гл. редактора «Литературной газеты».

Дорофеев В. П. — консультант секретариата правления СП СССР.

Солженицын А. И.— по п. 6 повестки дня.

Председатель — К. А. Федин (подпись)

Повестка дня

<...>

6. Рассмотрение заявлений А. И. Солженицына.

Стенограмма

К. А. Федин. Приступаем к разбору заявления А. И. Солженицына. Речь идет о письме Солженицына, которое он прислал не так давно секретарям правления СП СССР. Разослано оно было всем секретарям. Содержание его известно присутствующим, так что оглашать его нет надобности. Но мне хочется сказать по поводу этого второго письма[15], что оно по содержанию для меня лично в чем-то оскорбительно.

Мне показалось, и я думаю, что я не ошибаюсь, что мотивировки, которые там приводятся, мотивировки протеста против того, что дело напечатания, публикации вещей Солженицына остановилось, не движется, — эти мотивировки обоснованы чересчур зыбкими доводами. Много ссылок на всякого рода слухи, тайны и прочее. А конец мне действительно показался оскорбительным для нашего коллектива.

Обращается т. Солженицын с заявлением такого рода, что если мы сейчас же, в ближайшее время, безотлагательно, как он написал, не издадим его повесть «Раковый корпус», то будет поздно, потому что эта вещь будет опубликована за границей, и мы окажемся, так сказать, в отсталых. Мне тут услышалась своего рода угроза. Это мотивировка обидная для коллектива. Это как бы заставляет силком браться скорее за рукопись, издавать ее и т. д.

Я думаю, что тон этот недопустим в Союзе писателей. В сущности, тут продолжается та же линия, которая была в письме, направленном т. Солженицыным IV съезду писателей. Но там было более обстоятельно и более взволнованно рассказано о судьбе писателя. Здесь же это просто бумажка, обязывающая нас торопливаться и подумать над тем, что нам угрожает. Тон этот мне показался глубоко обидным и оскорбительным.

[14] Кстати, на том же заседании к многоступенчатой иерархии руководства прибавилась еще одна, самая высшая ступень — Бюро секретариата в составе: Федин (председатель), Марков (первый заместитель председателя), Воронков, Сартаков (заместители председателя), Чаковский, Озеров, Соболев, Михалков, Рюриков, Тихонов (члены)

* Публикация Ю. Буртина

[15] Под первым письмом имеется в виду письмо IV съезду писателей.

Что происходит, как мне кажется, в сложном вопросе о печатании вещей Солженицына? В оценке его большой одаренности, в оценке его таланта нет никакого сомнения. Все считают, что вещи его талантливы, незаурядны, это выдающиеся произведения нашей литературы. Но перекашивает это заявление куда-то в другой план, в план гражданского поведения писателя, по отношению даже к своим коллегам. Он может наше общество уважать больше или меньше, это его личное дело, но выступать с этим — по-моему, это непозволительно. Лично я, поскольку мне было подписано рукой автора — такому-то,— я почувствовал, что мне дали хорошую оплеуху, не заслуженную мною. Я-то думал, что мы — коллектив, как говорится, творческой интеллигенции. А оказывается, мы просто какие-то негодники.

Двоится всё. С одной стороны, нужно было бы сказать: произведения талантливого автора... сама судьба его, не только биографическая судьба в целом, а писательская в узком смысле судьба... А с другой стороны, он тормозит это рассмотрение какими-то рогатками, меня обижающими. Как гражданин он ведет себя не по-товарищески. Вообще темы товарищества в его письмах я не нашел.

Поэтому я предлагаю высказаться в целом. Хотим мы или не хотим, мы должны будем коснуться нашего отношения к его произведениям, но я не считаю, что это нужно ставить в центр нашего обсуждения. Мне кажется, нужно все же сказать о той реакции, на которую побуждает автор в своих заявлениях наш коллектив.

Вот все, что я хочу сказать вначале. Кто хочет взять слово?

А. И. Солженицын. Разрешите мне. Я хотел бы о предмете нашего рассуждения сказать несколько слов.

Мне стало известно, что для суждения о повести «Раковый корпус» секретарям правления предложено было читать пьесу «Пир победителей», от которой я давно отказался сам, лет десять даже не перечитывал, уничтожил все экземпляры, кроме захваченного и теперь размноженного. Я уже не раз объяснял, что пьеса эта написана не членом Союза писателей Солженицыным, а бесфамильным арестантом Щ-232 в те далекие годы, когда арестованным по политической статье не было возврата на свободу и никто из общественности, в том числе и писательской, ни словом, ни делом не выступил против репрессий даже целых народов. Я так же мало отвечаю сейчас за эту пьесу, как и многие литераторы не захотели бы повторить сейчас иных речей и книг, написанных в 1949 г. На этой пьесе отпечаталась безвыходность лагеря тех дней, где сознание определялось бытием и отнюдь не возносилось молитвами за гонителей. Пьеса эта не имеет никакого отношения к моему сегодняшнему творчеству, и разбор ее есть нарочитое отвлечение от делового обсуждения повести «Раковый корпус».

Кроме того, недостойно писательской этики обсуждать произведение, вырванное из частной квартиры таким способом.

Разбор же моего романа «В круге первом» есть вопрос отдельный, и им нельзя подменять разбора повести «Раковый корпус».

К. А. Федин. Я могу сказать, что мы примем к сведению это заявление, которое сделал Солженицын.

Кто желает высказаться по тому вопросу, о котором сказал я, и <о> заявлении, которое сделал сейчас Солженицын?

А. Е. Корнейчук. У меня есть вопрос. Как вы знаете, радио капиталистических стран, особенно за последнее время в связи с приближающимся 50-летием Советской власти, распространяет бешеную клевету о советской культуре, о советском народе, о нашей партии, о нашем государстве. Туда попало ваше письмо, которое каждый день передают, особенно Западная Германия. Вы ни одним словом не реагировали на это. Неужели вам не дорога судьба нашей страны, нашей культуры? Как это случилось? Я очень хочу, чтобы вы на это ответили.

А. И. Солженицын. Я предполагал, что сначала будет обсуждение, и потом я отвечу на вопросы.

К. А. Федин. К вам обращаются с просьбой ответить. Но, может быть, еще будут вопросы, чтобы вы могли ответить сразу?

С места. Этот вопрос каждый хочет задать.

А. И. Солженицын. Я выслушаю то, что скажут, выслушаю вопросы и тогда скажу.

С. А. Баруздин. У меня есть вопрос к Александру Исаевичу относительно «Пира победителей». Волей-неволей приходится говорить об этой пьесе, потому что она упомянута в первом письме. Правда, там упоминание такое, что можно толковать по-разному. Но если память мне не изменяет, там идет речь о нескольких театрах, которые готовили эту пьесу, но цензура не позволила.

А. И. Солженицын. Нет, вы ошибаетесь[16].

С. А. Баруздин. У меня такой вопрос: раз Александр Исаевич сказал, что он от этой пьесы десять лет назад отказался, какова была необходимость хотя бы простого упоминания этой пьесы в своем письме?

А. Д. Салынский. Я хотел бы понять основательно, как выглядит все, что касается изъятия, ареста материалов у т. Солженицына, то есть кто, когда, при каких обстоятельствах изъял эти материалы, и просил ли он о возвращении

[16] В «Письме» было сказано: «Пьеса «Олень и шалашовка», принятая театром «Современник» в 1982 году, до сих пор не разрешена к постановке». Кроме того, там упоминалась пьеса «Свет, который в тебе» — среди произведений, которые «не могут найти себе ни постановщика, ни издателя» (см. «Слово», 1989, № 8, с. 83).

этих своих материалов. Это все совершенно непонятно.

В. М. Озеров. У меня вопрос такой. Вот повесть «Раковый корпус» — что, отвергнута редакцией «Нового мира»? Сказала ли редакция — печатать мы не хотим, не будем, или как-то иначе обстоял вопрос?

К. А. Федин. Просим ответить на эти четыре вопроса.

А. И. Солженицын. Я могу ответить, но я предполагал, что выслушаю по поводу своего письма мнение секретарей и мне зададут вопросы. Это странно...

А. Шарипов. В конце концов вы хотите ставить нас в положение допрашиваемых. Вы сами расскажите о вашей просьбе, и потом нам ясно будет из обсуждения. Мы вас не знаем, и вы сразу предъявляете допрос. Вы пришли в коллектив, и мы вас спрашиваем для того, чтобы понять.

К. А. Федин. Я думаю, что высказывания будут еще. Но для того, чтобы высказаться, нужно, чтобы товарищам было ясно.

А. И. Солженицын. Я понимаю, что это нужно для того, чтобы товарищи могли высказаться. Очевидно, надо начать с истории изъятия моего архива. Тем более это необходимо, что за последнее время изобретена новая версия об изъятии моего архива. Вот какая версия сейчас распространяется — будто бы тот человек, Теуш, у которого хранились мои рукописи, был связан с другим человеком, которого не называют, а того задержали на таможне, неизвестно какой, и что-то нашли, не называют — что. Не мое нашли, но решили меня уберечь от такого знакомства.

Все это ложь. У моего знакомого Теуша два года назад было следствие, но такое обвинение ему даже не выставлялось. Хранение рукописей там было обнаружено обыкновенной уличной слежкой, подслушиванием телефонных разговоров и разговоров в комнате.

Но как только появилась эта новая версия, лектор Потемкин тотчас же изложил ее многолюдному собранию в Риге, один из секретарей Союза писателей — московским писателям, причем от себя добавил, извратив, что будто бы все это я признал на прошлой встрече в Секретариате[17]. А об этом тогда не было разговора.

Итак, в 1965 году, в сентябре, у моего знакомого было изъято несколько экземпляров моего романа «В круге первом», над которым тогда началась работа в редакции[18]. И старый мой архив, как я уже писал много раз во многие инстанции, 15—18-летней давности для 1965 года, а для 1967 года — 17—20-летней давности, был изъят. (**А. Д. Салынский.** А что было в архиве ценного для вас в литературном смысле?) В литературном смысле эта пьеса для меня не существовала, но я не добрался этот материал убрать. Архив есть архив, который в данную минуту не нужен или заброшен и покинут. Роман для меня был ценен, поскольку отнятие романа остановило работу редакции со мной.

Просил ли я о возвращении? Да. Неоднократно. Тогда же несколько писем в ЦК было послано, и даже первоначально говорили, что мне будет архив возвращен. Однако этого не было.

Я сожалею, что т. Баруздин спутал, что в моем письме съезду говорилось, что театром принята или не поставлена пьеса. «Пир победителей» вспоминается только и именно в таком смысле, как я сейчас об этом сказал, именно что эта пьеса, давно мною отвергнутая, при моей жизни, против моей воли и без моего ведома, неизвестными инстанциями издана закрытым порядком и распространяется, против чего я резко протестую. Не сказать этого я не мог, потому что если бы я этого не сказал, я как бы принимал бы ее сегодняшнею.

Теперь меня спрашивают относительно той неприятной шумихи, которая поднялась вокруг моего письма съезду. Когда я был на первом собеседовании с несколькими секретарями, мы этот вопрос обсуждали и я выразил крайнее сожаление, что Секретариат проявил медлительность (я не могу согласиться с Константином Александровичем, что это небольшой срок).

Письмо, написанное 16 мая съезду, полученное до съезда, не было оглашено, не заинтересовало ни съезд, ни Секретариат в течение трех недель после этого времени. Три недели прошло. Секретариат не сделал ни малейшей попытки как-то на него отреагировать.

Я поправлю не то что задавшего вопрос, а сказавшего (простите, не помню, кто), что это письмо до съезда было опубликовано на Западе. Письмо было опубликовано на Западе значительно позже съезда, но до встречи в Секретариате.

Я хотел бы сказать, что когда слово «заграница» употребляется с большим значением или с большей выразительностью как какая-то важная инстанция, чьим мнением очень дорожат,— меня удивляет. Может быть, это и понятно тем, кто много творческого времени проводит в заграничных поездках и наводняет нашу литературу летучими заметками о загранице.

Мне, повторяю, это странно. Я никакой заграницы не видел и не знаю, жизненного времени у меня нет узнавать ее.

---

[17] См. ниже выступление К. В. Воронкова.

[18] На роман «В круге первом» «Новый мир» заключил с автором договор — главным образом затем, чтобы поддержать писателя материально, так как надежд на опубликование этого произведения и тогда уже практически не было. В книге «Бодался теленок с дубом» Солженицын рассказывает, что, опасаясь ареста романа, он вопреки уговорам Твардовского забрал из редакции четыре экземпляра романа, три из которых принес В. Л. Теушу; у него, а также у его «прозелита-антропософа, молодого И. Зильберберга» КГБ 11 сентября 1965 г изъяло солженицынский архив.

Я не понимаю, как можно так чувствительно считаться с заграницей, а не с собственной страной. Под моими подошвами всю жизнь земля Отечества. Только ее боль я слышу. Только о ней пишу.

Что касается вопроса относительно того, принята ли повесть «Новым миром»,— это длительная история, я думаю, к ней не стоит возвращаться. А в письме втором я пишу совершенно ясно, что «Новый мир» хочет печатать мою повесть, но не имеет разрешения. Секция прозы Московской писательской организации весьма одобрила эту повесть. Но стенограмма обсуждения никуда не была послана, была заперта.

К. А. Федин. Еще желающие сказать что-нибудь, выступить, — пожалуйста. Есть ли еще какие-нибудь вопросы?

Т. Абдумомунов. Александр Исаевич сказал, что «Новый мир» хочет печатать повесть «Раковый корпус», но не имеет разрешения. О каком разрешении идет речь — я хотел бы понять. Какое разрешение требуется и от кого?

А. Т. Твардовский. Конечно, всецело в компетенции редакции решить вопрос, что печатать, что не печатать. Но в данном случае, ввиду сложившихся особых обстоятельств вокруг имени и личности автора, естественно, что вопрос о том, печатать или не печатать, уж по крайней мере должен решать Секретариат, это совершенно ясно.

К. В. Воронков. Мне хотелось бы сказать о том, что ни одного раза А. И. Солженицын ни по какому вопросу не обращался в секретариат Союза писателей СССР. Когда было получено письмо, было желание встретиться с т. Солженицыным, поговорить с ним, постараться рассказать ему или ответить на все поставленные вопросы и, если хотите, помочь ему. Но вскоре после этого письмо появилось уже в зарубежной отвратительной буржуазной и белогвардейской прессе, оно передавалось по радио, и всегда чтение этого письма обставлялось оголтелой, отвратительной стряпней, пропагандой против Советской власти, против политики партии. Это письмо взято было на вооружение нашим идеологическим противником. Это письмо печаталось листовками, рассылалось. Я уверен, что здесь сидящие получили такие листовки,— вот они, напечатанные типографским способом (показывает листовку. **С места.** Это из «Граней».). Из «Граней».

Передо мной встает первый вопрос. Ну как можно советскому писателю, члену Союза писателей никак не реагировать на эту историю?! Вот передо мной встает такой вопрос: вот я гражданин Советского Союза, и вот как только можно клевещут на мою Родину, о которой вы так сейчас хорошо сказали, Александр Исаевич... Ваше имя используется сейчас, в этот острый момент идеологической борьбы, и вы не реагируете...

А. Т. Твардовский. Он поступает так же, как Союз писателей. Союз писателей не нашел возможным отреагировать на это письмо в любом плане.

К. В. Воронков. Извините меня, пожалуйста, но я с вами согласиться не могу.

А. Т. Твардовский. Три с половиной месяца прошло!

А. Шарипов. Александр Трифонович! Мы вас уважаем, но нельзя так относиться к этому. Ведется разнузданная кампания на Западе в отношении Советского Союза, где мы живем с вами... Он правильно говорит.

К. В. Воронков. Я скажу и о Секретариате, Александр Трифонович. Это первое, что для меня совершенно непонятно в поведении т. Солженицына. Теперь о втором письме. Вполне соглашаюсь с Константином Александровичем: оно ультимативно, оскорбительно, недостойно нашей товарищеской писательской среды! Почему писателю нужно так разговаривать с писателями? Совершенно не понимаю.

Я бы хотел, чтобы вопрос об издании или переиздании произведения «Раковый корпус» был немножко отодвинут, а сейчас поговорить о гражданском лице члена нашего Союза. Почему член нашего Союза т. Солженицын никак не реагирует на эту оголтелую антисоветчину, которая связана с этим письмом?

Вас проинформировали о моем выступлении. Вы сказали: «Один из секретарей Союза выступил на собрании...» Так это — я, и я хочу подтвердить то, что я сказал. Вас неправильно информировали, а вы берете эти слухи в основу своего письма, да и вообще вы все время основываетесь на каких-то слухах. Имейте точные источники! Я заявил, что эти архивы, эти рукописи, которые взяты у Теуша (вы сообщили в письменном виде, что это ваши рукописи, и в беседе с нами вы это подтвердили), эти изъятые у Теуша анонимные рукописи принадлежат вам, это ваши рукописи. Вот что я сказал на партийном собрании, я и сейчас от этого не отказываюсь.

Теперь в чем дело с этими тремя с половиной месяцами. Мы с вами встречались 12-го числа. Секретари, с которыми мы начали разговаривать о сроках созыва этого заседания, пожелали почитать. Никто из секретарей не читал «Раковый корпус», за исключением Александра Трифоновича, но это ему было положено, как главному редактору журнала. Товарищи хотели узнать, что это за произведение, которое упоминается. Мы обратились в Прокуратуру с просьбой разрешить почитать. Нам дали для прочтения. Для того, чтобы прочитать секретарям эти рукописи, нужно много времени. Секретари в подавляющем большинстве читали эти произведения. Не надо так говорить, что наряду с «Раковым корпусом» «Пир победителей» и т. д. Это не совсем так. Опять-таки у вас информация не та. Читали много ваших произведений. И я вам должен сказать, что у каждого из секретарей (я специально не беседовал на эту тему, но обмен мне-

ниями был) есть большое количество замечаний. Чего же вы так сразу: три с половиной месяца не собирались, никак не отреагировали. А в конце второго письма ставите ультиматум: если не решите вопрос быстро, то это будет напечатано за границей. Что это за ультиматум?! Совершенно непонятно. Мне кажется, что ваше поведение как товарища нашего заслуживает всяческого осуждения. Нельзя так обращаться со своими товарищами по работе, по труду, по перу.

Я взял слово для того, чтобы ответить Александру Исаевичу, что я не отказываюсь от своих слов, которые я произнес, потому что я получил право об этом сказать, что эти рукописи принадлежали вам и они были изъяты не у вас. У вас обыск никто не производил. А вы пишете, что эти рукописи изъяты у вас органами госбезопасности. Это неправда.

Вы также не отвечаете на вопрос, который вам задали по поводу «Нового мира». И Александр Трифонович ушел от этого вопроса. «Новый мир» не отвергал рукописи, а предлагал вам договор. Вы в присутствии Сартакова, Маркова это подтвердили. А в письме вы пишете, что журналы отвергли рукопись. Я могу зачитать письмо Шухова, что вы дали в «Простор» первую часть «Ракового корпуса», а в мае месяце вы забрали ее. А разве в «Звезде» отвергли вашу рукопись? Зачем же вводить в заблуждение?! Вы неправду говорите. Товарищей все это волнует. У вас получается: обыск был, рукописи забрали, журналы отвергли. Надо же сказать правду!

Рукопись не отвергали. Тут должен ответить Александр Трифонович. А почему Секретариат должен решать вопрос, печатать или не печатать? Если вы считаете нужным печатать — пожалуйста, печатайте. Кто же возражает? Если, как вы сами говорите, Александр Исаевич согласен выполнить требования редакции.

Московская секция прозы обсуждала рукопись. Было очень много сказано добрых слов, но было высказано и много замечаний. И у «Звезды», и у «Простора» есть замечания по рукописи. Это обычное дело. Литератор представляет в печатный орган рукопись — этот орган дает замечания. Но почему Секретариат должен решать вопрос, печатать или не печатать «Раковый корпус»? Я не редактор журнала, и ни у кого нет возражений против этого дела. (**А. Т. Твардовский.** У «Нового мира» есть одобрение романа Бека...) Мы же не Бека сейчас обсуждаем. (**А. Т. Твардовский.** Однако и это не напечатано. Нельзя же говорить, как среди детей. Вы сами понимаете, что редакция не в состоянии решить этот вопрос вне Секретариата.) Если Секретариат будет решать этот вопрос, то пусть решает. Я высказываю свое мнение: почему Секретариат должен решать? Почему Секретариат должен решать, издавать или не издавать? Если редакция считает нужным печатать, то печатайте. Я прочитал стенограмму обсуждения. Было высказано много пожеланий. Если автор эти пожелания выполнил, то — пожалуйста. Но меня в данном случае интересует другое дело: гражданское лицо Солженицына, это меня интересует. Почему он не реагирует на буржуазную, отвратительную пропаганду? Почему он так с нами обращается? Почему ультиматум, почему требования?

М. Н. Алексеев. У меня вопрос. Мне хотелось бы прояснить одну вещь. С одной стороны, редактор «Нового мира» нам говорит: будет решение Секретариата — можно печатать. Это при условии, что поправки, сделанные «Новым миром», исполнены автором, или в любом варианте можно печатать?

А. Т. Твардовский. Если вопрос будет решен Секретариатом, то дело будет за редакцией и автором. Но это в том случае, если будет дано «добро».

Г. М. Мусрепов. В последнем письме Солженицына есть такая фраза: более высокостоящие товарищи выражают сожаление, что я не умер в лагере. По каким этническим или фактическим мотивам писатель может позволить себе такую фразу,— я хотел бы получить объяснение.

К. А. Федин. Есть еще вопросы? Опять так сделаем: несколько вопросов, чтобы компактнее был разговор.

А. Шарипов. В письме сказано: я предлагал Секретариату, надо решить вопрос о печатании повести, если мы хотим ее появления сперва на русском языке; что в таких условиях мы не можем остановить ее появления на Западе. Значит, нам предъявляют ультиматум. Но хотелось бы знать, по каким каналам может попасть ваша рукопись на Запад.

А. И. Солженицын. К сожалению, я не слышал мнения секретарей, а слышал только вопросы. Относительно «ультиматума». Ультиматума в моем письме совершенно нет, и те, кто внимательно читал, прекрасно это поняли. Это сейчас нарочитый сдвиг, конечно. Это не мой ультиматум, а ультиматум жизни и вам и мне вместе.

Тов. Мусрепов (Шарипов; см. выше.— **Ю. Б.**) спрашивает, как же может попасть на Запад? Вот такое странное явление происходит с моими рукописями. Их не печатают, но их охотно читают. Стало быть, всякий берущий почитать за счет своего свободного времени или свободных средств — мне неизвестно — перепечатывает и дает товарищам и друзьям. Такова особенность и судьба моих произведений в условиях, когда я их пишу год за годом, а их год за годом не печатают. Вот я дал в три редакции, давал тем, кто спрашивал, почитать «Раковый корпус». А дальше люди, прочитав, хотят иметь для себя и распечатывают. Это факт, который сомнительно скрыть. Он разошелся в сотнях машинописных экземпляров. Разумеется, эти сотни я прикидываю на глаз, не знаю,

в какую сторону коэффициент добавлять, но он разошелся.

Однажды уже неприятность получилась с моими крохотными рассказами. У меня были совершенно маленькие, крохотные, ничтожные по объему рассказики, вернее, стихотворения в прозе, которые таким же образом после того, как я давал соотечественникам читать, разошлись широко. Я получаю по поводу их письма из всех городов Советского Союза. Почему их распространяют? Почему-то читателям нравится распространять. И вдруг эти рассказы — это мы узнали из письма «Нового мира» — появились на Западе,— повторяю, не рассказы, а стихотворения в прозе.

Вот эта опасность и угнетает меня. Я вынужден был просить Секретариат ускорить рассмотрение, причем просьба была не в форме ультиматума, а в форме, что жизнь ставит ультиматум, хотим ли мы, чтобы «Раковый корпус» издавался на русском языке или нет. И вот я кончаю: настаиваю на безотлагательном печатании, ибо хочу спасти «Раковый корпус» для моей литературы.

Я сейчас в первый раз из уст т. Воронкова слышал такие слова, очень приятные для меня, где называют меня и соответственно вас товарищами по труду и перу. Но вот уже два с половиной года происходит травля меня, и два с половиной года ни один мой товарищ по перу пальцем не пошевельнул, чтобы меня от этой травли защитить, а некоторые товарищи по труду и перу, ведущие газеты, например, «Литературная газета», даже не ответили мне на мое письмо, где я просил напечатать опровержение дикой, разнузданной клеветы о том, что я будто бы был в плену на оккупированной территории и будто бы сотрудничал с немцами. Значит, не то что опровергнули эту чушь, которая документально тремястами моих товарищей может быть опровергнута, но даже не пытались этого сделать...

А. Т. Твардовский. Были товарищи, которые пытались это сделать.

А. И. Солженицын. Простите меня, Александр Трифонович. Я обращался в Союз писателей РСФСР с той же просьбой, и правление Союза писателей РСФСР никак не помогло. Правление Союза писателей РСФСР безучастно отнеслось к тому, что два с половиной года обо мне говорится этот вздор, который может человека уничтожить. Мои товарищи по труду и по перу меня не защитили. Благополучно провернулся весь круг этой клеветы, так никем и не опровергнутой. Тов. Воронков и другие секретари, которые были 12-го июня, сказали, что они возмущены и что они считают своим долгом защитить меня от этой клеветы. Прошли три месяца, и от этой клеветы меня не защитили. Если бы эта клевета остановилась из-за своей бесплодности! Но что же делать, если мои преследования, обновляясь по форме, продолжаются непрерывно. Я уже не говорю, что мою книгу не давали и не дают читать в лагерях: ее не пропускали в лагеря, изымали обысками и сажали за нее в карцер даже в те месяцы, когда все газеты трубно хвалили «Один день Ивана Денисовича», и обещали, что это не повторится.

За последнее время эти книги стали изымать и из вольных библиотек. О запрете ее выдавать мне пишут из разных мест: велено отвечать читателям, что книга в переплете, или на руках, или доступа нет к тем полкам, и уклоняться от выдачи. Вот свежее письмо из Красногвардейского района Крыма: «В районной библиотеке мне по секрету (я активист этой библиотеки) сказали, что вашу книгу велено изъять. Одна сотрудница хотела подарить мне на память ненужный им теперь «Один день Ивана Денисовича» в «Роман-газете», другая тут же остановила свою опрометчивую подругу: «Что вы, что вы, нельзя! Раз книгу отобрали в Особый отдел, то опасно ее кому-нибудь дарить». Не скажу, что эта книга изъята из всех библиотек, но приезжающие ко мне в Рязань посетители в рязанской областной читальне достать моей книги не могут: им отнекивались разными способами, да так и не дали.

Можно сколько угодно слушать арию дона Базилио о клевете, но когда столкнешься с клеветой сам, да еще с невиданной новой формой ее — клеветой с трибуны,— то диву даешься. Беспрепятственно провернулся круг лжи о том, что я был в плену и сотрудничал с немцами. Но этого кажется мало! Этим летом в сети политпросвещения, например, в Болшево, агитаторам было продиктовано, что я бежал в Арабскую республику и сменил подданство. Ведь это же все записывается в блокноты и разносится дальше с коэффициентом 100. И это рядом со столицей! Есть и другой вариант. В Соликамске, п/я 389, майор Шестаков объявил, что я бежал по туристской путевке в Англию. Говорит зам. по политчасти — кто не смеет верить? Другой раз он же объявил: Солженицыну официально запрещено писать! Ну тут он близок к истине.

Изготовлена новая версия об изъятии моего архива. Еще так заявляют с трибуны: «Его освободили досрочно, а зря». Зря или не зря освободили — это мы можем видеть из судебного решения Военной коллегии Верховного суда, оно предложено Секретариату, а вот «досрочно» — это очень смачно употреблено. Сверх 8-летнего приговора я просидел месяц в пересыльных тюрьмах, да такую мелочь у нас и упоминать стыдно. Затем без приговора получил вечную ссылку с этой вечной обреченностью. Просидел 3 года в ссылке. Только благодаря XX съезду освобожден, и это называется «досрочно». Как это словечко выражает удобное мировосприятие 1949—53 годов: если не умер у помойки, если хоть на коленях выполз из лагеря — значит, освобожден досрочно.

Мне говорят: почему вы пользуетесь слухами? Потому что никто в лицо не говорит, все говорят на закрытых заседаниях, записывают в блокноты. Мое единственное средство — это читать письма, которые мне пишут со всех концов страны.

Бывший министр Семичастный, любивший выступать по вопросам литературы [19], не раз уделял внимание и мне. Одно из его удивительных, уже комичных обвинений было такое: Солженицын материально поддерживает капиталистический мир тем, что не берет гонорара какого-то за вышедшую где-то книгу, очевидно, «Ивана Денисовича», другой нет. Но если вы знаете, где-то прочли, и очень надо, чтобы я у капитализма вырвал эти деньги,— почему же меня не известят? Я-то в Рязани не знаю. Международная книга, Иностранная комиссия, сообщите: вот, мол, твой патриотический долг забрать эти деньги. Ведь это уже комедийная путаница: кто берет гонорары с Запада — тот продался капиталистам, кто не берет — тот их материально поддерживает. А третий выход? — на небо лети.

Семичастный уже не министр, но идея его не угасла: лекторы Всесоюзного общества по распространению научных знаний понесли ее дальше. Например, ее повторил 16 июля этого года лектор Фрейфельд в Свердловском цирке. Сидели две тысячи человек и только удивлялись: какой же ловкач этот Солженицын, умудрился, не выходя из Советского Союза, не имея в кармане вообще ни копейки, материально укрепить мировой капитализм.

Вот такую чушь обо мне беспрепятственно рассказывает всяк кому не лень.

Уже 12 июня здесь, в Секретариате, у нас было собеседование, тихое и мирное. Вышли отсюда, прошло короткое время, и вдруг — слухи по всей Москве, все рассказывается не так, как было, все перевернуто. Где гарантия, что и после сегодняшнего Секретариата опять все не вывернут наизнанку? Не распустят новой клеветы? Я один, клевещут обо мне сотни. Еще меня могут обвинить и сторонником геоцентрической системы и что я первый поджигал костер Джордано Бруно,— не удивлюсь.

Тов. Воронков сказал: негде было достать «Раковый корпус», вот почему запросили из госбезопасности. Но год назад Московская секция прозы обсуждала повесть «Раковый корпус», и достать ее не составляло труда.

Получается так: я нахожусь в затравленном состоянии, я не могу нигде ни от кого получить публичной защиты, публичного опровержения клеветнических слухов обо мне. Обо мне выражаются не только так, как здесь спросил Мусрепов, выражались и посильнее. Например, одним из выступавших както было сказано, что если бы он был председателем тройки, осудившей меня за это преступление (я потом был реабилитирован), то он бы меня расстрелял тогда. А тут только сожаление, что я не умер в лагере.

История наших взаимоотношений с «Новым миром». Возможно, ее кому-то выгодно заострить и сказать, что «Новый мир», «Простор» не отказывали. Придется повторить. «Звезда» отказала честно и прямо, а «Простор» сделал так: с августа по май, девять месяцев, попросту ничего не делал с рукописью. Пока что известил негласно, что будет печататься «повесть Солженицына», для «Простора» это, очевидно, представляло интерес. Я такого положения не понимаю. Почему «Простору» не сказать: печатать <печатаем?> в таком-то номере. Да что говорить относительно гласности и отказов. Любому критику, употребившему фамилию Солженицына, ее вычеркивают, если она недостаточно бранно употреблена. «Звезда Востока» обращается с просьбой прислать что-нибудь о советской женщине. Я посылаю не что-нибудь, а о заслуженном враче Узбекской республики, на ташкентском материале, главу о том, что это за золотой человек. Безгонорарный номер, и в безгонорарном номере рассказ о женщине-враче не только не помещается, но редакция не считает нужным мне даже сообщить об этом или как-нибудь известить.

Странно, что в таком положении человеку, затравленному и доведенному до крайности, Союз писателей никак не помогает и удивляется, что я немедленно не реагировал... На что?..

Я жду, когда Союз поможет мне решить мои вопросы. Если восемь или девять пунктов, упомянутых в моем первом письме, недостаточно говорят о том, что я тону,— что я могу сказать? Умывают руки. Говорят: тони, но позаботься о мнении заграницы.

К. А. Федин. Товарищи, может быть, один пункт нашего обсуждения было бы целесообразно поставить. Это пункт, который, в сущности, с обратной стороны прозвучал сейчас в выступлении Солженицына. Он говорит о том, что он ждет какого-то публичного выступления в защиту его интересов. Я думаю, что было бы очень хорошо, если бы сам Александр Солженицын выступил публично, сказал о себе, так как это было бы очень уместно. Вот в обстановке заграничной пропаганды, заграничных посул, заграничных обещаний и даже, по-моему, соблазнов, судя по тому, что Солженицын в письме говорит: берегитесь, печатайте скорее, он обгонет... Солженицыну доставляет удовольствие ссылаться на такую возможность: заграница опередит нас. Он даже говорит, что Союзу тайно это даже нравится. Не знаю, нравится ли тайно, но явно нам не нравится.

[19] В. Е. Семичастный, в 1961—1967 гг председатель КГБ, был, в частности, известен своей ролью в организации травли Пастернака, дела Синявского и Даниэля.

И если бы мы публичное заявление Солженицына увидели, то разве это не открыло бы глаза так иронично вами упомянутым товарищам по перу и не дало бы им возможность сказать о Солженицыне, о его работах и, может быть, даже о его гражданском поведении, которое меня лично чрезвычайно волновало и оскорбило.

Почему сейчас вы не можете сказать ничего доброго вашим товарищам по перу? Они ничего не делали, по вашему мнению, хотя тихонечко сказал Александр Трифонович, что кое-что сделано было некоторыми товарищами и кое-кто из товарищей сказал, что это чепуха, про военные обстоятельства, что ничего не было правдивого в тех слухах. Может быть, действительно с этого начать? Почему не побудить Александра Исаевича сделать публичное заявление против Запада? Почему вы за этот рычаг все время держитесь, апеллируя как бы против заграницы, но пытаясь все же заграницей нас запугивать?! Запугать это нас не может. Она ведь всегда делала эту работу, как делает сейчас, желая использовать вас.

Вы говорите: публично ничего не происходит. Но вы публично попробовали ли проявить себя? Вы говорите: газеты вас не печатают. Но, очевидно, они могут и напечатать. Вот это горячее выступление на бюро, очевидно, сделано для замкнутого круга. Что мы можем сделать из ваших протестов, которые вы так ярко предъявили. Что можем сделать? Напечатать ваши протесты? Ради чего? Того, чтобы нас не обогнала западная пропаганда? Мы за нею не угонимся, наверно, она не раз нас обгоняла. Но не всегда нам надо гнаться за нею.

Не знаю, я это ставлю как возможный вариант каких-то выступлений в связи с тем, что заявляет Солженицын, чтобы побудить нашу литературу к какому-то активному действию. Надо видеть с вашей стороны шаг, полагающий такого рода выступление <помогающий такого рода выступлению?>, а не мешающий ему. Это мое размышление по поводу этого разговора.

Кто еще хочет сказать?

А. Д. Салынский. Мне думается, то, что я услышал сегодня от Александра Исаевича (а говорил он от души и горячо), что он ничего не хочет от заграницы, а хочет писать и жить для своей Родины,— это замечательно. Но, видимо, вы правы, Константин Александрович, что надо найти какие-то силы, несмотря на то, что так сложно все выглядит в смысле публикации вещей, может быть, параллельно с тем, что мы будем обсуждать «Раковый корпус», параллельно с его печатанием (если это произойдет), может быть, опережая, выступить в печати, поговорить о том, что происходит вокруг этого имени в западной пропаганде. Надо спасать положение, чтобы вы, Александр Исаевич, выглядели человеком честным. Это было бы верным, честным шагом, и надо, чтобы вы его сделали от души, потому что другого пути нет. Надо это сделать с умом и тактом, не давать нового оружия врагам — западным пропагандистам. Вам надо обязательно выступить в хорошей газете — «Литературной газете»,— чтобы поговорить о том, что происходит, и как-то отмежеваться от того, что говорят клеветники на Западе.

Я понимаю, что все складывается очень горько и страшно, но надо думать о том, что вы будете жить с нами, с Союзом писателей, со своей Родиной. Для этого надо сделать шаг, шаг благородный.

Что касается «Ракового корпуса», то я тоже читал, и я бы решительным образом поддержал публикацию этого романа в «Новом мире», потому что роман написан очень сильно, очень талантливо. Это яркий роман, необычайный по характеру и языку. В нем есть вещи, которые можно было бы исправить, если на это автор пошел бы, причем исправить по линии художественной. Там есть вещи, которые портят роман с точки зрения художественной. Все, что касается болезни, чересчур нагнетено, и начинаешь думать: не помыть ли руки, потому что раковая болезнь так живет в человечестве, что страшно читать об этих язвах. В первой части надо убрать фельетонный тон, когда вы говорите о политических вещах, там, где сатирическое начало переходит в фельетонную хлесткость, где вы все хотите подхватить небрежно-хлестким образом. Критика нашей жизни, какой бы она ни была острой, предполагает защиту этой жизни, а эта фельетонная хлесткость...

А. Т. Твардовский. Это правильно. Но это в значительной степени уже снято.

А. Д. Салынский. Очень хорошо. И еще у меня критическое соображение, которое можно принимать или не принимать. Почему почти все судьбы героев вашего романа связаны с лагерем, лагерной жизнью? Но страна же не лагерь, это огромная страна, где в эти годы совершались вещи, огромные по своему историческому значению и своему свету в историческом смысле. А у вас что ни судьба, то лагерь — и Кадмины, и сам Костоглотов. Правда, его судьба не может быть другой. Не может быть другой и судьба Русанова. Но зачем же обязательно и Вадиму, и Шулубину быть связанными с этим? И даже солдат оказывается не просто солдатом, а лагерной охраной. Я понимаю, что у вас в душе это сильно угнездилось. Я понимаю, что вы понесли серьезный, страшный душевный ущерб от этой части вашей жизни, но нельзя же так все связывать с лагерем, с этими муками. Это искажает картину жизни. У меня впечатление, что вы могли бы от чего-то избавиться ради большей художественности романа и его жизненности. Это мое впечатление, которое никого ни к

чему не обязывает. Но я полагаю, что если редакция могла бы сделать такие поправки вместе с автором,— это было бы очень ценно и полезно.

Я думаю, роман этот при всем том, что он очень суров и страшен, говорит о выздоровлении нашего общества. Так я понимаю пафос этого романа. Огромное значение романа заключено в этом. Это и судьба героя — героя, который освобождается от чувства страха, нравственного и физиологического, и вместе с тем страх Русанова, который чувствует, что приходит другое время, иная атмосфера в политической жизни страны. Русанов, который писал доносы, боится разоблачения. Эта жизнь, которая обновляется, очень сильно прочерчена в романе. И там показаны те исторические детали, которые обнаруживают время,— и изменения в Верховном суде, и уход Маленкова, и отмена ссылки. Показано, на чем растет вера людей. И комендант в конце романа по-новому разговаривает, неожиданно очень тепло, с Костоглотовым. И многие другие вещи, очень серьезные, происходят.

Затем я еще хочу коснуться одной стороны дела. Когда я не читал романа, некоторые товарищи мне говорили: вот там такая мысль о нравственном социализме, и всячески эту мысль изничтожали, передавая то, что у автора по этому поводу написано. Когда я прочел роман и вдумался в то, что говорил один из его героев — Шелубин, который был биологом, преподавал, а потом ушел от этого дела и стал библиотекарем в сельскохозяйственном техникуме. Кстати, я думаю, что не обязательно это было сделать под видом изгнания, но сейчас я не буду об этом говорить,— я говорю о нравственном социализме. Если бы Солженицын проповедовал безнравственный социализм, это было бы ужасно. Если бы Солженицын проповедовал устами своего героя национальный социализм, это было бы ужасно. Если бы он проповедовал национальный социализм по-китайски, тоже было бы весьма отвратительно. Но его герой, с которым он, между прочим, отчасти спорит устами Костоглотова, проповедует нравственный социализм. Ну, в конце концов каждый человек, умный человек, думающий о том, как идет история, волен думать о развитии социализма, и коммунизма, и марксистской теории. Для меня это новая вещь, я иначе думаю о социализме. Думаю, что социализм строится, исходя из экономических законов, что основа — экономика. Если Шелубин говорит иначе, я не могу с этим согласиться, но не могу считать, что это подлежит какому-то уничтожению. Это одна из мыслей романа. Не могу согласиться с тем, что это может быть стенкой, которая вырастет на пути публикации этой вещи. С этим можно спорить, но это не может быть предлогом для запрещения этой повести.

Я хочу попросить, если можно, т. Солженицына (я еще вернусь к этому) сделать серьезный, решительный, честный шаг (я поддерживаю мысль, которую высказал Константин Александрович): выступите в печати, обратитесь к клеветникам Запада... (**А. Е. Корнейчук.** И к внутренним, которые делают из вас страдальца.) Конечно, и к внутренним. Вы же будете жить с нами вместе. Наберитесь сил, выступите с умом и блеском, которые вам присущи. Это будет важно и для нас, для нашего народа, для литературы, для престижа нашей страны.

К. М. Симонов. Немножко неожиданно я сюда попал — я не знал, что будет Секретариат. Я только что приехал. Но хотелось бы несколько слов сказать.

Я написал полтора месяца назад довольно большое подробное письмо. Я не буду возвращаться к тому, что там сказано. Это большое письмо — на 12 страницах, где я даю оценку обоих романов, которые я читал. Если в двух словах сказать, то, говоря о первой книге («В круге первом»),— я не приемлю эту книгу; если говорить о «Раковом корпусе» — я за публикацию этой книги. Мне в ней не все нравится, но это не обязательно, чтобы каждому нравилось все. Хотелось бы добавить, что если думать о душевном движении человека, в какую сторону идет человек, чего он ищет в жизни, то мне кажется, что, прочтя «В первом круге» и прочтя «Раковый корпус», мы убеждаемся в том, что роман этот надо издать обязательно. Если автор посчитается с рядом соображений, которые здесь высказывались (кое-что я ему высказывал), кто-то сделает еще замечания, видимо, правильные, есть смысл что-то принять во внимание, но, конечно, все принимать невозможно. Это второе.

Третье. Мне хотелось сказать следующее. Видимо, каждый решает для себя, когда и как ему выступить, отвечая на клевету и на попытку использовать его имя вопреки интересам страны. Я думаю, что в таких случаях надо выступать. Но мне кажется, что (я в этом смысле согласен душевно с тем, что говорил Салынский) есть еще одна сторона вопроса. В том, что говорится о Солженицыне, и в том, что он писал, такое положение, когда надо доказывать, что он не верблюд. Я считаю, что мы должны выпустить все, что уже опубликовано,— «Один день Ивана Денисовича» и другие повести и рассказы. Это будет книжка, где будет написано предисловие, чтобы было ясно, что он боевой офицер. Посадите себя на его место и подумайте, что надо объяснять, что ты не власовец, не дезертир, не трус. Это мы должны сделать, а не он. Это должен сделать писатель с большим именем, который любит творчество Солженицына. Надо ему написать предисловие, в котором были бы упомянуты те факты биографии, по поводу которых ходила и ходит клевета. Тут должна быть внесена ясность.

Другой вопрос — как Солженицын решит спорить с людьми, которые спекулируют его именем у нас и на Западе. Эта спекуляция есть. Но это другая сторона дела.

Чтобы покончить с ложными обвинениями, должны выступить его товарищи по литературе. Не он должен это делать.

Вот что я еще хотел сказать. Я не читал пьесы «Пир победителей», и у меня нет желания ее читать. Когда я читал письмо, то у меня было ощущение, что он эту пьесу перечеркнул (**А. А. Сурков.** Он об этом здесь заявил), но в письме формулировка была такова, что позволяла по-разному это толковать. Я хотел читать те произведения, которые он предлагал к печати. Если он уже об этом сказал, то прошу прощения, что я об этом говорю, но меня никто не предупредил, что сегодня Секретариат, и я не слышал, что здесь говорилось. Если с этой пьесой внесена ясность, то нечего к ней и возвращаться. Я рад, что этот вопрос снят.

А. Т. Твардовский. Я совершенно согласен и с Салынским, и с Симоновым относительно общей характеристики положения и не отрицаю, что выступление Александра Исаевича просится. Но он поставлен в такие условия, что ему с этим заявлением и соваться нельзя. Нужно попытаться нам что-то сделать. Возьмем проект несостоявшегося коммюнике[20],— сейчас можно начать такими словами: много недель и месяцев продолжается цитирование письма Солженицына и Секретариат вынужден сделать соответствующее заявление. Затем дать основные пункты нашего коммюнике, сказать, что Секретариат занимается вопросом о взаимоотношениях Союза писателей с органами Главлита, что клеветнические слухи относительно биографии Солженицына Секретариат опровергает. Мы сейчас имеем соответствующий документ, который, кстати, включает и боевую характеристику Солженицына. Ждать, пока выйдет книжка с моим или твоим предисловием, Константин,— это опять месяцы, а это нужно заявить скорее.

Я просил бы Секретариат ввиду особых обстоятельств, которые сложились в настоящий момент, включить и такой пункт: Секретариат не видит причин, препятствующих появлению в печати «Ракового корпуса», и возлагает ответственность за это на редакцию. Но не видит причин, препятствующих.

Секретариат решительным образом осуждает претенциозную, рассчитанную в известной степени на рекламу и саморекламу форму обращения Солженицына, члена Союза писателей, к съезду и делегатам съезда,— форму, не имеющую ничего общего с общепринятыми нормами общественного поведения в нашей среде, и строжайшим образом предупреждает члена Союза писателей Солженицына о недопустимости такого рода акций.

Если этот документ появится в печати, то у Солженицына появится возможность выступить со своей стороны с письмом такого рода: та свистопляска западной пропаганды, которая вокруг моего письма, моей личности развертывается, мною решительным образом отвергается. До меня доходят сведения, что готовятся к изданию какие-то мои вещи. Я не знаю, каким образом они могут попасть за границу, и заявляю, что только тексты, напечатанные в Советском Союзе, мною признаются, другие я не авторизую, не подтверждаю и буду решительно протестовать против опубликования[21]. Это даст возможность нашим друзьям на Западе ответить противникам, даст почву для атаки <на> этих издателей и пропагандистов.

О своих симпатиях и антипатиях Солженицын сказал четко и недвусмысленно искренне.

Такого рода документ необходим. Он должен появиться на страницах нашей печати. И, я думаю, Солженицын может найти форму выступления после появления нашего документа. Тогда будет закономерным его выступление. (**Г. М. Марков.** А может быть, это совместно?) Но ему нужно на что-то опереться. Он не может их опровергать, не имея поддержки своих, не имея сурового осуждения своего обращения. Я учитываю исключительно тяжелые обстоятельства биографии, жизни этого художника. При моей особой оценке его творческого дара я все же говорю, что никто из нас так не поступил бы в силу нашей внутренней дисциплины, в которой мы воспитаны. Но он затравлен, загнан. Он в качестве какого-то изгоя существует среди нас. Действительно, не называя, его имя вычеркивается отовсюду. Ведь как бы то ни было, но ему это ужасно. Писатели должны иметь способность вообразить себя на месте товарища, неизвестно, что в таком случае человек сделал бы. Если он делает неверные движения, то нельзя на него обрушиваться в таком случае с мечом навстречу.

Мое предложение: назвать основные пункты, от которых мы отказываемся и которые мы оставляем в нашем предварительном коммюнике. Можно прочитать его сейчас и подвергнуть обсуждению.

К. А. Федин. Я очень рад, что мое

---

[20] Как явствует из кннгн «Бодался теленок с дубом», «проект несостоявшегося коммюнике», предложенный Секретариату Твардовским (который неофициально присутстаовал на встрече Маркова, Воронкова, Сартакова и Соболева с Солженнцыным 12 июня 1967 г.), включал наряду с осуждением «сенсационного» образа действий автора «Письма съезду» подтверждение безупречности его воинской биографии и готовность «признать что-то в ...письме как заслуживающее вниманния» Солженицына в тот момент устраивало и это.

[21] Позднее, 25 апреля 1968 г., Солженицын написал письмо такого содержания, адресовав его газетам «Монд», «Унита», а также «Литературной газете», которая поместила его 26 июня того же года в обрамлении погромной статьи (о «Пире победителей» и пр.) «Идейная борьба. Ответственность писателя».

предложение, сделанное мною без особых обоснований, нашло поддержку.

Я хочу внести один корректив. Я внимательно прослушал выступления Твардовского, Салынского, Симонова, и это еще больше убеждает меня в следующем. Одно дело, если Солженицын выступает по какому-то поводу, по которому он идет с заявлением сам по себе и тем самым развязывает замкнутый круг вокруг его судьбы: никто его не поддерживает, не обращает внимания,— обратите внимание и поддержите. Но именно с этого надо начинать, иначе будет так: мы должны сначала продумать форму и просить: извините нас. За что? Неужели вы считаете себя виновными в сложившихся затруднениях?

(**А. Т. Твардовский**. Я — нет.) Мы опять сделаем себя подсудными, такими, какими мы получаемся по письму, о котором я говорил в самом начале. Мне хочется, чтобы этого не было. Не искать искусственного повода: вот не говорят о Солженицыне, о нем не пишут, вот говорят о нем на улицах и т. д. Это недостаточный повод для выступления, для обращения к общественности. Нужен повод, может быть, иной. Это будет толчком значительным для судьбы нашего художника и литературы, если он выступит первым. Вы начали с этого, Александр Трифонович,— нет достаточного повода. Да помилуйте, сам Солженицын говорит, как поступать. Ведь письмо его об этом говорит.

Вот, может быть, так следует сделать: написать, что «вы используете каждое апчхи». И действительно, там здравствуют <по> всякому поводу. Я это хотел сказать. Может быть, Александр Исаевич найдет возможность для появления в печати. Он жалуется, что его не печатают. Он же здесь говорит открыто обо всем, что он думает и чувствует, почему он не скажет какую-то часть из того, что он говорит, открыто, но с истинным адресом к виновным — не к Союзу—о том, что его не поддержали через три месяца или четыре. Тут какая-то торговля получается — сколько месяцев, как и тогда, в каком количестве и т. д. Нет, не торговля должна быть, а ответ на происходящие события. Ваше имя фигурирует в мире как повод для новых и новых нападок, оскорблений и т. д. Этого не должно быть! Ваше имя не такое. Вы сильнее и лучше всех можете для начала сказать. Вы найдете поддержку всему доброму по отношению к стране, гражданином которой вы себя считаете.

А. Е. Корнейчук. Товарищи! Я впервые вижу Солженицына и очень внимательно слушал выступления. Я первый задал вопрос: почему вы как советский писатель не реагировали на ту свистопляску, которая идет за границей по поводу вашего письма, когда каждый день по радио обливается грязью Советский Союз? Вас пригласили не для того, чтобы бросать в вас камни. Вы в трудном положении. Мы хотим вам помочь как человеку, писателю, гражданину выйти из этого трудного положения и очень плохого.

Мы собрались здесь не для того, чтобы все сплетни, которые вам доносят, о которых пишут, разбирать. Не для этого мы собрались. Когда мы вам задали вопрос, вы ответили: «Что вы так обращаете внимание на заграницу?» Вы просто ушли от ответа. Так нельзя, товарищ Солженицын. Идет колоссальная борьба — не мне вам рассказывать — против Советского Союза. Идет борьба в сложнейших условиях, и особенно усилилась она перед 50-летием нашей страны. Мы отвечаем за все. Мы, писатели Советской страны, отвечаем, и мы не можем быть в стороне. Мы ведем борьбу против этой клеветы, большую борьбу, и своим творчеством, и своими выступлениями. Мы защищаем свой народ, свою партию, Советское правительство. Иначе быть не может. Мы понимаем свой устав. Мы всем сердцем защищаем.

Вы в очень трудном положении — и в лагерях были и т. д. Но не вы один были, много людей, много старых коммунистов. Но Родине нужно было, и они пошли на фронт, они воевали и сейчас работают. И счастье, что XX съезд разгромил все беззаконие, которое было и ушло. Но, кроме беззакония, был и гигантский труд и подвиг советского народа, подвиги коммунистов, подвиг всей нашей партии.

Я очень рад, что вы перечеркиваете «Пир победителей». Я не читал вашего романа, но читал ваши письма. «Пир победителей» расходится по рукам, его читают, и, как я слышал от вас, у вас сотни корреспондентов.

Когда я, Сурков приезжаем за границу в борьбе за мир, то мы жизнь свою отдаем в этой борьбе за мир. Мы бы тоже хотели дома сидеть и писать, но мы обязаны вести эту борьбу за мир. И когда приходишь в гостиницу за границей, то портье дает несколько пачек — это нам подсовывают «литературу» белогвардейщина, петлюровщина. И когда я читал «Пир победителей», то это абсолютно то, что про нас пишут там,— злобно, грязно, с оскорблением не только русского народа, украинского, татар. Там даже есть презрение к этим людям. Это типичное белогвардейское презрение к народам, нациям, культуре. Как же это можно?!

Вы говорите, что кругом вас поставили в тяжелое положение. Да, мы не успели помочь вам, но не было бы «Пира победителей» — разве вообще был бы такой разговор? Давайте честно, среди товарищей, говорить об этом.

Мы вас не просим. Я не собираюсь вас просить. Я только волнуюсь и думаю об одном, о том, что вы как гражданин, как талантливый писатель обязаны выступить против этой клеветы, выступить и пойти с нами, плечом к плечу. Мы — писатели, мы были солдатами, мы были в тяжелейших переплетах, и не думайте,

что вы один в тридцать седьмом году это пережили, нам тоже приходилось переживать. Но ничто не остановило нас, потому что мы верили в народ, верили в партию, в страну свою. Мы хотим, чтобы к 50-летию мы шли плечом к плечу и больше не возвращались к этим вопросам.

Если ваш роман имеет отдельные недостатки, вы будете работать с редакцией. Кто из нас, здесь присутствующих, приносил свои произведения и их твк сразу все печатали? Тот, кому приходится с театрами работать (я — драматург), знает, что многое приходится переписывать, дорабатывать,— товарищи, критики делают замечания,— а как же иначе. Разве можно поставить себя в такое положение: принес — печатайте, я — гений. Такого не было и не будет. В истории русской литературы такого не было. Как влияли на русских писателей великий русский просветитель Белинский, Некрасов, как они боролись за Россию, ту Россию. Честь им и слава. Мы боремся за нашу литературу. А вы хотите таи: принес — напечатайте. Не напечатаете — будет поздно. Я согласен с Константином Александровичем: это оскорбительно для нас. Тут не мальчики собрались, войну прошли и в тяжелых боях за строительство нашей литературы, нашей жизни принимали участие.

Вот Горький перед нами, а вы даже о Горьком осмелились сказать неуважительно. Нельзя так. Вы говорите: я хожу по этой земле и предан этой земле. Мы все преданы этой земле. Мы все отдавали и будем отдавать народу, нашему государству. Так скажите тем, кто хочет разрушить наше государство, свое настоящее слово, и замолкнут брехуны. И мы вам поможем. Вы всегда будете иметь нашу помощь. А если вы молчите, если это вас не интересует,— почему я должен верить, что вы любите свою страну. Я не могу этого сказать. Сегодня вы ие ответили ни на один вопрос. Вы тут говорите, как вам тяжело, но вы не ответили ни на мой вопрос, ни на другие вопросы. Более того, вы обвиняете Союз писателей во всех грехах и тут обвинили нас, сказали: ездят за границу и пишут потом летучие заметки. Я не обиделся. Я не пишу о загранице. Я езжу за границу и там ночи сижу на заседаниях Комитета защиты мира. Нельзя так легко относиться к людям. Нельзя так подходить. Мне трудно сказать, что у вас дальше будет, но в сегодняшнем выступлении хочу искренне в глаза вам сказать: я не хочу, чтобы звучало презрение к коллегам. Мы работали с Толстым, Горьким, бывали у него дома. Мы в тяжелых условиях были. Мы выходнли из этого положения, и никакие ошибки не сломили нашей воли и нашей веры в партию, народ, государство. И мы тут честно, открыто об этом говорим и хотим, чтобы вы были с нами.

Так что сегодня проблема не только в том, печатать или иет. Если товарищи считают, что талантливое произведение и нужны доработки, уверен, что вы это сделаете.

Но проблема другая. Мы впервые с вами встречаемся. Мы не желаем слушать никаких сплетен. Согласен, что если сочтут нужным публиковать, то обязательно надо напечатать вашу биографию, каким вы были бойцом и т. д. Но вам надо первому сделать настоящий шаг советского гражданина. Это дело серьезное. Мы хотим, чтобы и вы были другом в нашей борьбе. Сейчас идет ущерб от ваших писем Советскому государству. Что же, вам будет приятно, если вы будете и дальше наносить ущерб нашей литературе, причем не только русской,— ведь иаша литература многонациональная. Это чудовищно! Я не могу в это поверить. Поэтому мы и говорим: идите в бой против врагов наших, и вы немедленно почувствуете близкие плечи друзей. А так вы только изолируете себя. Ведь сегодня в ваших выступлениях чувствуется только обвинение, ваши выступления — прокурорские.

Да, горя вы много пережили. Но нельзя только с этим приходить сюда. И так сказать, как вы сказали в отношении «Пира победителей»: это я считаю неважным. Это важно. И если не важно, почему же вы в прессе не сказали, что я считаю, что это произведение, написанное мною... и т. д. Никто же этого не знает.

Заканчиваю одним: считаю, что предложение, сделанное Константином Александровичем, очень верное. Думаю, что дальше товарищи, которые читали роман, может быть, скажут свое слово, чтобы дальше выступить и написать предисловие, где правильно, объективно сказать о биографии товарища. Но первый шаг ваш должен быть. Найдите форму. Вы сможете найти. Тем более что нельзя с пренебрежением относиться: что вы на заграницу смотрите? Если бы заграница была другая, можно было бы не обращать внимания. Оттуда идет все. Мы-то верим, что термоядерная война отодвинется... А может быть, и нет. Вы же знаете великолепно, какое положение. Мы — солдаты, как же нам не драться, как не отметать клевету!

В бесконечных вариациях каждый день все радиостанции кричат о ваших вещах... Хватит нам уже этой Светланы! [22] Не сделают из вас Светланы,— в этом я глубоко уверен. Надо нам всерьез подумать, и мы думаем, и вам надо подумать. Иначе я не понимаю, как тогда создавать коммюнике, если сегодня Солженицын честно не скажет своим друзьям, как он будет поступать.

А. И. Солженицын. Предыдущий оратор здесь говорил о «Пире победителей» как о существующей, чуть ли не изданной вещи. Я же заявил вначале и возражаю против этого повторения.

А. Шарипов. Вашего заявления мало для такого «произведения»!

[22] Речь идет об издании за границей записок С. И. Аллилуевой, дочери Сталина.

В. М. Кожевников. Я должен прежде всего сказать, что промежуток времени между первым письмом и сегодняшним Секретариатом свидетельствует не о пренебрежении к автору и к этому письму и уходе от этой проблемы, а наоборот, об очень глубоком и серьезном отношении нашего Секретариата и литературной общественности к этому событию. Если бы мы собрались тогда, когда это письмо стало предметом антисоветской пропаганды и антисоветской оркестровки нашего съезда и <предпринимались> попытки распространения среди делегатов съезда этого письма для того, чтобы выработать у них совершенно неправильное представление о деятельности Союза, и о фигуре Солженицына, и об обстановке, в которой мы собрались,— очевидно, наше эмоциональное состояние было гораздо острее и менее продуманное, чем нас это обстоятельство обязывало. Поэтому любое обвинение в пренебрежении к автору этого письма, в том, что мы бюрократически (подходим) к любому письму писателя, я начисто отметаю. Я подчеркиваю наше серьезное отношение к этому письму.

Второе. Мы, естественно, обсуждая это письмо, должны были познакомиться с совокупностью всех обстоятельств, вызвавших это письмо, и содержавшимися материалами, с которыми обращался автор к Секретариату. И поэтому мы подошли к этому не просто как к факту определенного административного вмешательства и оценки рукописей. Мы решили своими глазами убедиться и вынести свое решение спокойно и вдумчиво. На это требовалось время.

Автор обратился с письмом в Секретариат, естественно и справедливо требуя восстановления той правды, которая содержится в его биографии, и пресечения извращений, которые в отдельных устных высказываниях содержались. Поэтому одной из целей нашего обсуждения письма является истинное представление об авторе, чтобы отмести то наносное и неверное и восстановить правду. Дело в том, что мы обсуждаем сейчас не офицера Советской Армии в годы Отечественной войны Солженицына, а писателя Солженицына. Что касается его военной характеристики — это подтверждается документами и не подлежит обсуждению. Но впервые здесь я, откровенно говоря, с большой радостью услышал от Солженицына, что он отказывается от этой пасквильной, кощунственной вещи, написанной в таком духе, в каком не снилось писать профессиональным антисоветчикам о нашем народе,— народе, который отдал 20 миллионов жизней, чтобы быть победителем. Так кощунственно изобразить советских людей, так писать о власовцах, к которым испытывали чувство брезгливости даже гитлеровцы,— это за пределами моего понимания. И я не могу от этого отказаться, потому что для меня момент отказа Солженицына не совпал с моментом моего восприятия. Но он отказывается от этого во имя своей жизни, своей гражданской чести и места среди нас. В первом письме упоминается «Пир победителей». Это письмо стало предметом зарубежной антисоветской пропаганды. Поэтому, так как сам тов. Солженицын подчеркнул, что его творчество обладает какой-то особенностью распространения в рукописях, носящего чрезмерный, последовательный и систематический характер,— естественно, долг его как человека, отказавшегося от этой вещи, подтвердить это, помочь нам, помочь самому себе и точно, обстоятельно показать всю недопустимость существования в любом качестве, в любом предмете этого произведения. Здесь Александр Евдокимович (Корнейчук.— **Ю. Б.**) говорил. Более подрывного характера антисоветского произведения из той суммы антисоветчины, которую мне приходилось читать, я не читал. Тут говорят о талантливости. Да, обычно такого рода произведения бездарны. Поэтому сила воздействия увеличивается от того, что это написано талантливым литератором. Солженицын сказал, что эта рукопись им уничтожена, но кем-то была скопирована. Я допускаю, что какой-то негодяй и мерзавец сумел скопировать, чтобы создать такое мощное подрывное средство, создать такой документ. Но тем более это требует слова Солженицына, его протеста и его естественного возмущения, потому что как офицер... Я не допускаю мысли, что это может существовать в одном лице — и награды, и такая вещь. Я готов вычеркнуть его из своего сознания, как и все, но с помощью Солженицына. Если же он этого не сделает, я считаю, что мне не место в той организации, где человек продолжает сохранять такое место в литературе.

Я понимаю, что это произведение было написано в состоянии умственного исступления, было написано в тех условиях, когда нормы человеческого контроля могли быть потеряны. Но в ряде вещей, которые я читал,— и в романе «В круге первом», и в повести «Раковый корпус»,— есть ощущение какой-то мести не только за те трагические события, виновники которых уже нами названы в лице бериевщины, в лице культа Сталина, виновники нарушений нашей законности, но и какой-то ненависти ко всему времени, к людям, в то время жившим. С этим я примириться не могу. Причем я готов психологически понять, почему это происходит. Мы знаем отличительные особенности биографии автора этих вещей. Но ведь он же писатель, он человек широко мыслящий. Я согласен с Салынским, который говорит, что он не принимает теорию нравственного социализма. Но как спорный момент это может быть. Но если автор стоит на этой для меня неясной позиции нравственного социализма, то ведь он отступает от принципов гражданской и человеческой нравственности. Поэтому, если он собирается быть проповедником, то он должен отчетливо представлять свои позиции в этом отношении. Нельзя превращаться в протопопа Аввакума и, как он писал в своих мемуарах, бросать собственные нечистоты во всех проходящих. Я не привел этот пример как пример поведения Солженицына, но какие-то моменты ощущения в его рукописи есть.

Я не понимаю товарища Солженицына в его каком-то неблагодарном отношении к соседу, который сидит слева от него. Мы ведь знаем, какой позиции личной поддержки творчества Солженицына, открытием его как писателя он обязан тому печатному органу, в котором находится его вещь. Но он держит себя крайне высокомерно, он даже не счел нужным сказать, были ли полезные советы коллектива редакции, были ли другие полезные советы или нет. Единственная аргументация во всем его письме, связанном с этим романом, была: имейте в виду, если вы не опубликуете немедленно, будет поздно — вещь будет опубликована за рубежом. Что же это такое? Где элемент этичности, нравственности, самой элементарной, по отношению к людям? Потому что я знаю, что, кроме славы, «Новый мир» получил много шишек за публикацию Солженицына. Я, например, опубликовал в «Коммунисте» статью о молодых. Оценивая роман Солженицына «Один день Ивана Денисовича», я рад был появлению этого одаренного писателя. Но потом, после напечатания повестей «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка», у меня было чувство протеста. Мы хотели, чтобы человек, сказавший правду в границах изоляции своего видения от других процессов, сказал ее и в последующих вещах. Мы к нему даже тогда этой претензии не предъявляли. Мы поняли, как мне кажется, что о счастье, справедливости, которые наступили и совершены партией, будет сказано. Ведь все вещи — лагерные. Полное умалчивание, игнорирование других процессов. Вы сейчас нам сказали, что вы благодарны XX съезду. Но ведь это совершено партией и единодушно поддержано народом. Так где это в последующих вещах? Опять замкнутый круг первый, и нет ощущения, как из этого круга вышли, какие героические усилия партии и народа сломили это. Опять пугание, опять нагнетание трагического без фактов сопротивления и опять дух мстительности. Я первый раз увидел Солженицына. Как-то он разговаривал с нами с каким-то ощущением: вы хотите допрашивать. Мы собрались сюда такие же — читатели. Мы теряли время на сырые рукописи, многие из них по чисто художественным качествам мы бы никогда не дали. Мы читали, стараясь понять вас, стараясь создать ту поддержку, о которой говорил Корнейчук. И я не совсем согласен с Салынским, но он искал то позитивное, в котором эта вещь может прозвучать как нужно.

Вы назвали какого-то человека, но вы не назвали ни одного писателя. А как вы говорили о Союзе? Как вы говорили о нашем коллективе? Как о чуждом, враждебном вам, хотя со стороны Союза писателей никаких акций не было. Наоборот. Все время у Союза желание, чтобы вы вышли из тупика, в который вы себя искусственно загоняете.

Я должен сказать прямо. Я не знал, что мы будем обсуждать «Раковый корпус». Я против того, чтобы мы обсуждали вещь, находящуюся в работе в редакции, если сама редакция не скажет, что она не может самостоятельно решить оценку этой вещи и не может выработать свое отношение. Поэтому мне кажется странным заявление А. Т. Твардовского, одного из опытных и смелых редакторов, что «как вы на миру решите, так и поступим». Александр Трифонович, у вас есть редколлегия — не превращайте нас в нее.

Все секретари проголосовали «за», а я против того, чтобы эту вещь публиковали в таком виде. Тут, очевидно, голоса разойдутся. У меня вызывает чувство отвращения обилие натурализма, нагнетание литературно-спекулятивное, потому что всякое заболевание, особенно такое, как рак, описанное в натуралистических подробностях, легко эксплуатирует человеческое чувство. И, кроме того, я не могу отказаться для себя, что этот раковый аспект имеет не столько физиологическое, сколько социальное значение. Вы обличаете не те явления, которые вызвали беду с вами, а вы накладываете тень на всех нас, на весь наш народ, который в тяжелейших условиях пролил кровь, совершил нечеловеческий подвиг, восстановивший всю страну. Но как раз этого нет у вас.

Константин Александрович мудро и точно сказал, что вы должны сказать свое слово о себе, о тех вещах, которые должны быть начисто отметены от вас как художника. И, естественно, когда вы скажете это слово — прекратите раз навсегда домыслы со стороны зарубежных антисоветчиков представлять вас как добровольного союзника в передаче литературных явлений.

Вы сказали, что ваша рукопись может быть опубликована против вашей воли на Западе. Но эта же рукопись совершит литературную власовщину, а не что иное. Вы должны были сразу возмутиться и наложить вето на эти возможности. Но вы этого не сделали. Наоборот, вы пригрозили этим обстоятельством. Вы в этом письме буквально вымогали публикацию рукописи в таком виде.

Если замечания редакции «Нового мира» столь невелики и требуют немного времени для их осуществления, значит, вы их можете сделать и вещь может быть опубликована в те сроки, которые вы определяете. Если эти исправления требуют длительного времени, все равно вы должны следовать им. Вы же понимаете, в какой атаке к 50-летию вы находитесь. Как у вас могло повернуться

слово. Выступающие товарищи говорили даже с повышенной доброжелательностью, отметая даже то, чего я опасался.

Поймите, мы хотим, чтобы вы были с нами. Мы хотим, чтобы вы отбросили тех врагов, которые являются и вашими врагами. И мы вам поможем. Но вы должны сделать первый шаг, как сказал Константин Александрович.

А. И. Солженицын. Я прошу, чтобы «Пир победителей» не обсуждался, а он обсуждается. Я ведь сделал заявление...

А. А. Сурков (перебивая): Есть русская поговорка: на чужой роток не накинешь платок.

А. И. Солженицын. Я прошу, чтобы меня поняли правильно. Корнейчук сказал, что такого не было и не будет в истории русской литературы. Я совершенно согласен. Обсуждается произведение, написанное 20 лет назад, в другую эпоху, в несравнимой обстановке, другим человеком, произведение нигде не опубликованное, а выкраденное из ящика. И тем не менее второй оратор сосредоточивает ярость на этом произведении. Это все равно, как если бы на I съезде писателей стали упрекать М. Горького за «Несвоевременные мысли» или Сергеева-Ценского за осваговские корреспонденции, которые были опубликованы, и лет за пятнадцать. Но это произведение обсуждается и обсуждается серьезно. Я просил не обсуждать.

К. А. Федин. Не может быть решения, обязывающего говорить или не говорить. Ораторы знают ваше выступление, имеют его в виду, и тот же Вадим Михайлович, критикуя, ссылается на то, что вы отказались от этой вещи. Но ведь это внедрилось в мозг присутствующих тогда, когда они знакомились с материалами для нынешнего собрания. Что же делать. Я тоже это прочел. Но я уважаю ваше желание и не касаюсь этого произведения, но, грешный человек, я прочел и разделяю то мнение, высказывание которого вы бы хотели бы запретить, хотели бы изъять этот предмет из обсуждения.

Слово имеет В. М. Озеров.

В. М. Озеров. Мне кажется, Секретариат встал на правильный путь, пытаясь принять конструктивное решение. Это не легкая, трудная проблема. Поэтому оговорки, что товарищи сосредоточивают ярость и проч., не нужны. Идет разговор, мне кажется, уважительный, заинтересованный. Но этот разговор не может исключать и другого в нашей честной, прямой и дружной оценке того, что имеет место. Я тоже хочу сказать об этом. Мне кажется, при всех обстоятельствах письмо, которое было написано фактически не на имя съезда, а всем-всем-всем, сыграло противную, отвратительную роль, оно стало орудием опорочивания нашей страны, советской системы. Этот акт, независимо от убеждений автора, оказался политически страшным актом. Я ожидал, что Солженицын скажет, что он не во всем прав, избрав такую форму распространения письма... (**А. Шарипов.** Это было не письмо, а прокламация!) Были там вещи неправильные. Я понял из этого письма, что некоторые произведения, в том числе и «Раковый корпус», были просто-напросто отвергнуты. Я так понял, как все поняли. Там так написано: отвергнуты цензурой. Но это ведь неверно!

Коснусь еще одного вопроса. В письме получилось так, что там рассмотрено, как на протяжении всей истории нашу литературу душили цензура и стоявшая над ней власть, там упомянут и Замятин, то есть в кучу взято все — честные писатели, писатели пострадавшие, которые писали тогда с позиций, далеких от нас. И вот это письмо, где такая путаница, где все взято в одной куче, адресованным (так получилось, т. Солженицын, хочу думать, что вас это огорчает) оказалось врагам. Они его подхватили и стали заявлять, что советские писатели во главе с Солженицыным выступают против советского образа жизни и Солженицын — антисоветчик.

Я убежден, что от такого признания автор должен был отказаться, должен был отвергнуть его с возмущением, с каким способен сделать <это> человек, любящий свою Родину.

Так что ошибки были допущены со стороны Солженицына, которые надо констатировать, и недооценивать этих ошибок нельзя. Он мог это сделать. При всем сочувствии моем к нему я должен сказать, что факт остается фактом: поступок неправильный политически, грубо ошибочный, оскорбительный для нашего общества.

Я считаю, одновременно, что если на Солженицына возводятся какие-то неправильные обвинения, их надо снять. Как же иначе? Так должно быть с любым нашим советским человеком. Надо найти форму, как это сделать. Может быть, долго ждать, когда выйдет однотомник и будет предисловие Симонова, но обвинения несправедливые надо снять, так же как высказывать справедливые обвинения. Это все можно расследовать. Мне кажется, не будет вреда, если Союз писателей ряд обвинений с компетентными органами рассмотрит, — не должен нести человек на себе эти обвинения.

Есть еще более серьезный вопрос. Его интересует конкретно первое: существует написанное произведение, как с ним быть?

Мне кажется, решающее слово должно принадлежать тем, кто будет печатать. Если взялся печатать «Новый мир», мы должны взять заявление редактора, не запрещать ему и не объявлять приказом — печатать, но кое о чем условиться. Здесь скажу несколько слов из собственного восприятия этой повести.

Мне кажется, должна быть нормальная работа редактора с автором: форма спора, взаимного убеждения, принятия чего-то и неприятия. Могу высказать

только несколько замечаний, которые не обязательны, и редакция и автор могут с ними не считаться.

Мне кажется, что эта вещь может быть доведена до печати. Мне кажется, что для этого требуется еще очень серьезная работа, серьезная работа, объясняемая двумя причинами. Первая причина та, что повесть, как мне кажется, очень разнолинейная. Наряду с хорошими реалистическими идеями есть много натурализма, иногда ненужного. Хотя предмет тяжелый, я это понимаю. Потом ассоциации, которые рождаются. Рождаются ассоциации о социальных болезнях, которые ближе, конечно, касаются такого общества, как США, но касаются и нашего общества. И третье — плакатность некоторых образов, карикатурность из крокодильского типа. Вот эти три вещи. Если бы я работал с автором, я просил бы о целом ряде купюр и о пояснении некоторых моментов. Я ближе к тем, кто думает, что эта философия нравственного социализма в такой форме звучит не только не опровергнутой, но фактически отстаиваемой. На мой взгляд, она как концепция жизни не может предлагаться. Работа должна идти по уточнению концепции, а не по деталям. Как это делать? Собирается редколлегия, один говорит одно, другой другое. Идет спор. Мы тоже выпускаем журнал [23], и никто из присутствующих не скажет, что мы занимаемся тем, чтобы «держать и не пущать». Мы вступаем в диалог с авторами.

Можно ли эту вещь подготовить к печати? По-моему, можно и нужно сделать все для этого возможное. По-моему, нам надо не только защитить Солженицына от неправильных обвинений, но и поставить его в материальные нормальные условия. В этом смысле, независимо от окончательных сроков работы, с ним должен быть заключен договор, если автор решит доводить рукопись до печати. Третье — то, о чем мы здесь говорили и о чем говорят широко в стране и в мире. Дальнейшие келейные разговоры не нужны. Я бы прислушался к тому, что говорили, Александр Трифонович, и нам нужно знать, как определит себя Солженицын в той борьбе двух лагерей, которая сейчас идет, — капиталистического и нашего. Может ли дальше его имя использоваться как флаг антисоветской деятельности советских писателей. Это слишком модно — советский писатель — оппозиционер и вообще, что советская литература занимается оппозицией. Кто же об этом должен заявить? Тот, кого в этом обвиняют. Я полностью присоединяюсь к тому, что сказал Константин Александрович. Товарищ Солженицын мог бы придумать форму такую, чтобы решительно отмежеваться от тех, кто плюет на советский народ и советское общество, объяснить, почему им написано письмо (допустим, он нервничал). Одно дело — внутренние счеты, а другое дело — борьба с настоящим врагом. Мне кажется, что он должен объясниться и все это должно произойти более или менее одновременно. Общественность должна знать, в чем дело. Слишком часто мы молчим, а отсюда и сплетни: кто такой Солженицын, советский, антисоветский, вообще кто он? Мы молчим, и поэтому идут всевозможные рассуждения, гадания. На Западе тоже много пишут о его биографии. Ответить на биографию Солженицына можно, взяв какой-то факт. Тут форму найти можно. У меня только одна просьба к Солженицыну, и к главному редактору «Нового мира», и к Секретариату. Эта проблема может быть решена во взаимных поисках истины, часто во взаимных уступках, то есть автору придется посчитаться с какими-то мнениями редакции. Один не прав, второй не прав, но все-таки многие люди должны заметить какие-то вещи, с которыми необходимо посчитаться.

А. А. Сурков. Трудно немножко... Я долго искал возможности сказать то, что я хотел сказать, в присутствии А. И. Солженицына, а не за его спиной.

Александр Исаевич, вы меня простите, но я тоже читал ваш «Пир победителей» и еще кое-какие ваши вещи. Я не хочу перечитывать «Пир победителей» и считаю, что вы благородно поступаете, сказав, что это заблуждение 20-летней давности... (**А. И. Солженицын.** 25-летней!) Но, знаете, оно было написано по принципу: да будьте вы все прокляты!.. И я бы не стал об этом говорить, если бы, читая «Раковый корпус», я, к великому сожалению, не почувствовал, что кое-что в этой рукописи продолжает звучать с очень большой силой из того, что я читал там. Вы талантливый человек и, по-моему, идейный человек.

По участию своему в революции я примерно ровесник вашего Шелубина. Мне показалось закономерным, что из всех коммунистов, которые попались на его пути в «Раковом корпусе», только этот странный человек, который похож на коммуниста, как я на негуса абиссинского, вошел в духовный мир вашего главного героя, только этот один человек со своей устарелой теорией нравственного социализма.

Я довольно начитанный человек, скрывать не буду, я и Вл. Соловьева нюхал, и Михайловского нюхал, и Кропоткина. И должен сказать, что эта какая-то странная идея нравственного социализма и какого-то эсеровского экстремизма почувствовалась мне, когда я захотел узнать, чего же вы от нашего общества хотите. Я вам скажу так: претерпев столько, сколько вы претерпели, вы, как говорится, морально имели право быть очень недовольным обществом, которое с вами поступило так несправедливо, что ли. Но вы же писатель, писатель со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Александр Исаевич, среди круга близких мне людей были коммунисты, кото-

[23] «Вопросы литературы».

рые имели вышку, как вы пишете. Я не буду говорить, что у них разница в представлениях о степени вины общества и о степени вины преходящих исторических обстоятельств всегда чувствовалась.

У меня впечатление такое — вот почему я думаю, что работать над этой повестью придется очень трудно, если вы захотите работать,— что там вопрос не частный, а вопрос концепции. Это же не физиологическая повесть, а политическая, дорогой Александр Исаевич, в которой, хотите вы или не хотите, совершенно естественно атмосфера ракового корпуса распространяется на то общество, на территории которого помещается этот ташкентский диспансер. Это же очень серьезно и глубоко. Там больше 500 страниц, которые я прочел. И не только потому, что вы странного коммуниста в духовный мир Костоглотова запустили, но и сам-то Костоглотов выступает поправщиком этого странного коммуниста. И вы ставите некоторые вопросы несколько предвзято, например, когда пишете, что в глубине Театральной площади стоит этот идол. Памятник Марксу поставили несколько позднее того времени, нежели когда идет этот разговор. Это есть в вашей вещи. Я не знаю, Александр Исаевич, чувствуете вы или не чувствуете, но там все время идут широкие обобщения на все общество, которое существует 50 лет, и ни в ваших, и ни в моих силах изменить течение развития этого общества. Мне, коммунисту, очень горько признать, сказать, что в этой повести много есть глубокой правды, потому что, к сожалению, такой, казалось бы, карикатурный образ, как образ Русанова, у нас есть. И многие другие вещи, о которых там сказано, есть. Но поймите такую вещь: когда вы беретесь через Шелубина объяснить, почему у нас такое происходило в 1937, 1938, в 50-е годы, получается тоже какая-то страшная нравственная и политическая растерянность вроде: кто же в конце концов виноват, что такие вещи случались. А когда на эти вопросы не отвечено, то создается впечатление, и законное впечатление, о том, что общество это, так же как ваши персонажи — больные раком, неизлечимо, и как его лечить, не поймешь, потому что неизлечимо.

Я не хочу обвинять, я говорю о том, что вычитал, может быть, я не прав. Поэтому, когда будут голосовать вопрос о том, чтобы поручить редакции «Нового мира» напечатать повесть, я буду воздерживаться. Если редакция возьмется эту повесть печатать,— это ее святое неотъемлемое право, а на рекомендацию Союза писателей я бы не отважился принимать участие (так в стенограмме.— **Ю. Б.**).

Я понимаю вас, когда вы в самом начале на каждый вопрос реагировали, как на допрос. Поэтому я не позволил себе задать ни одного вопроса, хотя потребность в этих вопросах у меня была. Я не думаю, что вы не знаете, кто хозяин «Граней» и... <пропуск>, печатающих регулярно ваши произведения. Вы умный и широко эрудированный человек и не можете не знать, что это органы второй русской эмиграции, тех самых убежавших в обозе гитлеровцев полицаев, которые в рядах так называемого НТС ведут против нас такую наступательную политику.

Мне бы казалось, что надо бы ему сказать: не путайте меня с собой. К этому обязывает вас ваша боевая биография офицера и, по-моему, глубоко любящего свою землю русского человека, потому что это иудино целование, которое надо бы сплевывать со своих уст. А эти иудины целования продолжаются довольно давно.

Кроме того, я абсолютно не уверен в том, что публикация «Ракового корпуса» у нас опередит публикацию этого произведения за границей. Я ни на одну секунду не думаю, что вы способствовали тому, чтобы рукопись пошла за границу. Но если рукопись начала ходить в нескольких экземплярах по Москве, то это неизбежно. Я это видел на опыте Ахматовой, с которой в последние годы ее жизни был в каком-то духовном контакте: достаточно было пустить «Реквием» по рукам, чтобы через несколько месяцев он пошел в «Грани». Раз рукопись пошла по рукам — хотите или не хотите, она уже там появится.

Но не об этом я хочу сказать. Я хочу сказать вот о чем. Я абсолютно не сомневаюсь, что вы человек из нашего общества и продукт нашего общества, и мне хотелось просто внутренне, морально, чтобы с вашей стороны был какой-то жест в сторону этих одноплеменных с нами по второму признаку крови участников холодной войны против нас. Причем это будет несколько страшнее, нежели публикуемая сейчас в «Нью-Йорк таймс» и других газетах обывательская болтовня Светланы Аллилуевой, пошлая, обывательская болтовня, лишенная какого бы то ни было морального и политического содержания. Вещь ваша может быть поднята против нас в известной мере как знамя. И хорошо было бы с этой точки зрения это упредить, хотя я знаю: упредить это очень трудно.

Перед выходом «Доктора Живаго» у меня был случайный разговор с издателем Фельтринелли, который сам мне показал (я не уговаривал его не издавать, я сам знал, что издадут) телеграмму Пастернака. Об этой телеграмме я не знал. В этой телеграмме покойный Борис Леонидович просил задержать печатание для того, чтобы он мог внести кое-какие коррективы и поправки в рукопись. Этот издатель сказал: если Борис Леонидович собирается второй вариант своего романа напечатать — мы его вторым изданием напечатаем. А первое издание уже у меня переведено, набрано и выйдет в свет.

У вас есть моральное преимущество

то, что вы никому не передавали. И то, что здесь говорили товарищи, мне кажется, было бы справедливым во всех отношениях и в отношении нашего коллектива, если бы вы рекомендацию К. А. Федина все-таки приняли близко к сердцу.

А нам тоже надо сделать то, о чем здесь говорил Твардовский. Нам надо уточнить целый ряд вопросов. Странно, что Солженицын их не уточнил. Если правильно то, что он здесь говорил, что так поступают с повестью «Один день Ивана Денисовича», то это безобразие. Это надо проверить и кончить. Мне кажется, что произведения, которые в нашей печати уже были опубликованы,— они имеют право на существование, имеют право на то, чтобы выйти совокупным изданием с предисловием, адресованным советскому читателю. Это ведь очень странное опасение, что у нас такой читатель, что его любая книжка уведет в сторону от намеченного движения по пути к коммунизму. Он так себя показал за эти 50 лет, что этого не надо бояться. Это приведет к ненужному раздражению, к ненужным моральным травмам, без чего мы можем обойтись.

Но, повторяю, если речь идет о последнем произведении Солженицына, мне кажется, что оно не так просто пойдет в печать, потому что там есть целостная концепция, которая, мне кажется, требует довольно основательной идейной и политической коррективы. А то у нас получается так, что к 40-летию предложили выпустить «Доктора Живаго», в котором (при всем моем уважении к Борису Леонидовичу) доказывалось, что Октябрьская революция погубила интеллигенцию и что Октябрьская революция была крупным извращением нормального рззвития истории и т. д. Ежели мы обрадуем читателей к 50-летней годовщине изданием «Ракового корпуса» в такой редакции, в которой я читал,— получится погуще, потому что Пастернак был наивным и оторванным от жизни, чего нельзя сказать о Солженицыне, который человек из жизни, у которого боевой темперамент и знание жизни гораздо большее. Но есть одно: его личные тяжелейшие страдания заплющили его на ту сторону нашей действительности — действительности, в силу которой мы — единственная революция за 50 лет — не сменили ни лозунгов, ни знамени, и писатель обязан это учитывать.

Тут товарищи говорили о всяких других вещах, я хотел бы сказать только об этом.

Что касается нравственного социализма, то это, Афанасий Дмитриевич, собственно говоря, довольно элементарная и глубоко обывательская философия... (**А. Д. Салынский.** Почему вы мне это адресуете?), которая породила в политике такие явления, как народный социализм Чайковского, который окончил председателем правительства в Архангельске [24].

Б. С. Рюрикова. Я думаю, что наша сегодняшняя встреча имеет большое принципиальное значение,— это не вопрос об одной жалобе, не вопрос об одной рукописи, это гораздо более значительно.

Солженицын пострадал не только от тех, кто его несправедливо ругал и возводил незаслуженные обвинения, но и от тех, кто его чрезмерно хвалил и приписывал ему те достоинства, которыми он не обладает. Я недавно прочел книгу Фишера «Искусство и существование». О Солженицыне говорится как о типичном новом явлении советской литературы, о Беккете — как о типично новом явлении зарубежной литературы. Речь идет об определенной ориентации: нам говорят, что Солженицын сегодня продолжает в советской литературе традиции критического реализма, он этим силен, этим велик, давайте поднимать его на щит. Так что если уж отказываться, то можно подумать и о таком адресе, как продолжателе русского критического реализма (фраза, очевидно, дефектная: записана неправильно или не полностью.— **Ю. Б.**). При такой трактовке исчезает все, что принесла русская революция. Эта трактовка дает искаженное представление о главном вопросе для нас — вопросе о социализме, его месте в обществе, его значении для общества, о творческом значении социализма. Если наша задача только в том, чтобы повторить критические ноты Щедрина и Гоголя, то роль советской литературы несложна и очень приятна для некоторых наших друзей за рубежом.

Эта дискуссия происходит на очень большом философском, культурном фоне, так ее нужно понимать. И когда речь идет о романе Солженицына, то речь идет не о тех или иных поправках к тексту, а о более важных вещах. Когда речь идет о пьесе (я скажу об этом, хотя вы от нее отказались),— мне было горько читать ее. Мне было горько читать в вашем письме, что вы, сочинив эту пьесу в лагере, восстановили ее по памяти, когда вернулись из лагеря. Не стоило этого дерьма восстанавливать,— простите меня. Я рад, что сегодня вы от нее отказались.

Александр Трифонович напечатал несколько лет тому назад очень хорошие воспоминания Горбатова, человека, который перенес тяжелейшие испытания в лагере, был в заключении, прошел через избиения. Потом он ушел на фронт, защищал советскую родину и кончил войну как победитель в Берлине [25].

Как-то мы сидели с Рокоссовским (это было после Курской дуги), и Рокоссовский говорит мне и другим товарищам:

---

[24] Н. В. Чайковский (1851—1926): в 70-е гг. один из лидеров народнического кружка «чайковцев», в дальнейшем эсер; после Октября 1917 г. активно боролся против большевиков.

[25] А. В. Горбатов. Годы и войны («НМ». 1964. №№ 3—5).

знаете, я сегодня вспоминаю свои мытарства (он сидел и тяжело пострадал) и думаю: вот со мной сидел полковник такой-то и полковник такой-то, как бы они пригодились сегодня. Он осмысливал прошлое, но осмысливал как русский человек, как участник продолжающейся драмы. Ведь это как раз хотят затуманить в нашей оценке прошлого. В Америке книжка Горбатова вышла довольно быстро, но вышла она с такой обложкой: колючая проволока, угнетенные фигуры военнопленных и здоровая фигура охранника. То есть во всех мемуарах Горбатова, которые очень ценны, выделена эта сторона. Я говорил о нашей философской и культурной ориентации. И с этого нас хотят сбить, хотят повернуть весь социализм отрицательными сторонами, извращениями, которые были.

Здесь говорили о нравственном социализме. Ведь в чем, как мне кажется, порочность этой концепции? В той ситуации, в какой она дана,— это отдушина в душном воздухе палаты смертников, это просвет. Как будто бы в реальной жизни нет ничего, что помогло бы ориентироваться в жизни. Вот это увлечение нравственным социализмом. А что, тот социализм, который мы строили в годы войны, в пятидесятые годы, что он был безнравственным? И разве ленинский социализм не был нравственным в своей основе?

Говорили, что в «Раковом корпусе» дано оздоровление, есть намеки на оздоровление. Но для меня признание оздоровления заключается не в том, чтобы сказать: а до этого была гниль. Этого мало сказать — подул свежий воздух. На что опирались те перемены, которые произошли после XX съезда? На здоровые силы коммунистов, рабочих, крестьян, интеллигенции. Так ведь? А мы эти здоровые силы очень легко отдаем на поношение и клеймение всякого рода журналистов за рубежом и всякого рода сочинителей анекдотов в нашем Союзе. Я думаю, что поведение Горбатова, Рокоссовского чище, благороднее, чем поведение героев, действующих лиц вашей неудачной пьесы. Кроме того, эти люди прочно стоят на земле, у них есть органическая сила. И мы в наших произведениях органическую силу нашего общества и показываем. Когда я читаю письма Солженицына и некоторые главы его произведений, я думаю, что источник его энергии очень часто в озлоблении, обидах. И по-человечески многое можно понять. Но мне хочется, чтобы источник его творческой энергии был более благородный, более нравственный.

В этом плане я хочу сказать об отношении к Союзу. Не надо Союз писателей толкать на какую-то недоверчивость, навязывать противостоящие позиции по отношению к общественности. Я не знаю, зачем было ставить вопрос о цензуре в связи с вашими работами. Цензура не прикасалась ни к одному из ваших произведений! Я тоже, как и любой автор, вступаю в какие-то противоречия с работниками Главлита, иногда приходится спорить, доходить до высоких инстанций, и почти всегда я добиваюсь своего. Я ни разу не приходил в Союз писателей с просьбой — разрешите печатать роман. Мы сами это решали в коллективе. Так и сейчас надо решать. Нет никакой необходимости на секретариате Союза писателей принимать решение печатать или не печатать. Не надо нас толковать как маленьких. Дайте нам право самим решать. Мы же люди зрелые и понимающие, работающие десятки лет в литературе.

Я думаю, что Солженицын должен с доверием отнестись к «Новому миру», с хорошим товарищеским доверием, с желанием делать общее дело. Если захочет А. Т. Твардовский — он может попросить любого из нас дать свои замечания. Я могу дать замечания постранично, если это надо, но я не хочу превращать секретариат Союза писателей в редколлегию.

Мы исходим из одной цели, относимся друг к другу по-товарищески, без растравливания своей боли. А когда у нас общая цель — мы должны ее сообща решать.

С. А. Баруздин. Я начну с писем Солженицына, потому что я получил их на домашний адрес и, не зная, что другие получили также, думал ему ответить. Но когда я увидел, что первое письмо написано под копирку, то и ответ надо писать под копирку. Но я не знал всех адресов, в том числе и Би-би-си и «Голоса Америки». Так что если говорить о какой-то демократичности, то будь то письмо Солженицына, или Вознесенского, или какой-то другой факт, с которым мы сталкиваемся, когда размноженные эти письма волей-неволей имеют один зарубежный адрес, по-моему, об этом надо говорить честно и прямо и не находить этому никакого другого объяснения. Неужели Александр Исаевич, который написал свое письмо вместо выступления на съезде, не понимал, что, когда это письмо будет получено съездом, председатель не возьмет его моментально на трибуну и <не> начнет читать? 500 писем было получено в адрес съезда, писем очень сложных, и любой автор мог требовать и спрашивать: почему мое письмо не обнародовали на съезде? Но этого не было. Александр Исаевич, вы прекрасно понимаете, что письмо ваше носит политический характер. Не случайно я спросил: почему и как упоминается «Пир победителей»? Вся логика этого письма, начиная от первой фразы, и смысл его в том, что нас душит цензура. Ваши произведения вызывают интерес как запрещенные цензурой. Волей-неволей так получается и с вашей пьесой, которую нам пришлось прочитать, и с целым рядом других вещей: и «В круге первом», и «Степан Хлынов», и «Невеселая повесть» в стихах, и этюды, и рассказы, и, наконец, роман «Раковый корпус». Очень хорошо, что вы сегодня сказали ясно, четко, определенно, что вы отказываетесь от этой пьесы. Но все-таки даже название этой пьесы, получившей такое распространение,— а ведь письмо ваше читали по Би-би-си и «Голосу Америки» мастера художественного слова, читали с таким выражением, как иной профессиональный актер не прочитает... Неужели вы не считаете возможным, необходимым не только в этом узком кругу, где запрещается нам говорить о пьесе,— не считаете нужным публично, во всеуслышание отказаться от тех вещей, от которых вы в своем творчестве отказались?! По-моему, это сделать необходимо.

Должен вам сказать совершенно честно и откровенно: я никогда не был восторженным поклонником «Одного дня Ивана Денисовича», хотя видел большой талант автора. Но все эти вещи, напечатанные после «Одного дня»,— и «Матренин двор», и «Случай на станции Кречетовка», и «На поле Куликовом» [26] — меня как человека пишущего привели в смущение, потому что они значительно слабее с точки зрения чисто литературной. Я не представляю себе, как уважающий себя талантливый художник может в романе «В круге первом» наряду с талантливыми кусками так убого, наивно, примитивно показывать Сталина, Абакумова, Поскребышева, посвящая этому целую главу. Не верится, что это писали вы. Это написано на уровне дешевого фельетона.

Наконец, несколько слов о романе «Раковый корпус». Я присоединяюсь ко многим замечаниям в отношении идейного и социального плана этого романа, но хочу сделать еще одно замечание, которого пока еще никто не высказывал. У меня впечатление от этого романа, что он антигуманистичен. Нельзя на страшной болезни строить такое произведение да еще с такими вещами, когда вы сводите даже мелкие литературные счеты вокруг этой тяжелой и пока нерешенной болезни! Роман этот волей-неволей подводит не только к той мысли, о которой говорил Алексей Александрович (Сурков.— **Ю. Б.**), но и к другой мысли: нужно было бы пойти по другому пути с самого начала, тогда не было бы всего того, что происходит или происходило. Я думаю, не прислушаться к таким замечаниям, которые вам делают, Александр Исаевич, нельзя.

Затем я хочу поспорить с Борисом Сергеевичем (Рюриковым.— **Ю. Б.**). Мне думается, что наш Союз и наш Секретариат из полезного учреждения организационного плана должен чаще превращаться и в творческий орган. Всегда были, есть и будут какие-то сложные произведения литературы, которые выходят порой за рамки редколлегии. И если редактор плюс автор хотят посоветоваться со своими товарищами, с Секретариатом, и даже поставить это на обсуждение не для того, чтобы принять решение — опубликовать или отклонить, а для того, чтобы услышать мнение своих товарищей (вопрос другой — согласятся они с ним или нет), то, я думаю, мы исключим многие неприятности, с которыми мы столкнемся. Наш Секретариат настолько авторитетный, что с его мнением будут считаться. Если мы в одиночку боремся с Главлитом, это одно, и совсем другая картина будет, если, допустим, не 42 человека, а половина из них считает, что вещь острая, сложная, но она советская и ее надо печатать. Думаю, что любой орган прислушивается к мнению нашего Секретариата.

Но, с другой стороны, если автор, который считает, что надо его вещь немедленно опубликовать, либо она появится за рубежом, не выслушает мнение уважаемых товарищей по Союзу, то не исключено повторение случаев, когда мы обсуждаем некоторые факты литературной жизни задним числом.

Т. Абдумомунов. Александр Исаевич как сильный человек нашел мужество отказаться от своей пьесы «Пир победителей». Это очень хорошо, и я думаю, что он также найдет мужество поразмыслить, подумать о том предложении, которое внес Константин Александрович. Это по поводу его первого письма, которое стало объектом разнузданной антисоветской клеветы наших врагов за границей.

По поводу второго письма, которое мы получили. В повести Александра Исаевича есть такие слова (я верю в их искренность): человек к человеку должен относиться с уважением, тепло и т. д. Я в это верю. Если в это верить, то, мне кажется, Александр Исаевич должен относиться к своим друзьям, к Секретариату, который избран нашим судьей, с тем уважением, с каким они относятся к т. Солженицыну.

Мы говорим по поводу первого письма. Оно наделало много шума. Поскольку идет искренний разговор, выскажу свое мнение о другом: мы говорим о письме, а я сейчас думаю о «Раковом корпусе». Первое письмо сделало много шума, а если выпустим «Раковый корпус» в таком виде, как есть, он может сделать еще больше шума и причинить больше вреда, чем первое письмо. Не хочу вдаваться в анализ этой повести, хочу взять окончание повести, о котором говорил здесь Сережа (С. А. Баруздин.— **Ю. Б.**).

Вот Костоглотов, который любит повторять: девяносто девять плачут, один смеется,— он идет в зоопарк, и кончается это его словами: «Злой человек насыпал табаку в глаза макаке-резус просто так». Давайте подумаем: выходит, здесь виноваты основы нашего социального строя, при таком социальном строе, который у нас существует, любой злой человек может делать то, что ему вздумается. Конечно, я понимаю Александра Исаевича, пережил он много. Но не один

[26] Имеется в виду рассказ «Захар-калита» («НМ». 1966. № 1).

он пережил. И у нас в Киргизии было много таких... Но все-таки основа-то нашего строя была здоровая... Недавно у нас побывала парламентская делегация. Владимир Михайлович (вероятно, Вадим Михайлович, т. е. Кожевников.— **Ю. Б.**) сопровождал эту делегацию в поездке по Киргизии. Руководитель этой делегации Макагава — прокитайски настроенный человек. Эта делегация, побывав в нашей республике, с удивлением и восхищением говорила о достижениях нашей республики за годы Советской власти... Как же получилось, что мы достигли такого уровня? Когда читаешь повесть, то это воспринимается как раковая опухоль государства. В этой опухоли государства есть две стороны: есть такие, как Русанов, и есть великомученики, страдальцы из концлагерей, каким является Костоглотов.

Надо писать, конечно, и мы писали и будем писать о своих недостатках, но так сгущать краски, как это сделал в своей повести Александр Исаевич, и подавать нашу жизнь в таком беспросветном, мрачном тоне, как он подает,— это будет только в угоду нашим врагам и не на пользу нашей социалистической Родине. Тут надо подумать.

Очень хорошо сказал Александр Исаевич в своем выступлении, что он живет болью и радостью своей Родины. Я ему верю. Я не собираюсь вас учить. Вы умный, талантливый человек — и это не красивые словечки,— но вы честно должны подумать о чести нашей страны.

У нас были недостатки и перегибы, которым партия в своем документе на XX съезде дала анализ, но вместе с изъянами и перегибами у нас были и достижения, потому что в основе был здоровый советский организм, благодаря которому мы достигли сегодняшнего уровня и благодаря которому наша Родина стала величайшей державой во главе социалистического лагеря.

Видя своими глазами тот огромный сдвиг, который произошел в духовной, экономической и политической жизни нашей страны,— как вы преподносите нашу жизнь, как она изображена в вашей повести «Раковый корпус»? У вас какая-то злоба к Советской власти есть, чувство мести. Вы с такой ненавистью говорите, что это у нас вызывает определенный протест.

Мне кажется, что повесть страдает очень большими длиннотами, повторами, часто повторяются натуралистические сцены в палате. Конечно, есть много талантливо написанных вещей. Но сейчас я не говорю о том, как это написано, я говорю об авторской позиции, которая мне кажется во многом неверной.

Александр Исаевич пишет: «Сейчас журнал «Новый мир» хочет печатать эту повесть, однако не имеет разрешения». Вы требуете искренности, и вам нужно быть искренним, Александр Исаевич. Но вы искажаете факты. Было обсуждение вашей повести в редакции «Нового мира», а вы об этом ничего не говорите. Я не понимаю, о каком разрешении может идти речь. Вы хотите, чтобы в таком виде пропустили? Едва ли «Новый мир» напечатает в таком виде, и едва ли Секретариат уполномочен пропустить в таком виде эту повесть. Я не знаю, уполномочен ли Секретариат давать разрешение печатать в «Новом мире» в таком виде. Я больше склонен поддерживать, чтобы это было решено редколлегией «Нового мира».

И. В. Абашидзе. У меня есть предложение по поводу предложения Константина Александровича. К сожалению, я не все произведения Солженицына прочитал, читал то, что было опубликовано. «Раковый корпус» начал читать вчера, прочитал около 150 страниц, больше не успел и поэтому полного суждения иметь не могу. Но в этих первых страницах я такого не нашел, и у меня не создалось впечатления, что этот роман печатать нельзя. После того, как был напечатан «Один день Ивана Денисовича», печатание которого было решено не на нашем уровне, я думаю, этот роман, если редакция найдет общий язык с автором, печатать можно. Так я думаю. Но, повторяю, глубокого суждения иметь не могу, так как не прочитал роман полностью. У меня есть свои замечания художественного порядка. Но так как чисто художественного порядка замечания не могут быть, следовательно, они и идейного порядка.

Мы все с вами, честные писатели, талантливые или неталантливые, всегда боролись против лакировки... И тогда, когда нам говорили, что лакировщики нужны, мы выступали у себя на высоких трибунах и говорили: лакировщики нам не нужны. Настоящие писатели перед своей совестью рабы. Но тут, я думаю, Александр Исаевич, у вас есть опасность впасть в другую крайность. Вам сказали, что тут многие места носят чисто очерковый характер. Искусство все-таки плюс, а не минус. Искусство начинается выше нуля, а не ниже нуля. Ниже нуля — смерть. Вода называется водой, когда она течет. У вас есть опасность впасть в другую крайность. У вас получается одна сторона одной и той же медали. Вы как ребенок — разбираете машину, которую вам подарили. Эта психология правильная. Но искусство начинается тогда, видимо, когда разбор машины кончается и начинается сбор машины. Это общие слова, но у меня такое впечатление.

Теперь о выступлении Солженицына здесь, на нашем заседании. Я понимаю его: человек сидел долго один, у него накопилось много на сердце, он выложил в форме, и выложил в форме неэтической. Я это понимаю. Но, с другой стороны, он и нас не знал. Когда выступали товарищи, он спрашивал: это кто выступает? Это наша вина. Он встречается с нами в первый раз в жизни. Приглашали его сюда? Разбирали его рассказы, которые напечатаны? Нет.

Он выслушал наше мнение, мнение Секретариата, как будто бы все этим и кончилось. Он знает наше мнение, мы знаем его мнение. Теперь практически подойдем к вопросу.

Предложение Константина Александровича выступить Солженицыну по радио или в печати я вполне разделяю. Но у меня такое предложение: может быть, ему сразу не выступать перед заграницей, может быть, это будет не совсем правильно. Там могут сказать: подсказали! Может быть, он выступит на первых порах для внутренней прессы, для внутреннего радио. Он получает много писем — клевещут на него и внутри. И на клевету эту и клевету за границей он ответит вместе. Это будет и для внутреннего радио, и вместе с тем это будет ответ на клевету за границей. Если он это сделает, этого на первых порах будет достаточно.

П. У. Бровка. Я буду краток, потому что многие товарищи высказались, и я чувствую полное единодушие в подходе к тому, что мы обсуждали. Очень правильно сказал Александр Евдокимович (Корнейчук.— **Ю. Б.**), что это явление не только русской литературы, а всей нашей многонациональной литературы. И мы болезненно переживаем то, что происходит, переживаем, что накануне пятидесятилетия, когда мы все восторженно идем к своему празднику и часто забываем вещи, которые принесли боль, потому что это давно пережито, нам вновь приходится сталкиваться с такими вещами. Письмо А. И. Солженицына причиняет большую боль сердцам всех. Ведь я скажу откровенно: мы тоже встречаемся с людьми и в селах, и в городах и с радиослушателями... теперь радиослушатели пошли такие, что они все знают, и это письмо кровно обижает каждого гражданина, который любит советскую власть... Я вам скажу, что в Белоруссии пережили очень много и людей, которые пережили такие же боли, как Солженицын, немало. У нас в литературе Янка Скриган и Сергей Граковский просидели 20 лет, но мы не чувствуем и в их душе, и в их высказываниях, и в их творчестве ни мести, ни злобы. Они поняли, что ни народ, ни партия, ни Советская власть в этом не виноваты. Все это мы прекрасно понимаем.

Тем более это печально и больно, что (об этом все говорили) Александр Исаевич Солженицын — общепризнанный талант, и он дает почву врагам, такую почву, что, как тут правильно говорили, Светлана (нормальная она или ненормальная, скорее ненормальная) не идет по этому счету. Это просто болтовня. Правильно сказал А. А. Сурков, что это бабья болтовня. Да и сам народ это раскусил и поэтому не обращает внимания на эту болтовню. А тут мы имеем дело с общепризнанным талантом, и поэтому, безусловно, Солженицыну надо подумать о многом. Тут Абдумомунов сказал, что как будто бы Александр Исаевич сказал, что он чувствует боль и радость Родины. Нет, он сказал, что чувствует боль своей земли. Да, вы чувствуете боль своей земли, и чрезмерно чувствуете, потому что многое изжито, о чем говорите. Но вы же должны чувствовать и радость своей земли! И Маяковский, у которого была сложная, противоречивая биография, который не сразу стал Маяковским, пришел к такому настроению, когда сказал: «И жизнь хороша, и жить хорошо».

Насчет «Ракового корпуса». Я прочитал этот роман. Я согласен с Сурковым, что работы над ним очень много и дело не только в отдельных поправках, а в концепции, и Александру Трифоновичу Твардовскому будет очень нелегко. В этой вещи мрак и мрак. А где же радость, где же светлое? В этой вещи почти все герои опять же то ли с лагерем, то ли с ссылкой связаны. Народу хватило «Одного дня Ивана Денисовича» вполне. Там написано много горького. Может быть, были и хуже вещи. И Горбатов писал, писал с полным сознанием того, что случилось это не по воле партии и всего народа.

А тут надо было подумать, как сделать, чтобы эта повесть получила бы звучание хорошее, объективное, чтобы она была произведением социалистического реализама, а не критического реализма в наше время.

Я должен сказать, что больница мрачная. Наверное, такая где-то есть. Но в моей деревне, которую сожгли фашисты, и не только деревню, но и весь район, где половину села убили каратели, половина замучена в Освенциме, в том числе и моя мать,— есть сельская больница, в которой я был две недели назад. Там нет никаких особых удобств, но там светло, и один мой родственник, партизан, который там был, с восторгом рассказывает об этой сельской больнице. Наверно, была больница, о которой пишет Солженицын, но все-таки это страшно мрачно.

Я не хочу больше задерживать ваше внимание. Я согласен с большинством. Все очень доброжелательно высказывались. И я убежден в правоте Константина Александровича, который считает, что прежде всего нужно выступить Солженицыну, определить свои позиции, а потом выступить Секретариату.

Что касается повести «Раковый корпус», то Твардовский и редакция «Нового мира» могут добиться, чтобы эта повесть была в таком виде, чтобы она могла появиться в печати. А в таком виде, как она сейчас существует,— я считаю, ее печатать нельзя.

К. Н. Яшен. Тов. Солженицын своей повестью «Один день Ивана Денисовича» завоевал всенародное признание. Как и другие, и я, прочитав эту повесть, испытывал чувство большой радости. Но вот недавно я ознакомился с пьесой «Пир победителей». Поскольку я должен был прочитать, я должен сказать о ней, вынужден сказать, хотя автор этого не хочет. Прочитав эту пьесу, я понял, что

автор ее не измучен несправедливостью культа личности, а отравлен ненавистью ко всему советскому. Речь идет сейчас не об офицере Солженицыне, а об авторе этой гнусной, отвратительной, омерзительиой пьесы. Он говорит сейчас: я отказываюсь от этой пьесы. Я хотел сначала предложить исключить его из нашей организации. Но когда он сказал, что отказывается от этой пьесы, меня это порадовало. Однако он сказал это нам, секретарям, а не народу. Народ-то ведь знает эту вашу пьесу. «Раковый корпус» мало известен, а эта пьеса, я знаю, стала уже популярной. Роман-то еще почти иикто не знает, а пьеса широко известна. Все об этом говорят, спрашивают. Вот в Ташкенте говорят,— не сплетничают, иет, советские люди возмущаются, что есть в рядах писательской организации человек, который написал такую гнусную антисоветскую пьесу, где говорится, что Советский Союз — это дремучий темный лес, страна произвола, насилия, произвола узурпаторов, который абсолютно не пресекается другими... Я думаю, что надо об этом самому автору думать, потому что всем известно, все об этом знают. Не нам об этом говорить. Конечно, и нам иадо его поддерживать, ио мне хотелось бы, чтобы он в своем обращении разъяснил, как он разъяснил сегодня это нам.

Я понимаю: он пережил страшный лагерный режим. Но все-таки не ои один пострадал. Как товарищи говорили, во всех наших республиках пострадали многие. Многие реабилитированы, и писатели в том числе, крупные государственные деятели, такие, как Мангаширов, Игубаев, Икрамов, Сигизбаев (командир дивизии), председатель Совета Министров. Но воздается им должное: их именами мы сейчас называем улицы, районы, учреждения науки, культуры. А дети этих людей не стали врагами, они своим трудом, своими книгами помогают партии, народу. Они понимают, значит, трагедию времени больше, чем т. Солженицын. Взять сына Икрамова: отец погиб, мать погибла, он сам сидел, был реабилитирован; он там вырос, а сейчас член писательской организации, выпускает книгу за книгой и помогает своими книгами, своим творчеством. Вот это надо требовать, по-моему, и от нашего уважаемого писателя Солженицына.

Теперь в отношении романа «Раковый корпус». Мы с т. Абдумомуновым его очень внимательно прочли. Здесь я вижу руку действительно настоящего мастера, он знает свой предмет, он знает больше любого врача, профессора и т. д. С большой душой он написал. Он не халтурил, а создал большое произведение. Но все-таки опять-таки есть еще остатки старой концепции. Поэтому опять обвиняется за блокаду Ленинграда не только Гитлер, но и другие. Может быть, он обвиняет бериевцев, это другое дело, но этого там нет. Там есть: тот, кто руководит страной, ио и те, другие. А кто другие? Может быть, те, которые и сейчас руководят,— положительные, замечательные коммунисты? Надо быть осторожнее в этом смысле.

У нас у каждого есть свои критические замечания, которые помогут.

Я полностью поддерживаю мнение Суркова: голосовать и сказать «печатайте» я не могу. Но надо поддержать мужество и решение журнала «Новый мир» и редактора т. Твардовского, верить ему и еще раз, может быть, в узком кругу посмотреть, я не знаю, может быть, это и не нужно, но, во всяком случае, еще очень большая работа предстоит перу редактора, потому что там много еще изъяиов, недостатков даже в политическом отношении.

Б. М. Кербабаев. Я читал «Раковый корпус» с небольшим удовольствием. Все герои —заключенные, а остальные— лицемеры. Ни одного светлого пятна. С начала до конца мрачно. Как здесь говорил мой дорогой друг, просто тошнит, когда читаешь. В конце самый главный герой Костоглотов идет нелеченый по городу, и, когда врач Вера предлагает ему свой дом, свои объятия, он отказывается. Он не видит ничего хорошего, кроме грязи, видит только недостатки. Только в зоопарке он чувствует животных, а в результате «99 плачут, один смеется». Значит, получается, что весь народ плачет. Какой вывод? Что он хочет, к чему стремится? Я ничего не увидел, кроме отвращения.

Некоторые выступающие говорили, что надо дать скидку на то, что он сидел. Правда, надо дать. Но, как говорил мой дорогой друг, не он один сидел, а тысячи. Я три раза был под расстрелом, однако я не потерял веры.

Почему Александр Исаевич, такой большой писатель, видит только темные стороны нашей жизни? Почему он не хочет обрадовать наших сегодняшних читателей блестящей, хорошей, светлой жизнью?

Почему я не пишу ни одного слова об этих мрачных днях? Потому что меня тошнит от них. Я не хочу будоражить старые раны читателей. Я ие хочу давать в руки врага оружие. А почему Александр Исаевич хочет? Говорят товарищи, что он мужественно отказался от «Пира победителей». Я считал бы мужеством, если бы он отказался от «Ракового корпуса» и подарил свой большой талант нашей жизни. И тогда я бы обнял его, как брата.

А. Шарипоа. Некоторые товарищи считают, что можно дать скидку. Я бы Солженицыну не дал скидки, потому что речь идет о его концепции. Его пьеса полна антисоветчины, в ней отрицается все советское, буквально все, от колхозного строя до наших героев Великой Отечественной войны. Эта же концепция продолжается и в повести «Раковый корпус», так что дать скидку ни в коем случае нельзя. Речь идет о политической концепции автора. Еслн он пересмотрит эту концепцию, тогда нужно совершенно переделать эту повесть. Я согласен с Кербабаевым. Если Солженицын откажется от «Ракового корпуса», это было бы очень хорошо, потому что в конце концов нельзя показывать с точки зрения критического реализма нашу советскую действительность.

Я, например, в отношении своей республики абсолютно не согласен. Наша республика — сейчас крупная республика. У нас освоены огромные территории целинных и залежных земель. Республика растет в промышленном отношении, развивается народное образование, просвещение [27]. А вы иичего хорошего не видите в нашей республике, дорогой друг. Не видите ничего хорошего в нашей действительности. Я считаю, скидку ни в коем случае давать нельзя. А что касается публичного выступления, то я в данном отношении поддерживаю предложение Алексея Александровича.

Л. Н. Новиченко. Я хочу о двух вещах сказать. Прежде всего о письме Солженицына в адрес съезда писателей. Об этом хорошо говорил А. Т. Твардовский, хорошо и строго, о таком недопустимом для советского писателя способе обращения через голову формального адресата — съезда писателей — по существу, к буржуазной общественности, антисоветской буржуазной пропаганде [28]. Я полностью присоединяюсь к тем суровым и строгим словам, которые сказал А. Т. Твардовский. Я в принципе не согласен с главным требованием этого письма, поскольку письмо это стало фактом мировой известности. Главное требование заключается в том, что под видом критики несовершенств нашей цензуры — ненормальности, несовершенства есть, но это другой вопрос, и Союз писателей принимает близко к сердцу этот вопрос, пытается конструктивно его решить,— под флагом этой критики выдвигается требование, чтобы у нас была объявлена абсолютная свобода печатания каких бы то ни было произведений, независимо от их политической направленности. Для меня это несовместимо со всем пониманием миссии советской литературы, идеологической структуры советского общества, я с этим никогда не соглашусь. По логике автора письма выходит так, что мы должны были напечатать даже такое произведение, от которого сам автор сегодня отказался,— пьесу «Пир победителей» Да, да, потому что вы, Александр Исвевич, доказывая в своем письме, что всякая критика нужна для нормального функционирования организма, всякая критика нужна, всякая точка зрения нужна, тем самым узакониваете точку зрения абсолютно неприемлемую, которая звучит в этой пьесе, от которой, хорошо, вы сегодня отказались.

Я это говорю потому, что, очевидно, о результатах нашего сегодняшнего разговора рано или поздно надо информировать нашу советскую общественность. И мне хочется, чтобы несогласие с автором в этом пункте прозвучало.

Второе — о «Раковом корпусе» (я обхожу все другие произведения). К «Раковому корпусу» у меня отношение сложное, куда сложнее, чем у некоторых товарищей, которые выступали передо мной. Я считаю, что, условно говоря, тот общечеловеческий аспект, который довольно сильно заявлен в этом произведении, который заключается в борьбе человека с силами смерти, там решен жестоко, но сильно и в целом удачно. Я не ребенок, я понимаю, что мне рано или поздно прндется умереть, возможно, в таких же страданиях, в которых кончают или готовятся коичить жизнь герои Солженицына. Я понимаю, что помочь в этом ужасе могут мои моральные резервы: как я жил на земле, какова моя совесть, каковы мои этические силы. И эта мысль у Солженицына выявлена художественно — пускай со всей жестокостью, но ведь Достоевский тоже писал жестоко, мы же его читаем,— выявлена очень сильно. Если бы на этом сходились все нити романа, я бы при том даже, что ромаи будет вызывать ужас у читателей, голосовал за его напечатание. Но там есть еще и тема политическая. И вот по содержанию этой темы хочу сказать несколько слов. Я хочу сказать, что для меня представляется неприемлемым в этом романе.

Это относится скорее ко второй части. Первую часть, за исключением фельетонной, совершенно непохожей на Солженицына, поверхностной, карикатурной сцены с этой дурой — дочкой Русанова, через уста которой автор пытается вторгнуться в нашу литературную среду, и даже порой низкопробно это звучит, за исключением нескольких моментов, я бы не особенно подвергал критике. Во второй части, там, где действительно, как сказал Сурков, развертывается политическая концепция, мне кажется, если автор проявит добрую волю и прислушается к советам товарищей, он должен будет многое переосмыслить, не только переделать, но переосмыслить. Вся фигура Шелубина у меня вызывает категорическое отрицание. Дело не в словах «нравственный социализм», само словосочетание «нравственный социализм» ни у кого как будто не вызывает возражения. Дело конкретно в идейном и политическом смысле, которым наполнены эти формулировки. Мы знаем основателей теории нравственного социализма — В. Соловьев, Михайловский, Кропоткин, все теоретики позднего народничества и раннего эсерничества. Если мы этот нравственный социализм пытаемся возрождать, то мы отрицаем марксистский социализм, реальный социализм, пусть со всеми его

[27] А Шарипоа выступил в данном случае как лицо вдвойне заинтересованное: прежде чем стать председателем правления СП Казахстана, он занимал пост заместителя председателя Совета Министров Казахской ССР (1963—1966), а до этого — министра просвещения республики.

[28] Ср. выступление А. Т. Твардовского.

недоделками, со всем противоречивым, со всеми ошибками, но все же реальный социализм, который наш народ построил впервые в мире и проложил путь для всех народов мира.

Тут герой спутывает два вопроса, вопрос о росте гуманных начал, развертывании начал социалистического реализма (?), которое, естественно, происходит в нашем обществе, потому что мы пожинаем плоды прежних испытаний, трудностей. Это развертывание гуманистического начала будет все более характерно для нашего общества. Это естественный процесс. Но герой подменяет это тезисом, что путь наш неправильный, что надо экономические законы подчинить нравственным требованиям, хотя не было еще в мире экономики, которая бы подчинялась требованиям любви к ближнему. Тут происходит наоборот: на определенных экономических основаниях через множество опосредствований возрастает и нравственный кодекс. Если мы не хотим быть донкихотами, то мы должны с этим согласиться как с непреложной истиной, что не только мы, образованные люди, но и простой народ воспринял как элементарную жизнь. Но не только это.

Мне представляется не только неправильной, но и оскорбительной теория того же героя романа, который вспоминает Пушкина, что «во всех стихиях человек предатель или узник» и что в связи с 1937 г. и другими годами все наше общество подразделяется на две категории — узников или предателей. Конечно, эти слова Шелубина оспаривает не очень стойкий и грамотный в политических вопросах Костоглотов. Но все-таки сомнение посеяно, обвинение брошено.

Я говорю это не для того, чтобы уличить Александра Исаевича Солженицына. Мне бы хотелось найти общий язык. Но я должен честно сказать, что вся эта вещь неприемлема ни для нас, ни для нашего многомиллионного советского народа. Конечно, меня смущает то, что главными моральными судьями нашего общества выступают люди какой-то специальной категории — только те, кто пострадал и не хотят забыть о своих обидах. Я еще понимаю Костоглотова — я понимаю, что он биографически сложился для автора в качестве родного образа. Но в романе есть еще много людей пострадавших, обиженных и поэтому выступающих, представляющих <представленных?> в качестве носителей главной моральной истины. Это следовало бы изменить при наличии доброй воли автора, если он согласится с этим.

Русанов. Правдивый тип, иногда доведенный до карикатурности. Но мне бы не хотелось, чтобы этот человек из представителя определенного общественного типа становился носителем всей нашей официальной идеологии, а в некоторых местах этот мелкий подлец, мелкий жулик, мелкий доносчик выступает как бы рупором нашей официальной идеологии. Его нужно отделить от нашего общества.

В частности, меня просто оскорбляет, как чересчур часто он цитирует Горького. Конечно, он неграмотный человек,— он даже известное изречение «в здоровом теле — здоровый дух» приписывает Горькому (такой ход сознательно сделан автором). Но это постоянное упоминание им имени Горького меня оскорбляет.

Если автор согласится, многие вещи подлежат вдумчивому исправлению. Петр Устинович (Бровка.— **Ю. Б.**) говорил, что это будет роман социалистического реализма. Даже если этот роман будет доведен до какой-то допустимой кондиции, это не будет роман социалистического реализма. И у нас в советской литературе было немало случаев, правда, на более ранних этапах, когда у нас были писатели — не представители социалистического реализма. Я не рискну Пастернака с его поэзией отнести к представителям социалистического реализма. Конечно, нельзя назвать этот роман творением социалистического реализма. Даже при желании автора (и при требовательной и вдумчивой работе редакции с автором) довести до какой-то кондиции, при которой этот роман мог бы появиться в печати,— конечно, он останется спорным явлением, по поводу его будут споры. Но, с одной стороны, мы защитили бы это, несомненно, талантливое произведение, а с другой стороны, дали <бы> ответ буржуазным злопыхателям, которые по поводу этого романа думают разыграть фарс на тему о зажиме свободного творчества писателя. Поэтому я бы призвал автора к конструктивному решению, и не только в отношении этого романа.

Тут Александр Исаевич всячески запрещал, и по-своему справедливо, упоминания о его пьесе. Но я все-таки скажу о ней. Когда я читал «Один день Ивана Денисовича», у меня было уважение к огромному таланту и великое сочувствие к человеку, хотя я далеко не со всем был согласен. Но когда я прочитал эту пьесу, у меня что-то надломилось по отношению к этому автору: есть какие-то пределы, которые нельзя переходить. Пусть это останется между нами, эта пьеса не опубликована. Об этой пьесе даже страшно сказать. Поэтому для тов. Солженицына вопрос о дальнейшей работе, дальнейшем плодотворном вкладе в советскую литературу в значительной степени связан с преодолением каких-то корешков, которые идут от этой пьесы.

Г. М. Марков. Я считаю наше мнение очень ценным, очень важным. Отбросим в сторону какие-то излишние резкости, какие были с нашей стороны и со стороны Александра Исаевича в наш адрес, и полемические заходы товарищей. Я разделяю ту точку зрения, которую высказал здесь Борис Сергеевич (Рюриков.— **Ю. Б.**), что здесь шел разговор не об одном произведении, а разговор шел о больших принципиальных идеологических вопросах. Эти вопросы, я смею думать, будут иметь значение и для Александра Исаевича, и для нашего

Союза, и для журнала «Новый мир», о возможности сотрудничества с которым дальше я еще свою точку зрения скажу.

Мы сейчас находимся в такой момент, когда нам надо ответить литературной общественности и читателям по всем этим вопросам. Я не буду преувеличивать, потому что этого нет, что среди читателей, среди широких народных масс к этому есть повышенный интерес. Я только приехал из Сибири, выступал там на пяти собраниях партийных активов, бывал в библиотеках, бывал в книжных магазинах. Должен сказать, что я не по всем библиотекам мог поинтересоваться, но я видел в библиотеках ваши книги, и в Алтайском крае и в других. Если бы я знал, что такая будет тема, я бы специально проверил. Не знаю, где что изымали, но, видимо, это явление не повсеместное.

Но на одном из собраний актива мне была подана записка. Она не очень грамотно была сформулирована, но я ее воспроизведу, как она была написана: «Скажите, пожалуйста, а когда этот самый ваш Долженицын перестанет поносить советскую литературу?» Я ответил, что мы этот вопрос изучаем. Дальше рассказал, зная биографию Александра Исаевича, его биографию. Потом уже, после собрания, ко мне подошли и спросили: если он офицер, если он орденоносец, если он с таким гражданским опытом, почему он не ударит кулаком по всем этим попыткам использовать его имя, его письмо во враждебных целях не только против советской литературы, но против всей советской страны? На этот вопрос ответить трудно, просто невозможно. И с этим вопросом я хотел адресоваться к Александру Исаевичу, выразить этим вопросом и свое собственное чувство.

Поэтому я считаю, что сегодня мы должны сказать члену Союза писателей СССР А. И. Солженицыну, что мы ждем от него совершенно четкого, определенного ответа на этот вопрос и по этому поводу. В этом случае я абсолютно поддерживаю предложение Константина Александровича Федина, которое считаю конструктивным, которое может сдвинуть всю эту сложную проблему и которое может нам позволить защитить честь и достоинство литературы нашей Родины и самого Солженицына как советского писателя. Это первое.

Что касается моей точки зрения на его произведения, то должен сказать, что он сегодня снял с моей души камень, сделав заявление по поводу этой пьесы. К сожалению, об этой пьесе знают. Но само заявление я принял с удовлетворением. Что касается «Ракового корпуса», то тут я разделяю точку зрения А. А. Суркова. Но я хотел бы один пункт его тезисов развить, видя в этом тоже конструктивный момент.

Если говорить с точки зрения сегодняшних творческих возможностей Александра Исаевича, то мне кажется, что то, что Алексей Александрович отмечал в «Раковом корпусе» как плюс (я тут согласен с характеристикой Леонида Николаевича (Новиченко.— **Ю. Б.**), что это сделано художником, сделано гражданином),— позволяет считать эту вещь стоящей в каком-то практическом плане.

Я совершенно не приемлю всех общественно-политических заходов, которые есть в этой вещи. Я не приемлю каких-то содержащихся иносказаний по поводу кого-то: кто-то сделал, кто-то совершил, кто-то приказал и т. д. Мне думается, это не лучший способ говорить о серьезных вещах серьезному и талантливому писателю, каким я считаю А. И. Солженицына. И то обстоятельство, что в этой повести есть ряд линий, которые я приемлю, позволяет, мне кажется, думать, что при установившемся добром сотрудничестве «Нового мира» и Александра Исаевича эта вещь может дозреть или, как говорят, быть доделанной быть доработанной, додуманной. То есть сегодня я не вижу возможности, чтобы ее можно было немедленно заслать в набор и с точки зрения политической, и с точки зрения смысловой, и художественной. Мне представляется, что эта вещь требует очень серьезной доработки.

Задаваясь вопросом: а что делать? — я думаю, если бы мы могли поступить конструктивно, то это могло бы выглядеть так, если Александр Исаевич подготовит такое выступление, которое дает недвусмысленный ответ по поводу всей той возмутительной и отвратительной шумихи, которая была поднята в связи с его именем, его письмом и вообще в преддверии нашего великого праздника (тут я полностью разделяю точку зрения Константина Александровича),— в этих условиях у нас возникает вопрос публикации для общественности такого коммюнике. Я разделяю те основные тезисы, о которых здесь говорил Александр Трифонович. Это позволило бы нам решить проблему, помочь литературе в целом и художнику в частности, нашему товарищу (я продолжаю считать его таковым) и выйти из очень сложной ситуации, в которой мы оказались,— тут я должен подчеркнуть: оказались не по вине Союза писателей. Александр Исаевич, а прежде всего по вашей вине, и нужно иметь мужество на это смотреть прямо,— по вашей вине, а не по чьей-либо другой. Вот какие у меня возникли соображения. Что касается предложений, которые здесь выдвигались,— об исключении из Союза — и которые содержатся в ряде писем, поступивших от секретарей и от читателей в почте, которую мы получаем,— мне думается, при тех началах товарищества, которые должны сложиться, несмотря на всю сложность ситуации,— мы не должны с этой мерой торопиться.

К. А. Федин. Теперь мы сделаем предложение Александру Исаевичу: вы желаете выступить?

А. И. Солженицын. Можно мне полу-

чить мое письмо съезду? Благодарю. Товарищи! Все устали, поэтому я выступлю очень кратко. Я сегодня уже трижды выступал по поводу «Пира победителей» и потратил много энергии на эти выступления. Я думал, что достаточно будет моего первого выступления, но так как вокруг этого многое крутится и выявились многие вещи, я должен начать с этого.

Всем тем, кто снова и снова возвращается к пьесе «Пир победителей», если их не убедили мои слова, которые были написаны в моем заявлении, что эта пьеса написана не членом Союза писателей Солженицыным, а арестантом Щ-232. Я думал, что все сидящие в этой комнате являются диалектиками и сторонниками теории развития. Если же вы считаете, что человек, который 20—25 лет назад написал эту пьесу, и сидящий здесь,— одно и то же, что не произошло в нем никаких изменений, то разрешите вас упрекнуть в том, что вы не верите в теорию развития. Нужно верить и в то, что бытие определяет сознание. И все, что сегодня говорилось о «Пире победителей», я считаю несерьезным. Они это делали... Не буду говорить о мотивах. Но здесь сейчас, во время обсуждения, выяснилась сперва из выступления Корнейчука, потом из реплики Баруздина, потом Маркова такая вещь, которую я слышу вообще впервые. Я не говорю о том, что кто-то из выступавших просто спутал и, когда речь шла о «Раковом корпусе», назвал «Пир победителей». Но вот эти три товарища говорят, что «Пир победителей» ходит. Если это так, то это очень трагическая вещь, против которой я возражал полтора года назад, когда писал во многих своих письмах в высшие инстанции: прошу вас не злоупотребляйте изданием несуществующих вещей, изданием вещей при жизни автора помимо его воли и вопреки даже его ведома.

Это страшная вещь, потому что единственный экземпляр этой пьесы был изъят в 1965 году, потому что я не читал его даже близким моим друзьям, потому что второго экземпляра у меня не было. Если эта пьеса пойдет, то заявляю со всей торжественностью: будут отвечать те инстанции, неизвестные мне инстанции, которые издали ее в неизвестном количестве экземпляров.

Я очень тревожился, потому что представлял, что в некоторых инстанциях какие-то номерные экземпляры, вероятно, берутся на дом (вряд ли это читают в читальных залах), а дома бывают члены семьи, а дома не все ящики заперты. Я очень просил прекратить это, и не только по «Пиру победителей», а по всему, что изъято, в частности, по роману «В круге первом» я очень просил это прекратить.

Меня просто поразило такое сообщение.

Наконец, о «Пире победителей» мне слишком надоело говорить.

О «Раковом корпусе». Еще год назад я слышал много полезных, интересных замечаний известных и видных в нашей литературе писателей. С большим интересом я их слушал. Сегодня разнохарактерные были замечания. Среди них многие совпадали с тем, что говорили тогда, кстати, касались того, что уже переработано. Я все это с интересом слушал, старался записать и обдумать, хотя были для меня и совершенно неприемлемые замечания, полностью снимающие вещь. Только очень обидно (я понимаю, что можно так или иначе отнестись к вещи), создались недоразумения. Вот от чистых недоразумений просил бы воздержаться. Вот, например, такое недоразумение: «Девяносто девять плачут, один смеется» — и делается вывод, что в Советском Союзе 99 плачут, один смеется. А ведь там написано так: этот лезущий в вагон без очереди — лагерник, и Костоглотов говорит: я там тоже был, где девяносто девять плачут, а один смеется (это обычно понятное выражение у лагерников), и тот понял, что нельзя без очереди, и отошел.

Но я об этом даже не хочу говорить. Но есть более сложные недоразумения, Алексей Александрович! Как меня огорчило, что вы, художник, человек, вообще прекрасно понимающий творчество, впали в недоразумение с идолами театра. Что такое «идолы театра», «идолы рынка» — это излагает известный персонаж, а Костоглотов старается вообразить себе этих идолов, представляет, что такой идол театра стоит в театре... нет, не в театре, а на площади. И вы отсюда делаете невозможный вывод, что я имею в виду, что на Театральной площади Москвы поставлен памятник Карлу Марксу. Человеку такого тонкого вкуса могу это не разъяснять. Тут уже не недоразумение, а разница в трактовке. Говорят, что повесть моя антигуманистична. Я этого совершенно не понимаю, не принимаю, хоть меня лбом об стенку. Наоборот, повесть моя и задумана и, смею заверить, осуществлена как победа духа над болеющей плотью, как победа жизни над смертью и победа нового над прошлым. Я смею заявить, что моя повесть оставляет исключительно оптимистический вывод во всех отношениях. Я по свойствам своего характера (я оптимист) не мог бы никак решить иначе эту проблему. Другое дело, что многие из здесь выступавших сказали, что они лично восприняли это болезненно физиологически и боятся, что так воспримут другие. Тут надо решать: увеселительна вообще литература на земле или поучительна и воспитательна. Надо ли закрывать глаза на болезнь до момента, когда врач скажет: ложитесь на онкологическую коечку,— или же надо смело смотреть на свою болезнь, заранее еще не заболев.

Я сторонник того, что всякая горькая правда и человеку и обществу нужна, она его оздоравливает и воспитывает. Как гласит русская пословица: «Не люби поноровщика, люби спорщика. Не тот

доброхот, у кого на устах мед». Это я отношу к общественной жизни и к личной. Не надо убаюкивать людей. Когда человек заболевает раком, то родственникам об этом говорят, а больному сказки плетут, и он умирает неподготовленным. Сам я считаю, что одолел рак потому, что врач еще до Ташкента по моей просьбе сказал прямо, что мне две недели осталось жить, больше не обещает. Я уверен, что нервная система собралась и сумела это победить. Я цитирую учебник, что бывают еще случаи исцеления от опухоли вследствие работы центральной нервной системы.

Кто не хочет, может не читать, если он слабонервный, но для многих людей это воспитание мужества в борьбе с болезнью.

Некоторые говорили, что они видели в названии «Раковый корпус» и в самом раке некоторый символ. Отвечу. Слишком неподручный символ, если дойти до него надо через все стадии умирания. Слишком много медицинских подробностей для символа. Я давал эту повесть читать онкологам, у которых я лечился и не лечился, причем крупным. Все прочли и похвалили, сказали, что написано точно, достоверно и на современном уровне. Я писал эту вещь как серьезную вещь о медицине и благодарю за похвалу тех товарищей, которые сказали, что я написал как врач, профессор. Я описал рак таким, как каждый день, даже во время сегодняшнего заседания, люди десятками обнаруживают, а может быть, и кого-то из присутствующих ждет это испытание. Я писал именно так.

Еще было досадное недоразумение по «Раковому корпусу» в отношении макаки-резус. Так что же это, обобщение? Если внимательно читать последнюю главу, то совершенно ясно, где это сказано. Совершенно ясно, что речь идет о личности. В зоопарке вспоминается это. Речь идет о Сталине в первый раз, а второй раз — я могу руками развести — просто так. Эти репрессии были закономерны? Если не закономерны, то они были просто так. Поэтому я настаиваю на этих словах — просто так. (**С места.** Что это значит «просто так»?) Из закономерностей общества они не вытекали, поэтому я и приписываю их личности.

Так вот относительно «Ракового корпуса» я уже высказывал большие опасения и сейчас, в конце нашего заседания, повторю их. Алексей Александрович сказал здесь, что стихи Ахматовой три месяца ходили — и уже там, а «Раковый корпус» ходит больше года. Это меня тревожит. Не три месяца, а больше года.

Теперь относительно клеветы. Вообще-то говоря, я думаю, что я инфаркта от клеветы не получу, так уже закалила меня жизнь. Но клевета возникает непрерывно, возникает все время. Я писал письмо в «Литературную газету», писал в ЦК, частично повторил в письме съезду. Я ничего не повторяю два раза,— так много клеветы, зачем же повторять? — она все время возникает, и все новая. Секретариат опровергнет, что я сотрудничал с немцами, опровергнет эту клевету. А то, что записано слушателями-агитаторами,— что я бежал в Арабскую республику, что я бежал на туристском пароходе в Англию,— это так пусть и останется?!

В прошлый раз мы сидели в этой же комнате, тихо, мирно беседовали, и было сказано, что Секретариат встанет на защиту. Прошло определенное время. Зачем же искаженно рассказывать на этом совещании, зачем роль Твардовского изображать такой, какой она не была? Зачем мне приписывать слова, которых я не говорил? Я прошу Секретариат, чтобы сегодняшнее заседание не было искажено. Я надеюсь, что это важное для меня заседание будет оформлено в виде протокола и я смогу получить этот протокол для себя. Это очень важная веха в моей жизни. Я пытался записывать, но это было трудно, и я должен был думать, как отвечать.

Тов. Рюриков предложил мне отказаться от продолжения русского критического реализма. Этого я обещать не могу. (**Б. С. Рюриков.** Я этого не предлагал!) Простите, я вас не так понял.

Наконец, я подхожу к тому, о чем говорил Константин Александрович. Да, Константин Александрович, да, товарищи,— я за публичность, и с самого начала. Я считаю, что нам нужна всем открытость, а не тайность. А что получается? «Раковый корпус» обсудили и за семью замками спрятали, для меня еле-еле выпросили протокол обсуждения.

Когда я писал это письмо съезду писателей, я считал так: съезд собирается в семь лет раз. Я понимаю, было 500 писем, но надеялся, что мое письмо, члена Союза писателей, поднимающее многие вопросы, могло быть не утоплено в этих пятистах, а могла быть реакция на него. Так я рассчитывал. Поэтому когда Константин Александрович и другие товарищи говорят, что нам нужны публичные выступления, публичность,— я с этим совершенно согласен. У Секретариата в руках печать. Мою каждую строчку вычеркивают. Я нахожусь в положении полностью оклеветанного. И вот говорит Константин Александрович — «надо развязать». Кому надо начать развязывать? Тому, у кого руки и ноги связаны или у кого ноги свободны?

Я в прошлый раз ушел с Секретариата с убеждением, что первый шаг начнется с того, что Секретариат опровергнет клевету, прореагирует на мое письмо. А т. Воронков сказал, что это было и в его докладе. Это обсуждалось на съезде. Так тем более если это было в докладе, почему же не сказать, что такие-то положения письма Солженицына разделяем, а за его необычайное послание к 250 мы его сурово осуждаем?

Я вполне уважаю точку зрения Секретариата.

Это письмо замолчали.

Сейчас для меня главное — «Раковый корпус», а второе — письмо. Константин Александрович спросил: в интересах чего печатать ваши протесты? В интересах отечественной литературы. Я это письмо писал в интересах отечественной литературы. Я напомню, что письмо состоит из двух половин — половины общей и половины частной. Не знаю, с какой лучше начать. Начну с частной.

Вы, Константин Александрович, предлагаете бороться против следствия, а не против причин. Вот, скажем, написаны восемь главных пунктов о том, без чего жить я дальше не могу. Так мне предлагают таким образом: письмо не публикуется, его у нас знать не должны в стране, я же должен возражать против того злоупотребления, которое сделано буржуазной пропагандой. Я сделаю, но тогда, когда будет понятно, по поводу чего. Я не понимаю, как можно писать опровержение по поводу украденных писем!

У меня восемь пунктов. Если я должен сказать что-то о письме, то я должен сказать, что все восемь пунктов, названных мною, ложны, или должен сказать: пункт такой-то — «Мой роман «В круге первом» мне возвращен и не распространяется без моей воли». Я это сделаю, когда мне возвратят и уничтожат издания, сделанные без меня. Я в любой форме напишу.

Здесь говорили товарищи: зачем я упоминал «Пир победителей»? Ясно же, товарищи, зачем. «Пьеса «Пир победителей» написана мною в стихах наизусть в лагере, когда я ходил под номером, когда мы были забыты обществом и вне лагеря никто не выступил против репрессий (вы же не назовете мне такого человека). Давно покинутая пьеса приписывается мне как наиновейшая моя работа». Все это я сказал и сейчас. Итак, «Пир победителей» — я приветствую уничтожение этого произведения.

Против меня ведется клевета. Так вы же меня защитите! Я писал, я бился во все редакции. Я не могу уследить за всей клеветой, которая была, и за той, которая будет дальше. Я пошутил относительно Джордано Бруно, но что-то темное, дикое можно будет предвидеть. Освободите меня от клеветы. Моя повесть «Раковый корпус», моя пьеса в «Современнике» [29], мои другие произведения, книга моих рассказов — вначале поговорили, что надо издать, потом сказали, что раз это будет нескоро, то не издавать. Я не могу взять на себя такую ложь, что всего этого не было. При этом мне запрещается публично выступать. Звонят, что ввиду болезни автора выступление не состоится, а я приезжаю. Так было в карповском институте [30]. Звонят и говорят: положите партбилет, если допустите встречу с Солженицыным. Обычно, когда выдвигают на Ленинскую премию, то приглашают выступить по радио, но меня и на радио не пропустили.

Как быть с этими восемью пунктами? Что я должен писать в опровержении? Что я солгал тогда? Я не прошу и не надеюсь, что решат все 8 пунктов, но давайте решим 3—4, какие легче.

Я о «Пире победителей» дал документ — не понравилось. Давайте будем печатать.

Теперь самое главное письмо, т. е. большая и главная часть. Главной и большой <большей?> частью этого письма является не вопрос о цензуре, если вы внимательно читали, а главная часть говорит о судьбах нашей уже более века насчитывающей блестящей литературы, о том, что наша литература находится не на том уровне, когда бы она повела мировую литературу в отношении художественной формы, в отношении смелости постановки проблем, в отношении проникновения в тайны человеческого сердца.

Задача писателя, смею заявить, не сводится только к защите того или иного способа распределения общественного продукта. Задача писателя не сводится только к той или иной общественной формации или к какому-то определенному периоду в жизни человечества. Задача писателя касается таких проблем, которые тянутся тысячелетиями, они начались, когда появилось человечество, и кончатся, когда солнце погаснет. По всем этим требованиям, по всем этим жестким требованиям наша литература десятилетиями повергала мир в изумление, и наши авторы стали самыми знаменитыми на земле.

Мое письмо с болью говорит, что наша литература сейчас не на этом уровне. Нам на Западе говорят, что роман умер. Мы говорим: нет, не умер. А вместо того, чтобы говорить — нет, не умер, надо написать такой роман, чтобы они заткнулись со своим авангардизмом! И заткнутся! Но дайте же художественный уровень такой, который ослепляет, когда глаза надо закрыть.

Вот о чем мое письмо. Я не могу отказаться от сути этого письма. Поэтому я не знаю, должен ли я отказаться от убеждения в этом отношении? Я отказаться не могу.

Я кончаю на том, что я приветствую предложение Константина Александровича о публичности, но я считаю, что для этого мне нужно дать какую-то дорожку — надо освободить меня от клеветы, надо решить несколько пунктов из тех, что написаны в письме, чтобы я мог ссылаться на это письмо, не загадочное и никому не известное, а реальный документ. Я не знаю, чего в нем бояться. Тогда я приму предложение Константина Александровича и всех выступавших.

К. А. Федин. Если вы желаете принять мое предложение, как вы говорите, если мое предложение будет принято вами, то позвольте вам сказать, как я думал, что я думал, делая это предложение. Вы употребили в своем выступлении слово «очередность». Да, я именно сказал об очередности и сказал, что первым публичным выступлением должно быть ваше выступление. Какое оно будет, как вы его сформулируете,— вы, человек, получивший столько одобрительных отзывов о вашем даре писателя, человек, обладающий своим стилем, должны это сами найти, вам никто не скажет, как взять, что взять, с чего начать. Та реплика, которую вы применительно к своему письму сделали: сначала ответьте на все то, что я в нем писал, а потом я могу его оценить,— эта реплика не имеет прочного основания, она висит в воздухе. Если вы говорите, что вы выступите публично и скажете о себе... Что можно сказать? Только одно, что Запад использует ваши выступления в своих пропагандистских или агитационных интересах. Это самое главное. А стилистически возможно, поверьте мне,— да вы, наверное, лучше меня знаете, как стилист,— можно очень хорошо сказать, о каких пунктах здесь шла речь у вас и какие именно из этих пунктов были наилучшим образом использованы Западом. Выбирайте то, что они использовали, и скажите, почему это сделано необоснованно, скажем так. Почему вас по этим пунктам оболгали...

А. Т. Твардовский. Не публикуя письма?

К. А. Федин. Не публикуя. Можно так сказать: опубликуйте сначала «Раковый корпус».

А. Т. Твардовский. «Раковый корпус» — это большое дело, а опубликовать письмо, высказать наше отношение к нему...

К. А. Федин. Давайте поставим на голосование ваше предложение: взять письмо, посланное т. Солженицыным на наш съезд, опубликовать его, а засим предоставить слово автору...

А. Т. Твардовский. Себе взять слово!

К. А. Федин. Но ведь первое слово взял Запад. Он это письмо обработал и продолжает обрабатывать. Так что же мы не опубликовали его, когда об этом автор просил и когда надо было? А они нас действительно перегнали. Зачем же нам идти в хвосте? Я бы сказал: кто является автором письма, тот и должен разъяснить, что он хотел сказать. Его неверно истолковали, вот он и говорит: меня неверно истолковали, а я говорил вот что, вот в каком смысле. Вы первый должны сделать публичный шаг (вы апеллируете к публичности), а не говорить нам: покелева вы не пойдете маршем, я буду молчать. Как же это так — почему мы должны идти маршем и говорить о наших несогласиях с вами? Зачем же это делать? Нам интересно, чтобы вы сказали о несогласии вашем с Западом, ведь против них надо выступать. Вот смысл моего предложения.

Есть вариант такой, который предложил Александр Трифонович.

А. Т. Твардовский. Я предлагаю другой вариант.

К. А. Федин. Вы предлагаете опубликовать письмо.

А. Т. Твардовский. Странно будет выглядеть ответ без вопроса.

К. А. Федин. Александр Трифонович, если появится сообщение, что мы старые известные белогвардейцы, то мы не будем ждать, а побежим и скажем: мы не белогвардейцы,— если нас заденут. Сейчас задели Александра Исаевича. Я и говорю: Александр Исаевич, откликнитесь! Тропочку, как вы сказали, первую должны проложить вы, ваша ступня должна оставить след. Вы должны сказать, что вы действительно верны родине, а не являетесь пугалом, которым там размахивают.

А. И. Солженицын. Правильно ли я понял вас: там, в моих восьми пунктах в письме, ничего не меняется, все остается так?

К. А. Федин. Мы же не об этом говорили, а о выступлениях Запада. Я не слышал этого, но говорят, что Запад пользуется письмом Солженицына. А Солженицын что? Молчит?

А. И. Солженицын. Обыватели письма моего не знают и не будут знать. И выходит, что я от него отрекаюсь.

К. А. Федин. Но нельзя так, как вы предлагаете,— чтобы мы задним числом выступили сейчас. А что мы думали раньше?

А. Т. Твардовский. Но этим мы усугубляем ошибку.

К. А. Федин. Не усугубляем, а поправляем.

Г. М. Марков. Есть такой аспект: Александр Исаевич, прав он или не прав, в своем письме ставит вопросы по адресу в своем доме.

А. И. Солженицын. ...И ждет ответ от своего дома. А радио я не слушаю.

Г. М. Марков. Сотни документов говорят от этом.

А. И. Солженицын. Я верю.

Г. М. Марков. И надо сказать: если есть конфликт, то конфликт — дома, и не используйте это в интересах своей борьбы.

А. И. Солженицын. Вот и правильно: давайте сами дома и освобождать меня от клеветы и реагировать на мое письмо. И тогда я уже могу выступить со своими возражениями и согласиями.

К. А. Федин. Но вы отправили письмо за границу.

А. И. Солженицын. Кто?

К. А. Федин. Ну, не вы... Но кто напечатал 250 экземпляров?

А. И. Солженицын. Я.

К. А. Федин. Тогда извините меня,— вы же сами сказали, что размноженная вещь должна непременно попасть туда.

А. И. Солженицын. Я написал личные письма и отправил по нашей почте нашим писателям.

К. А. Федин. Я не знаю, что делать. Я предлагаю либо решить о продолже-

---

[29] Речь идет о несостоявшейся постановке в театре «Современник» пьесы Солженицына «Олень и шалашовка».

[30] То есть в физико-химическом институте им. Л. Я. Карпова Министерства химической промышленности СССР.

нии прений без перерыва, либо закончить заседание.

А. Шарипов. Тов. Солженицын в своем выступлении говорил, что принимает предложение насчет ответа западной прессе,— так мы поняли. Поэтому многие выступавшие говорили о снисхождении, некоторые делали скидку,— во-первых, он признал, что отрицает пьесу... А теперь выходит, что надо снова обсуждать.

В. М. Кожевников. Дело в том, что мы Солженицыну изложили все свои соображения, связанные с его письмом. Таким образом, он получил коллективное мнение Секретариата, о котором он получит коммюнике, потому что мы просмотрим стенограмму и сделаем выводы. С этим коммюнике мы его ознакомим. Поэтому я предлагаю покончить вопрос с Солженицыным, и о технике мы договоримся без него. А сейчас проголосуем те предложения, которые есть.

К. А. Федин. Может быть, мы примем предложение В. М. Кожевникова?

А. И. Солженицын. Дело не сводится к стилю. Стилем через ситуацию не перепрыгнешь. Я имею в виду нашего читателя, и для того, чтобы я что-то напечатал (а я с удовольствием это напечатаю), я должен сказать, что я реагирую на известное письмо и известную реакцию писателей.

Будут ли распространять мои вещи при моей жизни без моего ведома? Будут ли по-прежнему вычеркивать каждую строчку? Будет ли все это так, или что-то изменилось?

К. А. Федин. Давать общие гарантии по всем пунктам мы не можем.

А. Е. Корнейчук. Согласен ли Солженицын, не вдаваясь в подробности, как гражданин, член Союза писателей, кратко или длинно, отмежеваться от той грязной клеветы, где используют его имя, выступить против этого и сказать: не позволю вам мое честное имя бывшего командира Советской Армии, теперь члена Союза писателей использовать для подрывной деятельности против моей страны, моего государства. Только так стоит вопрос. (**Голоса:** Правильно!) Вот как ставится вопрос. Остальное мы слышали. Просили редакцию «Нового мира» работать с вами. Все говорят, что вещь интересная, и когда поработаете вместе с «Новым миром» — он напечатает. Говорили и о других вещах. Но здесь же вопрос политический большой. Каждый день «дуют» одно и то же о вас. Надо ваше имя вам же в первую очередь спасать. У нас на Украине, когда попробовали стихотворение Сосюры взять на вооружение петлюровцы, националисты (в стихотворении были некоторые туманности),— Сосюра ответил националистам и клеветникам. У нас был Остап Вишня,— сидел он больше, чем вы, сидел в труднейших, тяжелейших условиях. Была борьба против бендеровцев. Когда его выпустили, он немедленно включился в эту борьбу, написал свои рассказы, которые помогли нашему народу с этими бендеровцами вести борьбу.

Как же вы можете так реагировать?! Здесь вопрос не о ваших пунктах стоит. Вас, ваше имя использует буржуазная пропаганда. Отбросьте это! Скажите: не позволю использовать мое имя. Сколько буду спорить, это мое дело, я спорю в своем доме. Так стоит вопрос, вопрос политический,— неужели вы не поняли? Неужели вам это не ясно?

А. И. Солженицын. Когда я уходил с прошлого Секретариата, я получил заверение, что Секретариат считает своим долгом опровергнуть низкую клевету о моей биографии,— клевету, хуже которой придумать нельзя. А теперь эту клевету вы считаете возможным не опровергать?..

К. А. Федин. Это неверно.

С. А. Баруздин. К. В. Воронков на партийном собрании, где было 600 коммунистов, честно и прямо сказал, что все слухи о том, что Солженицын был власовцем и прочее, опровергнуты. Подтверждено документами, что это не так. Почему же вы вспоминаете о том, что Воронков что-то неточно, с вашей точки зрения, сказал насчет изъятия архива, и не вспоминаете о том, что, по существу, было реабилитацией? Разве где-нибудь было опубликовано, что вы власовец? Мало ли кто что треплет, болтает!

А. И. Солженицын. Не треплет, не болтает, а официальные лица диктуют агитаторам, пропагандистам обо мне новую ложь... (**Шум в зале, возгласы с мест:** Это не так!)

К. А. Федин. Председатель, очевидно, должен быть бесстрастным, тупым по возможности, ничего не понимающим,— тогда все будут удовлетворены. Я же как старый и неопытный председатель покорно прошу соблюдать порядок. Первым будет говорить Рюриков, вторым Сурков, третьим Сартаков.

Б. С. Рюриков. Я считаю, было бы неуважением к Секретариату вовлекать нас во второй круг обсуждения. Все сказано. На сказанное ответа нет. Нужно дать Солженицыну подумать. На основе этого обсуждения в «Литературной газете» будет дано опровержение. Пусть Солженицын подумает.

А. А. Сурков. Если Александр Исаевич не считает себя лидером политической оппозиции в литературе Советского Союза, пускай он об этом скажет. Из вас, Александр Исаевич, сделали лидера политической оппозиции. Если вы не считаете, что вы выполняете эту роль,— скажите об этом.

С. В. Сартаков. Я хотел сказать почти те же слова, которые сказал Сурков, и хотел бы добавить следующее. Александр Исаевич все говорит о ложных слухах, которые распространяются вокруг его имени, и настаивает на том, чтобы первым шагом со стороны Союза писателей, Секретариата был какой-то

документ, отвергающий эти слухи. Если человек выступил и заявил, что он не является рупором Запада, что он протестует против этого,— кто же будет говорить...

А. А. Сурков. ...что вы убежали в ОАР или уехали в Англию!

К. А. Федин. Тогда позвольте принять предложение, которое было сделано, и завершить наше заседание на этом пункте.

А. И. Солженицын. Я приветствую публичность, которую вы предлагаете, но я считаю, что вы для этого должны открыть мне какую-то возможность. Там восемь пунктов. Там есть письмо, от которого я не отрекаюсь. Я должен прежде знать, что из этого вы считаете справедливым, полностью ли вы эти восемь пунктов оставляете?

К. В. Воронков. Вы что, условия ставите?

К. А. Федин. Разрешите остановиться на том, что мы сказали: мы дали обещание, что вы получите стенограмму нашего обсуждения. (**С места.** Коммюнике.) Я боюсь сейчас сказать, что это будет.

Г. М. Марков. Об этом речь: вы даете письмо, Секретариат дает коммюнике.

А. Т. Твардовский. Я не знаю, как это сделать. Как он может опровергать...

К. А. Федин. Но как же — мне говорят, что каждый день передают по радио, называют имя Солженицына, каждый день трубят, а Александр Исаевич не знает, что сказать!

А. И. Солженицын. Я не слышал.

К. А. Федин. Но вам кто-то говорил?

А. И. Солженицын. Да, конечно, и вы здесь говорили.

К. А. Федин. Я тоже не слышал, мне говорили. Вы можете опровергнуть. Больше ничего отсюда не вытекает.

Практически наше заседание исчерпало себя.

А. И. Солженицын. Заседание исчерпало себя, но пренебрежение к нашему читателю есть: он ничего не знает, а я обращаюсь с опровержением.

К. А. Федин. Так вы и обратитесь к читателю.

В. М. Озеров. Есть такое предложение: у нас есть материалы в Иностранной комиссии о том, что пишут самые паршивые реакционеры насчет вас. Мы вам покажем, и, может быть, вы захотите ответить.

В нашем коммюнике будет сказано, с чем мы не согласны, какие шаги отметаются Союзом.

А. И. Солженицын. Это очень важно.

В. М. Озеров. Может быть, вы посмотрите сейчас эти документы. До коммюнике вы должны выработать свою позицию.

А. И. Солженицын. Сейчас я не могу,— я должен уехать.

Я должен знать мнение Секретариата — что из того, что я поставил, одобрено или отвергнуто.

К. А. Федин. Я должен знать, парируете ли вы удары Запада или расшаркиваетесь перед ним.

А. И. Солженицын. С мая месяца Секретариат держит мое письмо и ничего не говорит.

К. А. Федин. Я считаю, что на этом можем закончить разговор.

А. И. Солженицын. Могу я уйти?

К. А. Федин. Да.

Может быть, мы закончим на этом? Александр Трифонович предлагает коммюнике.

Г. М. Марков. Письмо Солженицына — это же чисто международное дело. Он же стал знаменем пропаганды. Если он даст ответ, мы публикуем от Секретариата коммюнике и можем сослаться на его ответ. (**Голоса:** Он не даст!) А если не даст, то ему и места в Союзе нет! [31].

В. М. Кожевников. Я считаю, что у нас был сегодня очень содержательный и очень откровенный и продуманный Секретариат. Мы все время говорили о публичности. Каждый говорил не для себя, а отлично сознавал ответственность этого совещания. Если Солженицын не соизволит после долгих препирательств и торговли сделать то, что его просили... (**К. В. Воронков.** Он же сказал, что не сделает), мы должны будем взять эту стенограмму, сделать из нее не просто коммюнике (под тем, что я сказал, я подписываюсь. Алексей Александрович — тоже), и это опубликовать. Это первое предложение.

Второе. Мы должны сформулировать, что если Солженицын не выступит с тем-то и тем-то, если он не сочтет нужным, тогда для того, чтобы общественность знала о ходе обсуждения, мы выступим с этим.

В. М. Озеров. В том и другом случае мы даем сообщение?

В. М. Кожевников. Если он выполнит свой гражданский и политический долг, некоторые оценки я бы изменил. Если этого не будет, я подписываюсь под тем, что я говорил.

С. А. Баруздин. Он совершенно ясно сказал, что он не выполнит, он не хочет. Он ставит условие совершенно ясно. Надо из этой реальной обстановки исходить.

К. А. Федин. Мое впечатление, что разговор был продуктивный, что достигнуто немало, но, вероятно, пока что мы не можем назвать наши результаты победой. К этой победе надо еще прийти. Удовлетворение может быть достигнуто выступлением самого Солженицына, а никак не нашими модуляциями. Главное, в каком положении будет наш Союз? Союз вынужден «мекать» и «бекать», а что мы достигли? Что мы будем говорить, что он неправ в том-то? Это

---

[31] Стоит обратить внимание на это решительное заявление второго секретаря правления СП СССР (отличное от того, что по тому же поводу он говорил выше, в присутствии Солженицына). Оно не оставляет сомнений в том, что состоявшееся два года спустя решение Рязанской писательской организации об исключении Солженицына из Союза писателей было организовано сверху и готовилось в течение длительного времени.

можно было и раньше сказать. А результатов пока нет. Результат может быть только один: он должен признать свои заблуждения. Форма? Он притворяется, что не найдет этой формы. Он так способен, что прекрасно сумеет сделать это. Но он не хочет выпустить из рук тот рычаг, за который держится. Он прекрасно понимает, что, как только он выступит,— там скажут: ага, его поставили на колени, он дурак... Вот в чем несчастье. А он хочет из этого несчастья сделать свое счастье. Он не хочет, чтобы его разоблачили. Он очень раздражается, когда видит, что капают не так, как он хотел. Он хочет, чтобы сначала мы выступили (лл.1—84, или 34—187 сплошной пагинации материалов протокола).

Постановили:

1. Поручить члену Союза писателей СССР А. И. Солженицыну в недельный срок сообщить секретариату правления Союза писателей СССР свои соображения о том, как он намерен реагировать на выступление буржуазной пропаганды в печати и радио, использующей письма А. И. Солженицына в клеветнических целях против Советского государства, Коммунистической партии, против советской литературы.

2. Считать целесообразным опубликовать в «Литературной газете» отчет о состоявшемся заседании секретариата правления Союза писателей СССР по рассмотрению писем А. И. Солженицына» (л. 5).

От составителя. Совершенно очевидно, что первый пункт приведенного постановления принят был вполне ритуально, без надежды ка то, что он будет исполнен. Тем не менее по прошествии двух месяцев К. Воронков специальным письмом напомнил о нем Солженицыну, на что, в свою очередь, последовал письменный же запрос адресата, собирается ли Секретариат выполнять свои прежние заверения (оставшийся уже без ответа). Что касается пункта второго, то никакого отчета о заседании «по рассмотрению писем А. И. Солженицына» в печати не появилось — очевидно, потому, что руководство Союза сообразило невыгодность для себя какой бы то ни было гласности в данном вопросе.

Своего рода развернутым комментарием и существенным дополнением к публикуемым стенограммам явилось письмо Твардовского к Федину, написаное 7—15 января 1968 г. Отсылая читателя к этому прекрасному человеческому документу, исполненному благородства и силы в выражении чувств бескорыстного товарищества, любви к таланту и правде, острого ощущения личной ответственности за судьбы народа, родной литературы, приведу из него одну лишь небольшую выдержку, точно формулировавшую исторический смысл происходящего: «Самое важное сейчас и неотложное — понять, что он (Солженицын.— **Ю. Б.**) занимает нас уже не просто сам по себе — как бы высоко ии оценивался он сам по себе,— а потому, что волею многосложных обстоятельств он находится в перекрестии двух противоположных тенденций общественного сознания и нашей литературы, устремленных либо туда, назад, либо сюда, вперед, и в соответствии с необратимостью исторического процесса.

Так обстоит дело, и что именно так, а не иначе, ближайшим и нагляднейшим образом подтверждается многомесячным прохождением у нас «дела Солженицына», как уже само собой обозначается для краткости содержание длинного ряда узких, расширенных и широких заседаний Секретариата» («Октябрь», 1990, № 2, с. 197).

Здесь равным образом знаменательны и трезвое сознание, что тенденция, устремленная «туда», преобладает, берет верх, и слова о «необратимости исторического процесса», ведущего «сюда», так пророчески прозвучавшие двадцать лет спустя.

Публикация

Ю. БУРТИНА и А. ВОЗДВИЖЕНСКОЙ.

Составление и примечания Ю. БУРТИНА.

(Продолжение следует.)

Отклик

«ДЕНЬ И ЧАС» ГЕОРГИЯ ПРЯХИНА (Советский писатель, 1989) — книга, в которую вошли роман, повести и рассказы. Многообразно в них представлена деревня советских лет. В осмыслении писателем тяжелого крестьянского труда традиционный для многих «деревенщиков» минус меняется на плюс: в труде и спасение, и красота. Героиня повести «Настя» — женщина с типичной, в сущности, для своего поколения судьбой. В голодные 30-е годы погибает отец, матери она вовсе не помнит. Мачеха, у которой своих детей немало, выгоняет падчерицу из дому. Так, Настя, еще юная, пятнадцатилетняя, а уже — то ли сестра, то ли мать. Голод пережила — война началась. После войны снова беспросветная работа, ребенок и младшие братья на руках. Незавидная бабья доля. Но Пряхин, показывая все это, видит и улыбку Настину, ее красоту, чудотворство ее рук.

Стало уже расхожим утверждение, что поколение сорокалетних — поколение потерянное. Подобное слышит в поезде и лирический герой рассказа «Цена». Слышит и вспоминает, как в детстве он с отчимом рушил родную хату. Пряхин размышляет о том, не плата ли за разрушение отчих домов — промежуточность, никчемность поколения соракалетних. А может, поколение это на самом деле связующее? В романе «Прощание славянки» запоминается фигура учителя, смысл жизни которого — осуществлять связь между поколениями довоенным и послевоенным: ему так важно, чтобы не прервалась нить! В этом романе герои проходят своеобразную поверку детством, как ни звучит это парадоксально. Поверку на первозданную чистоту помыслов, на душевную чистоту. Книга Георгия Пряхина рождает в читателе раздумья о корнях нашей нравственности, о цельности человеческой жизни.

Лариса МИХАЙЛОВА

В КНИГЕ НИКОЛАЯ САФОНОВА «ЗАПИСКИ АДВОКАТА», недавно изданной Совместным советско-западногерманским предприятием «ВСЯ МОСКВА», все названо своими именами: геноцид — геноцидом, мерзавцы — мерзавцами, стукачи — стукачами, карательные органы — карательными (даже если они как бы следственные). Автор, профессиональный адвокат, точен в фамилиях, датах, обстоятельствах. Скрупулезно описывает он те шесть дел, которые вел в 1969—1970 гг., защищая крымских татар от произвола судебных властей, действовавших по указке партийно-гебистских верхов. «Всем, в том числе и судьям, и прокурору в особенности,— свидетельствует Н. Сафонов,— ясно было, что все обвинение сфабриковано по указанию сверху и подсудимые никакие не преступники, а честные люди, вставшие на путь борьбы за восстановление прав своего народа».

В 1944 году в условиях разгула деятельности НКВД относительно крымских татар был осуществлен геноцид, в результате которого народ лишился родины, исторических и культурных корней, и само его физическое существование было поставлено под угрозу. С Варфоломеевской ночью (и это не метафора!) сравнивает автор трагическую ночь с 17-го на 18 мая — ночь выселения крымских татар с родной земли. Около 46 процентов населения умерло едва ли не в первый же год — выброшенные в Голодной степи, без крова, без пищи, без воды, лишенные элементарных вещей, необходимых для жизни, умирали под палящим солнцем летом и под ледяным ветром зимой старики, женщины, дети... Тысячи невиновных расплачивались за вину десятков предателей, с которыми у них было лишь одно общее — национальность.

Только в 1967 году был издан указ Президиума Верховного Совета СССР, отменивший дискриминацию крымских татар и разрешивший им проживать на территории всей страны, в том числе и в Крыму. Но указ остался на бумаге, и крымским татарам понадобилось более двадцати лет, чтобы отстоять свое реальное право вернуться на родину. И с каким же трудом, с какими муками идет это возвращение! Сказывается многолетняя враждебность властей — и во всевозможных бюрократических проволочках, чинимых препятствиях в получении прописки, жилья, стройматериалов (что также легко объяснить — дефицит для всех одинаков), и — что самое опасное — в предубежденности местного крымского населения, в большинстве своем переселившегося сюда после войны и не имеющего опыта жизни в многонациональном окружении. Многих болезненных эксцессов сегодня в Крыму просто не возникло бы, не будь этой трусливой, подлой политики брежневского периода, когда возвращавшихся на землю своих дедов и прадедов крымских татар отлавливали, словно зверей, и судили как уголовников. Тяжело и стыдно читать об этом, страшно жить в беззаконной стране!

Да, статья 190[1], этот перл отечественного законотворчества («Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и об-

щественный строй»), по которой судили крымских татар (и не их одних!), отменена совсем недавно, в апреле 1989 года,— но не отменена психология людей, работающих в правоохранительных органах, их давняя привычная практика, согласно которой закон — послушное орудие в руках власть имущих. До тех пор пока личность каждого человека в нашей стране не будет защищена законом, не будет защищен законом и сам народ. История крымских татар — тому доказательство.

Т. РОМАНЮК

●

Независимость всерьез

Демократический Московский Совет народных депутатов учредил «НЕЗАВИСИМУЮ ГАЗЕТУ», регулярный выпуск которой начнется в конце 1990 года. Это будет первая в СССР ежедневная толстая политическая газета.

«НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА» не является органом учредившего ее Совета и провозглашает свою полную свободу от контроля со стороны каких-либо политических партий или движений.

Прежде всего «НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА» призвана оперативно и в наиболее полном объеме, без замалчивания каких-либо фигур или фактов, информировать читателей о всех политических событиях, происходящих в стране.

Демократическая по направлению «НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА» будет также комментировать события, руководствуясь при этом исключительно мнениями своих журналистов и нештатных авторов. Проведение на страницах «НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТЫ» ее штатными сотрудниками политической линии каких-либо партий противоречит профессиональным принципам газеты и редакционному уставу.

Становление «НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТЫ» потребует значительных усилий от работающих в ней журналистов и поддержки демократической общественности. Именно поэтому я обращаюсь к 99 представителям демократических кругов нашей страны, к тем, кто известен своей интеллектуальной и политической независимостью, с призывом своим моральным и профессиональным авторитетом гарантировать и независимость создаваемого издания. Я также прошу подтвердить эту моральную гарантию денежным взносом в размере 1000 рублей, что поможет начать непростое дело создания первой в стране ежедневной политической «НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТЫ».

По понятным причинам я обращаюсь с этой просьбой только к тем представителям демократических кругов, кто не является:

— официальными лидерами политических партий;

— высшими государственными должностными лицами союзного и республиканского уровня или высшими руководителями в системе исполнительной власти;

— главными редакторами тех изданий, с которыми новой газете придется конкурировать.

Все, к кому я обращаюсь, придерживаются разных, порой существенно разных точек зрения на те или иные события нашей политической жизни. В этом разнообразии — лучшая гарантия независимости той газеты, к созданию которой мы приступаем.

Виталий ТРЕТЬЯКОВ,
главный редактор «Независимой газеты»

Познакомившись с профессиональной программой «Независимой газеты»,

поддерживая стремление ее главного редактора провести в жизнь принцип независимости прессы,

допуская возможное несовпадение наших взглядов по тем или иным вопросам, которые будут освещаться в «Независимой газете»,

мы заявляем о своей готовности поддержать собственными усилиями становление этой газеты и передаем в фонд ее создания по 1000 рублей каждый. Мы призываем сделать то же всех, к кому обратится с аналогичной просьбой главный редактор «Независимой газеты». Поддержка этой газеты не исключает нашего сотрудничества с другими органами демократической прессы.

Сергей АВЕРИНЦЕВ, народный депутат СССР; Анатолий АНАНЬЕВ, народный депутат СССР; Евгений АМБАРЦУМОВ, народный депутат РСФСР; Юрий АФАНАСЬЕВ, народный депутат СССР; Григорий БАКЛАНОВ, писатель; Андрей БИТОВ, писатель; Олег БОГОМОЛОВ, народный депутат СССР; Георгий ГАЧЕВ, писатель; Леонид ГОРДОН, доктор исторических наук; Григорий ГОРИН, писатель; Борис ГРУШИН, директор Центра социологических исследований; Арон ГУРЕВИЧ, доктор исторических наук; Вячеслав ДАШИЧЕВ, доктор исторических наук; Ион ДРУЦЕ, народный депутат СССР; Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ, народный депутат СССР; Владимир ЕНИШЕРЛОВ, литературовед; Альфред ЖАЛИНСКИЙ, юрист; Михаил ЗАДОРНОВ, писатель; Татьяна ЗАСЛАВСКАЯ, народный депутат СССР; Ясен ЗАСУРСКИЙ, декан ф-та журналистики МГУ; Марк ЗАХАРОВ, народный депутат СССР; Леонид ЗОРИН, драматург; Рустам ИБРАГИМ-БЕКОВ, народный депутат СССР; Фазиль ИСКАНДЕР, народный депутат СССР; Олег КАЛУГИН, народный депутат СССР; Михаил КАПУСТИН, доктор философских наук; Татьяна КАРЯГИНА, народный депутат РСФСР; Эдуард КЛОПОВ, историк; Игорь КЛЯМКИН, политолог; Евгений КУЗНЕЦОВ, физик; Кирилл ЛАВРОВ, народный депутат СССР; Константин ЛУБЕНЧЕНКО, народный депутат СССР; Борис ЛЬВОВ-АНОХИН, народный артист СССР; Александр ЛЮБИМОВ, народный депутат РСФСР; Елеазар МЕЛЕТИНСКИЙ, доктор филологических наук; Андраник МИГРАНЯН, политолог; Владимир МОЛЧАНОВ, тележурналист; Аркадий МУРАШЕВ, народный депутат СССР; Борис НИКОЛЬСКИЙ, народный депутат СССР; Борис НОТКИН, тележурналист; Глеб ПАВЛОВСКИЙ, директор агентства «Пост Фактум»; Борис ПОКРОВСКИЙ, народный артист СССР; Генри РЕЗНИК, адвокат; Юрий РОСТ, журналист; Юрий РЫЖОВ, народный депутат СССР; Афанасий САЛЫНСКИЙ, драматург; Бенедикт САРНОВ, писатель; Нодари СИМОНИЯ, политолог; Владимир СПИВАКОВ, народный артист СССР; Галина СТАРОВОЙТОВА, народный депутат СССР и РСФСР; Владимир ЦВЕТОВ, тележурналист; Александр ЦИПКО, политолог; Михаил ШАТРОВ, драматург.

●

Памяти нашего автора

24 августа в Нью-Йорке в возрасте 48 лет скоропостижно скончался от сердечного приступа замечательный русский писатель, автор нашего журнала Сергей Довлатов.

Он родился 4 сентября 1941 года в Уфе, учился и жил в Ленинграде, проходил срочную армейскую службу в Коми АССР, работал журналистом в газете «Советская Эстония» в Таллинне, экскурсоводом в Пушкинском заповеднике.

Об этом написаны повести «Зона», «Компросисс», «Заповедник» и книга рассказов, изданные на Западе и переведенные на многие европейские языки.

В 1991 году эти книги сможет прочесть и наш отечественный читатель, они выйдут через несколько месяцев после смерти автора. Проза Сергея Довлатова — краткая, емкая, пронзительно живая. Писателю был отпущен редкостный дар, в котором слились блестящее чувство юмора и чувство лирическое, щемящее. Запечатляя картины личной судьбы, образ жизни и образ речи своих современников, Сергей Довлатов изобразил атмосферу наших 60—70-х годов со всеми ее мучительными абсурдами, наваждениями, тираническим натиском на беззащитного нормального человека. Это было столь узнаваемо, столь портретно и подлинно, что не могло быть и речи о публикации прозы Довлатова на родине в те времена. Все попытки писателя и его друзей напечатать хоть что-то из этих повестей и рассказов в Москве, в Ленинграде, в Таллинне разбивались о стену запретных инструкций. Набор первой книги Довлатова, чудом сверстанной в Таллинне, был рассыпан по доносу ленинградских властей. Писателю пришлось эмигрировать. За двенадцать лет своей жизни на Западе он издал одиннадцать книг. Среди них такая первоклассная проза, как повести «Иностранка», «Ремесло», «Наши» и сборник рассказов «Чемодан». Изданные по-русски на Западе книги Довлатова переезжали нашу границу в чемоданах, в карманах... Задолго до публикаций на родине мы прочитали и полюбили эту чудесную, полную юмора и обаяния прозу.

В 1989 году наш журнал смог, наконец, напечатать несколько рассказов из «Чемодана». Это была первая большая публикация писателя на родине. Вспыхнул зеленый свет, путь открылся. В журнале «Звезда» напечатали повесть «Филиал», в нашем журнале — повесть «Иностранка», в «Неделе», «Огоньке» и «Литературной газете» — рассказы. Два издательства заключили с писателем договоры на выпуск его книг в 1991 году.

До последнего дня Сергей Довлатов работал радиожурналистом на «Свободе», его эссе и репортажи были остроумны, оптимистичны. Ему претило высоколобое угрюмство и депрессивное нытье. Не упускал он и случая вступиться за честь нашей культуры, за опального автора, за редакцию независимого журнала. Как часто могли мы слышать этот несуетливый голос крупного человека! Как рано его не стало, и как же сильно будет нам теперь его не хватать... Этим летом он собирался закончить вторую и третью книгу рассказов, задуманных как продолжение «Чемодана». И ждал, что зимой выйдет здесь его первая книга.

К сожалению, не дождался — сердце разорвалось. Не стало писателя, книгам которого отпущена долгая жизнь, а многим строкам из этих книг суждено освежить нашу речь блистательным чувством юмора и самой человеческой доблестью: видеть себя в смешном свете и быть милосердным к ближнему.

Редакция и общественный совет журнала «Октябрь»

«ОКТЯБРЬ» до конца года и в 1991 году предполагает опубликовать:

А. АВТОРХАНОВ. **От Андропова к Горбачеву. Происхождение партократии** (главы из книги).
Марк АЛДАНОВ. **Самоубийство.** Роман.
Светлана АЛЛИЛУЕВА. **Книга для внучек** (год жизни в Советском Союзе) Рукопись журналу передана автором.
Нина БЕРБЕРОВА. **Курсив мой.** Часть вторая.
Александр БОРЩАГОВСКИЙ. **Единожды солгав.** Роман. (Жизнь Мартемьяна Рютина — подвиг и трагедия).
Борис ВАСИЛЬЕВ. **Дом, который построил дед.** Роман.
Игорь ВОЛГИН. **Политический процесс. Достоевский и современники: жизнь в документах**. Кн. 2-я. Роман-исследование.
Н. ВОСЛЕНСКИЙ. **Номенклатура.** Главы из книги.
Дмитрий ВОЛКОГОНОВ. **Лев Троцкий.** Политический портрет.
Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. **Псалом.** Роман.
Антон ДЕНИКИН. **Очерки русской смуты (тт. 1—4).**
Александр ЗИНОВЬЕВ. **Зияющие высоты.** Роман.
Розмари и Виктор ЗОРЗА. **Я умираю счастливой.** Документальное повествование. (Бестселлер США 1980 года).
Георгий ИВАНОВ. **Книга о последнем царствовании.** Роман.
Руслан КИРЕЕВ. **Посланник.** Роман.
Анатолий КУРЧАТКИН. **Курочка Ряба, или Золотые яйца для перестройки.** Повесть.
Дмитрий МЕРЕЖКОВСКИЙ. **Иисус Неизвестный**. Роман-эссе.
Виктор НЕКРАСОВ. **Саперлипопет.** Повесть.
Еремей ПАРНОВ. **Хозяин антимира.** Роман.
Саша СОКОЛОВ. **Палисандрия.** Роман.
Владимир ТЕНДРЯКОВ. **Революция! Революция! Революция!**
У. ФОЛКНЕР. **Старик.** Повесть.

Рассказы И. ГОФФ, С. ДОВЛАТОВА, Н. ИЛЬИНОЙ, С. КРЖИЖАНОВСКОГО, А. ЛЬВОВА, Т. НАБАТНИКОВОЙ, Ю. НАГИБИНА, Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ, В. ПОПОВА, Е. ПОПОВА, В. ПЬЕЦУХА, Г. СЕМЕНОВА, Б. ЯМПОЛЬСКОГО и др.

Для «Октября» работают: В. БЫКОВ, Ф. ИСКАНДЕР, Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ, В. КОНДРАТЬЕВ, В. МАКАНИН, Б. МОЖАЕВ, М. РОЩИН, В. ТОКАРЕВА, Т. ТОЛСТАЯ.

Стихи известных поэтов: Б. АХМАДУЛИНОЙ, А. ВОЗНЕСЕНСКОГО, А. КУШНЕРА, Ю. МОРИЦ и др.— и молодых — самых разных направлений, включая новейший «андеграунд».

«Самиздат 70-х» — «неофициальная» поэзия прошлого двадцатилетия.

«Из литературного наследия» — поэты, незаслуженно забытые или насильственно вычеркнутые из истории нашей литературы.

Современная поэзия русского зарубежья.

Продолжение на 4-й стр. обложки.